

# ИСТОРИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ

---

Средневековая  
Европа



АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ  
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

*ИСТОРИЯ  
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ  
УЧЕНИЙ*

СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЕВРОПА

Ответственные редакторы

*А. В. ДЕСНИЦКАЯ, С. Д. КАЦНЕЛЬСОН*



ЛЕНИНГРАД  
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»  
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
1985

Книга является третьей из серии исследований истории лингвистических учений от древнейших времен до начала XIX в. Здесь подробно рассматриваются достижения науки средневековой Европы в сфере звукового строя языков, грамматики, лексикологии, лексикографии и философии языка. Объектом изучения является развитие знаний о языке в средневековой Северной и Западной Европе и в Византии.

Книга предназначена для языковедов различных специальностей.

Редакционная коллегия

*А. В. Десницкая, С. Д. Кацнельсон, И. А. Перельмутер*

Рецензенты: *И. Б. Долинина, С. А. Шубик*



## ПРЕДИСЛОВИЕ

Внимание к направлениям и развитию лингвистических интересов и идей в средневековой Европе за последние десятилетия значительно усилилось. Если лингвисты, подходившие с позиций сравнительного языкознания XIX в. и его блестящих успехов в деле расширения и обогащения диапазона конкретных лингвистических знаний, были склонны рассматривать средневековье лишь как период застоя научной мысли, определявшегося безраздельным господством латинской грамматики в ее соответствии требованиям схоластики, то в настоящее время отношение к этой эпохе стало существенно иным. Современную лингвистическую историографию привлекают оригинальные попытки средневековых мыслителей решать вопросы философии языка. И даже схоластические занятия латинской грамматикой, начиная от многочисленных комментариев к текстам Доната и Присциана и кончая логистическими спекуляциями модистов, выступают теперь в ином и несомненно содержательном аспекте.

Лингвистические взгляды средневековых авторов входят составным элементом в общий контекст идейных ценностей средневековой культуры, создававшихся на протяжении ряда столетий, фактически целого тысячелетия, если вести отсчет от эпохи крушения античного мира и до полного утверждения культуры Ренессанса.

Еще сто лет назад Ф. Энгельс обратил внимание на отсутствие исторического взгляда, проявлявшееся ранее при оценке эпохи средневековья: «На средние века смотрели как на простой перерыв в ходе истории, вызванный тысячелетним всеобщим варварством. Никто не обращал внимания на большие успехи, сделанные в течение средних веков: расширение культурной области Европы, образование там в соседстве друг с другом великих жизнеспособных наций, наконец, огромные технические успехи XIV и XV веков. А тем самым становился невозможным правильный взгляд на великую историческую связь, и история в лучшем случае являлась готовым к услугам философов сборником примеров и иллюстраций».<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 287—288.

Восхищаясь возвышенной красотой и величием средневекового зодчества, живописи, скульптуры, мы не можем не искать соответствий им, пусть не столь совершенных, но во всяком случае исторически закономерных, в других областях духовной культуры, включавшихся в идеологические системы средневековья. С этой точки зрения определяется и исторический подход к тому, что дало европейское средневековье в отношении изучения языковых проблем. И если заранее принять как исходное положение тот факт, что не поиски конкретных сведений о языках и их различиях составляли предмет интересов и раздумий средневековых мыслителей, учивших и споривших в стенах монастырских школ и первых европейских университетов, но что они ставили перед собой иные задачи, то при определении характера и значимости их вкладов в общий процесс развития научной мысли в области языковых проблем в центре внимания окажутся совсем иные моменты.

Всемирное историческое значение имело сохранение известной преемственности в отношении традиций античной культуры Греции и Рима. Необходимо отметить огромную роль ученых Византии — этого древнейшего государства средневековой Европы, не испытавшего политического и культурного разрыва в своем развитии при переходе от античности к раннефеодальной эпохе. Византийские ученые заслужили вечную благодарность всех последующих поколений прежде всего тем, что они сберегли и передали в руки гуманистов Ренессанса наследие античной литературы и античной философии. Хотя благодаря разобщенности западной и восточной церковью отношения средневекового Запада с Византией в течение ряда столетий сводились до минимума, тем не менее Византия, единственная из стран Европы, сохранившая непосредственную преемственность исторических связей с античным миром, всегда оставалась потенциальным источником приобщения к великому культурному прошлому. Что касается стран Восточной Европы, в частности Древней Руси, Балканских стран, а также Армении и Грузии, то влияние на них Византии и через нее культурных традиций античности было прямым и благотворным. Богатым источником философского и научного опыта Византия явилась и для средневековой арабской культуры, через посредство которой учение Аристотеля позднее нашло свой путь в средневековые университеты Западной Европы.

Концентрация внимания на латинском языке в католических странах Запада также была исторически закономерной и оправданной. Латынь, унаследованная от распавшейся Римской империи, продолжала свое существование как единственный язык школьного обучения, а также философской мысли, развивавшейся в рамках религии, которая представляла собой господствующую форму средневековой идеологии.

На протяжении столетий этот литературный язык, ставший международным, обеспечивал потребности духовного общения между образованными людьми всех стран Западной Европы и благодаря этому естественно занял центральное место в системе

школьного обучения. Именно поэтому и латинская грамматика уже очень рано сделалась предметом научного изучения. Это изучение, ориентированное прежде всего на задачи дидактического характера, осуществлялось в течение длительного времени путем составления комментариев, в которых разъяснялись и частично уточнялись положения грамматики Присциана, являвшейся наиболее авторитетным для того времени корпусом сведений по морфологии и синтаксису латинского языка.

Грамматика мыслилась именно как латинская, и в этом своем определяющем качестве она занимала свое место в системе дисциплин («свободных искусств»), составлявших основу школьного образования. Эта система слагалась из двух частей: 1. *trivium* — грамматика, диалектика (логика), риторика; 2. *quadrivium* — музыка, арифметика, геометрия, астрономия. В этой системности соединения взаимосоотнесенных элементов образования, служившего формированию личности средневекового интеллектуала и осуществлявшегося в подчинении теологической концепции мироздания, получало выражение характерное для средневекового миропонимания стремление к синтетическим построениям, пронизанное принципом иерархии.

Характеризуя общие особенности стиля средневекового искусства (имеется в виду «романский стиль» в условном понимании этого термина), Д. С. Лихачев пишет: «Черты этого стиля отражены в покоряющем все виды духовной деятельности человека стремлении к монументальности, к четкости „архитектурных“ членений и ясности соотношения главных частей при одновременной „неточности“ и разнообразии деталей, в попытках охватить возможно шире мироздание в целом, видеть в каждой детали всю вселенную (своеобразный «универсализм» видения), в тенденции подчинить этому единому объяснению все явления, создавать внутренние символические связи между всеми сферами существования. Это стиль, пронизанный пафосом универсализма, склонный к установлению связей между всеми формами существования, между всеми видами искусства».<sup>2</sup>

В плане общего универсального построения, характерного как для миропонимания, так и для выражавшего его стиля средневековой эпохи, исторически сложилась и система учебных дисциплин — «семи свободных искусств» (*artes liberales*), среди которых на первом месте стояла грамматика. Заняв почетное место в этой системе, грамматика с той поры и на все последующие века обеспечила себе статус самостоятельной и важной научной дисциплины, ближайшим образом связанной с логикой, иначе говоря с наукой о формах и средствах мышления.

В дальнейшем развитии научных концепций европейского средневековья отношение грамматики и логики явилось специ-

---

<sup>2</sup> Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967, с. 37—38.

альным объектом умозрительных построений так называемых модистов, разработавших принципы «спекулятивной грамматики» (*grammatica speculativa*). В этих концепциях абстрактный логицизм и отправление от конкретных особенностей латинской грамматической структуры оказывались тесно взаимосвязанными, взаимоопределяющими. Отношение между логикой и грамматикой (латинской) мыслилось как универсальное. Этим положено начало теориям «универсальной грамматики», создававшимся в последующие периоды истории лингвистической науки. Вопросы, впервые поставленные модистами, продолжают жить и в некоторых новейших направлениях грамматической науки.

Новым качеством, проявившимся как в искусстве средневековья, так и в его сложных религиозно-философских системах, явилось углубление внимания и интереса к внутреннему миру человека. Одним из непосредственных проявлений этого интереса были попытки постановки вопроса о статусе языка в его соотношении с мыслительным процессом и душевной жизнью людей. Вопросы философии языка получали оригинальную трактовку уже в трудах мыслителей раннего средневековья (патристика). Позднее они вновь и вновь возникали в процессе идеологических споров между номиналистами и реалистами, будучи органически связаны с самой сущностью полемики по вопросам онтологического статуса общих понятий.

Все сказанное приводит нас к выводу о том, что при оценке лингвистических достижений средневековой европейской науки не может быть принимаема в качестве критерия степень расширения и обогащения суммы конкретных сведений о языке. Подобного рода задачи принципиально не ставились и не решались. Новизна и оригинальность творческого движения мысли проявлялись при постановке вопросов философии языка, причем как в связи с задачей разработки общих принципов грамматики, так и при решении онтологических проблем, связанных с ролью языка в духовной деятельности человека.

При всей ограниченности полета мысли средневековых философов рамками религиозного мировоззрения, в частности догматом креационизма, в их концепциях содержались некоторые глубокие и оригинальные идеи, составившие основу для дальнейших поисков решения философских вопросов, связанных с языком. Теоретическое наследие лингвистической мысли средневековья и его влияние на последующие опыты постановки онтологических проблем языкознания было более значительным, чем это ранее полагалось.

\* \* \*

В последние десятилетия появилось много работ, посвященных лингвистическим теориям европейского средневековья. При этом внимание исследователей преимущественно концентрировалось на одном аспекте — истории грамматических концепций. Об этом

свидетельствует достаточно подробная, хотя и выборочная (select) библиография, приведенная в сборнике исследований Р. У. Ханта.<sup>3</sup>

В соответствии с общим планом серии «История лингвистических учений», очередным выпуском которой является эта книга, в задачи авторов входило представить различные направления движения лингвистической мысли в эпоху европейского средневековья, начиная с самого раннего периода.

Изложение открывается статьями о лингвистической практике, связанной с созданием письменностей у европейских народов, впервые приобщавшихся в эпоху раннего средневековья к литературной деятельности, отражавшей процесс распространения господствовавшей в средние века христианской религии. Перед создателями письменностей стояла задача приспособления латинского или греческого алфавитов для передачи состава фонем целого ряда бесписьменных до этого времени языков. При этом, сознательно или стихийно, но во всяком случае императивно, должна была возникать необходимость анализа фонематического состава соответствующих языков и выделения фонем, подлежащих раздельному обозначению. При решении этой чисто лингвистической задачи естественно определялся уровень проникновения создателей письменностей в сущность одной из самых древних научных проблем, какие приходилось решать человечеству в процессе своего культурного развития.

Если в отношении греческого и латинского алфавитов изучению доступны лишь результаты завоеванной некогда победы лингвистической мысли — достижения фонологического упорядочения звукового материала, то процесс создания новых европейских письменностей с помощью уже существовавших алфавитных систем вводит нас в лабораторию, в которой осуществлялся один из подступов к решению фундаментальной задачи лингвистического анализа.

Автор соответствующего раздела выделяет два типа приспособления античных алфавитов к нуждам создававшихся в пору раннего средневековья письменностей — стихийный и авторский. Процесс создания письменностей на основе латинского алфавита, осуществлявшийся в Западной Европе, протекал в основном стихийно. В качестве их характерной особенности отмечается использование большого числа аллографов и незакрепленность этих аллографов за словами, что указывает на известную степень неясности и колебаний в определении фонематического состава языков. С другой стороны, «у большинства народов, принявших христианство из Византии, письменность явилась плодом индивидуального творчества выдающихся людей своего времени. Эти письменности гораздо более единообразны, последовательны и фонографичны, чем стихийные европейские письменности на латинской ос-

---

<sup>3</sup> Hunt R. W. Collected Papers on the History of Grammar in the Middle Ages / Ed. by G.-L. Bursill-Hall. Amsterdam, 1980. — Значительное место в этом списке занимают издания средневековых текстов.



нове».<sup>4</sup> В качестве образца таких письменностей, создававшихся древними «фонологами», подробно рассматриваются достижения авторов готского (Вульфила) и славянского (Кирилл) алфавитов.<sup>5</sup>

Несколькими веками позднее (XII в.) в далекой Исландии неизвестными авторами были созданы грамматические трактаты. В первом из них фонетический подход к проблеме алфавита был применен на уровне, приближающемся к современным принципам фонологического анализа. Автор трактата использовал метод выделения различительных признаков и составления минимальных пар, демонстрирующих фонетические противопоставления. Этому лингвистическому открытию посвящена специальная статья.

Особое место, естественно, уделено византийскому языкознанию, которое рассматривается под знаком его исторической роли в сохранении традиций эллинского мира, с последующей передачей их гуманистической культуре Западной Европы, а также глубокого влияния, оказанного им на процесс сложения традиций христианской культуры в странах Восточной Европы. В статье рассматриваются языковая ситуация в Византии, вопрос о соотношении христианства, философии и языка, организация школьного образования и роль в нем изучения грамматики. Особое внимание уделено византийской лексикографии, имеющей непреходящее значение для исторического языкознания.

При рассмотрении трудов, посвященных латинской грамматике, специально выделена древнеанглийская грамматическая традиция VII—XI вв. (Беда, Алкуин, Эльфрик). Оригинальность этой традиции состоит в создании первого опыта составления латинской грамматики на нелатинском (древнеанглийском) языке, притом с переводом специальной терминологии. Отмечены также некоторые особенности развития грамматических учений в Испании.

В основном изложении охвачен первый этап разработки вопросов латинской грамматики, который может быть определен как этап комментариев к курсам Доната и Присциана. На этом этапе исследований еще не выделялись национальные научные традиции.

Рассмотрение большого и сложного вопроса о логико-грамматических построениях модистов отнесено к следующему выпуску нашей серии, содержанием которого явятся языковые теории позднего средневековья и Предренессанса. Концепции модистов, представляющие собой завершающий этап в развитии средневековых грамматических учений, органически впишутся в изложение состояния лингвистической мысли переходного периода от средневековья к Возрождению.

---

<sup>4</sup> См. наст. изд., с. 33.

<sup>5</sup> О создании армянского письма Месропом Маштоцем см. статью Г. Б. Джаукяна «Языкознание в Армении», опубликованную во втором выпуске «Истории лингвистических учений» (Л., 1981, с. 21).

Большое внимание в этой книге посвящено рассмотрению лингвистических идей в трудах средневековых философов. Особенный интерес под этим углом зрения представляют труды мыслителей самого раннего средневековья — направления, традиционно объединяемого под названием «патристика». Этим термином обозначается «совокупность теологических, философских и политико-социальных доктрин христианских мыслителей II—VIII вв. (т. н. отцов церкви). Патристика возникла в условиях глубокого кризиса позднеантичного рабовладельческого общества и формировалась в борьбе против гностицизма и других ересей, а также против традиций языческого мировоззрения, вступая в сложное взаимодействие с платоническим и неоплатоническим идеализмом».<sup>6</sup> В разделе, посвященном патристике, в центре внимания находятся философские труды представителей так называемого Каппадокийского кружка (Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский) — на Востоке и Августина — на Западе. Общие концепции этих христианских мыслителей IV в. основаны на идее божественного откровения. Развиваемая в них онтология строится вокруг представления о боге как абсолютном бытии и о космосе как божественном творении. В рамках этой религиозной концепции патристика решала также вопрос об онтологическом статусе человека, а в этой связи возникали и вопросы, связанные с языком. В числе их ставилась проблема коммуникативной функции языка. Язык также определялся как средство объективирующего дискретного представления и познания мира. В рамках концепции креационизма и даже в какой-то степени вопреки ей очень реалистически ставился вопрос о происхождении языка. Так, Григорий Нисский в сочинении «Об устройении человека» писал о том, что «строение человеческого рта приспособлено к потребности произнесения членораздельных звуков главным образом благодаря руке».<sup>7</sup> Согласно этой теории, роль руки и роль прямой походки позволили освободить передние конечности. Рука была связана с трудом, а прямая походка свидетельствовала, по мнению Григория, о «величии человека, о его власти над природой».<sup>8</sup>

Разработка этой темы в нашей книге является совершенно оригинальной и, по-видимому, первым исследованием о лингвистических идеях патристики, появляющимся в специальном труде по истории языкознания.

О знаменитом философском споре номиналистов и реалистов, как известно, существует большая литература. Однако для лингвистической историографии вопрос этот также, по-видимому, является новым. В статье, посвященной философским концепциям номиналистов и реалистов последовательно обосновывается тезис о том, что вопрос о природе общих понятий в их отношении

<sup>6</sup> Философский энциклопедический словарь. М., 1983, с. 484.

<sup>7</sup> См. наст. изд., с. 188.

<sup>8</sup> Там же.

к конкретным вещам и к языку получал различные толкования в зависимости от философских позиций авторов соответствующих концепций. Проблема языка как средства воплощения мыслительного процесса, проблема языковой номинации понятий в их отношении к вещам — это были вопросы, стоявшие в центре внимания споривших философских направлений. Благодаря этому в кругу интересов философов оказывались такие темы, как вопрос о значении слов, об отношении слов и предложений к обозначению конкретных вещей и общих понятий, об отношении слов к предложению и предложения к мысли, об истинности и ложности представлений, получающих отражение в словах и предложениях.

Изложение этого раздела заканчивается рассмотрением концепции номиналиста Оккама (английский философ XIV в.), теория «терминов» которого, его трактаты по логике и натурфилософии заключали в себе отказ от средневековой схоластики, разделение философии и теологии, с упором на эмпирический характер научного познания. Тем самым как бы перекидывается мост к содержанию следующего тома нашей серии, который будет посвящен окончанию средневековой эпохи и началу Ренессанса.

*А. Десницкая*

## ПОЯВЛЕНИЕ ПИСЬМЕННОСТИ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЕ

---

Особое место в истории науки о языке занимают создатели письменности. Как правило, они не писали теоретических трактатов о принципах создания письменности.<sup>1</sup> Они были лингвистами-практиками, намного обогнавшими теории. Отставание теории от практики в этой области сохраняется до сих пор<sup>2</sup> и хотя в последнее время появилось значительное количество работ о теории графики,<sup>3</sup> во многих из них фактически повторяются те положения, которые можно установить, анализируя графические приемы существующих систем письма.

Все европейские системы письма — буквенные, поэтому часто можно услышать мнение о том, что идеальным алфавитом является фонографический алфавит, в котором каждой фонеме языка будет соответствовать особая буква. Однако задача письменности состоит вовсе не в том, чтобы быть фонологической транскрипцией. Несмотря на то что любая письменность создается для передачи звукового языка, система письма может иметь свои законы как особая знаковая система. Именно поэтому даже в буквенном письме, которое более всего подходит для передачи звукового строя языка, возможны разного рода отклонения от фонографического

---

<sup>1</sup> Единственным известным нам средневековым европейским теоретическим трактатом о принципах создания алфавита является Первый исландский трактат (см. наст. изд., с. 77). В первом в варварской Европе грамматическом трактате на родном языке, «Учебнике поэзии» (*Aurasept na n'Eces*), который относят к VI в., хотя и даются некоторые сведения об огамическом алфавите, основное место уделено анализу и группировке звуков, предназначенному для обучения бардов правилам аллитерации (см.: O'Suiv B. *Linguistic terminology in the mediaeval Irish bardic tracts*. — In: *Transactions of the Philological society*, 1965. London, 1966, p. 154—161). Его ближайшим преемником является Второй исландский грамматический трактат (см. наст. изд., с. 88). Трактат черноризца Храбра «О письменах» является не лингвистическим сочинением в собственном смысле слова, а публицистическим произведением, в котором рассказывается история создания славянской письменности и защищается право на ее существование (Сел и щ е в А. М. *Старославянский язык*. М., 1951, ч. I, с. 64). Трактат Яна Гуса «*Orthographia Bohemica*», написанный в 1412 г., в котором излагаются принципы новой чешской графики, фактически выходит за рамки рассматриваемого периода.

<sup>2</sup> Андреев Н. Д., Зиндер Л. Р. Основные проблемы прикладной лингвистики. — ВЯ, 1959, № 4, с. 3.

<sup>3</sup> Наиболее полную библиографию по этим проблемам см.: Амн р о в а Т. А. К истории и теории графематики. М., 1977.

принципа. Эффективность буквенной письменности в том, чтобы передать различными графическими приемами все фонологические противопоставления. Такое требование позволяет использовать особые приемы, и с одной стороны, одно и то же фонологическое различие может быть передано разными графическими средствами, а с другой стороны, одно и то же графическое средство может обозначать разные фонологические единицы в разных позициях.

Каким образом решались проблемы, связанные с созданием письменности в средневековой Европе, и какие приемы были выработаны для передачи фонологических различий, мы и попытаемся выяснить в данном разделе.

Письменность появляется у народа на определенном этапе его развития, тогда, когда она становится необходимым инструментом его духовной культуры и государственности. Причем чаще всего появляется письменность путем заимствования. Историческое развитие предопределило заимствование народами варварской Европы буквенного письма — все европейские системы письма были созданы на основе греческой и латинской письменности. Говоря о заимствовании письменности, мы имеем в виду не столько заимствование форм букв, сколько заимствование принципов построения алфавита и системы графики. Так, по греческому образцу были созданы не только кириллическая, коптская и готская, но и глаголическая, армянская и грузинская письменность, хотя начертание их букв прямо не выводимы из греческих.

Известны два вида заимствования письменности — стихийный и авторский. Во всех странах средневековой Европы, заимствовавших латинский алфавит, появление письменности происходило стихийно, чужой алфавит и чужая система графики использовалась чаще всего в первых памятниках на родном языке «без устройства», и лишь затем постепенно вырабатывались особые графические приемы для передачи фонологических особенностей соответствующих языков. Общим для всех стихийно возникших письменностей средневековой Европы является отсутствие правил орфографии. Графические приемы не закреплены здесь за словами, как в современных литературных нормах, и обозначающие те же фонологические различия аллографы могут заменять друг друга при написании одного и того же слова.

Другой путь появления письменности связан с деятельностью выдающихся просветителей, таких как Вульфила, Месроп Маштоц<sup>4</sup> и Константин Философ. Созданные ими письменности гораздо совершеннее стихийных, они, как правило, хорошо приспособлены для передачи фонологических различий соответствующих языков.

Письменность в средневековую Европу проникает вместе с христианством (исключение составляют огамическое и руническое письмо), и различие путей появления письменности на западе и востоке Европы связано с разной политикой римской и визан-

---

<sup>4</sup> О принципах создания армянской письменности Месропом см.: История лингвистических учений: Средневековый восток. Л., 1981, с. 21.



тийской церковей. Римская церковь была строгой последовательницей трехязычия, она допускала богослужение только на одном из трех языков Св. писания (еврейском, греческом и латинском),<sup>5</sup> византийская церковь, проводя более гибкую политику, не препятствовала богослужению на родном языке. Именно этим и объясняется появление собственной письменности для переводов Св. писания у народов, принявших христианство под влиянием Византии, в том числе у готов, армян, грузин и славян.

Латинская грамматическая традиция учит, что минимальная «часть речи» буква имеет три воплощения: написание (*figura*), значимость (*potestas*) и название (*nomen*).<sup>6</sup> Буквы письменности одного языка должны отличаться от букв письменности другого языка и написанием, и значимостью, и названием. В соответствии с этой традицией создавалось огамическое письмо, руническое письмо, глаголица, кириллица, готское и армянское письмо. Создатели стихийных письменностей на латинской основе признавали, что используют латинские буквы (в вышеизложенном значении этого слова) для записей текстов на родном языке — именно поэтому в этих письменностях новые буквы очень редки.

Рассмотрим сначала общие закономерности стихийного появления письменности в Западной Европе на латинской основе.

## ПОЯВЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ ПИСЬМЕННОСТЕЙ НА ЛАТИНСКОЙ ОСНОВЕ

Несмотря на то что латинская система письма приспосабливалась к европейским языкам, имевшим разные фонологические особенности, и пути появления новых письменностей, и общие принципы их создания и первоначального функционирования были сходными в разных областях Европы.

Первый опыт такого приспособления — использование местных слов (чаще всего собственных имен и топонимов) в латинских памятниках, написанных местными писцами. Следующий этап — написание сначала отдельных глосс, а затем и целых предложений на родном языке на полях или между строчками латинского текста, и, наконец, появление первых памятников на родном языке, которые в большинстве случаев представляют собой переводы латинских церковных текстов.

В текстах мы видим использование графических приемов, позволяющих передать при помощи букв латинского алфавита фонологические особенности других языков, причем многие графические приемы, возникшие для отражения звукового строя одного языка, часто используются затем для создания письмен-

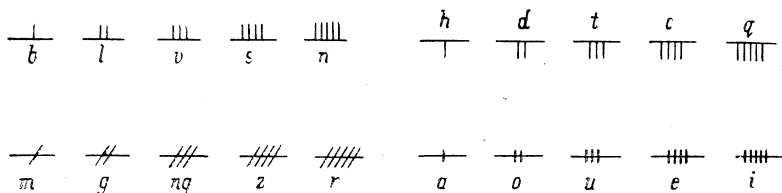
<sup>5</sup> Только в середине 60-х гг. XX в. католическая церковь разрешила богослужение на родном языке: Pulgram E. *Italic, Latin, Italian* 600 B. C. to A. D. 1260. Heidelberg, 1978, p. 311.

<sup>6</sup> Abercrombie D. What is a «letter»? — *Lingua*, 1949, vol. 2, p. 56.

ности другого. Именно поэтому имеет смысл начать с описания системы графики ирландского языка, так как ирландские монахи первыми начали использовать латиницу для записи текстов на родном языке.

### Возникновение письменности в Ирландии

До появления латиницы в Ирландии существовало огамическое письмо, которое связывается обычно с языческой традицией.<sup>7</sup> Огамический алфавит состоит из 20 знаков, разделенных на 4 группы по 5 знаков в каждой. Группа из 5 знаков представляла собой от одной до пяти насечек, нанесенных в одну сторону и под одним углом от ребра камня:



Существует и пятая группа знаков, которые встречаются очень редко и не всегда в одинаковом значении. Все буквы имеют название, соответствующее названию пород деревьев (b — bethe (береза), l — luis (разновидность ясеня) и т. п.). В Ирландии найдено более трехсот надписей — все это очень короткие надписи, содержащие в основном имена. Хотя почти все дошедшие до нас огамические надписи нанесены на камень, высказывались предположения, что первоначально они вырезались на дереве (название знака огамического письма *fid* 'дерево'). Сведения об огамическом алфавите можно найти и в среднеирландских лингвистических (вернее, поэтических) трактатах, откуда мы и знаем названия знаков огамического письма. Несмотря на необычность вида огамических букв, было высказано предположение, что огамический алфавит — перекодированный латинский алфавит.<sup>8</sup>

Ирландские трактаты сообщают, что огамический алфавит использовали в магических целях.<sup>9</sup> И хотя для современных ученых огамические надписи на камне представляются вполне ясными,<sup>10</sup> эти надписи преследовали совсем иные цели, чем современное письмо. Они должны были выполнять магическую функ-

<sup>7</sup> См., например: Mac Neill J. Notes on the distribution, history, grammar and import of the Irish Ogham inscriptions. — In: Proceedings of the Royal Irish Academy. Sect. C. Dublin, 1908—1909, vol. 27, n. 5, p. 332—333.

<sup>8</sup> Ibid., p. 335; Vendryes J. L'écriture ogamique et ses origines. — In: Choix d'études linguistiques et celtiques. Paris, 1951, p. 263.

<sup>9</sup> Vendryes J. L'écriture ogamique et ses origines, p. 255—258.

<sup>10</sup> Ibid., p. 259.

цию и быть непонятными для непосвященных, именно поэтому во многих огамических надписях так часто можно встретить не имеющие никакого фонологического значения удвоения знаков, причем, как правило, удваиваются знаки, состоящие из наибольшего количества насечек (4 или 5).<sup>11</sup>

Если справедливо предположение о том, что все самые значительные изменения фонологической системы (прежде всего лениция) произошли в конце V—начале VI в.,<sup>12</sup> то для эпохи первых надписей (III—V вв.) огамический алфавит был почти идеально фонографичен (считается, что знаки *ng* и *q* обозначали монофонемы [ŋ] и [kʷ]).<sup>13</sup> Единственными знаками, которые были не нужны для передачи ирландских фонем, были *h*, которое вообще не употреблялось в текстовых надписях, и *z*, возможное только в заимствованных словах.

Сам порядок букв в огамическом алфавите свидетельствует о том, что в эпоху его создания у ирландцев существовала своя традиция исследования звукового строя языка. Огамические буквы сгруппированы по фонологическим признакам, что является несомненным влиянием развития устной аллитерационной поэзии. В группе гласных букв сначала идут знаки для непередних гласных [a], [o], [u], а затем знаки для передних гласных [e], [i], причем буквы и для задних, и для передних гласных расположены по степени сужения подъема гласных (сначала низкий [a], затем средний [o] и, наконец, высокий [u], и соответственно сначала [e], а потом [i]). Распределение согласных по группам тоже говорит о фонологическом чутье создателей огамического алфавита. Буквы *t*, *q*, *ng* расположены соответственно за буквами *d*, *s* и *g*. В огамическом письме было введено и различие на письме [v] и [u]. В латинском письме [v] и [u] на письме не различались, и в письменностях, пользовавшихся латиницей, различное значение у вариантов буквы *u* (*v* и *u*) появилось только в XVI в.

Уже в V в. Ирландия приняла христианство и к началу VIII в. употребление языческого огамического письма прекращается. Христианство в Ирландии имело свои особенности, которые и способствовали появлению здесь письменности на родном языке. Христианская культура не была здесь резко противопоставлена языческой, и, несмотря на господство доктрины о трехязычии в Европе, в Ирландии всегда сохранялось уважение к собственной традиции. Именно ирландцы стали первым народом Европы, использовавшими латиницу для записей текстов на родном языке. Они же стали проповедниками идеи о «четвертом (т. е. родном) языке» (*lingua quarta*), на котором может быть написана церковная

<sup>11</sup> Mac Neill J. 1) Notes on the distribution, p. 340—342; 2) Archaisms in the Ogham inscriptions. — In: Proceedings of the Royal Irish Academy, Sect. C. Dublin, 1931, vol. 39, n. 3, p. 34.

<sup>12</sup> Jackson K. Language and history in early Britain. Edinburg, 1953, p. 560—561.

<sup>13</sup> Lehmann R. P. W., Lehmann W. P. An Introduction to Old Irish. New York, 1975, p. 9.

литература.<sup>14</sup> Латинский алфавит стал использоваться для записи ирландских текстов с начала VI в. При этом ирландцы не только записывали церковные сочинения, но и пользовались латиницей для записи своей устной традиции. Особое отношение ирландцев к родному языку сыграло важную роль в истории европейской письменной традиции. Непосредственным влиянием ирландцев объясняется сравнительно раннее появление письменности у их соседей англосаксов; сильное влияние оказали ирландцы и на создание письменности у континентальных германских народов,<sup>15</sup> вполне вероятно, что и первые переводы на славянский язык с использованием латиницы также заслуга ирландских миссионеров.<sup>16</sup>

До нас не дошли самые старые древнеирландские рукописи. Однако сохранившиеся тексты позволяют получить представление о графических приемах ирландских писцов.

Для обозначения дифтонгов писцы используют диграфные написания, и хотя некоторых диграфов не было в латыни,<sup>17</sup> идея обозначения дифтонгов диграфами была, вероятно, заимствована из графики канонической латыни. Многие писцы использовали аллографы средневековой латыни *e* и *ae* как различные графемы, передавая различие монофтонга [e] и дифтонга [ai] в древнеирландском.<sup>18</sup> Для обозначения [θ], [f], [x] ирландские писцы использовали латинские диграфы *th*, *ph*, *ch*, которые в латинских рукописях использовались для передачи заимствованных из греческого фонем.<sup>19</sup> Такой способ передачи результатов лениции был очень удобен в ирландской графике, поскольку способствовал сохранению единого графического образа морфемы (поскольку [p] и [b], [t]—[θ], [k]—[x] чередовались в одной морфеме). При этом

---

<sup>14</sup> Reiffenstein I. Das althochdeutsche und die irische Mission im oberdeutschen Raum. — In: Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft. Innsbruck, 1958, Sonderheft 6, S. 44.

<sup>15</sup> О роли ирландских миссионеров говорит то, что до сих пор 155 ирландских святых почитаются в немецких церквах, 45 — во Франции, 30 — в Бельгии, 13 — в Италии и 8 — в Скандинавии (McCarthy J. H. An outline of Irish history. London, 1892, p. 23). Отмечают 4 волны ирландских миссий в континентальную Европу с VI по XII в. (Reiffenstein I. Das althochdeutsche. . ., S. 6).

<sup>16</sup> Исаченко А. К вопросу об ирландской миссии у паннонских и моравских славян. — Вопросы славянского языкознания. М., 1963, вып. 7, с. 69—72.

<sup>17</sup> Thurneisen R. Handbuch des Altirischen. Grammatik, Texte und Wörterbuch. Heidelberg, 1909, 1, S. 15—16.

<sup>18</sup> Ibid., S. 16.

<sup>19</sup> Написания *ph*, *th*, *ch* были введены в Риме с II в. до н. э., и их старались произносить на греческий манер как аспираты, затем, после того как в греческом произошло изменение [ph] > [f], [th] > [θ], [ch] > [x], такое произношение стало проникать и в латынь, и уже во II в. н. э. существовало узаконенное произношение [f], [θ], [x] (см.: Lejeune M. Phonétique histoire du mycénien et du grec ancien. Paris, 1972, p. 60—61; Sturtevant E. H. The pronunciation of Greek and Latin. Philadelphia, 1940, p. 77; Нидерман М. Историческая фонетика латинского языка. М., 1949, с. 83).

отметим, что чаще всего диграфом *ph* обозначался только продукт лениции [p], а [f] < [v] обозначался буквой *f*. С VIII в. появляются обозначения [f], [θ], [x] буквами *p̄ t̄ k̄*.

В древнеирландских текстах использовалась особая система обозначения смычных и щелевых. В начальной позиции буквы *p, t, k* и *b, d, g* обозначали соответствующие фонемы. Однако в середине и конце слова глухие смычные обозначались удвоением, а звонкие смычные — буквами *p, t, k* (или редко по аналогии с обозначением глухих смычных в этой позиции удвоением буквы). Глухие щелевые, как мы уже говорили, обозначались диграфами *ph th ch*, а звонкие щелевые — буквами *b, d, g*.<sup>20</sup> Таким образом, ирландские писцы использовали одни и те же буквы для передачи разных фонем в разных позициях. Несмотря на кажущуюся неточность графики (буква *c* может обозначать и [k] и [g]; *t* и [t] и [d]; *p* и [p] и [b]), ирландская графическая система в большинстве случаев позволяет различать четыре фонемы одного места образования [k]—[ch]—[g]—[γ] и т. п. благодаря использованию графем *k, kh, kk* и *g* и т. п. (написания *bh, dh, gh* и *b', d', g'* появились только в среднеирландском).

Обозначение звонких смычных буквами *p, t, k* обычно связывается с деятельностью миссионеров из Британии. У британских кельтов произошло озвончение интервокальных глухих смычных в их латинской речи; такому произношению латыни они и научили ирландцев и уже затем эта особенность латинской графики кельтов была использована в ирландских рукописях.<sup>21</sup>

После задней гласной палатализованный согласный обозначается предшествующей буквой *i* (ср. *maicc* род. пад. от *macc* 'сын'). В поздних огамических надписях мы, вероятно, уже сталкиваемся с традиционным написанием, которое сохраняло изображение конечных гласных на письме несмотря на то, что в речи они уже исчезли<sup>22</sup> (т. е. написание *maqi* производилось как [mak']). Древнеирландские писцы латиницей отказались от такого изображения мягкого согласного, поскольку оно было двусмысленным, так как могло интерпретироваться как изображение двусложного слова, и стали обозначать мягкость согласного предшествующей гласной буквой. Обозначение мягкости согласного буквой — графический прием, которым впоследствии воспользуются многие системы буквенного письма в Европе. Аналогичным образом твердость согласного после передней гласной изображается предшествующей гласной буквой *u* (или *a*).<sup>23</sup> Такое же изображение твердости и мягкости сохраняется в ирландском до сих пор.

<sup>20</sup> См.: Thurneisen R. Handbuch des Altirischen. . . , 1, S. 20, 518.

<sup>21</sup> Mac Neill J. Notes on the distribution. . . , p. 338; Jackson K. Language and history. . . , p. 70—71.

<sup>22</sup> Green D. Irish as a vernacular before the Norman invasion. — In: A view of the Irish language / Ed. Brian O'Cuiv. Dublin, 1969, p. 13; Vendryes J. L'écriture ogamique. . . , p. 251.

<sup>23</sup> Thurneisen R. Handbuch des Altirischen. . . , S. 51.



## Появление письменности в германоязычных странах

До использования латинского алфавита для записи текстов на родном языке германцы пользовались руническим письмом. Старший рунический алфавит (старший футарк), которым, судя по памятникам, германцы пользовались с III по VII в., состоит из 24 знаков, которые разбиты на 3 группы по 8 знаков в каждой:

ƿ	ᚱ	ᚳ	ᚦ	ᚷ	ᚨ	ᚨ	ᚱ
f	u	b	a	r	k	g	w
ᚱ	ᚲ	ᚴ	ᚵ	ᚷ	ᚸ	ᚹ	ᚺ
h	n	i	j	ei?	p	R	s
ᚹ	ᚻ	ᚼ	ᚾ	ᚿ	ᚰ	ᚷ	ᚸ
t	b	e	m	l	ng	d	o

Каждая руна имела смысловое значение, например ƿ — др. исл. fé 'добро'; ᚱ — hagall 'град', ᚹ — Týr 'Тюр' (бог).

В рунической письменности в целом соблюдается фонографический принцип. Фактически единственным фонологическим различием, которое не отражено в надписях старшими рунами, оказывается различие по долготе краткости.<sup>24</sup>







Старшие руны передают фонологические различия, именно поэтому звонкие смычные и звонкие щелевые передаются одной и той же руной (ᚷ — [d], [ð]), так как они были аллофонами одной фонемы, а глухие щелевые и глухие смычные разными рунами (ᚳ [b], ᚹ — [t]), так как они были разными фонемами.





Рунический алфавит различает в отличие от латинского [w] и [u] и [i] и [j] — графическое различие этих фонем в германских письменностях появилось только в XVI в. Различаются на письме и все качественные различия гласных.


Единственной руной, которая могла обозначать сочетание фонем, была руна ᚵ, употреблявшаяся для передачи суффикса ing или сочетания ng (существуют и надписи, в которых [ng] передаются двумя рунами — n и g).


В Англии, где руны не нашли широкого применения, поскольку там для записей на родном языке рано стала использоваться латиница, старший футарк был увеличен сначала до 28 знаков (см.

<sup>24</sup> В Старших рунических надписях часто не обозначается [n] перед некоторыми согласными (особенно смычными). Вопрос о том, является ли это необозначение просто графическим приемом, свойственным многим видам письма, или свидетельством существования носовых гласных, окончательно не решен (см.: Макаев Э. А. Язык древнейших рунических надписей. М., 1965, с. 58—59).

английский футарк на Темземском мече VIII в.), а еще позднее, в IX—X вв., в алфавит было добавлено еще 5 рун. Древнеанглийский футарк в своем развитии продолжал принципы фонографического письма несмотря на то, что существовал он в одно время с латиницей, где новые графемы (см. ниже) образовывались в основном путем создания разного рода диграфов. Новые древнеанглийские руны появляются для обозначения английских фонем. Для обозначения результата *i*-умлаута от [u] появляется руна  (которая как бы заключает в себе обозначение признаков фонемы [y], т. е. переднего ряда и огубленности ); для обозначения дифтонга [ea] появляется руна . Интересно отметить, что фонографический принцип древнеанглийского футарка распространяется и на обозначение дифтонгов — обозначение древнеанглийского [ea] (а позднее и eo) одним знаком — единственный случай в письменности германских языков, когда для обозначения дифтонга вводится одна буква. Реформаторы древнеанглийского алфавита в ряде случаев пытаются сохранить связь между начертанием руны и ее фонетической значимостью. Так, для обозначения [ä][a] и [o] используются руны   .





Появляются и новые руны для обозначения противопоставления [k]—[k'] и [g]—[g']<sup>25</sup>, причем новые руны, созданные для обозначения велярных фонем, являются видоизменением старых (ср.  [k']— [k],  [g']— [g]).











Если фонологические изменения в древнеанглийском привели к увеличению состава древнеанглийского футарка, то фонологические изменения в древних скандинавских языках привели к прямо противоположным результатам: 24-значный старший футарк сменяется здесь 16-значным младшим футарком. Причем создается такое впечатление, что по мере увеличения потребности в письме уменьшается количество рун в алфавите. Особенностью младшего футарка является то, что в нем одна и та же руна может обозначать несколько фонем. Этот алфавит не отражает, в частности, различия по глухости/звонкости у согласных и многие различия у гласных (руна , например, может обозначать фонемы [ul], [yl], [ol] [ø], [aul], [eyl]).

Хотя некоторые черты такой графической системы можно наблюдать и в надписях старшими рунами (где и [p], и [b] обозначались руной ), высказывалось предположение, что 16-значный рунический алфавит — «результат сознательных реформ письма»<sup>26</sup>. Причем основной причиной такой реформы явились произошедшие звуковые изменения, в частности изменение в распределении смычных и щелевых. Если в эпоху старшего футарка звонкие смычные и звонкие щелевые были аллофонами одной фонемы (и


<sup>25</sup> Это различие не отразилось последовательно. См.: Arntz H. Handbuch der Runenkunde. Halle (Saale), 1935, S. 147.

<sup>26</sup> Jansson B. F. Runinskrifter i Sverige. Uppsala, 1963, s. 26—27.

руна , например, обозначала фонему [d] ~ [ð], то в эпоху викингов звонкие смычные стали особыми фонемами, [ð] стал аллофоном фонемы [ð] ~ [θ]. Было крайне неудобно обозначать аллофоны одной фонемы разными рунами (например,  и ) , а разные фонемы одной и той же руной (например, ), поэтому от обозначения противопоставления по глухости/звонкости отказались вообще.<sup>27</sup>

Однако несмотря на свою нефонологичность, 16-значный футарк прекрасно выполнял свои функции, и фактически все надписи, предназначенные для прочтения, читаются нами и сейчас. Пример функционирования 16-значного футарка показывает возможность существования алфавита, в котором букв оказывается почти вдвое меньше, чем фонем в языке (отметим к тому же, что в рунической письменности никогда не использовались сочетания букв для обозначения фонем). Таким образом, и фонографическое письмо, и письмо, передающее все фонологические различия, с точки зрения передачи информации во многом может быть избыточным и, хотя меру этой избыточности определить непросто, именно она позволяет существовать системам письма, в которых отражены далеко не все фонологические различия. Однако хотя такие системы письма в принципе возможны, любое стихийное возникающее письмо стремится быть письмом звуковым и именно это стремление приводит к тому, что 16-значному скандинавскому футарку приходит на смену система письма с «пунктированными рунами». Центром распространения «пунктированных рун» была Дания. Благодаря своим многочисленным походам в Англию (особенно во времена Кнута Великого) датчане знакомятся с фонографическим в целом английским руническим письмом, причем обозначение противопоставления [u]—[y] как — становится для них моделью усовершенствования рунического алфавита, и фонологические различия [u]—[y], [i]—[e], [k]—[g], [t]—[d], [p]—[b] обозначаются в надписях пунктированными рунами с помощью нанесения точки к руны 16-значного футарка —, —, —, —.

С принятием христианства и развитием письменности на основе латиницы руническое письмо германских народов исчезает, раньше всего в Германии, где оно считалось языческим наследием и поэтому искоренялось, позднее всего в Скандинавии, где мы встречаем много рунических надписей христианского содержания.

Однако отдельные руны продолжают употребляться и в германоязычных странах и в рукописях, написанных латиницей, некоторые из них послужили прообразом создания новых букв. До наших дней, однако, дожила одна единственная руна — исландская буква .

<sup>27</sup> Т р н к а В. Phonological remarks concerning Scandinavian runic writings. — Travaux de cercle linguistique de Prague, 1939, vol. 8, p. 292—297.

Первым германоязычным народом, которой стал пользоваться латинским письмом для записей текстов на родном языке, были англосаксы. Несмотря на то что у них существовал почти идеальный фонографический рунический алфавит, его влияние на латинскую графику было очень незначительно. Это влияние ограничивается употреблением руны  $\text{P}$  для обозначения [w], которое сохраняется и в среднеанглийский период, и употреблением руны  $\text{P}$  для обозначения плоскощелевого дентального, хотя в самых старых древнеанглийских рукописях фонема [θ] обозначается на ирландский манер диграфом th.

Гораздо более значительно влияние латинских и ирландских графических приемов. Древнеанглийские писцы отказываются от фонографической передачи дифтонгов [ēo], [ēa] и обозначают дифтонги диграфами ēo и ēa на ирландский манер. Считается, что по ирландскому образцу обозначалась и веларизованность согласно в написаниях типа eall, seolfor, eorte.<sup>28</sup> Возможно, ирландским влиянием следует объяснить и появление буквы ð, которое фонологически было совершенно неоправданно: в древнеанглийском [ð] и [θ] были аллофонами одной фонемы, в ирландском — разными фонемами.

С позднеирландской традицией связано обозначение фонемы [kʰ] буквой с перед гласными переднего ряда и сочетанием si-, se- перед задними гласными (sealk и т. п.). Звонкий смычный [gʷ], который, как правило, был долгим, обозначается перед задними гласными диграфами szi, sze — т. е. фонологически различительные признаки в графическом изображении оказываются разложенными последовательно: с обозначает смычность,  $\text{z}$  — звонкость,<sup>29</sup> i или e — палатализованность.

В древнеанглийском используются одни и те же графемы в разных позициях для изображения разных фонем, — так, если в древнеанглийском руническом алфавите есть руна  $\Psi$  (x) и руна  $\text{N}$  (h), то в древнеанглийских рукописях обе эти фонемы обозначены буквой h, поскольку [x] и [h] невозможны в одинаковых позициях (ср. hus, но miht и sōhte).<sup>30</sup>

Под влиянием древнеанглийской письменности у континентальных германцев появляются буквы, восходящие к рунам  $\text{P}$  [w] и  $\text{P}$  [θ], английским же влиянием объясняется употребление h

<sup>28</sup> Bourcier G. L'orthographe de l'anglais. Paris, 1978, p. 43. — Обычно, правда, написания ea и eo в таких случаях рассматриваются как обозначение кратких дифтонгов, соответствующих долгим [ēa], [ēo].

<sup>29</sup> Буква z в древнеанглийском чаще всего обозначала звонкую щелевую фонему [γ—γʷ].

<sup>30</sup> Несмотря на то что нет позиций противопоставления [h] и [[x]/[ç]], они разные фонемы, так как являются членами косвенно-фонологической оппозиции. См., например: M o u l t o n W. The stops and spirants of Early Germanic. — Language, 1954, vol. 30, n. 1, p. 39.

в значении [h] и [x] и появление графемы для обозначения широкого е — ае, æ или e.<sup>31</sup>

Несмотря на то что ряд новых букв попал в Германию из Англии, уже франкский король Гильперих (ум. 584 г.) предложил реформу латинского алфавита для обозначения германских фонем. Григорий Турский сообщает, что Гильперих не только писал по-латыни, но и придумал новые буквы θ, ψ, z и Δ, которые произносились как греческая омега, ае, the и uui («addit autem et litteras litteris nostris, id est ω, sicut Graeci habent, ае, the, uui, quarum characteres hi sunt θ ω, ае ψ, the z, uui Δ»).<sup>32</sup> Нет сомнения, что речь идет не просто об изобретении дополнительных букв латинского алфавита, а о буквах, необходимых для передачи германских фонем. Для обозначения [w] Гильперих предлагает использовать знак Δ, несомненно восходящий к руне Þ (заметим, что этим его предложением и воспользовались древнеанглийские, а затем и древне немецкие писцы). Вряд ли следует сомневаться и в том, что букву ψ, похожую на греческое «пси» и готское ψ [θ], Гильперих предлагает использовать для обозначения гласной фонемы. Не вполне ясно, какую германскую фонему Гильперих имел в виду, однако любопытен факт совпадения формы буквы Гильпериха с формой руны древнеанглийского футарка ƿ (ēa). Вполне возможно, что и букву θ, которая по свидетельству Григория Турского произносилась как греческая омега, Гильперих предлагал использовать для обозначения германской фонемы (возможно, германского долгого o). И, наконец, последняя «новая буква» Гильпериха — z, которую Григорий Турский читает как the. В латинском алфавите существовала буква z, которая писалась только в заимствованных из греческого словах. Образованные римляне стремились произносить греческие буквы на греческий манер. Хотя уже с начала четвертого века до н. э. в Аттике и в эллинистическом греческом z произносилась как в современном греческом как звонкий щелевой [z]<sup>33</sup> и в таком значении и была заимствована в IV в. в готский алфавит, в греческих диалектах Италии сохранялось (и сохраняется до сих пор) произношение [dz].<sup>34</sup> Именно такое произношение культивировалось и в Риме.<sup>35</sup> Гильперих предложил использовать эту букву, вероятнее всего, для передачи фонемы, возникшей по второму верхне немецкому перебою согласных из германского [t].

Таким образом, Гильперих был первым, кто попытался провести реформу латинского алфавита для нужд германских языков.

<sup>31</sup> См., например: Braune W. Althochdeutsche Grammatik. Halle, 1955, S. 13.

<sup>32</sup> Цит. по: Specht A. Geschichte des Unterrichtswesens in Deutschland. Stuttgart, 1885, S. 3.

<sup>33</sup> Sturtevant E. H. The pronunciation of Greek and Latin, p. 93.

<sup>34</sup> Rohlf G. Die Aussprache des Z (ζ) im Altgriechischen. — Das Altertum, 1962, Bd 8, n. 1—2, S. 6—7.

<sup>35</sup> Ibid., S. 5.



Не исключено, что создатели письменных памятников на древневерхненемецком языке были знакомы с реформой Гильпериха и испытали на себе его влияние, прежде всего в обозначении [w] и [t̥], причем интересно, что в древневерхненемецких памятниках чаще всего не делается различия между аффрицированным и щелевым продуктом второго перебоя и оба они обозначаются буквой z.

Первые верхненемецкие письменные памятники относятся к концу VIII в. (перевод Исидора датируют 790 г.). Их отличает большое разнообразие графических приемов, причем это разнообразие возможно не только в разных монастырях, что может отражать различие в фонологических системах,<sup>36</sup> и у разных монахов, но и у одного и того же писца. Уже в первом памятнике (перевод Исидора) употребляются разные графемы для изображения щелевого и аффрицированного продукта второго перебоя ([t]—zs и zss), а Ноткер Губастый (и вслед за ним Виллерам) последовательно обозначает различие долгих и кратких, ставя знак циркумфлекса на долгих и знак акута на кратких.<sup>37</sup>

В целом и для древневерхненемецких писцов было характерно употребление одних и тех же графем в разных позициях для обозначения разных фонем. Так, sh в середине слова мог обозначать [x] (machon), в начале слова и после согласных аффрикату [kx] (chind, starchêr).<sup>38</sup>

Если древневерхненемецкие писцы не создавали новых букв, а пытались использовать комбинации латинских букв для обозначения древневерхненемецких фонем, то в древнесаксонских рукописях мы встречаемся с новой буквой  $\text{b̄}$  — перечеркнутым b, которая появилась по аналогии с заимствованной из древнеанглийской графики буквой  $\text{ð}$ ,<sup>39</sup> тем самым фонологически одномерным оппозициям [b]—[v], [d]—[ð] соответствуют и графически одномерные оппозиции b— $\text{b̄}$ , d— $\text{d̄}$ , которые графически показывают не только то, что [b] и [d] отличаются от [v] и [ð] на один признак, но и то, что [b] отличается от [v] так же, как [d] отличается от [ð].

Несмотря на то что немецкая письменность в начале своего развития «выступает в довольно запутанном и многообразном виде»,<sup>40</sup> она все же в значительной степени создает систему соответствий передачи фонологических различий определенными сред-

<sup>36</sup> См., например: Penz H. Zur Methodik der historischen Phonologie: Schreibung-Lautung und die Erforschung des Althochdeutschen. — In: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur (Tübingen). 1982, Bd 104, n. 2.

<sup>37</sup> Braune W. Althochdeutsche Grammatik, S. 15; Leimbach F. Die Sprache Notkers und Willirams. Göttingen, 1933, S. 8.

<sup>38</sup> Balázs J. Zur Frage der Typologie europäischer Schriftsysteme mit lateinischen Buchstaben. — Studia Slavica, 1958, t. 4, n. 3—4, S. 266.

<sup>39</sup> Holthausen. Altsächsisches Elementarbuch. 2 Aufl. Heidelberg, 1921, S. 20.

<sup>40</sup> Kluge F. Deutsches Sprachgeschichte. Berlin, 1924, S. 23.

ствами графики, хотя правила графики и не являются общими и едиными.

Позже всех латинское письмо проникает в Скандинавию. Скандинавская письменность испытала сильное влияние английского и немецкого письма. В некоторых датских рукописях сказывается знакомство с пунктированными рунами. Фонологические различия [n]—[n'], [l]—[l'], [u]—[y] передаются здесь противопоставлением перечеркнутых и неперечеркнутых букв n—n, l—l, u—u, фонологически привативные оппозиции передаются графически привативными оппозициями,<sup>41</sup> в некоторых случаях различие мягких и твердых l и n обозначается при помощи предшествующих гласных букв или j,<sup>42</sup> так же как обозначались эти различия в ирландском.

Несмотря на то что именно в Исландии появился теоретический трактат о принципах создания алфавита (см. с. 77), практическое развитие письменности на латинской основе и здесь, судя по памятникам, происходило стихийно, с присущими ему чертами: отсутствием орфографической нормы и существованием большого количества графических вариантов.

### Появление письменности на латинской основе в романоязычных странах

В большинстве романоязычных стран письменность на родном языке появляется сравнительно поздно. Это было связано, вероятно, с тем, что латынь была непосредственным источником романских языков, и, несмотря на то что уже в V в. классическая латынь была языком мертвым, умеющему читать испанцу, итальянцу и даже французу в период раннего средневековья не составляло большого труда понимать канонические тексты церковной латыни. Вполне вероятно и то, что различие между написанием и произношением латыни могли быть не меньшими, чем различия между произношением и написанием в современных романских языках, причем в разных областях произносили церковные латинские тексты по-разному (ср. известную фразу св. Иеронима о том, что «латинский язык изменяется ежедневно во времени и пространстве»<sup>43</sup>). Возможно, именно за такой разрыв ратовали и отцы церкви св. Августин (352—420), св. Иероним (340—420), и папа Григорий Великий (540—604), когда призывали приблизить устный язык церкви к народной речи, оставляя свой пись-

---

<sup>41</sup> Skantrup A. Det danske sprogshistorie. København, 1944, 1, s. 222—223; Brøndum-Nielsen J. Gammeldansk grammatik i Sproghistorisk fremstilling. København, bd 2, s. 206.

<sup>42</sup> Brøndum-Nielsen J. Gammeldansk..., s. 207; таким же образом обозначались мягкие l и n в древноревжском (Seip D. A. Norsk språkhistorie til omkring 1370. Oslo, 1931, s. 302).

<sup>43</sup> Цит. по: Бурсье Э. Основы романского языкознания. М., 1952, с. 116.

менный язык канонической латынью.<sup>44</sup> Когда разрыв между произношением и латинским написанием стал слишком большим, была проведена известная реформа Карла Великого, стремившегося привести произношение в соответствие с латинским написанием. В конечном счете именно эта реформа и способствовала появлению письменности на родном языке в романских странах (прежде всего во Франции, где письменность появилась раньше всего), поскольку после нее народная речь оказалась без письменности.

Связные тексты на родном языке появляются во Франции в IX в., в Провансе в XI, Испании, Португалии, Италии и Каталонии в XII—XIII вв. Сходство фонологических систем романских языков и общность их происхождения предопределили использование сходных графических приемов и в некоторых случаях распространение графических приемов из одной романской области в другую. Общим часто оказывается не только обозначение фонологических различий, но и их необозначение. Так, во всех романских языках количественные различия сменились качественными, однако, поскольку в латыни количественные различия не обозначались, последовательно не передавались и новые качественные различия, а поскольку новые краткие гласные более высокого подъема совпали с исконными долгими более низкого подъема, непоследовательное обозначение качества гласных усугублялось<sup>45</sup> (ср., например, шесть способов описания слова «господин» — *signor, segnor, seigneur, sieigneur, segnieur, seigneur* в одном и том же старофранцузском памятнике).<sup>46</sup> Заметим, что в графическом и в фонологическом облике слова в индоевропейских языках согласные более информативны, и если при обозначении гласных в первых романских рукописях мы часто встречаемся с непоследовательным их обозначением, то новые противопоставления согласных, как правило, обозначаются во всех ранних романских рукописях, причем знакомство с латынью приводит к появлению графем, отражающих этимологическое написание. Так, для обозначения палатальных *l* и *n*, появившихся во всех романских языках, используют разные графемы, в состав которых входят буквы, соответствующие источникам этих фонем: т. е. *gn, nn, ll*, или *ñ*, (что является сокращенным написанием *nn*). По аналогии с этимологическими написаниями *gn* в итальянском возникают и сходные с ними неэтимологические написания — *gl*<sup>47</sup> и буква *g* перед *l* и *n* становится обозначением признака палатальности.

<sup>44</sup> Ср. высказывание св. Августина: «Лучше пусть нас порицают грамматисты, чем не понимает народ» (цит. по: P u l g r a m E. *Italic, Latin...*, p. 286).

<sup>45</sup> См. например: Д о з а А. История французского языка. М., 1956, с. 420; А р р е l С. *Provenzalische Lautlehre*. Leipzig, 1918, S. 29.

<sup>46</sup> М и л ь м а н Н. Н. К вопросу об исследовании графики старофранцузского языка. — Уч. зап. Пермск. гос. ун-та им. А. М. Горького. Пермь, 1970, вып. 2, № 232, с. 29.

<sup>47</sup> W i e s e В. *Altitalienisches Elementarbuch*. Heidelberg, 1904, S. 11.

Интересное обозначение [l'] и [n'] как lh nh было выработано провансальскими писцами. Такое написание связано с обозначением продуктов палатализации разными диграфами, содержащими букву h, когда [k'] обозначалось диграфом ch, а [š'] диграфом sh или ssh.<sup>48</sup> Буква h была воспринята как показатель мягкости и, таким образом, появились написания lh и nh в провансальских, а затем и в португальских рукописях<sup>49</sup> — такое написание [l'] и [n'] сохраняется в португальском письме до сих пор.

В некоторых романских рукописях для обозначения [l'] и [n'] используется очень большое количество аллографов как этимологических, так и вновь созданных: ср., например, обозначение ln, ilh, ill, ll, gl и nh, inh, in, gn, ign, nnh в провансальских рукописях<sup>50</sup> или обозначения ngn, ng, gn, gni, ngni, ni и gli, li, lgl, lli, lgli, gl в итальянских рукописях.<sup>51</sup> Эти аллографы не были закреплены за словами и в одном и том же слове, в одной и той же рукописи могли быть использованы разные обозначения одного и того же фонологического противопоставления, однако, несмотря на многообразие вариантов, такое написание было вполне эффективно, так как чаще всего один аллограф имел только одно фонологическое значение (т. е. написания lh, lgl, nh, ngn и т. д. могли обозначать только [n'] и [l'] и не обозначали [lh], [nh] или [lgl], [ngh], так как таких сочетаний в языке не было).

Другим общероманским изменением, нашедшим отражение на письме, было изменение велярных смыхных (его не произошло только в сардинском). Обозначение изменений этого типа тоже было во многом сходным в разных романских языках. Для обозначения продукта изменения [k] перед [a] старофранцузские писцы стали использовать диграф ch, позднее такое же обозначение переняли провансальские писцы.<sup>52</sup> Использование h в диграфе для обозначения [k'] фонетически было неоправданно, поскольку в канонической латыни ch обозначено заимствованное из греческого [k<sup>h</sup>], а затем [x], однако графически оно было эффективно, поскольку ни [k<sup>h</sup>], ни [x] в старофранцузском не было, а h к тому же было «немой буквой», а следовательно, очень удобным знаком для создания новых графем. Буква h стала настолько удобным компонентом диграфа, обозначающим мягкость, что в ряде случаев превратилась в обозначение различительного признака палаталь-

<sup>48</sup> Appel V. Provenzalische Lautlehre, S. 29—30.

<sup>49</sup> Teuysier P. Histoire de la langue portugaise. Paris, 1980, p. 12, 30.

<sup>50</sup> Wiese B. Altitalienisches Elementarbuch, S. 14; Ewald F. Die Schreibung in der autographischen Handschrift des «Canzoniere» Petrarca. Halle, 1907, S. 46.

<sup>51</sup> Appel C. Provenzalische Lautlehre, S. 30; Schultz O. Altprovenzalisches Elementarbuch. Heidelberg, 1924, S. 13.

<sup>52</sup> Доза А. История французского языка, с. 422. — В разных областях Прованса [k] перед [a] имело различную судьбу, и различия в написании типа *chanceur* — *chanceur* могли указывать и на различный фонемный состав этих слов в разных памятниках (где *ch-* [k'], а *c-* [k]); см.: Appel C. Provenzalische Lautlehre, 1. 2.

ности — она использовалась не только для обозначения [k'] (ch) и [l'] и [n'] (ln, nh) (см. выше), но и при обозначении [g'] (gh) в тех областях, где [g] палатализовалось перед [a].<sup>53</sup>

В старофранцузской письменности для обозначения продукта развития [k] ([k] > [ts]) перед гласными переднего ряда в соответствии с позднелатинской традицией употребляется буква с, перед гласными заднего ряда [ts] часто обозначалось диграфами cz или zc, которые впоследствии видоизменялись, — z стало писаться под с и превратились в «хвостатое» ç. Перед гласными заднего ряда с в соответствии с позднелатинской традицией обозначало [k]. Таким образом, с в разных позициях обозначало разные фонемы, однако графическое выражение противопоставления сохранялось (перед гласными заднего ряда противопоставление [k]—[ts] обозначалось как противопоставление графем с—cz или ç, а перед гласными переднего ряда это же фонологическое различие обозначали графемы q, qu, —с). Подобного же типа обозначение противоположения [k]—[ts] перед гласными заднего ряда мы могли найти и в ранних итальянских рукописях, где [ts] перед задними гласными может обозначаться буквами z, cz или ç.<sup>54</sup>

Если во Франции и Провансе h стало показателем палатализации, то в Италии написание ch стало обозначать твердое k, а написание gh — (соответственно твердое g, поскольку [ç] и [ʒ] могли обозначаться не только сочетаниями ci-, ce-, gi-, ge-, но и простыми буквами с и g во всех позициях (как, например, в написаниях типа *saccato, ragone*).<sup>55</sup>

Как правило, романские писцы не создавали новых букв для обозначения новых фонем. Однако в некоторых старофранцузских (нормандских) рукописях XII в. в Англии для обозначения отсутствующих в латыни фонем используются особые надстрочные знаки. Если акцент на гласном обозначал обычно ударение, то двойной акцент на согласном являлся обозначением особых фонем; таким образом, буквы ü; ī, ġ, ċ обозначали фонемы [v], [ʒ], [ç].<sup>56</sup> Такое новшество англонормандских писцов было одной из первых попыток использовать надстрочные знаки для обозначения особых фонем в письменностях на латинской основе.

Несмотря на то что у графики первых романских памятников есть много общего с графикой первых памятников на других языках Европы (прежде всего существование разнообразных способов передачи одного и того же фонологического различия и незакрепленность аллографов за словами), многие их особенности связаны с особым отношением романских языков к латыни. Все

<sup>53</sup> Доза А. История французского языка, с. 422.

<sup>54</sup> Pariselle E. Über Sprachformen der ältesten sicilianischen Chroniken. Halle (Saale), 1883, S. 17—19; Ewald F. Die Schreibung in der autographischen Handschrift. . . , S. 14.

<sup>55</sup> Wiese B. Altitalienisches Elementarbuch, S. 12.

<sup>56</sup> Balázs J. Zur Frage der Typologie. . . , S. 275—276.

средневековые писцы знали латынь, но романские писцы в отличие от писцов германских или славянских стремились не только передать графически фонемные противопоставления, но и сделать графический облик слова не слишком отличным от латинского прообраза. Использование этимологических написаний, которые в некоторых случаях способствовали появлению новых графем (см. выше), еще больше разнообразили и без того пеструю картину первых романских памятников. Однако обычно отмечается, что, несмотря на отсутствие единообразия, графика первых романских памятников в целом более последовательна и эффективна, чем графика более поздних рукописей.<sup>57</sup>

### Появление письменности на латинской основе в славяноязычных странах

Латинское письмо проникло к западным славянам раньше глаголицы и кириллицы. Первой попыткой применения латинского алфавита для записи славянского (древнесловенского) текста являются Фрейзингенские отрывки, однако эта традиция не получила распространения, и в IX в. в Великой Моравии использовалась глаголица. После изгнания учеников Константина Философа и Мефодия из Моравии, казалось бы, должны были появиться предпосылки для появления славянского письма латиницей, однако отношение римских пап к службе на родном языке в целом было отрицательным. Несмотря на то что папы неоднократно давали разрешение пользоваться славянским языком в церкви, каждый раз такое разрешение сменялось запретом.<sup>58</sup>

Первые чешские памятники латиницей появляются сравнительно поздно (в XIII в.), еще позднее появляются письменные памятники на родном языке в Польше. Чешская письменность подобно письменностям других европейских стран создавалась в монастырях, причем чешские писцы учились письму у немецких монахов, поэтому на графику первых чешских памятников оказала влияние графика не только латинских, но и немецких рукописей. Однако несмотря на то что создатели чешской письменности могли учитывать опыт своих немецких предшественников, приспособить латинский алфавит для передачи богатого славянского консонантизма оказалось очень сложно.

В самых первых опытах чешской письменности многие фонологические различия оставались необозначенными, поскольку вначале все чешские фонемы пытались передать только латинскими

<sup>57</sup> См., например: Д о з а А. История французского языка, с. 422; T e u y s s i e r P. Histoire de la langue portugaise, p. 30.

<sup>58</sup> Западным славянам, жившим на территории современной Чехословакии, славянская литургия разрешалась в 868—870, 880, 1067 гг., а в 885, 924, 972, 1061, 1080 папы накладывали запрет на пользование родным языком в церкви. Последнее такое разрешение было получено в 1880 году. См.: С а з а в с к и й М. Славянская письменность и литургия в IX—XI вв. на западе. Н. Новгород, 1914, с. 18.

буквами без использования диграфов. Затем появляются диграфы, система которых разрабатывается, и вырабатываются средства однозначной передачи фонемных различий: Й. Цейнар говорит об «идеальной системе» старочешской письменности, где [š] могло обозначаться [ʃ], [s] — zz, [ž] — —s, [z] — z, [č] — chz, c — [cz].<sup>59</sup> Такое последовательное обозначение фонологических различий не было, однако, характерно для старочешских памятников, где упоминаемые Й. Цейнаром графемы могли во многих случаях находиться в свободном варьировании. Для обозначения фонем [č] и [š], в частности, использовалось около двадцати вариантов различных графем.<sup>60</sup> Однако, несмотря на совпадение некоторых аллографов [č] и [š], существовал целый ряд аллографов, которые могли употребляться только для обозначения аффрикаты, — в первую очередь это аллографы, в составе которых писалась буква, передававшая смычный элемент аффрикаты (tʃ, tʃ, z, z, chz, cz, czz). Мягкость согласных чаще всего обозначалась гласными буквами у или i (ti, tu, lu, li и т. п.).<sup>61</sup> В самых первых чешских памятниках отмечают использование и диакритических значков: гачек (галочка) над буквой мог обозначать твердость в слогах [dyl, [tyl, [nyl), а точка — мягкость, часто гачек наряду с удвоенным написанием гласной буквы мог обозначать и долготу гласного.<sup>62</sup> Эти знаки, однако, употреблялись крайне непоследовательно.

Еще сложнее было приспособить латиницу к польскому языку. Польские писцы при создании письменности ориентировались прежде всего на чешскую графику, которая была далеко не совершенна; кроме того, в польском согласных фонем было еще больше (в частности, в нем были фонемы [ź, ʒ, ć], которых не было ни в одном европейском языке,<sup>63</sup> и сохранялись носовые гласные. Мягкость согласных обозначалась чаще всего гласной буквой i или u после согласной буквы (реже перед согласной).<sup>64</sup> В первых польских памятниках можно найти такие обозначения согласных фонем: [x] — ch, [c] — cz, che, [č] — che, [ž] — dz, [š] — sz, [ř] — rs, rsz. Несмотря на то что эти обозначения были вполне удобными, в тех случаях, когда графема была однозначна, употреблялись они крайне непоследовательно. Носовые гласные часто либо вообще не обозначались, либо обозначались сочетаниями an, en, em и т. п. В некоторых старопольских рукописях для обозначения передней носовой гласной появляется особый знак, похо-

<sup>59</sup> Sejn ar J. Odr az znělostní asimilace sykavek v spřezkových prapovisných systémech v češtině. — Slovo á slovesnost, 1969, č. 2, r. 30, s. 150—152.

<sup>60</sup> Matejka L. Grafemski sustavi u ranoj slavenskoj pismenosti. — Slovo, 1971, 21, s. 75.

<sup>61</sup> См., например: Макушева В. В. Из чтений о старочешской письменности. Воронеж, 1879, с. 74.

<sup>62</sup> Sejn ar J. Odr az znělostni. . . , s. 152.

<sup>63</sup> Лер-Сплавинский Т. Польский язык. М., 1954, с. 71.

<sup>64</sup> Klemensiewicz Z. Historia języka polskiego. Warszawa, 1974, s. 92—93.

жий на перечеркнутое о (o), который либо пишется рядом с гласной буквой аѡ или еѡ (таково, вероятно, было его первоначальное употребление), либо обозначает носовую гласную самостоятельно.<sup>65</sup> Обозначение носовых гласных особым способом, как сочетания гласной буквы с знаком, передающим назализацию, было характерно и для глаголической письменности (см. ниже). Причем и в глаголице знак назализации переосмысливается и начинает использоваться для обозначения гласного. Возможно, на обозначение польских носовых повлияла глаголическая графика; однако, вероятнее всего, в старопольских памятниках мы имеем дело с типологически сходным с глаголицей обозначением назальности, свидетельствующим о том, что носовые гласные воспринимались как оральные гласные с дополнительным признаком назализации, что и нашло отражение на письме ([e<sup>n</sup>] обозначается еѡ).

Реформа чешской графики, проведенная Я. Гусом в 1412 г., который создал идеальную фонографическую чешскую письменность, используя надстрочные знаки, выходит за рамки рассматриваемого периода.

Перечислим в заключение основные приметы средневековых писцов, создававших письменность на латинской основе.

В стихийно появившихся средневековых европейских письменностях использование фонографического принципа ограничивается, как правило, только теми случаями, когда фонема нового языка может быть обозначена одной буквой латинского алфавита ([a]—а, [b]—b и т. д.). Однако во многих ранних письменностях иногда появляются новые буквы, заимствованные из других письменностей (рунические  $\text{ᚢ}$ —[θ] или  $\text{ᚷ}$  [w]) или создаются новые буквы: как древнесаксонское  $\text{ᚢ}$ , древнедатские  $\text{t}$ ,  $\text{n}$  и  $\text{o}$  и знак  $\text{o}$  для передачи носовой гласной в польских рукописях. Редким является и использование фонологически лишней латинской буквы в новом значении для передачи собственной фонемы — единственным таким случаем является обозначение фонемы [š] буквой  $\text{x}$  староиспанскими писцами. Новый фонографический принцип для обозначения некоторых фонем использовали и англонорманские писцы, придавая особое значение диакритическим знакам. Чаще всего новые буквы создавались путем небольшого видоизменения существующих латинских букв, при этом стремились графическими средствами передать характер фонологической оппозиции: фонологически одномерные оппозиции становились на письме и графически одномерными (ср., например,  $\text{b}$ — $\text{ḅ}$ ,  $\text{d}$ — $\text{ḏ}$  в древнесаксонском,  $\text{l}$ — $\text{ł}$ ,  $\text{n}$ — $\text{ń}$  в древнедатском,  $\text{g}$ — $\text{ḡ}$ ,  $\text{c}$ — $\text{ç}$  в англонорманском).

При реформах рунической письменности мы также можем заметить явно выраженное стремление сходного графического

<sup>65</sup> Лер-Сплавинский Т. Польский язык, с. 88; K l e m e s i e w i c z. Historia języka polskiego, s. 93.



обозначения коррелятивных фонем (ср. обозначение [k'] — [k], [u] — [ü] и т. п. в древнеанглийских рунах и датские пунктированные руны).

В гораздо большей степени, чем фонографический принцип, для первых средневековых европейских памятников характерно использование различного рода диграфов и других комбинированных графем. Причем эти комбинированные графемы могли иметь различную природу. Очень часты комбинированные графемы, состав которых определялся различительными признаками изображаемой фонемы, — при этом фонологические различительные признаки изображались сочетанием двух или нескольких букв. Различного рода палатальные и палатализованные согласные во многих языках обозначались чаще всего сочетанием буквы, изображающей соответствующую палатальную или непалатализованную согласную, с буквами *i* или *u*. Впервые с таким обозначением мягких мы встречаемся в ранних ирландских рукописях, затем оно появляется фактически во всех языках, где были мягкие фонемы (в романских, в датском и норвежском, в славянских). Древнеанглийское написание *szī* передает различительные признаки фонемы [g'] уже тремя буквами — с передана смычность, *z* — звонкость, а *i* — палатальность.

Второй способ образования диграфов предполагает возможность отрыва графического значения буквы в диграфе от ее звучания в алфавите. Самой удобной буквой для разного рода диграфов оказывается буква *h*, которая тоже часто может быть использована как показатель различительного признака. Если в ранней ирландской графике значение щелевости у *h* в диграфах *th*, *ch*, *rh* соответствует латинскому употреблению этих диграфов, то передача палатальности в диграфах *ch*, *gh*, *lh*, *nh* является достижением французских и провансальских писцов. Таким же признаком палатальности могла оказываться и буква *g* в старопитальянских диграфах *gn*, *gl*. Особенно часто использовались в комбинированных графемах те буквы, которые обозначали несочетающиеся фонемы; таким образом, такая комбинированная графема могла иметь только одно звуковое значение (ср. написание *sz*, *lh*, *nh*, *ggl*, *ngni*, *ch*, *th* и т. п.).

Одним из самых частых приемов средневековых писцов было обозначение одной и той же графемой разных фонем в разных позициях. Подобно тому как в фонологических системах один и тот же звук может быть вариантом разных фонем в разных позициях, в графических системах одна и та же графема может обозначать разные фонемы в разных позициях, т. е. для каждой позиции существуют свои противопоставления графем. Так, в древнеанглийском *h* в начале слова обозначало [h], а перед согласной [x]. Противопоставление [k]—[ts] в позиции перед задними гласными передавалось в ряде письменностей как *c*—*cz* (*ç*), а перед передними гласными как *qu*, *q*—*c*. Несмотря на то что разные фонемы обозначаются в данном случае одним и тем же знаком, точность передачи фонемных противопоставлений не страдает.

Одной из основных особенностей первых европейских письменностей, созданных на основе латиницы, является использование большого числа аллографов и незакрепленность этих аллографов за словами. Хотя эти особенности имеют экстралингвистические причины — в первую очередь они связаны с отсутствием переводов церковных канонических текстов в католической Европе, а следовательно и отсутствием образцов орфографии — незакрепленность аллографов за словами свидетельствует о том, что в средневековых письменностях графика в большей степени оказывалась средством передачи фонологических различий, чем в современных письменностях на латинской основе.

Изображение фонологических различий разными способами характерно и для многих современных европейских письменностей (так, в современной английской письменности насчитывают 104 способа обозначения почти втрое меньшего количества фонем, причем некоторые из английских графем состоят из четырех букв ough, aigh и т. п.), однако в наше время существует понятие орфографии, т. е. все графемы закреплены за словами и, таким образом, возможно существование омофонов, имеющих разное написание (ср., например, англ. sea и see, нем. Saite и Seite и т. п.). Средневековые писцы не могли последовательно писать по-разному слова с одинаковым фонологическим составом, поскольку графика для них была прежде всего средством передачи звукового языка. Если, например, для обозначения фонемы [l'] в провансальском существовало 6 аллографов, то любой из них мог быть употреблен в любом слове с [l'] и выбор аллографа зависел только от вкуса писца, красоты и сочетаемости на письме букв, количестве места и т. п. Существование большого количества аллографов для обозначения разных фонем и незакрепленность их за словами часто приводило к тому, что слово могло иметь большое количество вариантов написаний, и если бы средневековый английский писец получил возможность написать современное слово potatoe, то не исключено, что мы бы увидели нечто вроде ghoughphtheighteau.<sup>66</sup> Однако само по себе существование разных обозначений одного и того же фонемного различия еще не свидетельствует о неэффективности письменности. Важно, чтобы эти обозначения были фонологически однозначны и имели одно значение в одной и той же позиции. С фонологической точки зрения неэффективной графическая система может оказаться только в том случае, если какая-либо графема имеет разные значения в одной и той же позиции. Однако даже в тех случаях, когда в средневековых письменностях не всегда строго соблюдается однозначная передача фонемных различий, эти письменности

<sup>66</sup> Пример такой современной английской графической загадки приводит О. Есперсен. В этом слове употреблены графемы, изображающие фонемы — [p], [ou], [t], [ei], [t], [ou] в других словах: gh обозначает [p] в слове hiccough, ough — [ou] в dough, phth — [t] в phthisic, eigh- [ei] в neigh, tte- [t] в gazette, eau [ou] в beau (Jesperesen O. Fonetik. København, 1897—1899, s. 66—67).

хорошо функционировали из-за достаточной информативности контекста.

В целом, хотя европейские письменности, созданные на основе латинского алфавита, были менее последовательны при передаче фонемных различий, чем письменности, созданные Вульфиллой и Константином Философом, они не только вполне удовлетворительно решали свою задачу, но и выработали в ряде случаев графические приемы, свидетельствующие о понимании средневековыми писцами многих проблем, связанных с передачей звукового языка на письме.

## СОЗДАНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ ПИСЬМЕННОСТЕЙ НА ГРЕЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

Для европейских письменностей на латинской основе было характерно большое разнообразие способов передачи одного и того же фонетического противопоставления и отсутствие графического единства. Господство доктрины о трехязычии, несмотря на деятельность ирландских монахов, препятствовало появлению здесь канонических текстов на родном языке, которые могли бы стать графическими образцами для других текстов. У готов, армян, грузин, коптов, эфиопов и славян, принявших христианство из Византии, письменность появилась прежде всего в связи с необходимостью перевода Библии, что и предопределило ее большую нормированность и авторитет. У большинства народов, принявших христианство из Византии, письменности явились плодом индивидуального творчества выдающихся людей своего времени. Эти письменности гораздо более единообразны, последовательны и фонографичны, чем стихийные европейские письменности на латинской основе.

## ГОТСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ

Первым варварским народом Европы, принявшим христианство, были готы. Вероятно, готы познакомились с христианством уже в III в.,<sup>67</sup> в IV в. христианство было уже настолько распространено, что появилась необходимость в переводе Библии, что и было осуществлено в середине IV в. готским епископом Вульфиллой.

Создатель готской письменности родился в 311 г., учился в Византии, проповедовал христианство среди готов. После того как готы-христиане были изгнаны за Дунай в Мезию на территорию Византии (348 г.), он был назначен епископом Мезии в Доро-

<sup>67</sup> См.: Jellinek Н. Н. Geschichte der gotischen Sprache. Berlin, Leipzig, 1926, S. 7—11. — Основная масса готов приняла христианство в форме арианства, чему в немалой степени способствовала сам Арий, который в 320 году был выслан в Иллирию. Ученики его проповедовали и в соседней Дакии, где в то время жили готы (см.: Ohlmarks А. Goternas bibel. Stockholm, 1962, s. 13—15).

сторуме (Силистре). Здесь Вульфила, вероятно, и начал переводить Библию на готский язык. Умер Вульфила в 382 г. в Константинополе, куда был вызван константинопольским патриархом на диспут об арианстве, сторонником которого он оставался до конца своих дней.

Создавая алфавит и систему графики, Вульфила опирался прежде всего на греческую письменность своего времени. Был он знаком и с латинской и с рунической письменностью. Готский алфавит состоит из 27 знаков, два из которых (𐌶 и 𐌷) употребляются только в цифровом значении. Все буквы имели цифровую значимость, соответствующую месту буквы в алфавите, и название, которое в отличие от греческого является значимым словом и чаще всего соответствует названиям рун (ср. в венской рукописи a=aza, b=berona, g=genua, d=daaz и т. п.).

А - a - 1	І - i - 10	ᚱ - r - 100
Б - b - 2	К - k - 20	ᚺ - s - 200
Г - g - 3	Λ - l - 30	ᚹ - t - 300
Δ - d - 4	М - m - 40	ᚺ - w - 400
Є - e - 5	Ν - n - 50	ᚻ - f - 500
Ц - q - 6	ᚺ - j - 60	ᚷ - x - 600
Ζ - z - 7	П - u - 70	ᚾ - hr - 700
h - h - 8	Π - p - 80	ᚿ - o - 800
Ψ - p - 9	Ч - -- - 90	↑ - -- - 900

Фигуры большинства букв заимствованы Вульфиллой из греческого. Часть фигур имеет латинское происхождение (h, s, k), хотя не исключено, что формы букв S и R стали латинскими только в остготском королевстве. Влияние рунического письма сказалось на форме буквы 𐌵 [u]. Вульфила отказался от обозначения фонемы [u] диграфом ov по греческому образцу вероятнее всего, чтобы избежать двусмысленности при интерпретации написания o 𐌶, поскольку написание 𐌶 он использовал в качестве фигуры для обозначения [w]. Особые буквы для передачи фонем [p], [w], [j] были созданы, вероятно, под влиянием рунического алфавита, хотя формы их больше похожи на формы греческих и латинских букв. Написания типа swnagoge, martwr в языке Вульфила, возможно, обозначали заимствованную из греческого фонему [ü], а в остготском королевстве вероятно и произношение w в этих словах как [i], однако такое греческое употребление этой буквы не нарушало ее однозначности, поскольку значение [ü] она имела только между согласными, а в других

позициях (перед гласной и после гласной и пос согласной в конце слова) она обозначала [w].

В целом в той мере, в какой алфавит Вульфилы соответствует греческому, латинскому или руническому алфавиту, он фонографичен (а = [a],  $\mathfrak{B}$  = [b]...), однако фонографичность букв, которые скорее всего являются созданием Вульфилы ( $\mathfrak{C}$  и  $\mathfrak{U}$ ), у многих исследователей вызывают сомнения. Многие германисты вслед за У. Моултоном считают, что эти буквы обозначали сочетания [h+w] и [k+w].<sup>68</sup> Однако ряд фактов свидетельствует в пользу монофонемной значимости букв  $\mathfrak{C}$  и  $\mathfrak{U}$ . Самым важным при определении моно- и бифонемности является отсутствие морфологической границы между элементами предполагаемого сочетания. Несмотря на то что в готских рукописях встречаются описки, выдающие в ряде случаев фонологическую значимость графем (ср., например, написание *ng* вместо используемого по греческому образцу написания *gg* для обозначения [ng]), сочетания *hw* и *kw* на стыках слов и в сложных словах никогда не писались как *hv* и *q*, и соответственно *hv* и *q* никогда не заменялись написанием *hw* и *kw*.<sup>69</sup> О монофонемности написания *hv* и *q* свидетельствует и поведение их как глухих согласных по закону Турнайзена (ср. *at/waznos, riqiz*). Если справедливо правило диахронической фонологии, что ассимилировать (а значит и диссимилировать) может только различительный признак,<sup>70</sup> то написания  $\mathfrak{C}$  и  $\mathfrak{U}$  должны обозначать глухие фонемы, скорее всего огубленное [h<sup>w</sup>] или [x<sup>w</sup>] и огубленное [k<sup>w</sup>]. Таким образом, по фонографическому принципу были созданы и буквы  $\mathfrak{C}$  и  $\mathfrak{U}$ .<sup>71</sup>

При создании графем для обозначения гласных Вульфилла пользовался и диграфами, причем образцом ему служила система графики греческого языка IV в. Диграфом *ei* он обозначал монофтонг, так как дифтонг [ei] стянулся в греческом задолго до создания готского алфавита. Однако, если мнение о том, что готский диграф *ei* обозначает монофтонг, фактически общепринято, то какой именно фонологической оппозиции соответствует графическая оппозиция *ei*—*i*, не вполне ясно. Раньше считали, что это

<sup>68</sup> Moulton W. G. The phonemes of Gothic. — *Language*, 1948, vol. 24, no. p. 76—86; эту точку зрения разделяет и Дж. Марчанд (Marchand J. The sounds and phonemes of Wulfilas Gothic, p. 94).

<sup>69</sup> Гухман М. М. Готский язык, с. 44; Bennett W. H. Gothic spellings and phonemes: Some current interpretations. — *Festschrift Taylor Stark*. The Hague, 1964, p. 430—431.

<sup>70</sup> Стеблин-Каменский М. И. К теории звуковых изменений. — ВЯ, 1966, № 2, с. 79.

<sup>71</sup> Об истоках формы буквы  $\mathfrak{C}$  высказывались самые разные предположения. Не лишено вероятности предположение Ж. Бувера о том, что  $\mathfrak{C}$  обозначало огубленность, а первоначально соответствовало знаку густого придыхания (Bouvier J. Oorsprong en vorming van het gotisch alphabet. — *Revue belge de philologie et d'histoire*, 1950, t. 27, p. 434). Если это справедливо, то Вульфилла в данном случае создал букву, форма которой соответствовала ее произношению.

графическое противопоставление свидетельствует о наличии долгого и краткого *i*. Во всех древних германских языках долгота и краткость была выражением моросчитания. Это моросчитание, без сомнения, существовало и в готском в период, предшествующий созданию алфавита, о чем свидетельствуют чередования *ei* ~ *ji* — [i:] после биморной корневой морфемы, [j] после одноморной<sup>72</sup> (ср., например, *lauſeiþ*, но *lagjif*). Однако в готских памятниках мы встречаемся с многочисленными примерами нарушения этого чередования,<sup>73</sup> что интерпретируется Дж. Марчандом как свидетельство отсутствия количественных противопоставлений.<sup>74</sup> В других германских языках моросчитание сменяется корреляцией взаимозависимости количества гласного и согласного (такая корреляция сохраняется до сих пор во всех современных скандинавских языках, кроме датского). Причем при становлении корреляции взаимозависимости количества многие количественные различия сменяются качественными. Корреляция взаимозависимости количества была характерна и для готского языка IV в. — в нем уже не было моросчитания, но существовали долгие согласные шведско-норвежского типа (о чем свидетельствуют написания *nn*, *ll*, *rr*, *mm*, *pp*). Исконное различие [i:]—[i] сменилось различием по качеству [i]—[ɪ], как это произошло позднее и во многих скандинавских диалектах, и в исландском языке — именно для обозначения этого противопоставления Вульфилла и использовал графемы *ei* и *i*.

Много спорили о значении готских написаний *ai* и *au*. Принято было считать, что в тех словах, где эти диграфы соответствуют исконным дифтонгам (как, например, в словах *stains* и *daups*, ср. др.-исл. *steinn*, *dauf*) они обозначали дифтонги, а в словах, где они соответствуют монофтонгам (ср., например, *waigran*, *waurt* — др. исл. *vegra*, *oð*), — монофтонги. В последнее время наиболее популярна интерпретация написаний *ai* и *au* как монофтонгов во всех словах; мысль о такой интерпретации высказывал еще в XVIII в. знаменитый голландский филолог Ламберт тен Кате.<sup>75</sup>

Ни у кого не вызывает сомнений, что *ai* и *au* могли обозначать монофтонги: об этом свидетельствует и передача греческих заимствований и тот факт, что в греческом IV в. написание *ai* обозна-

<sup>72</sup> Плоткин В. Я. Эволюция фонологических систем. М., 1982, с. 32.

<sup>73</sup> Дж. Марчанд насчитал около 40 примеров отклонения от правила чередования *ei* — *ji*. См.: Marchand J. W. The sounds. . ., p. 92.

<sup>74</sup> Marchand J. W. Vowel length in Gothic. — General linguistics, 1955, vol. 1, n. 3, p. 36. — Это предположение было поддержано многими германистами. См., например: Hamp E. Gothic *ai* and *au* again. — Language, 1958, vol. 34, n. 3, p. 360; Jones O. F. The case for a long u-phoneme in Wulfilian Gothic. — Orbis, 1965, t. 14, n. 2, p. 393—405; Wurzel W. U. Der gotische Vokalismus. — Acta linguistica (Hung.), 1975, t. 25, n. 3—4, S. 265—277.

<sup>75</sup> Stutterheim C. F. P. Gothic and phonology. — Lingua, 1968, vol. 21, p. 444.

чало монофтонг.<sup>76</sup> Несмотря на то что  $\alpha\upsilon$  в греческом никогда не обозначало монофтонг, Вульфилла использует его для обозначения монофтонга по аналогии с написанием  $\alpha$ , вполне вероятно и влияние произношения латинского написания  $au$ , которое в IV в. обозначало монофтонг.<sup>77</sup>

Дифтонгическое произношение написаний  $ai$  и  $au$  поддерживается не столько их этимологией, сколько фактом чередования написаний  $ai—aj$ ,  $au—aw$  в одной и той же морфеме в разных позициях (ср.  $\tau aujan—\tau awida$ ,  $bai—bajops$ ). Несмотря на то что таких чередований немного, они важны для определения монофонемности и дифтонгичности готских написаний  $ai$  и  $aj$ . Если эти чередования были живыми чередованиями,<sup>78</sup> нам следует признать бифонемность  $ai$  и  $au$ , если же они были историческими, то определять с их помощью бифонемность нельзя. В. М. Жирмунский доказывал «историчность» чередований  $ai—aj$  тем, что оно встречается только при словопроизводстве, а не при словоизменении.<sup>79</sup> Однако несмотря на то что чередование  $au \sim aw$  используется и при словоизменении (ср.  $\tau aujan—\tau awido$ ), и оно не является живым. Об этом свидетельствует факт отсутствия перехода  $u > w$  в позиции перед гласным, и морфема, графически представляемая как  $\tau au-$ , не меняется автоматически написанием  $\tau aw-$  в положении перед гласным (ср.,  $\tau au$  'дело' наряду с  $\tau aujan$  и  $\tau awida$ ). Об отсутствии живых чередований написаний  $ai—aw$  свидетельствуют и противопоставления типа  $\tau auidai—\tau awida$ . Эти факты говорят о том, что графические чередования  $au—aw$ ,  $ai—aj$  не могут быть ни свидетельством бифонемности  $ai$  и  $au$ , ни свидетельством их дифтонгического произношения.

Таким образом, ничто не противоречит предположению о том, что  $ai$  и  $au$  во всех позициях обозначали монофтонги, и графическое противопоставление  $e—ai$  и  $o—au$  использовалось для передачи фонологического противопоставления  $[e]—[e]$ ,  $[o]—[\text{ɔ}]$ .

Если диграфное обозначение  $ai$ ,  $au$  монофтонгов  $[e]$  и  $[\text{ɔ}]$  принимается многими исследователями, то возможность использования Вульфиллой составных графем для обозначения согласных, как правило, отвергается. Однако по крайней мере в одном случае такое использование кажется нам очевидным. В готской графике двойное  $d$  встречается только в сочетании с  $j$ , и следовательно, с точки зрения графической системы написание  $ddj$  следует интер-

<sup>76</sup> О том, что уже во II в. н. э.  $\alpha$  обозначало монофтонг, сообщает Секст Эмпирик. См.: Sturtevant A. M. The pronunciation of Greek and Latin, p. 49.

<sup>77</sup> Жирмунский В. М. Готские  $ai$  и  $au$  с точки зрения сравнительной грамматики и фонологии. — ВЯ, 1959, № 4, с. 70.

<sup>78</sup> Наблюдающийся в последнее время возврат к традиционной точке зрения о двойственной значимости готских написаний  $ai$  и  $au$  (см., например: Бек R. Glides and Vowels in Gothic. — Die Sprache, Bd 22, № 1, 1976, p. 11—13) связан с распространением порождающей фонологии, которая, благодаря созданию системы правил порождения, все морфонологические чередования представляет как живые.

<sup>79</sup> Жирмунский В. М. Готские  $ai$  и  $au$ . . . , с. 72.

претировать как одну графему, несмотря на то что она состоит из трех букв. Это написание передает продукт изменения *ij* по закону Хольцмана и встречается всего в нескольких словах, частотность которых, однако, была очень высока (*ddj* встречалось в формах прошедшего времени от глагола «идти» *iddja*).

Сейчас обычно рассматривают написание *dd* в сочетании с *j* как обозначение геминированного *d*.<sup>80</sup> Гораздо более убедительной представляется трактовка написания *ddj* как палатального смычного, которая была предложена еще в прошлом веке<sup>81</sup> и нашла свое отражение в грамматике Э. Прокоша.<sup>82</sup> Если вспомнить о правиле диахронической фонологии, гласящем, что за один раз изменяется не более одного признака, то первоначальным продуктом изменения *ij* должен был быть палатальный смычный.<sup>83</sup> Палатальность при этом обозначалась буквой *j*, а смычность — буквами *dd*. Таким образом, *j* в положении после *dd* обозначала не фонему [j], а признак палатальности. Возможно, написание *ggw* обозначало фонему [g<sup>u</sup>].<sup>84</sup>

Единственно фонологически ненужной буквой оказывается в готском алфавите *x* — эта буква не использовалась для обозначения готской фонемы [x] (если такая фонема существовала, то она обозначалась в соответствии с рунической традицией *h* — ср. *waihsan*). Хотя обычно отмечается, что в IV в. греческие *φθχ* могли произноситься как щелевые,<sup>85</sup> в алфавите Месропа Маштоца и в грузинском алфавите буква, соответствующая греческой *x*, передавала фонему [k<sup>h</sup>], а щелевое [x] обозначалось особой буквой. В заимствованиях греческое *x* передается чаще всего готской буквой *k*.<sup>86</sup> Хотя не исключено, что в народной речи аспиранты уже произносились как щелевые, произношение *x* как аспиранты, как показывает армянский и грузинский алфавит, сохранялось в церковном произношении и в V в. Именно существование народного произношения [f], [θ], [x] наряду с ученым [k<sup>h</sup>], [p<sup>h</sup>], [t<sup>h</sup>] объясняет, почему Вульфилла вообще отказался от использования греческих букв *X*, *Φ*, *Θ* для передачи готских фонем, поскольку глухие и смычные щелевые были разными фонемами в готском.

Употребление буквы *x* связано в первую очередь с ее написанием в слове *Χρηστος*, и прежде всего в многочисленных сокращениях типа *IΣ ΧΣ*, которые в готском полностью соответствуют греческим сокращениям.

<sup>80</sup> См., например: Marchand J. W. *Sounds...*, p. 60.

<sup>81</sup> См.: Graune W. *Gotisches ddj und an. ggj*. — In: *Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur*, 1884, Bd 9, p. 545—546.

<sup>82</sup> Прокош Э. Ук. соч., с. 88.

<sup>83</sup> См., например: Bennett W. H. *Gothic spellings and phonemes*, p. 87—90.

<sup>84</sup> О возможности существования такой фонемы см., напр., Voyses J. B. *Gothic and Germanic*. — *Language*, 1968, vol. 44, N 4, p. 721—722.

<sup>85</sup> Sturtevant A. M. *The pronunciation of Greek and Latin*, p. 77—83.

<sup>86</sup> Jellinek M. H. *Geschichte der gotischen Sprache*, S. 32.



Готский алфавит и система графики были прекрасным средством для передачи фонологических различий. Опираясь на известные ему системы письма, Вульфила создал эффективную письменность, основной особенностью которой по сравнению с последующими стихийно появляющимися письменностями было употребление только одной графемы для передачи одной фонемы. Несмотря на то что готские фонемы могли быть обозначены и отдельными буквами и диграфами (ei, au, ai) и даже сочетаниями трех букв (ddj и возможно ggw), каждая из этих графем соответствовала только одной фонеме и каждая фонема передавалась на письме только одной графемой.

## СОЗДАНИЕ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

В 862 г. (или 863-м) в Константинополь прибыло посольство моравского князя Ростислава с просьбой прислать христианских проповедников. Ростислав стремился установить союз с Византией в борьбе против усиления влияния франкской империи, отказаться от услуг «латинско-франкского» духовенства и пригласить священников из Византии. Устанавливая союз с Византией, Ростислав прокладывал дорогу к созданию письменности для своего народа: византийская церковь не запрещала пользоваться родным языком в литургии. Византия откликнулась на просьбу Ростислава, и в Моравию была послана миссия во главе с братьями Константином и Мефодием. Выбор был неслучаен. Братья были родом из Солуни и хорошо знали славянский язык. В Солуни, втором по величине городе империи, значительную часть населения составляли славяне,<sup>87</sup> а солунские греки, были, как правило, двуязычны. До сих пор не утихают споры о национальности Константина и Мефодия — одни исследователи считают их греками, другие славянами.<sup>88</sup> Один из самых авторитетных исследователей кирилло-мефодиевского вопроса болгарский ученый Е. Георгиев утверждает, что «по крайней мере их мать была славянкой».<sup>89</sup> В конце концов вопрос о национальности солунских братьев не столь важен для выяснения истории создания ими славянской письменности. Важно, что, как показали исследования переводов Константина и Мефодия, их билингвизм был, выражаясь современным термином, координативным,<sup>90</sup> т. е. они в одинаковой степени владели греческим и славянским языками. Кроме того, нельзя не учитывать и того, что Констан-

<sup>87</sup> Славяне появились в Солуни уже в начале VI века. См.: Т ъ н к о в а З а и м о в а В. Солунските славяни и произходът на Кирил и Методий. — В кн.: Константин-Кирил Философ. София, с. 64.

<sup>88</sup> См., например: Георгиев Е. Кирил и Методий основоположници на славянските литератури. София, 1956, с. 19 (там же библиография).

<sup>89</sup> Там же.

<sup>90</sup> В е р е щ а г и н Е. М. Билингвизм Кирилла и Мефодия и создание древнеславянского литературного языка. — В кн.: Славянские литературные языки в донациональный период. М., 1969, с. 21—22.

тин, судя по житиям, обладал не только феноменальной образованностью, но и уникальными способностями к языкам.

Константин Философ начал переводить Евангелие с греческого на славянский еще до отъезда в Моравию и завершил работу уже в Моравии. Солунские братья пробыли в Моравии более трех лет, после чего отправились в Рим. Константин Философ умер в Риме в 869 г. в возрасте 42 лет, совершив перед смертью обряд пострижения и приняв в монашестве имя Кирилл. После смерти Ростислава в Моравии произошли перемены, затруднившие деятельность Мефодия, и после его смерти (885 г.) ученики солунских братьев были изгнаны из Моравии и нашли свое пристанище в Болгарии.

Дошедшие до нас письменные памятники отстоят от времени переводов Константина и Мефодия не менее чем на 100—150 лет, и чтобы восстановить первоначальную систему графики, необходимо учитывать особенности распространения славянского письма, обращая внимание на различие трех периодов в истории становления славянской письменности: солунского, моравского и болгарского. Вполне вероятно, что зачатки письменности существовали у славян и до деятельности Константина и Мефодия, как об этом и сообщает черноризец Храбр,<sup>91</sup> однако предположение Е. Георгиева, что «задолго до официального принятия христианства болгарями существовала довольно совершенная (разрядка наша, — Ю. К.) славянизированная греческая азбука»<sup>92</sup> и что все необходимые для передачи славянской речи буквы были изобретены до деятельности солунских братьев,<sup>93</sup> не подтверждается фактами. Что касается того известного места в житии Константина, где говорится о найденных им в Корсуне книгах, писанных русскими письменами, то из многочисленных его толкований исторически и лингвистически наиболее вероятно конъектура, согласно которой слово *роуськими* образовалось в результате метатезы (*роус < соур*) из первоначального в тексте жития слова *соурьскими* (т. е. сирийскими).<sup>94</sup> Таким образом, у нас нет никаких оснований считать, что до Константина и Мефодия у славян существовала развитая письменность. До деятельности солунских братьев славяне пользовались греческим алфавитом «без устроения», а глаголицы не существовало вовсе.

Древнеславянские памятники написаны двумя видами письма: глаголицей и кириллицей. Сейчас мнение о том, что Константин

<sup>91</sup> Куев К. Черноризец Храбр. София, 1967, с. 188—227.

<sup>92</sup> Георгиев Е. Славянская письменность до Кирилла и Мефодия. София, 1972, с. 27. — В более поздних работах Е. Георгиев уже не столь категоричен в своих предположениях, теперь он пишет, что до деятельности солунских братьев славяне могли писать «без устроения». (См.: Георгиев Е. Славянская письменность и европейский традиционализм. — В кн.: Славянские культуры и Балканы. София, 1978, I, с. 23).

<sup>93</sup> Георгиев Е. Славянская письменность до Кирилла и Мефодия. . . , с. 27.

<sup>94</sup> Vaillant A. Les lettres russes de la vie de Constantine. — RÉS, 1935, XV, p. 75—77; Lunt H. G. Again the русьскими писмены. — Čerčetai de linguistica, 1958, An. 3, Suppl.

Философ создал именно глаголицу, общепринято. Основывается такое предположение на следующих фактах. Особенности глаголицы как азбуки и особенности глаголической графики показывают, что глаголица гораздо в большей степени, чем кириллица, подходила для передачи на письме солунского диалекта. В глаголице все буквы первой половины азбуки (в том числе те, которые не имеют греческих соответствий) имеют цифровую значимость (Ш — 2, ѿ — 7, М — 30). Буквы, добавленные к греческому алфавиту, в кириллице цифровой значимости не имеют. В глаголице в гораздо большей степени, чем в кириллице, выдержан принцип сходного начертания коррелятивных фонем. Предполагалось, что при создании начертаний глаголических букв были использованы христианские символы: крест, треугольник (как символ троицы), круг (как символ бесконечности божества).<sup>95</sup> Вполне вероятно и что сходное обозначение фонем [i] и [s], ѿ ѿ связано с особым значением частого в церковных текстах сокращенного написания имени «Исус», греческое ΙΣ.<sup>96</sup> Вспомним, что в готской азбуке буква Х сохраняется только благодаря ее употреблению в сокращении ХС. Несмотря на то что ряд глаголических букв соответствуют буквам других алфавитов (ср., например, Ш — из еврейского алфавита, ѿ из латинского, ѿ из греческого и т. п.), форма большинства глаголических букв свидетельствует об индивидуальном творчестве<sup>97</sup> — в этом глаголицу можно сопоставить с армянским и грузинским алфавитами. Азбучные молитвы свидетельствуют о существовании двух букв х и трех букв і в первоначальной славянской азбуке, что характерно именно для глаголической азбуки. Таким образом, не вызывает сомнений то, что Константин Философ создал глаголицу.

Однако, несмотря на отличия в количестве букв, их начертании и цифровой значимости, принципы графики глаголицы и кириллицы во многом сходны.<sup>98</sup> Эти общие принципы и были, ве-

<sup>95</sup> Такое предположение было высказано учеником В. Кипарского Т. Чернохвостовым: см.: Кипарский В. О происхождении глаголицы. — В кн.: Климент Охридски: Материали за неготовото чествуване по случай 1050 години от смъртта му. София, 1968, с. 93.

<sup>96</sup> Там же, с. 94.

<sup>97</sup> Необычность начертания глаголических букв может быть связана с тем, что Константин не хотел, чтобы его азбука была похожа на греческую, чтобы не раздражать папу, с другой стороны, латинские буквы вряд ли пришлись бы по вкусу византийскому патриарху. Существует даже предположение, что в Солуни Константин создал кириллицу, но изменил ее на глаголицу в Моравии, где влияние Рима было сильнее. (См., например: Миппс Е. Н. Saint Cyril really knew Hebrew. — *Mélange publiés en l'honneur de M. Paul Boyer*. Paris, 1925, p. 97). Кроме того, создание особых форм букв (фигур) для нового языка соответствовало средневековым понятиям о букве (см. с. 13).

<sup>98</sup> Этот факт позволил Н. Дурново утверждать, что кириллица и глаголица не две разные азбуки, а два дукта одного и того же письма, подобно греческому уставу и курсиву: Дурново Н. Мысли и предположения о происхождении старославянского языка и славянских алфавитов. — *Vyzantinoslavica*, 1929, 1, p. 66.

Греческий	Кириллица	Название славянских букв	Глаголица	Транскрипция
А - 1	А - 1	азь	Ⲁ - 1	[a]
	Б	боукы	Ⲃ - 2	[b]
В - 2	В - 2	вѣдѣ	Ⲅ - 3	[v]
Г - 3	Г - 3	глаголи	Ⲇ - 4	[g]
Δ - 4	Д - 4	добро	Ⲉ - 5	[d]
Е - 5	Е - 5	ѣсть	Ⲋ - 6	[e, je]
	Ж	живѣте	Ⲍ - 7	[ž]
(S) - 6	С	сѣло	Ⲏ - 8	[dz]
Z - 7	З - 7	земля	Ⲑ - 9	[z]
Н - 8	Н - 8	иже		
Θ - 9	Θ - 9	фита	(Ⲓ)	[f]
Ι - 10	Ι - 10	и (иота)	Ⲕ - 20	[i, ji]
			Ⲗ, Ⲙ - 10	[i], [ji]
		дєрвь	Ⲑ - 30	[g'] [zd'ʔ]
К - 20	К - 20	како	Ⲓ - 40	[k]
Λ - 30	Л - 30	люды	Ⲕ - 50	[l]
М - 40	М - 40	мыслѣте	Ⲗ - 60	[m]
Ν - 50	Ν - 50	нашь	Ⲙ - 70	[n]
ξ - 60	ξ - 60	кси		[ks]
Ο - 70	Ο - 70	онь	Ⲑ - 80	[o]
Π - 80	Π - 80	покон	Ⲓ - 90	[p]
Ρ - 100	Ρ - 100	рѣци	Ⲕ - 100	[r]
С - 200	С - 200	слово	Ⲗ - 200	[s]
Τ - 300	Τ - 300	твьрдо	Ⲙ - 300	[t]
Υ - (400)	У	ижица	Ⲑ - 400	[i]
	ΟΥ - 400	оукъ	Ⲓ - 400	[u]
Φ - 500	Ф - 500	фрьтъ	Ⲕ - 500	[f]
Χ - 600	Х - 600	хѣрь	Ⲗ (Ⲑ) - 600	[x] (хѣльмъ?)
Ψ - 700	Ψ - 700	пси		[ps]



состав первоначальной азбуки остается не вполне ясным. Мы не ставили задачу реконструкции состава азбуки Константина Философа, более важны для нас общие принципы создания первого славянского алфавита и принципы графики. Рассмотрим вначале кириллическую и глаголическую азбуку в том виде, в каком они дошли до нас в рукописях (см. таблицу на с. 42).

Каждая буква в соответствии со средневековой традицией имела название, облик и значимость († — азъ — [a], Ё — боуки — [b] и т. п.) Названия букв, по словам Храбра, были придуманы самим Константином. Большинство этих названий являются значимыми подобно названиям букв еврейского, готского и армянского алфавитов.<sup>101</sup>

Чаще всего одна буква славянских алфавитов соответствует одной фонеме. В двух случаях в глаголице фонемы передаются сочетанием букв (ѢѢ, ѢѢ). Однако не все буквы славянских азбук интерпретируются славистами одинаково. Для выяснения принципов создания первой славянской азбуки и принципов графики нам придется подробнее остановиться на некоторых спорных вопросах интерпретации первоначальной глаголицы.

Традиционно считали, что буквы Ю, ІѢ кириллицы и Р, ѢѢ глаголицы в начале слова и в положении после гласной обозначали [ju] и [jɔ], а в позиции после согласных эти же буквы обозначали мягкость согласного. Однако, если начертание кириллических букв Ю и ІѢ, правая часть которых соответствует греческой «йоте», могло свидетельствовать о таком их значении (об обозначении мягкости согласных подробнее см. на с. 49), то в начертаниях глаголических букв Р и ѢѢ «йоты» обычно не обнаруживали, именно это и навело, вероятно, на мысль о том, что Р обозначало особый звук [ü].<sup>102</sup> Эта мысль была развита Н. С. Трубецким, который предположил, что в период создания письменности в говоре ее создателей существовала корреляция твердости/мягкости у гласных, охватывающая противопоставления [ъ]—[ь], [t̪]—[i̪], [u]—[ü], [o]—[ö], [a]—[ä], и буквы Р и ѢѢ в глаголице использовались для передачи фонем [ü] и [ö(N)].<sup>103</sup> Н. С. Трубецкой основывает свои предположения на том, что \*[ü] и \*[öN]

<sup>101</sup> Ф. Мареш считает, что названия букв были взяты из алфавитного акростиха «Азъ есмь всъмоу міроу свѣтъ», написанного самим Константином Философом (см.: Магеш F. Azbučna báseň z rukopisu státní veřejné knihovny Saľtykova-Sčedrina v Leningradé. — Slovo, 1964, s. 22).

<sup>102</sup> Фортунатов Ф. Ф. Лекции по фонетике старославянского (церковнославянского) языка). — Избр. труды. М., 1957, т. 2, с. 15, 19; Щепкин В. Н. Рассуждения о языке Саввиной книги. СПб., 1899, с. 289—293.

<sup>103</sup> Trubezkoi N. S. Altkirchenslavische Grammatik. Wien, 1954, S. 61. — Это предположение Н. С. Трубецкого поддерживают многие современные слависты. (См., например: Калынь Л. Э. Развитие корреляции твердых и мягких согласных фонем в славянских языках. М., 1961, с. 13; Конески Б. История на македонски јазик. Скопје, с. 23—24, 47;

обозначаются в алфавите одной буквой **Р** и **ѠѢ**. Если принять существование [ü] в старославянском говоре Солуни, то естественно было бы предположить, что для передачи этой фонемы скорее всего должны были использовать букву, соответствующую греческому Υ, т. е. **Ѣ** глаголицы. Несмотря на то что во многих греческих диалектах уже задолго до IX в. произошел переход [ü] > [i], в «ученом» произношении [ü] сохранялось; произношение [i] вместо [ü] было и в Константинополе признаком вульгарной речи и в X в.<sup>104</sup> Поскольку не приходится сомневаться в учености Константина Философа и в том, что в его «ученом» произношении была фонема [ü], естественно предположить, что славянское [ü], если бы оно существовало, должно было передаваться по греческому образцу, т. е. буквой **Ѣ** в глаголице и **У** в кириллице, поскольку сходные с греческими славянские фонемы передавались и в глаголице, и в кириллице по греческому образцу. Такого употребления **Ѣ** и **У** нет ни в одной рукописи. Веским аргументом против существования фонем [ü] и [ö] является то, что, если признать, что в древних славянских языках существовали мягкие согласные [l'], [n'], [r'] и мягкие шипящие и свистящие (что почти никто не отрицает),<sup>105</sup> то звуки [ü] и [ö] не противопоставлялись [u] и [o], поскольку были распределены с ними дополнительно, после твердых согласных [u], [o], после мягких [ü] и [ö]. Самым же веским доказательством бифонемности трактовки значения букв **Р** и **ѠѢ** в начале слова и в положении после гласного являлся факт несовпадения морфологической и слоговой границы в словах типа [mo—j|u] или [mo—j|o]. Таким образом, никаких оснований для отхода от традиционного предположения о значении букв **Р** и **ѠѢ** нет. Противопоставление букв **ѡѢ**—**Р** и **ѠѢ**—**ѠѢ** в начале слова передавало противопоставление [u]—[ju], [o]—[jo], а в позиции после согласного обозначало противопоставление мягких и твердых согласных. С трактовкой [j] связана и интерпретация значений букв **Ѣ** (**Ѣ**, **Ѣ**), **Ѥ**, **Ѥ**, **Ѥ**, **Ѥ** (и соответственно **И**, **Н**, **Є**, **Ѥ**, **Ѥ**). Несовпадение слоговой и морфологической границы (ср. [mo—jejo] и т. п.) свидетельствует о бифонемности сочетания [j]+гласный.

Lunt H. G. Old church slavonic grammar, The Hague; Paris, 1974 (6<sup>th</sup> ed.), p. 17, 20, 26. Некоторые признают только существование [ü] (см.: Гълъбов И. Старобългарски език с увод в славянското езикознание. София, 1, с. 105, 107), другие считают, что существовало только [ö] (см.: Колесов В. В. Историческая фонетика русского языка. М., 1980, с. 23—24, 27)).

<sup>104</sup> Brownling R. Mediaeval and modern Greek. London, 1969, p. 62.

<sup>105</sup> Единственное известное нам предположение о том, что твердость и мягкость всех согласных была позиционной в диалекте Константина Философа, высказал А. С. Львов (Львов А. С. Глаголица и некоторые проблемы преславянской фонетики. — Slovo, 1971, 21, s. 54, 66). Не вдаваясь в дискуссию о славянских синлабемах, отметим, что существование сочетаний мягкий согласный+задний гласный, а во многих областях и сочетания твердый согласный+передний гласный в славянских диалектах IX века свидетельствует о том, что по крайней мере в IX в. их не было.





Ѣ и Й связано с несовершенством глаголического алфавита.<sup>109</sup> Однако исследование современных южнославянских диалектов показало, что неразличение фонем [a]—[ě] в положении после мягких согласных и [j] характерно для многих болгарских диалектов, в том числе и для диалектов, близких к Солуни.<sup>110</sup> Нейтрализацией [a]—[ě] после мягких согласных в пользу [ě] в говоре Солуни IX в. и объясняется использование буквы **А** и в словах с этимологическим [jě], и в словах с этимологическим [ja] (или соответственно ѣ и 'а). Появление буквы **Й** в кириллице было действительно большим достижением ее создателей, однако это связано не с тем, что создатель кириллицы был более остер на ухо и слышал те различия, которые не расслышал создатель глаголицы, как считал Ф. Ф. Фортунатов.<sup>111</sup> Буква **Й** появилась в тех областях, где старославянские гласные [a] и [ě] продолжали различаться после мягких согласных и [j], тогда как в тех областях, где такое противопоставление исчезло, она была лишней. Возможно, такое употребление буквы **А** подходило и для моравских славян, поскольку переход [a] > [ä] после мягких согласных отмечается в самых первых чешских памятниках и в чешских глоссах.<sup>112</sup>

Так называемые йотированные буквы глаголицы и кириллицы служили не только для обозначения [j]+гласный заднего ряда, они обозначали и палатализацию предшествующего согласного.

В старославянском существовали мягкие согласные [l'], [n'], [r'], образовавшиеся из исконных сочетаний \*lj, \*nj, \*rj. Противопоставление мягких и твердых согласных [l']—[l], [n']—[n], [r']—[r] перед гласными заднего ряда передавалось особыми буквами **Р**, **ѠѢ** глаголицы и **Й**, **Ї**, **Ю** кириллицы. Написание этих букв после шипящих и аффрикат (ср. **ВЮДО**, **МЖЮ**, **ЄЖДЖ**, **ДОЖШЖ**, **ШЮМЪ**, **ОТЦЮ** и т. п.) также свидетельствовало о релевантной мягкости этих фонем несмотря на отсутствие их противопоставления соответствующими твердыми (см. выше).

Обычно считается, что перед гласными переднего ряда мягкие [l'], [n'] и [r'] противопоставлялись соответствующим твердым в диалекте создателя славянской письменности. Это противопоставление, однако, по общепринятому мнению не нашло отражения на письме. В самых старых славянских рукописях еще не встречается знак **Ѡ**, который употреблялся позднее для обозначения мягких согласных (заметим, что в тех рукописях, где он есть, его употребление крайне непоследовательно). Необозначение противо-

<sup>109</sup> См., например: Кульбакин С. М. Древнецерковнославянский язык. Харьков, 1911, 1, с. 17.

<sup>110</sup> Конески Б. История на македонскиот јазик, с. 47; Стойков Ст. Българска диалектология. София, 1962, с. 124—126.

<sup>111</sup> Фортунатов Ф. Ф. О происхождении глаголицы. СПб., 1913, с. 30.

<sup>112</sup> Бауэр Я. Старославянский язык и язык жителей Великой Моравии. — В кн.: Magna Moravia. Sbornik k 1100. výročí příchodu byzantské mise na Moravu. Praha, 1965, s. 470; Гуйер О. Введение в историю чешского языка / Перевод с чешск. М., 1953, с. 116.

поставления [l'—l], [n'—n], [r'—r] перед гласными переднего ряда считается обычно недостатком славянского письма. Если бы самые старые старославянские рукописи сопоставлялись только с теми современными славянскими языками, где нет противопоставления твердых и мягких согласных перед передними гласными, то ни у кого не могло бы возникнуть мысли о существовании такого противопоставления в древних старославянских диалектах. Однако в ряде современных южнославянских диалектов такое противопоставление есть, и именно существование твердых [l] и [n] перед передними гласными в южнославянских диалектах является самым веским аргументом в пользу предположения о существовании противопоставления [l]—[l'], [n]—[n'] в диалекте Константина Философа. Однако сам факт того, что особенности передачи мягких согласных в глаголице и отчасти в первоначальной кириллице гораздо больше подходят именно для тех языков, где произошла нейтрализация противопоставления твердых и мягких перед передними гласными, весьма примечателен. Если мы обратимся к данным современных южнославянских диалектов, то увидим, что для ряда западноболгарских и македонских диалектов характерна нейтрализация противопоставления [l'—l], [n]—[n'] перед передними гласными.<sup>113</sup> Нет противопоставления [l'—l], [n']—[n], по-видимому, и в говорах деревень Сухо и Висока, расположенных неподалеку от Салоник.<sup>114</sup> Причем отмечают, что нейтрализация оппозиции [n]—[n'], [l]—[l'] предшествовала падению редуцированных, т. е. произошла еще в древнеславянский период.<sup>115</sup> Важно отметить и то, что последние исследования показывают, что такая реализация имела место раньше и у западных славян, обитавших на территории современной Чехословакии.<sup>116</sup> Ничто не мешает нам предположить, что в говоре Солуни в IX в. произошло совпадение [l'—l], [n']—[n], [r]—[r'] перед передними гласными.<sup>117</sup>

<sup>113</sup> Попова Т. В. Корреляция твердых и мягких согласных в болгарском языке. — Славянское языкознание. М., 1962, т. 35, с. 3, 8, 11; Калнынь Л. Е. Развитие корреляции твердых и мягких согласных. . . с. 124; Конески Б. История на македонскиот јазик, с. 57—58; Miletič L. Die Rhodopenmundarten der bulgarischen Sprache. Wien, S. 42—43, 181—182, 224—223, 248.

<sup>114</sup> Големб З. Два македонски говора (на Сухо и Висока во Солунско). — Македонски јазик. Скопје, 1962—1963, т. XIII—XIV, кн. 1—2, с. 244.

<sup>115</sup> Попова Т. В. Корреляция твердых и мягких согласных. . . с. 11; см. письмо Н. С. Трубецкого к Р. О. Якобсону от 22 XII 1926 г.: Jakobson R. Trubezkoy's letters and notes / Prepared for publication by R. Jakobson et al. The Hague; Paris, 1975.

<sup>116</sup> Komárek M. Zur Entwicklung des tschechischen Vokalsystems. — Zeitschrift für Slavistik, 1954, Bd 1, n. 4, S. 22; Калнынь Л. Э. Развитие корреляции мягких и твердых согласных, с. 24.

<sup>117</sup> Известный американский славист Х. Ланг, основываясь на графике древнейших глаголических памятников, не считает невероятным, что палатальные и палатализованные не различались перед гласными переднего ряда в говоре Кирилла. Однако и он более склонен к традиционной точке зрения о наличии противопоставления твердых и мягких согласных перед передними гласными. См.: Lunt H. G. Old Church Slavonic Grammar, p. 24—25.

В таком случае Константин Философ был последователен, обозначив только противопоставление твердых и мягких согласных перед гласными заднего ряда гласными буквами **Ѣ** и **Ѥ**. Такой графический прием подходил и для передачи моравских фонологических особенностей, поскольку неразличение [l']—[l], [n']—[n], [r']—[r] перед гласными переднего ряда было скорее всего характерно и для моравских диалектов.

Изгнанные из Моравии ученики Константина Философа и Мефодия принесли свои книги в Болгарию, и в дальнейшем именно Болгария становится центром славянской письменности. В большинстве болгарских диалектов существовало противопоставление [l]—[l'], [n]—[n'], [r]—[r'] перед передними гласными (в значительной их части оно сохраняется до сих пор). Первые письменные памятники этого периода, еще в значительной степени ориентированные на рукописи солунско-моравской редакции, еще не отразили этого противопоставления, однако в дальнейшем для передачи этого различия начинают использовать особый значок ^ над буквой, обозначающей мягкую согласную (ср. написание **ѢНЕЯ**, **КѢНГЯ** и т. п.). В кириллице для обозначения мягких согласных перед передними гласными стали использовать буквы **Ю** и **Ѥ**, которые, подобно **Ю** и **Ѥ**, стали иметь двойное значение: они передавали сочетание [je] и [je] в начале слова и после гласных, а после согласной буквы свидетельствовали о мягкости согласной фонемы.

Если верно предположение о том, что отсутствие обозначения противопоставления [l]—[l'], [n]—[n'], [r]—[r'] перед передними гласными связано с тем, что такого противопоставления не было в диалекте Константина или в моравском диалекте IX в., то в таком случае именно Константин Философ на практике осуществил тот графический прием, который был уже в наше время выведен в качестве формулы построения алфавита Н. Ф. Яковлевым.<sup>118</sup> О возможности выведения такой формулы говорил И. А. Бодуэн де Куртене, который считал, что центральный вопрос теории русской графики — в сочетании согласных и гласных, причем «это отношение можно выразить математической формулой».<sup>119</sup> Сам И. А. Бодуэн де Куртене эту формулу, однако, не вывел. В первые годы советской власти, когда остро встал вопрос о создании письменности для бесписьменных народов, проблемы принципов построения алфавита и графики стали центральными лингвистическими проблемами. Решению этой проблемы и была посвящена ставшая теперь хрестоматийной статья Н. Ф. Яковлева. Яковлев считает, что число букв в алфавите может быть умень-

<sup>118</sup> Яковлев Н. Ф. Математическая формула построения алфавита: Опыт практического применения лингвистической теории. — В кн.: Реформатский А. А. Из истории отечественной фонологии. Очерк. Хрестоматия. М., 1970, с. 123—148 (впервые опубликована в 1928 г.).

<sup>119</sup> Бодуэн де Куртене И. А. Об отношении русского языка к русскому письму. СПб., 1912, с. 67.

шено за счет того, что отличие парно различающихся согласных фонем может быть передано на письме различием в гласных буквах. В таком случае «количество букв может быть уменьшено на величину  $CC' - \Gamma'$ , где  $C'$  — число парно различающихся согласных звуков (фонем или вариантов), находящихся в данном языке в сочетании соответствующих гласных фонем или вариантов».<sup>120</sup>

Свою формулу Яковлев поясняет на примере русского алфавита. Думается, однако, что русский алфавит был для Яковлева не только примером использования такого принципа. Именно на основании передачи противопоставлений твердых и мягких согласных в русском письме гласными буквами и была выведена эта формула. Яковлев просто эксплицировал тот принцип графики, который был использован Константином Философом для передачи звуковых особенностей солунского и моравского диалектов.

Что могло натолкнуть Константина на мысль об использовании гласных букв для обозначения мягкости согласных? Думается, что эта идея была заимствована Константином из современной ему системы греческой графики. В новогреческом языке в его демотическом варианте и фактически во всех греческих диалектах есть палатализованные согласные [l'] и [n'] (ср., например, *εννα* [en'a], *λιονταρι* [l'ontari]) и т. д.;<sup>121</sup> источниками этих согласных были сочетания [lj] и [nj], развившиеся из сочетаний [l] и [n] с гласными переднего ряда в позиции перед гласной заднего ряда. Н. С. Трубецкой предполагал, что мягкие палатализованные согласные могли существовать в греческом разговорном языке уже в IX в.<sup>122</sup> Э. Стёртевант считает, что они появились в диалектах и в более раннее время.<sup>123</sup> Это изменение, однако, не передавалось на письме, и поскольку источниками палатализованных согласных были сочетания li+ГЗР; le+ГЗР, то на письме палатализация согласного обозначалась и до сих пор обозначается последующей гласной буквой, и написания *λεα . . .*, *νεα*, *λιο . . .* и т. п. обозначают сейчас и обозначали в IX в. [l'a], [n'a], [l'o], [n'o] и т. п. Вероятно, такой сложившийся исторически способ передачи палатализованных согласных и был использован создателями славянских алфавитов, ориентировавшихся в первую очередь на греческую систему графики. Обозначение мягких согласных в кириллице, в большей степени, чем глаголица, связанной с греческим алфавитом, почти полностью соответствует греческому образцу, так как первая часть букв Ю и Ж соответствует греческой йоте. В глаголице непосредственная связь с греческой графикой не столь очевидна. Однако и здесь основной

<sup>120</sup> Яковлев Н. Ф. Математическая формула. . . , с. 131—132.

<sup>121</sup> Th u m b A. Grammatik der neugriechischen Volkssprache. — In: Sammlung Götschen. Berlin; Leipzig, 1928, 756, S. 23; N e w t o n B. E. Modern Greek postconsonantal yod. — Lingua, 1971, vol. 26, N 2.

<sup>122</sup> T r u b e z k o i N. S. Altkirchenslavische Grammatik, S. 30—31.

<sup>123</sup> S t u r t e v a n t E. H. The pronunciation of Greek and Latin, p. 63.

принцип передачи палатализации согласного гласной буквой был заимствован, вероятнее всего, из греческой графики.<sup>124</sup>

Н. С. Трубецким была предложена и новая интерпретация глаголических букв **Ѣ**, **Ѥ**, **ѥ**. Основываясь на форме этих букв, имеющих общую часть **Ѥ**, которая в некоторых рукописях может быть самостоятельной буквой и обозначать [e], он высказал предположение, что в первоначальной глаголице буква **Ѥ** обозначала носовой согласный [N], и **Ѣ**, **Ѥ**, **ѥ** являются не особыми буквами, а сочетаниями букв, обозначающими бифонемные сочетания [oN], [öN], [eN].<sup>125</sup> Оппоненты Н. С. Трубецкого отмечали, однако, что если бы носовые гласные были бифонемными, то вторым компонентом сочетания должна была быть фонема [n], которая обозначалась в глаголице буквой **Р**.<sup>126</sup>

На это возражение недавно пытался ответить А. Аврам, который полагает, что **Ѥ** обозначало имплозивное [N], а **Р** — эксплозивное [n], и именно это различие и было отражено на письме Константином Философом.<sup>127</sup> Однако даже если бы имплозивное и эксплозивное (т. е. слогоконечное и слогоначальное) и существовали, они должны были быть вариантами одной фонемы, подобно английскому имплозивному [n] в an aim и эксплозивному [n] в a name. Кроме того, существование слогоконечного согласного противоречило бы основному закону слоговой структуры древних славянских языков, где все слоги были открытыми. Основным же доводом в пользу монофонемной значимости букв **Ѣ**, **ѥ** является отсутствие морфологической границы между элементами предполагаемого сочетания, поскольку [o] и [n], [e] и [n] на стыке морфем и слов никогда не передаются буквами **Ѣ** или **ѥ**.

Хотя буквы **Ѣ**, **Ѥ**, **ѥ** именно в таком виде встречаются во всех глаголических рукописях, ряд славистов полагает, что в первоначальной глаголице таких букв не было. В качестве доказательств приводятся данные азбучных молитв, где юсам, как правило, отводятся две строки,<sup>128</sup> и данные алфавитов.<sup>129</sup> В связи

<sup>124</sup> И. Галабов считает, что треугольник в буквах **Д**, **З**, **Ж**, **Р**, **Р** и **Ѥ** является знаком палатализации или йотирования (Гъльбов И. Старобългарски език с увод славянско езиковознание, 1, с. 50).

<sup>125</sup> Trubezkoi N. S. Altkirchenslavische Grammatik, S. 22; это предположение было поддержано целым рядом славистов (см., например: Велчева Б. 1) Которые 38 букв создал Константин Философ? — В кн.: Славянские культуры и Балканы. София, 1978, с. 60; 2) Праславянски и старобългарски фонологически изменения. София, 1980, с. 41—43; Магеш F. V. Hlaholice na moravě á v čečách. — Slovo, 21, s. 147, 154.

<sup>126</sup> См., например: Martinet A. Economie des changements phonétique. Berne, 1955, p. 354.

<sup>127</sup> Avram A. L'opposition «implosif-explosif» et le problème des voyelles nasales du vieux slave. — In: Studia linguistica A. V. Issatschenko a collegis micisque ablata. Lisse, 1978, p. 23.

<sup>128</sup> Куев К. М. Разпространение и сегашно местонахождение на азбучната молитва. — В кн.: Константин-Кирилл Философ. София, 1969, с. 290—308. — В некоторых азбучных молитвах только одна строка на юс.

<sup>129</sup> Данные алфавитов не подтверждают мысль о существовании двух юсов в первоначальной глаголице. Вряд ли справедливо интерпре-

с этим [высказывали предположение, что в первоначальной глаголице было только два юса — **Є** [e] и **Ѓ** [o].<sup>130</sup> Однако знак **Ѓ** ни в одной рукописи, и ни в одном эпиграфическом памятнике, и ни в одном абецедарии не употребляется без своей второй части (**ЃЄ**). Хотя буква **Є** в ряде рукописей и может иметь значение [e] (в этих рукописях используются четыре юса: **ЃЄ** [jo], [ʹo], **ѠЄ** [o], **ѠЄ** [je], [ʹe], **Є** [e]), в тех рукописях, которые считаются самыми старыми (Киевские листки, Синайская псалтырь, Орхидские листки), используются только три юса **ЃЄ**, **ѠЄ**, **ѠЄ**. Таким образом, видно, что использование знака **Є** необходимо было только для обозначения противопоставления [je]—[e] или мягких и твердых согласных перед [e] и соответствует употреблению кириллического **ІЖ** и **Љ** или **ІЮ** и **Ѓ**. В говоре же создателя глаголицы таких противопоставлений, как мы пытались показать (см. с. 46), не было, следовательно, графическое противопоставление **Є**—**ѠЄ** было ненужным. Если принять предположение об исконности двух юсов **Ѓ** и **Є**, придется предположить, что Константин Философ не обозначал мягких согласных перед [o], но обозначал их перед [u]. Такое предположение маловероятно.

Определение бифонемности единиц, изображаемых буквами **ѠЄ**, **ЃЄ** и **ѠЄ** на основании вида букв, как мы видели, не вполне правомерно. Однако схожесть их начертания все же показательна. Она свидетельствует о том, что создатель глаголицы стремился придумать сходные начертания для обозначения фонем со сходными признаками. На этот факт обратил внимание еще П. Шафарик: «Глаголит . . . имел довольно пронизательный взгляд на природу славянского языка, в особенности гласных: у него начертания **Ѡ**—**Ѡ** сходны, как и сами звуки. И **ѠЄ** с носовым произношением (*on*) близко подходит к **Ѡ**, а **Є** также с носовым произношением (*en*) к **Ѡ**, если последнее обратить в другую сторону».<sup>131</sup> Сходными считаются начертания **Ѡ** и **Ѡ** в соответствии с общностью подъема у фонем [e] и [o].<sup>132</sup> В кириллице этот принцип выдержан в меньшей степени, однако и здесь сходны начертания **ѣ** и **ѣ** и отчасти носовых гласных.

тировать один юс (**ЃЄ**) Парижского абецедария (см., например: Срезневский И. И. Древние глаголические памятники (десять листов снимков). СПб., 1866, лист I) как сочетание двух юсов **Ѓ** и **Є**, как это делает В. Мошин (Mošin V. Još o Hrabru; Slavenskim azbukama i azbučnim modlitava. — Slovo, 23, 1973, s. 44). В позднем хорватском Рочском абецедарии (XIII в.) тоже только один юс (**Ѡ**) ((Fučić B. Glagoljska epigrafica, s. 23). В Мюнхенском абецедарии три юса, два из которых легко узнаются как **ѠЄ** и **ѠЄ**, а третий юс имеет не вполне ясное начертание (Mošin V. Još o Hrabru. . . , s. 11).

<sup>130</sup> См., например: Mošin V. Još o Hrabru. . . , s. 44.

<sup>131</sup> Шафарик П. О происхождении и родине глаголитизма (перевод с немецкого). (Без года и места издания), с. 12.

<sup>132</sup> Gălăbov I. Schrift und Lautsysteme des Altbulgarischen. — Die Welt der Slaven, Jg 13, N 4, 1968, S. 383.

В дошедших до нас глаголических рукописях встречаются три буквы *i*, которые могут иметь одинаковое значение. Две из них (**Ѣ** и **Ѥ**) имеют одинаковую цифровую значимость — 10, а третья *i* (**Ѧ**) могло обозначать 20. Сопоставление данных рукописей с данными современных говоров деревень салоникинского края позволили установить разное значение диграфов **ѢѢ** и **ѢѤ** в константиновой глаголице.

В большинстве глаголических рукописей не проводится различия на письме между исконным [i] и исконным сочетанием [tʲi], однако в Киевских листках, Рильских листках и Македонском листке исконное [i] последовательно обозначается как **ѢѢ**, а исконное [tʲi] — **ѢѤ**.<sup>133</sup> Именно для обозначения этого различия и была необходима буква **Ѣ**.<sup>134</sup> Такое употребление соответствует разной судьбе исконных [i] и [tʲi] в современных солунских диалектах.<sup>135</sup> Уже давно было замечено, что глаголическая буква **Ѣ** соответствовала в первоначальном алфавите греческой йоте. Это предположение подтверждается и использованием **Ѣ** для передачи греческой йоты даже в тех рукописях, где в значении [i] чаще всего употребляется **Ѥ**, и сходством букв **Ѣ** и **Ѥ** (поскольку в греческом слове Иисус первой буквой была йота). Написание **ѢѤ** предполагало двусложное произношение [tʲi], поскольку **Ѥ** соответствовало греческой η. Таким образом, нет сомнения, что буквы **Ѣ** и **Ѥ** имели разную значимость в исконной глаголице. Труднее решить вопрос о том, было ли в первоначальной глаголице различие в употреблении букв **Ѥ** и **Ѥ**. В Мюнхенском абецедарии знак **Ѥ** стоит на месте греческого «ипсилон» и называется «hic».<sup>136</sup> До сих пор буква **Ѣ** называется «ик» (а не «ук») и у русских старообрядцев.<sup>137</sup> Все это свидетельствует о том, что не **Ѣ**, а **Ѥ** в исконной глаголице обозначало заимствованную из греческого фонему [i], т. е. соответствовало греческому «ипсилону»<sup>138</sup> (в рукописях есть много примеров обозначения греческого Υ буквой **Ѥ**). Таким образом, **Ѥ** в первоначальной глаголице означало фонему [i] во всех пози-

<sup>133</sup> Велчева Б. Праславянски... с. 118; Ильинский Г. И. Македонский глаголический листок. СПб., 1909, с. 12. — Реже различное употребление *Ѣ* и *Ѥ* отмечено и в памятниках кириллицей: см.: Срезневский И. И. Древние славянские памятники юсового письма. СПб., 1868, с. 37.

<sup>134</sup> Trubezkoi N. S. Altkirchenslavische Grammatik, S. 17.

<sup>135</sup> Гълъбов И. Към развоја «Ѣ» в именителен падеж на сложителни прилагателни в български език. — Известие на института за български език. 1952, с. 174, 180; Иванов I. Un parler Bulgare archaïque, p. 93.

<sup>136</sup> Mošín P. Još o Hrabru... s. 10.

<sup>137</sup> Успенский Б. А. Архаическая система церковнославянского произношения: Из истории литургического произношения в России. М., 1968, с. 9, 16.

<sup>138</sup> Там же.

циях,<sup>139</sup> **Ѣ** использовалось в диаграфе для обозначения [i], а **Ѥ** передавало заимствованную из греческого фонему [ü]. Такое первоначальное состояние впоследствии было затемнено прошедшими звуковыми изменениями. В язык литургии уже в Моравии проникает произношение **Ѥ** как [i], а исконное [tʲi] сливается с исконным [i] > [t]. В результате всех этих изменений **Ѣ**, **Ѥ** и **ѥ** стали употребляться в одном значении. Что касается различия [jī]—[i], где долгое [i:] было реализацией бифонемного сочетания [i+i], так как в словах типа мои [moj] одно [i] относилось к корню, а другое было окончанием, то ни в одной рукописи это различие не обозначалось разными буквами, и, хотя заманчиво предположить, что **Ѥ** (**ѥ**+**Ѥ**) обозначало [ii], а **ѥ**—[i], такое предположение не находит подтверждения в рукописях.

Обозначение согласных строится в основном на фонографическом принципе (о мягких см. выше). Причем глаголица и в данном случае более последовательна. В ней нет букв, обозначающих сочетания согласных (в кириллице буквами **ѣ** и **ѥ** обозначались славянские сочетания [ks] и [ps]). Существование в глаголице особой буквы «зело» для обозначения звонкой аффрикаты [dz] связано с тем, что в солунском говоре эта аффриката еще не перешла в соответствующую щелевую. Аффрикату [dz] в словах типа [dzvezda] сохраняют до сих пор современные говоры деревень, расположенных неподалеку от Солуни.<sup>140</sup>

Рефлексы исконных [tj] и [dj], которые были особыми фонемами в солунском говоре IX в. передавались в первоначальной азбуке буквами **Ѧ** и **ѧ**.<sup>141</sup> Уже в Моравии, однако, эти буквы оказались ненужными, поскольку исконные [tj] и [dj] слились здесь с продуктами второй палатализации (т. е. с [c] и [z]). Буква **Ѧ**, употреблявшаяся только в греческих заимствованиях, сохранилась, вероятно, только потому, что писалась в слове «евангелие». Скорее всего разные фонемы обозначали и две глаголические буквы «**Ѩ**» и «**ѩ**».<sup>142</sup>

Созданный Константином Философом славянский алфавит был выдающимся достижением. Если верны наши рассуждения о солунской фонологической системе IX в., то мы должны заключить, что в солунском диалекте не было ни одного фонологиче-

<sup>139</sup> Интересно отметить, что в некоторых рукописях в значении цифры 10 употребляется только буква **Ѧ**.

<sup>140</sup> Ivanov J. Un parler Bulgar archaïque, p. 99; Романски ст. Долновардарският говоръ. — Македонски прегледъ. София, 1932, г. VIII, кн. 1, с. 129; Младенов М. Сл. Бележки по говора на е. Куфалово, Солнско. — Български език, 1977, т. 27, кн. 6, с. 474.

<sup>141</sup> Durново N. Мысли и предположения... с. 56—58; Tribezkoi N. S. Altkirchenslavische Grammatik, S. 28.

<sup>142</sup> Вопрос о том, какие именно фонемы обозначали два х не вполне ясен — см. Tribezkoi N. S. Altkirchenslavische Grammatik, 30; Иванова Т. А. О названиях славянских букв и о порядке их в алфавите. — ВЯ, 1969, № 6, с. 51.



ского различия, которое не было бы передано графической системой Константина Философа: создавая свой алфавит, Константин Философ использовал те приемы, которые сохраняют свое значение и теперь. Наряду с использованием фонографического принципа создания алфавита (фонема—буква) Константин Философ использовал принцип обозначения одной буквой разных фонологических единиц при отсутствии их противопоставления в каких-либо позициях. Он же использовал принцип обозначения гласными буквами различия в согласных фонемах: Кириллица сохранила все основные принципы графики глаголицы Константина Философа и донесла до наших дней выдающиеся достижения славянских первоучителей.

## П Р И Л О Ж Е Н И Е

### К ИСТОРИИ АЛФАВИТОВ В РОМАНОЯЗЫЧНЫХ СТРАНАХ

История письменности современных романских языков существенно отличается от описанного выше процесса усвоения латиницы в германоязычных странах: там мы сталкиваемся со сравнительно поздним и более или менее одновременным фактом заимствования чужого письма, здесь — с длительной эволюцией графики,<sup>1</sup> причудливо отражающей развитие романской речи от ее зарождения в республиканском Риме, постепенной дифференциации в период поздней Империи и раннего средневековья до фиксации новых письменных норм по мере возникновения романских средневековых литератур.

#### ОБЩЕРОМАНСКИЙ ПЕРИОД (II в. до н. э. — III в. н. э.)

Протекает под сильнейшим влиянием греческого, бывшего буквально вторым языком позднереспубликанского и императорского Рима вплоть до основания Константинополя (330 г.).<sup>2</sup> Собственно романские процессы, возникающие помимо этого влияния, как правило, не получают отражения в графике. Так, замена количественных противопоставлений гласных качественными, следы которой находят уже в помпейских надписях,<sup>3</sup> не имела для латинского алфавита решительно никаких последствий — вероятно, по той причине, что и в самом латинском не различались на письме долгие и краткие гласные. Это неудобство давно ощущалось римскими грамматиками, но все проекты реформы<sup>4</sup> оказались столь же бесплодными, как и аналогичные попытки ученых<sup>5</sup> нового времени улучшить итальянскую орфографию (ср. ит. *pesca* 1. 'персик' (e) и 2. 'рыбная ловля' (e) или *colt*

<sup>1</sup> См.: S a b a t i n i F. Dalla «scripta latina rustica» alle scriptae romanze. — Studi medioevali, 1968, t. 9, n. 1, p. 321.

<sup>2</sup> См.: K a i m i o J. The Romans and the Greek language. Helsinki, 1979; см. также рецензию: Language, 1982, t. 58/1, p. 211—216.

<sup>3</sup> См.: V ä ä n ä n e n V. Introduction au latin vulgaire. Paris, 1963, 42 ssq; H a l l R. A. jr. Proto-Romance Phonology. New York, 1976, p. 179.

<sup>4</sup> ei или «длинная йота» для [i], апексы над долгими гласными, рекомендованные Квинтилианом и впоследствии использованные в Ирландии и т. д., см.: Т р о н с к и й И. М. 1) Историческая грамматика латинского языка. М., 1960, § 103; 2) Очерки из истории латинского языка. М.; Л., 1953, с. 144.

<sup>5</sup> См.: M u l j a Ć i ć Ž. Introduzione allo studio della lingua italiana. Torino, 1974, p. 142.

1. 'собранный' (o) и 2. 'культурный' (o), идентифицируемые только в контексте). Не удержалась и введенная Клавдием (41—54 н. э.) обратная диграмма *ɰ* для возникшего из полугласного [ɰ] губнозубного.<sup>6</sup> До и после него *v* и *u* (курсивная форма) обозначал как гласный [u], так и согласный [v] вплоть до XVI в., когда впервые примененные во Франции в их современной функции буквы *U* и рядом с *V v*, как и *J j*, первоначально вариант *i*, распространились по всей Европе. Лучшую участь имел диграф *ui*, возникший, по-видимому, под влиянием оскско-умбрского письма, в котором систематически отражался появляющийся на стыке гласных глайд: ср. арх. *fiueit* CIL I 1051, т. е. *fiut* 'он был' (*ei*=[i], см. выше, прим. 4); в классический период он не пользовался популярностью, ср. обратные написания *aeum*=*aeuum* 'век', *uius*=*uiuus* 'живой',<sup>7</sup> однако как-то удержался и в дальнейшем стал систематически употребляться в греческих заимствованиях: *euiangelium*, *Euia* и т. д., а затем и в германских именах и словах для передачи губно-губного, ср. *Vuidericus*, *uuađio* и т. д., откуда он проникает в германские скрипты (*ui* → *w*).<sup>8</sup>

Образованные круги Рима усвоили стандартное произношение греческих аспиратов  $\varphi \theta \chi$  уже в середине II в. до н. э., о чем свидетельствуют написания *ph th ch* (ранее аспираты передавались соответствующими смычными, ср. *πορφύρα* > *purpura*), проникающие и в латинские имена и слова: *Gracchus*, *Otho*, *pulcher*<sup>9</sup> и т. д. В следующем столетии к ним прибавляются *y* < *o*= [ü] и *z* <  $\zeta$ = [dz].<sup>10</sup> В низшие слои населения эти новшества, разумеется, не проникли: *o* произносилось сначала как [u], а затем как [i] в соответствии с его эволюцией в греческом;  $\zeta$  очень долго воспринималось как [dʒ],<sup>11</sup> сам знак впоследствии использован как для [dz], возникшего из ассибилизированного *-đj-*, ср. *oze*=*hodie* в африканских надписях,<sup>12</sup> так и для [ts] < *-tj-* (в сочетании с *t*): *Vincentus*, *ampitratu* (= *amphitheatrum*).<sup>13</sup> Для романского [ts] известны и другие написания: *ts*, *s*, *-ci-* и т. д.,<sup>14</sup> однако

<sup>6</sup> См.: Тронский И. М. Историческая грамматика. . . , §§ 71, 106, с. 54, 72—73; *V ä ä n ä n e n* V. Introduction. . . , §§ 87—88, p. 51—52; *Leumann* M. Lateinische Laut- und Formenlehre. München, 1977, § 146, S. 139; *Lausberg* H. Romanische Sprachwissenschaft. Bd 2, Konsonantismus. 2 Aufl. Berlin, 1967 (Samml. Goschen 250), §§ 297 ff. — Обычно считается, что [ɰ] дало сначала [β], совпавшее почти во всех позициях с [b] (надпись, сообщение грамматиков, а также сард., исп., кат., гаск. и диалекты юга Италии), однако ступень [v] была достигнута уже к I в. н. э., вероятно, не без усилий со стороны римских педагогов (опиравшихся на гр.  $\beta$ = [v]?). Клавдий, во всяком случае, имел в виду не [β], а [v], присутствующее в ит., рум., фр., порт., окс. и р.-ром.

<sup>7</sup> См.: *Stolz* F., *Schmalz* J. Lateinische Grammatik. 4 Aufl. München, 1910, § 14, 5, S. 54; *V ä ä n ä n e n* V. 1) Introduction. . . , § 75, p. 46; 2) *Le latin vulgaire des inscriptions pompéennes*. 3 éd. Berlin, 1967, p. 48, n. 3.

<sup>8</sup> См.: *Sabatini* F. Dalla «scripta. . .», p. 333—334, 338—339.

<sup>9</sup> См.: *V ä ä n ä n e n* V. Introduction. . . , §§ 102—103, p. 57—58.

<sup>10</sup> См.: *Leumann* M. Lateinische Laut- und Formenlehre, § 19, S. 19; перед *b d g z*= [z].

<sup>11</sup> Ср. \*zelosus, романское образование от гр.  $\zeta\eta\lambda\omicron\varsigma$  > it. geloso (c[dž]), как *diurnum* > ит. giorno; суффикс *-idiare*, восходящий к гр. *-ιδειν*, транскрипции типа  $\zeta\epsilon\phi\upsilon\rho\omicron\varsigma$  'зефир' = *diefirus* (гр.  $\varphi$ = [f]) с I в. до н. э.) и т. д., см.: *Rohlf's* G. Die Aussprache des z im Altgriechischen. — *Das Altertum*, 1962, Bd 8, S. 3—9 (= *idem*. Neue Beiträge zur Kenntnis der unteritalienischen Gräzität. . Wien, 1962, S. 91—97). [dz] привилось лишь в немногих культурных словах, ср. ит. *zona*, *zodiaco*, *zelo* и т. д. (фр. *zone* и т. д. следуют позднеречевой норме  $\zeta$ = [z]).

<sup>12</sup> См.: *V ä ä n ä n e n* V. Introduction. . . , § 95, p. 54.

<sup>13</sup> *Ibid.*, § 99, p. 55—56; *Leumann* M. Lateinische. . . § 9, S. 11.

<sup>14</sup> (t)s встречается уже в итальянских надписях, ср. *Martses*, Abl. Pl. от этнонима *Marsus*=лат. *Martius*, см.: *Lindsaу* W. M. Die lateinische Sprache /

{tʃ} все же возобладало<sup>15</sup> и перешло во все романские скрипты, ср. *fazet* в «Страсбургских присягах» и т. д. Из современных романских языков только итальянский сохранил з в обеих его функциях, ср. *zio* 'дядя' (с [ts]), но *zaino* 'рюкзак' (с [dz]) и т. д.; в средневековых текстах интерпретация этой графемы также нередко представляет значительные затруднения.<sup>16</sup>

Не удержалась, несмотря на популярность в раннероманских скриптах Италии, Галлии и Испании, другая греческая инновация: *g*=[i], ср. *Gera-polim*=*Hierapolim* в «Паломничестве Эгерии» (IV—V вв.), *agebat*=*aiebat* 'он говорил' в рукописях Григория Турского и т. д.<sup>17</sup> Распространению этого явления отчасти способствовал переход [-g-] > [i] перед *e*, *i*, ср. лат. *gelu* > исп. *hielo* 'лед', *legere* 'читать' > \**lieire* > фр. *lire*, однако он не был столь повсеместным, как в греческом, ср. ит. *leggere*, ст.-окс. *legir*; только для французского характерно [-g-] > [i] перед *a*, ср. *pegare* 'отрицать' > ст.-фр. *peier* > *pieg*. В этой связи вызывает некоторое удивление использование *g* в готском алфавите в функции [i]: как раз на нижнем Дунае, где проповедовал Вульфилла, [-g-] должно было сохраняться, ср. рум. *gege* 'король' < *gegem* и т. д. Остается предположить, что воспитанный в Константинополе готский епископ почему-то произносил *ge*, название латинской буквы *g*, как гр. γε, т. е. как [ie].

## ПОЗДНЕРОМАНСКИЙ ПЕРИОД (IV—XII вв.)

Основные фонетические изменения, приведшие к появлению новых романских звуков (палатализация под влиянием последующего йота, озвончение глухих смычных в интервокальной позиции и т. д.) начинаются по всей видимости уже в общероманском, однако развиваются более или менее независимо в различных частях распадающейся Римской империи, нередко получая в дальнейшем и неодинаковое графическое отображение.

### И т а л и я

Палатализация с [k] перед *i*, *e* привела к возникновению аффрикаты [tʃ] и появлению нового диграфа *tc*, ср. *incitamento* (V в.), который, однако, не удержался: возобладало этимологическое написание (лат. *cervus* 'олень' > ит. *cervo*),<sup>18</sup> и специального обозначения потребовали вторичные [ke-], [ki], например, *quid* 'что' > ит. *che*, *ecclesia* 'церковь' > *chiesa*, для чего был использован уже известный нам (см. выше, с. 56), диграф *ch*, популярный в позднеантичных надписях и рукописях.<sup>19</sup> Первые примеры: *chi*, *fabbriche*, *sicche* — датируются VIII в.<sup>20</sup> Точно так же и аффриката [dʒ] из *g*+*e*, *i* не получила особой графемы: лат. *gens*, *-tis* 'род' > тоск. *gente*. Диграф *gh* для вто-

Übers. v. H. Nohl. Leipzig, 1897, S. 96; Löfstedt B. Studien über die Sprache der langobardischen Gesetze. Uppsala, 1961, S. 170; Avallle D' A. S. Bassa latinità: Consonantismo. 2 ed. Torino, 1971, p. 93—101.

<sup>15</sup> Вероятно, не без поддержки со стороны соответствующей греческой графемы τζ, появляющейся уже в Септуагинте (III в. до н. э.) в транскрипциях иностранных имен.

<sup>16</sup> Ср. *bellezour* и *domnizelle* в «Секвенции о св. Эвлялии» (IX в.), где *-z* = [ʒ] согласно: Avallle D' A. S. Alle origini della letteratura francese: I Giuramenti di Strasburgo e la Sequenza di Santa Eulalia. Torino, 1966, p. 216—223.

<sup>17</sup> См.: Sabatini F. Dalla «scripta...», p. 334; Avallle D' A. S. Consonantismo... p. 47—48; Grandgent C. H. An Introduction to Vulgar Latin. New York, 1962, § 259, p. 110.

<sup>18</sup> См.: Väänänen V. Introduction... § 100, p. 56.

<sup>19</sup> См.: Schuchardt H. Der Vokalismus des Vulgärlateins. Leipzig, 1866, Bd 1, S. 73—74.

<sup>20</sup> См.: Diez F. Grammatik der romanischen Sprachen. 3 Aufl. Bonn, 1870, Bd 1, S. 349; Sabatini F. Dalla «scripta...», p. 334.

ричного [g] засвидетельствован в германских именах уже в VI в.,<sup>21</sup> [dʒ] возникает также из i-, di-, -di- и т. д., будучи и в этом случае передаваемым посредством gi-, например, diurnum > ит. giorno 'день', и уже в надписях CIL XI 4335 Ianuaria (a. 503) = Ianuaria; XV 4385 Congiano (a. 180) = Con-diano.<sup>22</sup> Напротив, ci- перед a, o, u засвидетельствовано только в XII в.<sup>23</sup>

Аналогичным образом [ʃ] из sc-, s- и -x- обозначается как sci-, sce-, например, laxare > ит. lasciare 'оставлять'. Первые примеры распространения этого написания появляются лишь во второй половине XII в.<sup>24</sup> Для палатального [n] используются уже с конца VIII в. графема ngn,<sup>25</sup> впоследствии упростившаяся в gn: seniore(m) > ит. signore, как lignum > ит. legno 'древесина'; начиная с XI в. известны аллографы с -i, позднее исчезнувшие, но оказавшие влияние на написания палатального l, где гласный удерживается, ср. giugno 'июнь', но luglio 'июль' < (mensis) Iunius / Iulius.

Таким образом, итальянская графика окончательно складывается только к концу XII в. и даже позже (выработка трехбуквенных сочетаний с i- перед гласными заднего ряда). Она в значительной степени фонологична: отметим использование букв i и h как показателей наличия и отсутствия палатализации, а также g как признака палатальности стоящего за ним сонанта. Ее недостатком помимо общей для почти всех средневековых скрипт нестабильности является многобуквенность некоторых написаний: volglio = совр. voglio 'я хочу' и т. д.).

### Галлия (Франция и Окситания)

Дифференциация окситанского и собственно французского начинается очень рано в силу различных причин: большей или меньшей удаленности от Италии, главного источника романских инноваций, субстрата (лигурийские и иберо-аквитанские компоненты на юге) и неодинаковой плотности франкского адстрата, быстро ассимилированного в Нарбоннской Галлии (= Лангедок), но объединение под началом Меровингов и Каролингов и интенсивные контакты северных и южных монастырей, широко практиковавших обмен рукописями, привели к выработке общих графических приемов. Так, в отличие от Италии, диграф ch уже с VII в. обозначает палатальный [tʃ], возникший из [ka], например, лат. cantare > фр. chanter; ср. топоним Charisago (совр. Chérisai < Carisiacum) из меровингских дипломов<sup>26</sup> (это явление захватывает только северные области Окситании: Лимузен, Овернь, Дофине, но ch используется в окситанском и в других случаях, ср. fach, -a < лат. factum, sarchatz < лат. sapiatis).<sup>27</sup> [k] перед e, i дает в обоих языках [tʃ], уже в XIII в. переходящее в [s] при сохранении этимологического написания: лат. centum 'сто' > фр., окс. cent; вторичное [k] в этой позиции передается посредством диграфа qu (реже k): лат. qui 'который' > фр., окс. qui. Соответственно и [g] перед e, i выступает как gu. Перед гласными заднего ряда [tʃ] обозначается с помощью sz в окситанском (czo в пикардско-валлонской «Секвенции о св. Евлалии» является наглядным свидетельством старых интеррегиональных связей), как ce, ср. menceonge — совр.

<sup>21</sup> См.: Schuchardt H. Der Vokalismus. . . , S. 74; Diez F. Grammatik. . . , Bd 1, S. 350—351.

<sup>22</sup> См.: A valle D' A. S. Bassa latinità: Consonantismo, p. 49.

<sup>23</sup> См.: Castellani A. I più antichi testi italiani / Edizione e commento. 2 ed. Bologna, 1976, p. 131 (Pisa).

<sup>24</sup> Ibid., p. 169.

<sup>25</sup> Ibid., p. 131—132, n. 47.

<sup>26</sup> См.: Meyer-Lübke W. Historische Grammatik der französischen Sprache. Heidelberg, 1908, Bd 1, § 163, S. 131.

<sup>27</sup> В окситанских текстах встречаются и другие написания [tʃ]: i, (i)g, (i)h и т. д., см.: Grafström A. Étude sur la graphie des plus anciennes chartes languedociennes avec un essai d'interprétation phonétique. Thèse. Uppsala, 1958, p. 194 sq. Любопытно, что последний вариант имеет аналогию в iholt < лат. calidum валлонской «Проповеди об Ионе» (конец X в.).

mensonge (отметим фонологическую функцию *e* в отличие от *i* в итальянском), и просто *s* в старофранцузском XII в., позднее еще и как *s* в соответствии с новым звучанием, а в отдельных словах начиная с XVI в. как *ç* (< исп.). Палатальное *p'* < -gn-, -ni-, -nni- и т. д. получает, как и в итальянском, этимологическое написание gn,<sup>28</sup> с которым в окситанских текстах успешно конкурируют -in, -inn, на конце слов (i)ng, а также -(i)hn и постепенно вытеснявшее *nh* (современная графика),<sup>29</sup> в старофранцузских -ign (реально звучавшее на Востоке и в Орлеане, но появляющееся и в нормандской «Песни о Роланде», ср., строфа I: *Espaigne—altaigne—remaigne : muntaigne*)<sup>30</sup> и *ngn*. Для [l'] мы встречаем в обоих языках *il* и (i)ll, позднее в окситанском *lh*.<sup>31</sup>

Двигаясь в обратном направлении, т. е. от буквы к звуку, следует отметить очень интересное использование *z* в окситанском, где она обозначает не только [ts] (самостоятельно и в диграфах *cz* и *tz*), как во французском и итальянском в соответствии с романской традицией (см. выше, с. 56), но и [dz] < -ci/e-, -ti- и, может быть, -d-,<sup>32</sup> продолжая, таким образом, римскую литературную норму. Во второй половине XII в. это [dz] переходит в [z] и графема *z* начинает употребляться наряду с -s-, утвердившейся в итальянском и французском, например, лат. *faciebat* 'он делал' > *fazia/fasia*, захватывая и слова с [z] < -d-, -s-, например, *mezura* 'мера' < лат. *mensura*, *lauzar* 'хвалить' < лат. *laudare*. Любопытно, что старофранцузский, проработавший аналогичную эволюцию (ср. *vicinus* 'сосед' > \**veidzin* > *veisin* > *voisin*),<sup>33</sup> содержит -z- только в «Секвенции о св. Эвлалии» IX в. (ст. 2 *bellezour*, 14 *dompizelle*)<sup>34</sup> и в немногочисленных заимствованиях (проблематичны числительные *douze*, *treize* и т. д.).

В целом старофранцузская графика гораздо менее фонологична, чем окситанская и итальянская и, как это ни удивительно, более скована латинской традицией, нежели ее южные сестры-конкурентки, при том что французский язык уже в XII в. дальше всех отошел от исходной романской основы. Причину этого следует искать как в административной и языковой разобщенности собственно «Франции» (объединенной лишь в самом конце столетия), что требовало максимальной архаизации написаний, так и в распространении латинской образованности благодаря деятельности таких культурных центров, как Париж, Шартр и Орлеан. Первые грамоты на французском языке появляются только в конце XII в. в Пикардии, парижская канцелярия переходит на французский лишь в середине XIII в., т. е. почти на два столетия позже Тулузы. В дальнейшем фонетическая эволюция (стяжение дифтонгов, отпадение конечных согласных и т. д.), с одной стороны, латинизация XIV—XV вв. — с другой, сделали французскую орфографию одной из самых трудных не только в странах романской речи, но и во всей Европе.

## Испания

На формирование испанской орфографии существенное влияние имел приход клонийских монахов, приглашенных в 1070 г. кастильским королем Фернандо I. Предпринятая ими реформа лигурии привела к замене старого визиготского письма (*letra visigoda*) на французское (*letra francesa*).<sup>35</sup> Но

<sup>28</sup> Ibid., S. 29; Hoepffner E., Alfarc P. *La Chanson de Sainte Foy*. Paris, 1926, t. 1, p. 44—45 (*legna*, *regnar*, signed).

<sup>29</sup> См.: Grafström A. *Etude sur la graphie*. . . , § 75, p. 211 ssq.

<sup>30</sup> См.: Fouché P. *Phonétique historique du français*. Paris, 1958, vol. 2. *Les voyelles*, p. 347.

<sup>31</sup> Grafström A. *Etude sur la graphie*. . . , § 74, p. 209.

<sup>32</sup> Ibid., § 47, p. 128 ssq.

<sup>33</sup> См.: Fouché P. *Phonétique historique*. . . , vol. 3, p. 623 ssq.

<sup>34</sup> См. выше, прим. 16.

<sup>35</sup> См.: Menéndez Pidal R. *Orígenes del español*. 3 ed. Madrid, 1950, § 98, 5, p. 479 ssq; § 99, 4, p. 488. Р. Лапеса упоминает в этой связи отца Фернандо, наваррского короля Санчо Великого (1000—1035), см.: Lapesa R. *Historia de la lengua española*. 9 ed. Madrid, 1981, p. 16

галло-романские написания были, по-видимому, известны христианской Испании и раньше, через Каталонию, Наварру и Арагон. Тем не менее в исследованных Пидалем текстах X—XI вв. обнаруживается не так уж мало оригинального. Так для [n'] наряду с обычными в окситанских грамотах pi, in, ng и gn, встречается pn, как правило, в виде аббревиатуры ñ, откуда современное ñ; <sup>36</sup> соответственно для [l'] рано установилось написание ll. Отсутствующее в Галлии [š] (появляется во французском из [tš] лишь в XIII в.) передается не только посредством использующегося в итальянском sc(i), но и через другое этимологическое написание x, удержавшееся по сей день в португальском и каталанском <sup>37</sup> (испанское [š] совпало с [ž] в звуке [h], переняв и его обозначение i, позднее j: bajo 'низкий' < baхо < лат. bassus как oveja 'овца' < oveia (с [ž]) < лат. ovicula). [ts] первоначально писалось, как и [dz] z, позднее для него стали использовать уже известный нам окситанский диграф cz, ç, <sup>38</sup> впоследствии оба звука совпали как в произношении [θ], так и в написании [z]: лат. puteu(m) 'колодець' > pozо, \*baptidiare > bautizar. Непосредственно ключицам принадлежит ch[tš], <sup>39</sup> Загадочно у = [i], проникающее в испанскую графику лишь во второй половине XII в. <sup>40</sup>

Португальский в целом сохранил староиспанскую орфографию, хотя и с некоторыми изменениями: в XIII в. распространяется употребление тильды вместо исчезнувшего -n- и заимствуются из окситанского диграфы lh и nh для палатальных плавных вместо исконно испанских ll и ñ. <sup>41</sup> Собственную графему для [n'] — сначала un, позднее nu, например, aun, anu, 'год' < лат. annu(m), ср. исп. año — постепенно вырабатывает каталанский. <sup>42</sup> Для аффрикат [tš] и [dž] наряду с окситанскими графемами -(i)g и i, g в Каталонии начиная с XIII в. входят в обиход диграфы с t: tx и ti, tg. <sup>43</sup>

### Прочие романские ареалы

Сардиния до IX в. принадлежала Византии, и одна из древнейших сардинских грамот конца XI в. написана греческими буквами. <sup>44</sup> В XI в. после изгнания арабов Генуя устанавливает протекторат над севером острова, а Пиза — над плодородным югом, появляются приглашенные местными правителями монахи из бенедиктинского аббатства Монтекассино (около Неаполя) и начинают выпускаться документы на латинце, в которых очень заметно влияние северо-итальянских канцелярий, например, местное th = [θ] постепенно уступает место континентальному z: fathо, fazо < лат. facio 'я делаю'. <sup>45</sup> Оригинальные графических находок нет еще и потому, что старосардинский консонантизм крайне консервативен.

Формирование многочисленных ретороманских систем написания начинается только с XVI в. и выходит тем самым за рамки данного очерка. Первые

<sup>36</sup> Ibid., § 4, p. 49 ssq.

<sup>37</sup> x[š] находит отдаленную аналогию в генуэзском x[ž], см.: Cas tellani A. I più antichi testi italiani, p. 175.

<sup>38</sup> Menéndez Pidal R. Orígenes... § 9, 1—2, p. 63 ssq.

<sup>39</sup> Ibid., § 8, 5, p. 62.

<sup>40</sup> См.: Menéndez Pidal R. Crestomatía del español medieval. Madrid, 1965, t. 1, p. 52 (a. 1171), 60 (с. 1155), 63 (a. 1150—1160) и т. д.

<sup>41</sup> О развитии португальской орфографии см.: Williams Ed. B. From Latin to Portuguese. 2 ed. Philadelphia, 1962, p. 19—28; Teysier P. Histoire de la langue portugaise. Paris, 1980, p. 30 ssq.

<sup>42</sup> См.: Brummel R. Eine altkatalanische Urkunde in Montblanc. (prov. Tarragona). — Orbis, 1969, vol. 18, n. 2, p. 372.

<sup>43</sup> См.: Russell-Gebbett P. Mediaeval Catalan Linguistic Texts. Oxford, 1965, §§ 21, 50; 33, 14; 34, 13 etc.

<sup>44</sup> О древнейших сардинских текстах см. в книге: Tagliavini C. Le origini delle lingue neolatine. 6 ed. Bologna, 1969, § 84, p. 516 ssq.

<sup>45</sup> См.: Wagner M. L. Historische Lautlehre des Sardischen. Halle, 1941 (Beihefte zur ZRP 93), §§ 166 ff., S. 106 ff.; § 232, S. 146 (по поводу написаний li и ç для [l']).

румынские тексты написаны кириллицей, удерживающейся до середины XIX в.

Проблема возникновения романской письменности остается еще во многом неясной, главным образом из-за отсутствия монографических исследований, которые охватили бы весь западнороманский материал и тем самым как-то осветили происхождение одинаковых графем (общий источник —  $z = [ts]$  и  $[dz]$ ; интеррегиональные связи —  $ch = [tʃ]$  в Галлии и Испании и т. д. или параллельное развитие).

В настоящем очерке этот вопрос мог быть только затронут. Но уже сейчас очевидно, что этот процесс был очень длительным: он открывается в I в. до н. э. введением греческих букв  $y$  и  $z$  и достигает некоего, впрочем, весьма условного завершения лишь в XII—XIII вв. Любопытно отметить, что каролингское возрождение и общеизвестные капитулярии соборов, сделавшие обязательным чтение проповедей на местных языках, — практика, засвидетельствованная как для западной, так и для восточной церкви по крайней мере с V в., — в развитии романской графики существенной роли, по видимому, не сыграли. Основные романские инновации, как-то: обобщение написаний или появление «фонологических» букв ( $g$  в итальянском,  $h$  в окситанском и  $t$  в каталанском) — приходится на последующие столетия, более благоприятные в политико-экономическом отношении для роста благосостояния и соответственно грамотности среди мирян.

# ЛАТИНСКАЯ ГРАММАТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ В АНГЛИИ VII—XI вв. (ВЕДА, АЛКУИН, ЭЛЬФРИК)

---

История языкознания в средневековой Англии — это, собственно, история изучения, преподавания и бытования в ней латинского языка. Удивляться этому не приходится, зная, какую видную роль играла латынь в средневековой Европе, где она была языком церкви, канцелярии, науки, языком, выполнявшим, как отметил В. М. Жирмунский, «все важнейшие общественно-политические функции будущих национальных литературных языков».<sup>1</sup>

Британия в течение долгого времени была римской провинцией. Впервые римляне под предводительством Юлия Цезаря высадились там в 55 г. до н. э. Планомерное завоевание острова началось, однако, лишь в 43 г. н. э., при императоре Клавдии, когда был завоеван весь юго-восток страны. Позднее, в 71 г., римляне заняли территорию современного Йоркшира, а в 74 г. — Уэльс. Завершил завоевание Британии наместник Юлий Агрикола, который к 83 г. (правление Домициана) максимально расширил территорию римской провинции, доведя ее границы до р. Клайд (юг Шотландии).

Официально Британия считалась римской провинцией до 428 г., однако фактически римское владычество закончилось там гораздо раньше. В 407 г. римские войска были уведены из Британии, а в 410 г. император Гонорий в послании бриттским городам сообщил, что они не должны более рассчитывать на помощь Рима.<sup>2</sup>

О степени культурного влияния римлян на кельтов Британии и влияний латыни на их языки можно судить лишь по косвенным свидетельствам. По словам Тацита, например, наместник Юлий Агрикола «... побуждал британцев к сооружению храмов, форумов и домов. . . юношей из знатных семейств он стал обучать свободным наукам. . . и те, кому латинский язык совсем недавно внушал откровенную неприязнь, горячо взялись за изучение

---

<sup>1</sup> Ж и р м у н с к и й В. М. История немецкого языка. 5-е изд. М., 1965, с. 43.

<sup>2</sup> Б р у н н е р К. История английского языка. М., 1955, т. 1, с. 17—18, 34; М о р т о н А. Л. История Англии. М., 1950, с. 33.



латинского красноречия».<sup>3</sup> Возможно, что подобные мероприятия проводились и другими римскими правителями Британии. Они, однако, затронули в основном верхушку кельтской знати.<sup>4</sup> Хотя латынь была распространена достаточно широко,<sup>5</sup> она не только не вытеснила кельтские языки, но и основная масса местного населения, видимо, не была двуязычной.<sup>6</sup>

Чрезвычайно важным обстоятельством, свидетельствующим об упадке римской культуры в Британии, является то, что вскоре после ухода оттуда римлян местное население вернулось к сельской жизни; города и виллы пришли в запустение, причем от последних не сохранилось даже названий.<sup>7</sup>

В середине V в. Британия была завоевана германскими племенами англов, саксов, ютов и фризов, которые расселились по всей территории страны, за исключением горных ее районов (Шотландия, Уэльс, Корнуолл), куда были вытеснены кельты.

Вопрос, который естественно возникает в связи с уходом из Британии римлян и колонизацией ее германцами, касается судьбы римской культурной и языковой традиции. Предполагают, что остатки римской культуры сохранились в городах; их, однако, избегали англосаксы.<sup>8</sup> Маловероятно также, что эта культура могла оказать на завоевателей сколько-нибудь существенное влияние через посредство кельтов, общение которых с германцами было, судя по малому числу ранних кельтских заимствований в английском языке,<sup>9</sup> весьма ограниченным. Кроме того, и латынь не была распространена среди германцев настолько, чтобы стать языком их общения с кельтами.<sup>10</sup> Таким образом, ни о каком

<sup>3</sup> Тацит Корнелий. Жизнеописание Юлия Агриколы. — В кн.: Корнелий Тацит. Соч. в 2-х т. Л., 1968, т. 1, с. 338 (Серия «Литературные памятники»).

<sup>4</sup> Известно, что многие бриттские вожди носили римские имена. См.: Бруннер К. История английского языка, с. 20.

<sup>5</sup> До сих пор в кельтских языках Британии сохранилось около 800 ранних заимствований из латыни. См.: Jackson K. Language and history in Early Britain. Edinburgh, 1971, p. 76, n. 3.

<sup>6</sup> Ср.: «Св. Патрик, апостол Ирландии, родившийся около 400 г. в Британии в семье члена городского управления (descrig), по свидетельству старой биографии, жаловался, что не владеет латынью как родным языком» (Бруннер К. История английского языка, с. 20).

<sup>7</sup> К этому выводу пришел К. Джексон (Jackson K. Language. . ., p. 230—233). В своей книге он суммирует различные мнения по данному вопросу, а также ссылается на древнеанглийские и бриттские источники. Тот факт, что многие города сохранили римские названия, не свидетельствует, по мнению Джексона, о сохранении городского уклада жизни в Британии. Он также замечает, что на территории Франции известно несколько сот вилл с римскими названиями.

<sup>8</sup> Бруннер К. История английского языка, с. 34. — Это обстоятельство специально оговаривает К. Джексон, который к тому же подчеркивает, что римские города пришли в упадок еще до германского завоевания (Jackson K. Language. . ., p. 230—231).

<sup>9</sup> Jackson K. Language. . ., p. 241, n. 1.

<sup>10</sup> До прихода на остров германцы, судя по континентальным заимствованиям, были знакомы в основном с латинской торговой и военной лексикой. В Британии до принятия христианства ими было заимствовано не более

существенном влиянии латыни на древнеанглийский язык раннего периода (до VII в.) говорить не приходится. Можно предположить лишь существование на острове весьма ограниченной культурной среды, носительницы латинской языковой традиции. Такая романизованная прослойка была, видимо, в среде кельтского населения; именно благодаря ей кельтские языки Британии сохранили большое число ученых слов типа *lego* 'читать', *scribo* 'писать', *versus* 'стих', *liber* 'книга' и т. п., которые были заимствованы еще в период римского господства.<sup>11</sup> Возможно, что такая же «ученая» прослойка существовала и среди континентальных германцев, часть которых переселилась в Британию. Таким образом, на острове могли сосуществовать несколько культур: национальные культуры кельтов и германцев, находящиеся примерно на одном уровне, мало соприкасающиеся друг с другом и друг друга не обогащающие (отсюда малое число заимствований), и латинская культура, объединяющая носителей римской традиции. Данное предположение не лишено оснований по двум причинам: во-первых, трудно себе представить, чтобы всякие следы какого бы то ни было влияния, которое римляне оказывали на население Британии в течение четырех веков, полностью исчезли за срок лет, прошедших после их ухода отсюда до завоевания Британии германцами;<sup>12</sup> во-вторых, только наличием романизованной среды можно объяснить возрождение и чрезвычайно быстрое распространение латинского языка в Англии в течение менее чем одного столетия.

Возрождение латинского языка в Англии связано с принятием ею христианства. В 597 г. Августин, посланец папы Григория Великого, высадился в Кенте; позднее, в 601 г., он стал первым архиепископом Кентербери. Из Кентербери миссионеры направились в восточную Англию, Йорк (625 г.), Уэссекс (ок. 635 г.) и южную Англию (681 г.). Мидланд, северная Англия и Шотландия были обращены ирландскими миссионерами.<sup>13</sup>

В течение VII в. в Англии было создано много школ, где преподавались латинский и греческий языки; об уровне этих школ свидетельствует, например, то, что уже в 781 г. выпускник одной из них, Алкуин, был призван ко двору Карла Великого, чтобы открыть в государстве франков школы по образцу английских.

Христианские миссионеры принесли в Англию наиболее распространенные тогда в Европе латинские грамматики Доната<sup>14</sup>

---

пяти слов. Ср.: А м о с о в а Н. Н. Этимологические основы словарного состава современного английского языка. М., 1956, с. 106.

<sup>11</sup> J a c k s o n К. Language. . . , р. 79.

<sup>12</sup> На основании свидетельства Беды Достопочтенного, автора «Церковной истории английского народа», датой германского завоевания Британии считается 449 г.

<sup>13</sup> Б р у н н е р К. История английского языка, с. 38—39.

<sup>14</sup> Грамматика Доната (Aelius Donatus) (IV в.) состоит из двух частей — «Меньшего руководства» (Ars minor) и «Большого руководства» (Ars major) (изд-е: Grammatici latini ex recensione H. Keili. Lipsiae, 1864, 4; далее: Keil 4)

и Присциана.<sup>15</sup> Первая использовалась на начальных этапах, вторая — для более углубленного изучения латинского языка.

О том, как проходили занятия в школах, можно судить по дошедшим до нас разговорникам (*colloquia*), предназначенным для развития навыков разговорной речи на латыни и представлявших собой образцы бесед учителя с учениками. Судя по разговорнику, составленному в XI в. Эльфриком Батой,<sup>16</sup> учеником знаменитого грамматиста Эльфрика (о нем подробнее см. ниже), учащиеся получали ежедневные задания — отрывки текстов для чтения и, вероятно, заучивания наизусть. Своих книг они, видимо, не имели; во всяком случае, из нескольких сот дошедших до нас книг, использовавшихся в школах, лишь одна или две, как считают, могли принадлежать учащимся.<sup>17</sup> Задания скорее всего переписывались под диктовку или из книг, принадлежавших учителям, на таблички,<sup>18</sup> пергамент или папирус.

Малопонятные или редкие слова снабжались глоссами (переводом или пояснениями), которые либо вносились прямо в текст книги (межстрочные и маргинальные глоссы), либо объединялись в отдельные словари, глоссарии. Первые латинско-древнеанглийские глоссы датируются 730 г. (Эпинальские глоссы);<sup>19</sup> этот глоссарий содержит более тысячи латинских слов с переводом. Также в VIII в. был составлен самый крупный древнеанглийский глоссарий (*Corpus glossary*), содержащий более двух тысяч слов,<sup>20</sup> и Глоссарий греческих и древнееврейских слов.<sup>21</sup> Помимо глоссариев с алфавитным расположением слов, в Англии составлялись также тематические словари, которые разбивались на разделы, охватывающие различные сферы жизни (сельскохозяйственные орудия, названия трав и т. п.); например, словарь Эльфрика (X в.).<sup>22</sup>

Помимо лексических глосс, в текстах встречаются также объяснения грамматических форм, например *Augustini* с пометой *cuius rei*, где *cuius rei* (какой вещи?) указывает на падеж слова *Augustini* (генитив).<sup>23</sup> Комментирование грамматических текстов было широко распространено в Средние века, и наряду с маргинальными глоссами сохранились обширные комментарии, занимаю-

<sup>15</sup> Присциан (*Priscianus*) (VI в.) — автор «Курса грамматики» (*Institutiones Grammaticae*) в восемнадцати книгах (Keil. Lipsiae, 1855, II). О Донате и Присциане см.: Ш у б и к С. А. Языкознание древнего Рима. — В кн.: История лингвистических учений. Древний мир, Л., 1980, с. 250—256.

<sup>16</sup> См.: L a p i d g e M. The study of Latin texts. — In: Latin and the vernacular languages in early Medieval Britain / Ed. N. Brooks. Leicester, 1982, p. 100—101. — Сам Эльфрик также составил разговорник, изданный Т. Райтом: W r i g h t T. (ed.). The Anglo-Saxon and Old English vocabularies. 1881, vol. 1, p. 89—103.

<sup>17</sup> L a p i d g e M. The study of Latin texts, p. 101.

<sup>18</sup> Такие таблички были найдены при раскопках в Уитби (*Ibid.*).

<sup>19</sup> The Oldest English texts / Ed. H. Sweet. London, 1885.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> The Anglo-Saxon and Old English vocabularies, p. 1—54.

<sup>22</sup> *Ibid.*, p. 104—167.

<sup>23</sup> L a p i d g e M. The study of Latin texts, p. 106.

щие по несколькоу страниц, например Даремские глоссы к Прициану (XII в.).<sup>24</sup>

Собственно грамматические сочинения, созданные в средневековой Англии, принадлежали философам Альдхельму (Aldhelm или Ealdhelm, ок. 650—709), Беде Достопочтенному (Beda Venerabilis, 674—735) и Алкуину (Alcuin, Alchvin, 735—804). Альдхельмом была написана «Книга о семисложном стихе и метре» (*Liber de Septenario et de metris*),<sup>25</sup> в которой подробно рассматривались просодия и стихотворные размеры. Это сочинение было началом прерванной позднее традиции глубокого филологического изучения латинских авторов.

Беда Достопочтенный, известный церковный писатель своего времени, автор «Церковной истории английского народа» (*Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum*), был превосходным знатоком латыни.<sup>26</sup> Первые его работы были посвящены именно латинскому языку и метрике. Эти сочинения — «Книга об орфографии» (*De orthographia liber*), «О поэтическом искусстве» (*De arte metrica*), «О риторических фигурах и тропах» (*De schematis et tropis*), «Колыбель грамматического искусства Доната» (*Summabulae grammaticae artis Donati*) и «О восьми частях речи» (*De octo partibus orationis*)<sup>27</sup> — предназначались для учеников Беды в монастыре Св. Петра и Павла в Ярроу.

Книга «Об орфографии» отличается от других средневековых сочинений такого рода: с точки зрения правописания в ней рассматривается лишь незначительное число слов типа *disertus* 'красноречивый' и *desertus* 'пустынный'. В основном же здесь говорится об аббревиатурных и числовых значениях букв, например *C* — аббревиатура для *Caesar* 'цезарь' и *centum* 'сто', и, кроме того, приводится словник (типа русского азбучовника) многозначных или редких слов. Например, *Ante praepositio multa significat; nam et tempus significat. . . et presentiam. . . et dignitatem* 'Предлог *ante* означает многое; и время означает. . . и наличие <чего-либо>. . . и старшинства'.

К некоторым словам даются греческие параллели, например, *Aula, Latine domus est, Graece Atrium dicitur* 'Aula — по-латыни «дом», по-гречески называется Atrium' (124). Здесь же приводится и пояснение, касающееся употребления данного слова: *in psalmo ubi legimus: Adorate Dominum in aula sancta ejus, non palatium*

<sup>24</sup> Hunt R. W. Collected papers on the history of grammar in the Middle Ages. — In: Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science. Amsterdam, 1980, 3 (Studia in the history of linguistics, 5), p. 3.

<sup>25</sup> Aldhelmus S. Epistola ad Acircium sive Liber de Septenario et de metris, aenigmatico ac pedum regulis. — In: Octavi saeculi ecclesiastici scriptores / Accurante J.-P. Migne. Patrologiae Latinae, 1850, t. 89, p. 101—238 (далее PL).

<sup>26</sup> Кроме того, Беда знал греческий и был, по крайней мере, знаком с древнееврейским. Ср.: Thompson A. H. (ed.). Bede, his life, times and writings: Essays in commemoration of the twelfth centenary of his death. New York, 1966, p. 36, 157—165.

<sup>27</sup> PL, 1850, t. 90.

aulae nomine, sed atrium Graeco vocabulo debet intellegi В псалме, где читаем: «Хвалите господа во святыне его» (букв. «в доме его святом»), под словом aula следует понимать не «дворец», но то, что называется греческим словом atrium'. Целый ряд слов дается с производными: clamo 'кричать', clamoris (род. п. от clamor 'крик'), с пояснением simplicis est 'простое' (по составу), acclamo 'возглашать' и т. п. В некоторых случаях слово сопровождается грамматическим пояснением, например Hilarus facit pluralem hilari. Hilaris, pluraliter hilares. Hilarus (веселый) образует множественное число hilari. Множественное число от hilaris (также «веселый») — hilares'.

Данное сочинение Беда — это собственно первый толковый словарь латинского языка, составленный в Англии.

Книга «О поэтическом искусстве» посвящена в основном стихотворным размерам — классическим (гексаметр, пентаметр) и новым, а также видам поэзии. Значительное место здесь отводится метру и ритму и в связи с этим правилам чтения букв в различных позициях, слогу, ударению, долготе и т. п. Отдельно рассматриваются начальные, конечные и срединные слоги, причем в разделе «О конечных слогах» даются парадигмы частей речи.

В этом труде Беда широко использует сочинения своих предшественников, прежде всего Доната; ср., например, при определении слога: Syllaba est comprehensio litterarum vel unius vocalis enuntiatio temporum sapaх «слог — это сочетание букв или произношение одного гласного, обладающего количеством»<sup>28</sup> (т. е. долгого или краткого по природе, а не по положению). Раздел «О конечных слогах» написан под явным влиянием одноименного сочинения Пробия.<sup>29</sup>

Приложением к «Поэтическому искусству» является небольшое сочинение «О риторических фигурах и тропах», основанное в значительной мере на «Этимологии» Исидора, откуда Беда позаимствовал многие определения, заменив примеры, взятые из языческих авторов, библейскими цитатами.<sup>30</sup>

И наконец, книги «Колыбель грамматического искусства Доната» и «О восьми частях речи» — это просто переписанные грамматики Доната; в первом случае — «Меньшее руководство» с контрольными вопросами типа Donatus quae pars orationis est? 'Донат — это какая часть речи?' и небольшими вставками с описанием звуков, слогов и т. п.; книга же «О восьми частях речи» полностью повторяет 8 глав «Большого руководства» («Об имени», «О местоимении», «О глаголе», «О наречии», «О причастии», «О союзе», «О предлоге», «О междометии»).

В своих сочинениях Беда, помимо Доната, использовал и других римских авторов периода поздней империи — Харисия, Диомеда, Помпея, Сегия, Аудака, Викторина, Маллия, Теодора,

<sup>28</sup> PL, t. 90, p. 151; Keil, 4, 368.

<sup>29</sup> Keil, 4, 219—264.

<sup>30</sup> Thompson A. H. Bede, his life, times and writings, p. 241.

Сервия и др.<sup>31</sup> Этот список свидетельствует не только об эрудиции самого Беда, но и об уровне знаний в средневековой Англии, где эти авторы были, очевидно, известны и доступны. Достаточно широко были распространены и сочинения самого Беда. Так, в каталоге библиотеки Сэн-Галленского монастыря наряду с Донатом и Присцианом значатся книги «О поэтическом искусстве» и «О риторических фигурах и тропах».<sup>32</sup>

Родившийся в год смерти Беда Алкуин был известным философом и поэтом и еще более известным педагогом. Он написал несколько грамматических сочинений: «Об Орфографии» (*De orthographia*), «Грамматика» (*Grammatica*)<sup>33</sup> и возможно также комментарии к Присциану.<sup>34</sup> «Грамматика» построена в виде диалога двух учеников, саксонца и франка, и разбита на разделы, озаглавленные в соответствии с понятиями, которые в них рассматриваются, например «О слоге», «Об имени», «О роде», «О числе», «О родах местоимений», «О падежах», «О глаголе» и т. п. Книга «Об орфографии» строится по тому же принципу, что и аналогичное сочинение Беда, которое, судя по цитатам, было хорошо известно Алкуину, например, статья о предлоге *ante* почти полностью повторяет соответствующий раздел в «Орфографии» Беда (добавлен только один пример — *Ante diem festum Paschae* 'Перед днем праздника пасхи' — и указаны разделы Ветхого и Нового Завета, откуда взяты примеры).

Так же, как Беда, Алкуин опирался на сочинения римских грамматистов. Свои определения он заимствовал главным образом из Присциана, правда — в отличие от Беда — не всегда дословно; ср. определение слога: *Syllaba est comprehensio literarum sub uno accentu et uno spiritu prolata* 'Слог — это сочетание букв, произносимое с одним ударением и выдохом', где Алкуин заменяет *comprehensio literarum* на *vox litteralis* 'произношение букв'. Точно так же с небольшими изменениями цитируются определения языка, имени и др.

Вторая половина IX в. считается временем упадка образования в Англии. В предисловии к «Заботам пастыря» король Альфред жаловался, что «образование начисто уничтожено в английском народе, и даже из людей духовного звания очень немногие. . . могут перевести послание с латыни на английский».<sup>35</sup> Это, впрочем, относилось лишь к знанию латыни, причем упадок образования (латинского) объяснялся, видимо, не столько политическим положением Англии (датское нашествие), сколько возросшим интере-

<sup>31</sup> Manitius M. *Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters*. München, Teil 1, S. 74, 76; Thompson A. H. *Bede, his life, times and writings*, p. 241.

<sup>32</sup> Ising E. *Die Herausbildung der Grammatik der Volkssprache in Mittel- und Osteuropa*. Berlin, 1970, S. 25.

<sup>33</sup> См.: Flacci Albiனி seu Alcuini abbatis et Caroli Magni Imperatoris *Magistri opera omnia* / Accurante J.-P. Migne. *Patrologia latina*, t. 101, 1851.

<sup>34</sup> Manitius M. *Geschichte der lateinischen Literatur*. . . , S. 282.

<sup>35</sup> Wright T. *The Anglo-Saxon and Old English vocabularies*, p. IX.

сом к английскому языку<sup>36</sup> и словесности. Именно в IX—X вв. были записаны памятники древнеанглийской литературы, в частности поэма «Беовульф». Что касается литературы латинской, то сам Альфред отметил, что его соотечественники предпочитали читать ее в переводе.

Искусство перевода было очень высоко развито в средневековой Англии. В связи с этим нужно прежде всего упомянуть переводческую деятельность самого короля Альфреда и ученых его окружения, например Уэрфурта, аббата Вустерского. Самим Альфредом или по его заказу были переведены такие сочинения, как «Заботы пастыря» папы Григория, «Утешение философии» Боэция, сочинения Орозия, Августина. И все же самой крупной фигурой в средневековом английском переводческом искусстве, как, впрочем, и во всем, что связано с языком и грамматикой в этот период, нужно, видимо, признать Эльфрика, аббата Эйнсхамского (955—1020).<sup>37</sup>

С латинским языком Эльфрик ознакомился по «Книге Бытия», которая была у его учителя, некоего священника, с трудом читавшего по-латыни. Впоследствии Эльфрик перевел эту книгу, а затем и все «Пятикнижие». Кроме того, им были переведены сочинения отцов церкви и две книги проповедей. Свои переводы Эльфрик снабжал предисловиями, из которых мы узнаем о принципах, лежавших в основе этой его работы. Прежде всего Эльфрик указывал, что его переводы «предназначаются для простых людей, которые знают только язык своих предков», и что поэтому он «не употребляет слов малознакомых, но лишь слова из обиходного языка . . . сознательно избегая ненужной изощренности и предпочитая снова простые и ясные» (Из предисловия к «проповедям»).<sup>38</sup> Весьма важным представляется также замечание Эльфрика о необходимости сохранять при переводе дух, свойственный английскому языку (предисловие к переводу «Книги Бытия»).<sup>39</sup>

Простота в переводах Эльфрика не означает упрощения. Эльфрик не сокращал тексты, но, наоборот, расширял их за счет распространения терминов и пояснения малопонятных слов и реалий. Так, лат. *signare* 'перекреститься' переводится *mearcian mid Godes tæcne*, где *mearcian* — это точный перевод латинского *signare* в его первоначальном значении «отмечать», а *mid Godes tæcne* 'божьим знаком' — пояснение, расширяющее это первоначальное значение слова до значения, в котором слово употреблено в данном контексте.

Занятие переводом побудили Эльфрика к созданию первой латинской грамматики на английском (древнеанглийском) языке.

<sup>36</sup> Под «английским языком» подразумевается, естественно, древнеанглийский, т. е. язык, на котором говорили в Англии до нормандского завоевания (1066 г.).

<sup>37</sup> О жизни и деятельности Эльфрика, см.: White C. L. *Aelfric: A new study of his life and writings.* — In: *Yale Studies in English.* 1898; Dubois M. M. *Aelfric: Sermonaire, docteur et grammairien.* Paris, 1943.

<sup>38</sup> Dubois M. M. *Aelfric.* . . , p. 205.

<sup>39</sup> *Ibid.*, p. 206.

Как сам он пишет в древнеанглийском предисловии, «Я . . . решил эту . . . книгу перевести на английский язык после того, как перевел две книги из восьмидесяти проповедей». <sup>40</sup> Здесь же он указывает и на цель своей работы: «. . . книга может побудить юношей к изучению этой науки, пока они не приобретут большие познания». <sup>41</sup> Кроме того, он считал, что ее можно использовать как «введение в изучение обоих языков». <sup>42</sup>

В предисловии, написанном на латыни, Эльфрик говорит, что он перевел отрывки из Присциана и что эту книгу следует читать после «восьми частей (речи, — Ю. К.) Доната (т. е. после «Младшего руководства») и перед тем, как перейти к более совершенным занятиям», т. е. к изучению самого Присциана.

Вслед за «Предисловиями» идет сама грамматика, состоящая из следующих разделов: «О звуках», «О букве», «О слогах», «О дифтонгах», «Введение в части речи», «О роде», «О пяти склонениях имени», «О третьем склонении», «О родительном падеже множественного числа», «О четвертом склонении», «О пятом склонении», «О числе», «О форме (падежей)», «О местоимении», «О форме (местоимений)», «О числе (местоимений)», «О падеже (местоимений)», «О глаголе», «О времени», «О наклонении», «О лице», «О числе», «О спряжениях», «О страдательном залоге», «О втором склонении», «О третьем склонении», «О неправильных глаголах», «О недостаточных глаголах», «О виде», «О начинательном виде», «О многократном виде», «О форме», «Наречие», «Причастие», «О падежах», «О временах», «О числах», «О форме», «О спряжении», «О форме», «О месте», «Предлог», «Междометие». Своего рода приложением служат разделы «О названиях числительных» и «Тридцать подразделений грамматического искусства».

С самых первых страниц книги видно, что автор ее преследует чисто практические цели. Фонетический раздел содержит в основном правила чтения букв и описание типов слогов (из одного гласного, из гласного и согласного, из двух согласных и гласного и т. п.), т. е. то, что необходимо для элементарного чтения текста.

В разделе, посвященном морфологии латинского языка, Эльфрик, стремясь к максимальной компактности изложения, опустил все то, что, по его мнению, выходит за пределы практической грамматики, например, все рассуждения, касающиеся греческого языка. Где только возможно, Эльфрик старался ограничиться списками — окончаний, форм, исключений. Списками задаются все слова, так или иначе отклоняющиеся от общего правила или

<sup>40</sup> Zupitza J. Ælfric's grammatik und Glossar. Erste Abteilung: Text und Varianten. — In: Sammlung englische Denkmäler. Berlin, 1880, Bd. 1, S. 1. — Полное издание грамматики см. также: Dictionarium Saxonico-latino-anglicum / W. Sommer. Oxford, 1659; фрагменты: Philipp's Th. A fragment of Ælfric's Anglo-Saxon Grammar. London, 1838; Birling'e r A. Bruchstück aus Ælfrics angelsächsischer Grammatik. — In: Germania, 15.

<sup>41</sup> Zupitza J. Ælfric's Grammatik und Glossar. Abt. 1, Bd. 1, S. 2.

<sup>42</sup> Ibid., S. 3.



не образующие целостной в формальном отношении группы (отложительные глаголы, предлоги).

Переводя на английский язык латинскую терминологию, Эльфрик стремился к максимальной точности, а там, где это возможно, и к сохранению внутренней формы слова, ср. лат. *tempus* д. а. *tīd* 'время', лат. *genus* д. а. сун 'род', а также лат. *participium* (= *partī* < *pars* 'часть' + *cip* < *carere* 'брать') д. а. *dǣl nimend* букв. 'часть берущее'.

В употреблении примеров различаются три случая: 1) латинский и английский термины употребляются вместе (253 раза); 2) употреблен только английский термин (943 раза); 3) употреблен только латинский термин (1420 раз).<sup>43</sup> К этому можно добавить, что довольно значительное число случаев самостоятельного употребления английских терминов получается за счет таких слов, как *nama* 'имя' (лат. *nomen*) (224). Напротив, слова типа *forþzewiten tīd* букв. «прошедшее время» или *menizfealdlice* 'множественное', т. е. явно искусственные, либо не употребляются вовсе (*menizfealdlice*), либо встречаются крайне редко (*forþzewiten tīd* — 7 раз) при том, что соответствующие латинские термины (*pluralis*, *perfect*) употреблены 157 и 37 раз. Иными словами, в своей «Грамматике» Эльфрик не столько переводил, сколько вводил и пояснял латинские термины, тем самым знакомя своих учеников с европейской грамматической традицией.

О характере работы, проделанной Эльфриком, можно судить не столько по содержанию его книги, сколько по соотношению ее с латинскими источниками. До сих пор этот вопрос не получил должного освещения. Между тем проблема источников Эльфрика сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Хотя в предисловии Эльфрик говорит о том, что он перевел отрывки из Присциана, его «Грамматика» содержит множество прямых заимствований из Доната.

В какой мере Эльфрик использовал труды Доната и Присциана, можно судить, лишь сопоставив тексты трех книг. Эта задача облегчается латинскими фразами, которыми вводятся некоторые главы «Грамматики». Обычно непосредственно за такой вводной фразой следует ее перевод на древнеанглийский язык. Иногда, правда, этот порядок нарушается. Так, в начале первой главы приводится определение «голоса» (т. е. звуков), принадлежащее Донату и дающееся со ссылкой на него: «В соответствии со „Старшим руководством“ Доната всякий звук является либо членораздельным (*articulata*) либо нечленораздельным (букв. «смешанным» *confusa*). . .» Далее идут собственные рассуждения Эльфрика: «Звук — это ударяемый (о речевые органы, — Ю. К.) воздух, различимый на слух. . . Я говорю с уверенностью, что всякий звук получается за счет того, что рот сжимается и воздух ударяется о преграду. Рот образует преграду, и воздух, ударяясь

<sup>43</sup> Williams E. R. *Ælfric's grammatical terminology*. — PMLA, 1958, 73, n. 5, pt. 1, p. 461—462.

об эту преграду, образует звук». Далее идет перевод латинской цитаты и пример, иллюстрирующий членораздельные звуки. Пример (строка из Вергилия) заимствован у Присциана.

Глава «Введение в части речи», отсутствующая у Присциана, также вводится фразой Доната: *partes orationis sunt octo* = eahta dælas synd ledenspraece 'восемь частей в латинской речи'. У Доната эта глава занимает несколько строк. Эльфрик отводит ей несколько страниц, где в очень сжатой и доступной форме говорит обо всех частях речи и их свойствах. Это позволяет Эльфрику при дальнейшем изложении отказаться от определений, сделав основной упор на описании форм. Многие главы он просто начинает примером, ср. начало главы о пассиве: *docerog — ic eom zelered, doceris — þū eart zelered* 'меня учат, тебя учат' и т. д. В других случаях этому предшествует краткая вводная фраза, например: *tertia declinatio habet terminationes septuaginta octo* 'в третьем склонении семьдесят восемь окончаний'. Иногда, правда, определения повторяются. Это делается, если тот или иной раздел отстоит от «Введения» настолько, что читатель может, видимо, забыть определение, данное ранее (например, разделы «Местоимение» и «Глагол», отделенные от «Введения» соответственно восемью и двенадцатью главами). Интересно, что определение никогда не повторяется буквально. В первом случае оно, как правило, касается функции той или иной части речи, во втором — ее формы, например: «Местоимение есть называющее имя; оно называет то имя, которое тебе во второй раз произносить не приходится». В главе, специально посвященной местоимению, оно определяется как «часть речи, которая используется вместо имени и приобретает форму данного лица». Последнее определение заимствовано из Присциана (XII, 1); первое, вероятнее всего, принадлежит самому Эльфрику.

Сравнивая два определения, можно заметить, что определение Эльфрика отличается предельной, причем явно намеренной простотой. Во «Введении», например, глагол определяется так: «*Verbum* — это слово (*weord*), а слово означает работу (*weorc*), или страдание (*þrōwunze*), или терпение (*zeþāwunze*)». Это — определение, рассчитанное на человека, который не знаком даже с элементарной грамматической терминологией. Показательно, что слова *þrōwunz* и *zeþāwunz* употреблены здесь в своем прямом, нетерминологическом значении, что, вероятно, сделано для большей наглядности и лучшей запоминаемости определения. Нельзя исключить также, что эту же цель преследует и связанный аллитерацией ряд *verbum — weord — weorc*.

В разделе «Глагол» Эльфрик цитирует определение Доната: «*Verbum est pars orationis cum tempore et persona sine casu aut agere aliquid aut pati aut neutrum significans* 'Глагол — это часть речи, имеющая время и лицо и не имеющая падежа и означающая „сделать что-то“, или „претерпеть“, или ни то, ни другое». Древнеанглийский перевод абсолютно точен: *verbum ys word, ān dæl ledenspraece mid tīde and hāde būtan case zetācnjende oððe sum ðing*

tō dōnne odde tō frōwizenne odde naðor. Здесь слово frōwizen 'страдать, терпеть', помещенное в иной контекст, приобретает оттенок, содержащийся в грамматическом термине 'страдательный (залог)', ср. лат. *modus patiendi*.

После «Введения» идет глава «О роде», являющаяся как бы продолжением предыдущей. Как и «Введение», она имеет непосредственное отношение к двум последующим разделам, посвященным имени и местоимению. Поскольку род имени определяется в книге через местоимение, с которым оно сочетается, ср. *hic vir*—*þes wer* 'этот муж', *haec femina*—*þeos wif* 'эта женщина', *hoc animal*—*þis nūten* 'это животное', эти две части речи постоянно выступают вместе — и во «Введении» и в главах, следующих за ним («Род», «Имя», «Местоимение»). Видимо, поэтому Эльфрик помещает раздел «Местоимение» после имени, придерживаясь в данном случае расположения глав, принятого у Доната, а не у Присциана, который описывает местоимение после причастия. Располагая главы таким образом, Присциан ориентируется, по всей вероятности, лишь на традиционную иерархию частей речи (имя, глагол, прочие части речи; ср. списки частей речи у Доната и Эльфрика). Эльфрик же меняет традиционное расположение в соответствии с общей структурой своего описания.

Описание системы имени лишний раз свидетельствует о том, что Эльфрик был хорошо знаком с трудами Присциана. Показательно, что этот раздел вводится цитатой не из «Грамматики» Присциана, а из его небольшого сочинения «Об имени, местоимении и глаголе». Тем не менее и об этом разделе нельзя сказать, что он текстуально близок к описанию имени у Присциана. Как и прочие разделы книги Эльфрика, это скорее справочное пособие, содержащее списки форм, классификация которых рассчитана на англоязычного читателя. Достаточно указать, что в эту классификацию, более дробную, чем классификация Присциана, Эльфрик вводит девятнадцать дополнительных групп имен.<sup>44</sup>

У Присциана все падежи рассматриваются в отдельных главах. Эльфрик выделяет в отдельную главу только родительный падеж множественного числа, который характеризуется своими особенностями в латинском языке. Эта глава вводится словами: «Если кто сомневается по поводу генитива множественного числа, то для них мы кратко расскажем о трудностях, с ним связанных».

Одна из последних глав «Грамматики» посвящена междометиям. В этой главе Эльфрик говорит о междометиях и значении их в различных языках, указывая, между прочим, что каждый язык имеет свои собственные междометия — *heu* (лат.), *uah* и *gasha* (евр.) — «и их нелегко на другой язык перевести». Последнее означает, что междометия нельзя автоматически переносить из одного языка в другой, например лат. *O magister* — др.-англ. *ealu þū lāgēow*. Здесь же Эльфрик приводит междометия, общие

<sup>44</sup> Dubois M. M. *Ælfric* . . . , p. 261.

для латыни и древнеанглийского (haha, hehe), а также специфически английские междометия *afestla, hilahi, welāwel*.

Говоря об источниках которыми пользовался Эльфрик, авторы работ, посвященных его «Грамматике», обычно ограничиваются высказываниями типа «она близка по построению к книгам Доната и Присциана»<sup>45</sup> или «Эльфрик адаптировал и перевел некоторые части грамматики Доната и Присциана».<sup>46</sup> Такие выводы не требуют сравнения текстов: достаточно прочесть два предисловия Эльфрика и сопоставить названия глав в трех книгах. Между тем сходство, которое выявляется при таком беглом сопоставлении, может определяться скорее традицией в целом (фонетический раздел предшествует морфологическому; описание глагола дается после имени), нежели конкретным влиянием друг на друга отдельных ее носителей.

Анализ «Грамматики» с очевидностью показывает, что она строится по единому и во многом нетрадиционному плану. Поскольку латынь не была родным языком Эльфрика, он, естественно, опирался на труды римских грамматиков. Однако в его книге мы находим достаточно оригинальных рассуждений, позволяющих считать ее самостоятельным, хотя и компилятивным научным сочинением. Отрывки из Доната и Присциана — это не более чем цитаты, точность перевода которых лишний раз подчеркивает мастерство Эльфрика как переводчика и лишний раз указывает на самостоятельность его собственных рассуждений.

Книга Эльфрика во многом напоминает современные описания тех или иных языков, также в значительной мере компилятивные. Подобно авторам таких исследований, Эльфрик на протяжении всей книги невольно или намеренно старается отдалиться от текстов, которое он якобы переводит. Это проявляется как в общем построении книги, так и в отдельных деталях описания. Так, в качестве примера имен собственных Эльфрик приводит не римские имена, которые он мог бы позаимствовать у Доната или Присциана, а английские — *Eadzār, Dūnstān*, хотя иногда и дает их в латинизированной форме (*eadzārus, Dūnstānus*). Также в разделе «Местоимение», текст которого довольно близок к тексту Присциана, Эльфрик цитирует Вергилия. Много цитат из Вергилия содержится и у Присциана, однако пример, цитируемый Эльфриком, там отсутствует; он заимствован непосредственно из «Энеиды». В главе «Наречие», латинский и древнеанглийский тексты которой также довольно схожи между собой, Присциан приводит слова *prudenter* 'мудро', *feliciter* 'счастливо', *sapienter* 'умно'. Последние два заимствует Эльфрик, однако он цитирует их в иной последовательности — *sapienter, feliciter*. О том, что это сделано намеренно, свидетельствует замена глаголов, в сочетании с которыми данные наречия приводятся у Присциана; *sapienter dico* 'умно говорю' меняется на *sapeintar loquor* с тем же значением;

<sup>45</sup> Ibid.

<sup>46</sup> Williams E. R. *Aelfric's Grammatical terminology*, p. 453.

в примере *feliciter vivit* 'счастливо живет', *vivit* меняется на *facis* 'делаешь'. Последняя замена явно не очень удачна, хотя также, видимо, не случайна, если учесть, что наречие *prudenter* у Присциана сочетается с *agit* (*agere* 'делать, поступать', ср. *facis* выше).

Эльфрик — автор (а не переводчик) «Грамматики» — проявляет себя на протяжении всей книги словами: «я говорю» («О звуках»), «мы расскажем» («О родительном падеже») и, наконец, в главе о числительных: «я хочу (разрядка моя, — Ю. К.) написать» — *ic wylle āwritan* ср. *ic welde awenden* «я захотел перевести» в древнеанглийском «Предисловии». В этом же «Предисловии», однако, обращаясь к тому, «кто захочет переписать эту книгу», Эльфрик пишет: «Я прошу во имя господина . . . чтобы он ее сверил тщательно по этому образцу, так как я не имею власти над теми, кто ошибки внесет при небрежной переписке; за это он отвечает, а не я». Учитывая свободное обращение Эльфрика с текстом Присциана, можно с уверенностью сказать, что цель данного предостережения — сохранить в неприкосновенности книгу, автором которой является сам Эльфрик.

Из всего сказанного следует, что «Грамматика» Эльфрика не является переводом. В связи с этим особенно загадочно выглядит фраза *ego . . . transferre studui* 'я . . . попытался перевести', сказанная им в латинском предисловии. Понять эту фразу можно лишь в контексте всей средневековой культуры со специфическим для нее отношением к авторству. В X—XI вв. были широко распространены, а к тому времени и записаны устные эпические произведения, у которых отсутствовал фиксированный текст и соответственно автор. Всякий исполнитель слагал произведение как бы заново, ориентируясь при этом, тем не менее на заранее заданное содержание всего текста и его частей (темы) и пользуясь готовым словесным материалом (формулы).<sup>47</sup> Естественно, что проблемы заимствования, цитации и т. п. при этом не возникало.

Предшественники Эльфрика, Беда и Алкуин, были, видимо, близки к такому типу творчества.<sup>48</sup> Как было показано выше, их книги насквозь пронизаны цитатами: некоторые из них — это просто переписанные произведения римских авторов. Ни Беда, ни Алкуин, при этом на источник, как правило, не ссылаются. Лишь в редких случаях у них можно встретить фразы типа «как говорит Донат» (*ut Donatus ait*) или в соответствии со «Старшим руководством» Доната (*secundum Donatum*). При этом нужно учитывать исключительный авторитет Доната, имя которого в средние века было почти что нарицательным. То же относится и к Присциану, на которого ссылается Алкуин (*secundum Priscianum*).

<sup>47</sup> О построении устного эпоса см.: Lord A. V. *The Singer of tales*. Cambridge Mass., 1960. — Проблеме авторства таких произведений посвящены работы М. И. Стеблин-Каменского, например его «Древнеисландская литература» (М., 1979).

<sup>48</sup> Беда был прекрасно знаком с устной, поэзией. Именно он записал дошедший до нас таким образом «Гимн Кэдмона». Сам он также был автором поэтических произведений, которые создавались в той же, устной традиции.

В то же время Алкуин никогда не ссылается на Беду, хотя он использует те же самые примеры, и главное, явно следует Бедо в плане построения своих работ. И Беда, и Алкуин создавали при этом ф и к с и р о в а н н ы е тексты, что служило, вероятно, достаточным условием для признания их авторами этих текстов. Немаловажным, видимо, обстоятельством было и то, что оба они писали свои сочинения по латыни, пользуясь при этом латинскими же сочинениями своих предшественников или современников.

Эльфрик писал книгу на своем родном языке, излагая при этом сочинения, написанные по латыни. Применительно к современному исследованию это можно было бы назвать компиляцией или цитированием. В Средние века, когда таких понятий не существовало, единственным жанром, к которому мог отнести свой труд Эльфрик, был перевод. Этот жанр был ему к тому же хорошо знаком.

«Грамматика» Эльфрика сыграла, видимо, чрезвычайно важную роль в распространении латинского языка в Англии, где уже в XII в. насчитывалось около тридцати школ, в которых преподавали латынь (во Франции и Италии было по десять таких школ).<sup>49</sup> Одну из них описал Уильям Фитцстефен, биограф Фомы Бекета: «Некоторые ученые обсуждают <проблемы> риторики, другие — диалектики. . . . юноши . . . состязаются стихами или спорят о принципах грамматики и правилах <образования> прошедшего и будущего времени». Несомненно, уровень знаний в средневековой Англии был очень высок. Дж. Мерфи объясняет это простотой и доступностью Доната, забывая о достаточно простой и гораздо более серьезной книге Эльфрика, которая также имела широкое распространение в Англии, а возможно, и за ее пределами.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> M u r p h y J. S. The teaching of Latin as a second language in the 12th century. — In: *Historiographia Linguistica*, 1980, 7, 1/2, p. 160.

<sup>50</sup> До настоящего времени сохранилось пятнадцать рукописей, в которых «Грамматика» Эльфрика переписана частично или полностью (см.: W i l l i a m s E. R. *Aelfric's grammatical terminology*, p. 453). О том, что «Грамматика» была, возможно, известна и в Исландии, пишет Б. М. Ульсен, ср. «Den tredje og fjerde grammatiske afhandling: Snorres Edda» (København, 1884—1886, s. XLIV—XLV).

## СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ИСЛАНДСКИЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТРАКТАТЫ

---

В библиотеке Копенгагенского университета, в знаменитом Арнамагнеанском собрании, хранится рукопись середины XIV в. Codex Wormianus (AM № 242 fol.), в которой собрано фактически все, что было написано в средневековой Исландии о языке.<sup>1</sup> Основную часть рукописи занимает Младшая Эдда Снорри Стурлусона. За Младшей Эддой следуют четыре грамматических трактата, которым предпослано вступление (пролог). Трактаты не имеют названий и расположены один за другим. Издавая их впервые в 1818 г., Расмус Раск разделил грамматическую часть рукописи на три части, объединив первый и второй трактаты. Принятое сейчас деление грамматической части рукописи Codex Wormianus на четыре трактата впервые было установлено Свейнбьёрном Эгильссоном в 1848 г. Деление на четыре трактата очевидно не только потому, что так подсказывает содержание трактатов; второй и третий трактаты сохранились и в других рукописях (второй — в рукописи Codex Upsaliensis, третий есть еще в трех рукописях), и поскольку номера трактатов отражают порядок их следования в рукописи, то нетрудно установить, что первый и четвертый трактаты являются самостоятельными произведениями.

Считается, что составитель рукописи Codex Wormianus и был автором пролога и четвертого трактата,<sup>2</sup> остальные трактаты написаны раньше: первый — в середине XII в., второй — в начале, а третий — в середине XIII в. В прологе упоминается о трактате Торорда Гамласона — Мастера Рунического Письма. Трактат этот, однако, не сохранился, хотя, возможно, он был использован автором третьего трактата (см. ниже). Первый трактат посвящен созданию исландского алфавита на основе латинского письма, второй — классификации букв, а автор третьего трактата начи-

---

<sup>1</sup> В Codex Wormianus не вошел глоссарий начала XIII в. и отрывок латинской грамматики по-исландски (спряжение глагола amo с исландским переводом). См.: Den tredje og fjerde grammatiske afhandling i Snorres Edda. udg. af B. M. Olsen. — In: Samfund til udgivelse of gammel nordisk litteratur. København, 1884, 12, s. 156—158.

<sup>2</sup> Свейнбьёрн Эгильссон считал, что составителем рукописи Codex Wormianus был Берт Соккасон, настоятель бенедиктинского монастыря в Мункатвера (Munkarverá). Это предположение поддержал К. Мюлленхоф. Э. Могк предполагает, что составителем рукописи, автором пролога и четвертого трактата был сын епископа Лауренциуса «брат» Арни (M og k E. Der sogenannte zweite grammatische Traktat der Snorra Edda. Halle, 1889, s. 3—6).

нает описание исландского языка с букв и доходит до частей речи. Значительная часть древнеисландской грамматической литературы посвящена правилам стихосложения, что соответствовало средневековой европейской традиции, включавшей метрику в грамматику. Правилам стихосложения посвящена вторая часть третьего трактата и весь четвертый трактат. Собственно говоря, всю рукопись Codex Wormianus можно рассматривать как учебник для скальдов, ведь основную его часть составляет «Младшая Эдда» Снорри Стурлусона с «Перечнем размеров» (Háttatal), который содержит 102 висы, иллюстрирующие различные скальдические размеры, — причем под размерами понимались и различные стилистические приемы. Первым произведением такого типа был, вероятно, ключ размеров (Háttalykill), написанный в середине XII в. оркнейским ярлом Рёгнвальдом и исландским скальдом Халлем Тораринссоном.

Вся средневековая исландская грамматическая литература написана по-исландски и посвящена исландскому языку. Уже один этот факт должен привлекать внимание. В средневековой Европе церковь делила все языки на «правильные», т. е. канонические языки Библии — еврейский, греческий и латинь, и «неправильные», т. е. языки новой Европы. Языком церкви и науки была латынь, а «неправильные» языки не удостоивались внимания европейских схоластов. Задуманная Карлом Великим грамматика народной речи, вероятно, так и не была написана, и первые грамматики родного языка появляются во Франции в XVI в., в Германии в XV—XVI веках, в Англии в XVI—XVII вв.<sup>3</sup> Известный французский схоласт середины XII в. Петр Гелийский говорит только о возможности написания французской грамматики<sup>4</sup> в центре тогдашней европейской учености в Парижском университете, а в Исландии в XII—XIII вв. уже создается своя, во многом оригинальная лингвистическая литература. Грамматика англичанина Эльфрика (1000 г.) была написана по-древнеанглийски, но она была посвящена латинскому языку. Единственным европейским предшественником исландских грамматических трактатов был ирландский трактат VII (!) в. Auraicept na n<sup>é</sup>ces «Учебник поэтов», который приписывается ирландскому барду Кенну Фэладу (Cenn Faead).<sup>5</sup> В той части Auraicept', которая считается

<sup>3</sup> I s i n g E. Die Anfänge der volkssprachlichen Grammatik in Deutschland und Böhmen. Berlin, 1966, s. 7—11; B r u n n e r K. Sprachlehrbücher im Mittelalter. — In: Language and society. Essays presented to A. M. Jensen. Copenhagen, 1961, s. 42—43; H o l t s m a r k A. En islandisk scholasticus fra det 12 arhundre. — In: Skrifter utg. av Det Norske Videnskaps Akademi i Oslo. II Klasse, 1936, n. 3, Oslo, 1936, s. 75—80; С о л о в ъ е в а Л. И. Из истории создания нормативной описательной грамматики английского языка. — В кн.: Исследования по английской филологии. Л., 1958, с. 86.

<sup>4</sup> Den tredje og fjerde, s. IV.

<sup>5</sup> O' C u i v B. Linguistic Terminology in the Mediaeval Irish Bardic Tracts. — In: Transactions of the Philological Society, 1965. Oxford, 1966, p. 142—143, 150—151. Там же библиография об ирландских грамматических трактатах.



первоначальным трактатом VII в. (200 строк из 1600), лингвистическая терминология встает уже вполне сложившейся, что свидетельствует о существовании лингвистической традиции в Ирландии, выработанной, вероятно, в школах друидов. В этой части трактата содержатся сведения об огамическом письме и анализируется звуковая строй языка: согласные делятся, в частности, на три серии: глухие смычные (*connsuine bog*), звонкие смычные (*connsuine cruaidh*) и глухие щелевые (*connsuine garbh*). Такое деление, несомненно, связано с традициями кельтских школ бардов и филидов, в которых анализ звукового строя языка был необходимым средством овладения определенными поэтическими приемами (прежде всего аллитерацией), второй исландский трактат эту традицию продолжает.

Появление на окраине Европы в средневековой Исландии грамматической литературы на родном языке и о родном языке объясняется особым положением Исландии и исландского языка.

Знакомство новой Европы с лингвистическими трудами античных авторов связано с проникновением христианства, которое в Западной Европе становится государственной религией. Необходимо было обучение духовенства, что и привело в конечном счете к изучению латинской грамматической литературы. В Исландию христианство проникло до того, как там образовалось государство. Закон о введении христианства был принят на альтинге в 1000 г., в эпоху расцвета народовластия. Общество в Исландии того времени состояло из свободных крестьян (бондов), и христианство не стало идеологией правящего класса. Языческие жрецы (годи) становились христианскими священниками, а епископа выбирали на альтинге. В эпоху народовластия христианские священники были не только распространителями христианской культуры, но и хранителями традиционной исландской культуры. Связь с языческим прошлым исландского народа не была нарушена. Родной язык никогда не рассматривался исландскими священниками как язык «неправильный», и как только в Исландию проникает письменность, появляется богатейшая рукописная литература; записываются законы, древние песни и саги, несмотря на их очевидную связь с язычеством.

«Интересы людей, владевших искусством письма, не пришли в противоречие с интересами народа и его образом мышления».<sup>6</sup> Даже литература на латинском языке не была в Исландии только достоянием людей, знающих латынь. Если священник или монах тем или иным образом получал доступ к латинской рукописи, то он, как правило, не успокаивался, пока не переводил ее на родной язык.<sup>7</sup> Количество переводной литературы в Исландии было огромно.

---

<sup>6</sup> О л г е й р с с о н Э й н а р. Из прошлого исландского народа / Пер. с исл. М., 1957, с. 215.

<sup>7</sup> Den tredje og fjærde. . . , s. IV.

В начале XII в. для записи исландских законов начинают использовать латинскую письменность. Латинская графика используется вначале без всяких изменений, и исландцы начинают понимать необходимость ее усовершенствования. Особенно остро такая необходимость должна была возникать именно при записи законов, где любая двусмысленность должна была быть исключена. В середине XII в. неизвестный исландец создает алфавит «... для записи законов, родословных, житий святых и для описания исторических событий...»<sup>8</sup> Автор первого трактата убежден, что каждый народ должен иметь свой алфавит: «греки не пишут по-гречески латинскими буквами, римляне не пишут по-латыни греческими буквами, а евреи не пишут по-еврейски ни латинскими ни греческими буквами».<sup>9</sup> Автор трактата понимает, что алфавит может быть создан и на основе какого-нибудь другого алфавита, как это сделали англичане. Однако в этом случае необходимо его усовершенствовать, отбросив ненужные буквы и добавив недостающие.<sup>10</sup> Создатели письменности, такие как Вульфила или Константин Философ, или люди, стремившиеся ее усовершенствовать, такие как Ноткер и Орм, были стихийными фонологами, однако никто в средневековой Европе не оставил труда, в котором были бы объяснены принципы построения алфавита. Автор первого исландского грамматического трактата создает такой труд. Первый исландский грамматический трактат оказался и самым знаменитым;<sup>11</sup> он особенно привлекает внимание современных лингвистов, прежде всего потому, что методы автора «более всего похожи на методы лингвистов XX века».<sup>12</sup>

Однако прежде чем остановиться на тех методах, которые роднят автора первого трактата с современными лингвистами, необходимо остановиться на основных понятиях средневековой европейской лингвистической науки, в той мере, в какой они используются авторами исландских грамматических трактатов.

Основное понятие, которым оперируют авторы исландских трактатов, — это буква (*stafir*). В латинских грамматиках и прежде всего в самой популярной в средние века грамматике Присци-

---

<sup>8</sup> Den første og anden grammatiske afhandling i Snorres Edda utg. af V. Dahlerup og F. Jónsson. — In: Samfund til udgivelse af gammel nordisk litteratur. København, 1886, 16, s. 19.

<sup>9</sup> Den første og anden... , s. 19.

<sup>10</sup> Ibid., s. 20.

<sup>11</sup> Первый грамматический трактат несколько раз издавался и переводился на датский, немецкий и английский языки. Кроме используемого нами датского издания 1886 г. следует назвать следующие издания: N e s k e l G., N i e d n e r F. Die jüngere Edda mit dem sogenannten ersten grammatischen Traktat. Jena, 1925 (переиздано в 1966 г.); H a u g e n E. First Grammatical Treatise. The earliest Germanic phonology: An edition, translation, and commentary. — Suppl. to «Language», vol. 26, n 4, 1950 (второе издание в 1972 г.); B e n e d i k t s s o n H r e i n n. The First Grammatical Treatise: introduction, text, notes translation, vocabulary, facsimiles. — In: University of Iceland. Publication in Linguistics. Reykjavík, 1972, 1.

<sup>12</sup> B e n e d i k t s s o n H r e i n n. The First Grammatical Treatise... , p. 237.

ана буква определялась как наименьшая часть сложного звучания (*Littera est pars minima vocis compositae*),<sup>13</sup> ср. «Stafr er hinn minzti lutr raddar samansettrar»<sup>14</sup> в третьем грамматическом трактате. Буква имеет три воплощения — название (*nomen*), облик (*figura*) и значимость (*potestas*),<sup>15</sup> при этом имеется в виду название буквы, ее написание и ее произношение. В первом трактате этому соответствует *nafn*, *líkneski* или *vöxt* и *jartein* или *atkvæði*; у автора третьего трактата *nafn*, *figura* и *vællði* или *mátt*. Употребляя термин «буква» для обозначения звука, средневековые грамматики вслед за Присцианом вовсе не путали буквы и звуки, в чем их часто обвиняют современные лингвисты.<sup>16</sup> Буква оказывается абстрактным понятием, и конкретной реализацией этой абстракции является ее написание, ее наименование и ее произношение. Буква в таком понимании — это структурный элемент языка с двумя аспектами реализации, видимым (*figura*) и слышимым (*potestas*). Такой подход заметно напоминает отношение между формой и субстанцией у Л. Ельмслева: языковая форма может манифестироваться различными видами субстанции, в том числе звуковой и графической, именно поэтому Л. Ельмслев считал, что «не было прогрессом то, что после того как фонетика стала частью языкознания, ввели термин звук вместо буквы».<sup>17</sup>

Используя термин «буква», автор первого грамматического трактата прекрасно сознает различие между звуком и его графическим обозначением. Это со всей очевидностью явствует из описания четырех новых букв для обозначения гласных: «*o* имеет кружок от *o* и крючок от *a*, так как оно состоит из этих двух звуков. . .»<sup>18</sup> Еще яснее это видно из следующего: в одном месте автор говорит о необходимости буквы *y*, а в другом предлагает исключить ее из алфавита. Речь здесь идет о разных буквах *y*. Исконное *y* имеет название (*nomen*) *y*, вид (*figura*) *y* и значимость (*potestas*) *[y]*, а то *y*, которое автор предлагает упразднить, — совершенно другая буква, она называется *vi*, произносится *i*, и только ее написание совпадает с написанием первого *y*.<sup>19</sup>

Основоположники сравнительно-исторического языкознания Р. Раск и Я. Гримм тоже говорили о буквах и о буквенных переходах, это, однако, вовсе не означало, что они не понимали разницу

<sup>13</sup> Den tredje og fjerde. . ., s. 37. — Б. М. Ольсен в своем издании третьего и четвертого трактатов приводит и латинский текст из Присциана и Доната, в том случае когда исландские трактаты совпадают с ним текстуально.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> A B e r c r o m b i e D. What is a «letter»? — *Lingua*, 1949, 2, n. 1, p. 56.

<sup>16</sup> См., например: Амирова Т. А., Ольховиков Б. А., Рождественский Ю. В. Очерки по истории лингвистики. М., 1975, с. 166.

<sup>17</sup> H j e l m s l e v L. Über die Beziehung der Phonetik zur Sprachwissenschaft. — In: *Archiv für vergleichende Phonetik*. 1938, Bd 2, n. 3.

<sup>18</sup> Den første og anden. . ., s. 22.

<sup>19</sup> Парадокс с двумя *y* впервые был объяснен А. Хольстемарк. Ср.: H o l t s m a r k A. En islandisk scholasticus. . ., s. 42.

между буквой и звуком: средневековая традиция употребления слова «буква» сохраняется до XIX в.

Выделение гласных и согласных и классификация согласных в исландских трактатах тоже соответствуют средневековой традиции, восходящей в свою очередь к александрийским грамматикам. Согласные не могут сами «делать речь» и не могут быть произнесены без гласных, а само деление согласных производится в зависимости от названия букв.

Согласные делятся на две группы в зависимости от места *e* в названии буквы (be, de, ge, но ef, el, em и т. п.). При членении текста исландские грамматисты тоже следовали за Присцианом и его комментаторами. Из текста первого трактата можно понять, что автор его выделяет *vers — orð — samstaf — stafr* (стих (т. е. предложение, или, скорее, период) — слово — слог — буква);<sup>20</sup> автор третьего трактата делит текст так: *bók — kapituli — vers (klausu) — málsgrein — sögn — samstafa — stafr* (книга — глава — период — предложение — слово — слог — буква).<sup>21</sup> У Присциана этому соответствует *sententia — pars — syllaba — littera*, у Ремигиуса, его известного комментатора, *sententia — dictio — syllaba — littera*.<sup>22</sup> Подобным же образом членит текст и Эльфрик (*cwuð — dæl — stæfgefæg — stæf*).<sup>23</sup> Членение текста автором третьего трактата не находит соответствия в средневековой лингвистике, однако оно несомненно основывается на Присциане. Популярность исландских трактатов в XX в. (особенно первого) объясняется, однако, не тем, что они следовали классическим образцам, а теми оригинальными идеями, которые не имеют соответствия в европейской средневековой лингвистической традиции.

Автор первого грамматического трактата начинает составление алфавита с гласных. К буквам латинского алфавита a, e, i, o и u он добавляет *o*, *e*, *o* и *y*, обосновывая свое предложение тем, что каждая из этих гласных «вызывает свой смысл», если ее поставить между одинаковыми согласными.<sup>24</sup> Автор выбирает согласные s и g и, сравнивая *sár* (рана), *sór* (раны), *sér* (видит), *sér* (сеет), *súr* (кислые), *súr* (свинья), *sór* (клялся), *sør* (оправданный),<sup>25</sup> показывает, что изменение значения связано с появлением новых букв. По-видимому, это первый случай сознательного использования метода противопоставления минимальных пар для выяснения состава букв. Возникает необходимость в новом обозначении

<sup>20</sup> Den første og anden... , s. 37.

<sup>21</sup> Den tredje og fjerde... , s. 40.

<sup>22</sup> Benediktsson Hrein. The First Grammatical Treatise... , p. 107.

<sup>23</sup> Williams E. R. Ælfric's grammatical terminology. — In: Publications of the Modern Language Association of America, vol. 75, n. 5, pt 1, p. 461.

<sup>24</sup> Den første og anden... , s. 25.

<sup>25</sup> Ibid.

только тогда, когда меняется смысл.<sup>26</sup> Автор использует свой метод противопоставления очень последовательно и обосновывает введение специального знака для обозначения носовых гласных следующим образом: «но каждая из этих девяти букв образует новую букву, когда ее произносят в нос, и это различие становится тогда таким явным, что оно может изменить смысл».<sup>27</sup>

Автор предлагает ставить точку над носовыми гласными и в подтверждении необходимости такого обозначения сравнивает минимальные пары hágr 'волосы' и hágr 'акула', gǫ 'рейка в оснастке судна' и gǫ 'угол дома', и т. д.<sup>28</sup>

О существовании носовых гласных в древнеисландском мы узнаем только из первого трактата, уже автор второго трактата ничего не говорит о носовых гласных. Даже современные автору первого трактата скальды не различали носовые и ртовые во внутренних и конечных рифмах (впрочем, возможно, что не было запрета на использование носовых и ртовых в рифмах). Существование в древнеисландском носовых не вызывает сейчас сомнений, и многие из слов с носовыми гласными имеют хорошую этимологию, которая свидетельствует о том, что гласный назализовался в результате выпадения *n* (ср. др. исл. hágr 'акула', санскр. śankú 'морское животное', gǫ 'угол' (ср. др. исл. gǫng, др. англ. wanga), ógr 'наш' (совр. нем. unser) и т. п.).

А. Хольтсмарк считала, что выделению носовых гласных на письме способствовало знакомство автора с французскими средневековыми стихами.<sup>29</sup> Однако даже если автор первого трактата и знал французские стихи, вряд ли именно это привело его к обозначению носовых на письме. Выделить носовые гласные ему помогло последовательное применение метода противопоставления.

Количество гласного оказывается еще одним «различием», которое «меняет смысл».<sup>30</sup> Необходимость введения значка для обозначения долгих гласных демонстрируется противопоставлением минимальных пар far 'корабль' — fār 'опасность', gof 'бог' — góf 'хорошая' и т. д. Автор приводит минимальные пары на все противопоставления долгих и кратких, поясняя каждую пару примерами такого типа: «Та женщина почитает бога (gof), которая сама хороша (góf)».<sup>31</sup> Количество было релевантно и у согласных, и автор первого трактата предлагает записывать долгие согласные строчными маюскулами. В данном случае автор строго выдерживает основной принцип обозначения фонем на письме: каждой фонеме должна соответствовать одна графема. Долгие согласные —

<sup>26</sup> Хр. Бенедиктссон сравнивает этот метод с коммутационным тестом Л. Ельмслева «Автор показывает, что различию между сегментами, которые можно подвергнуть коммутации в плане выражения, соответствует различие в плане содержания» (Ben ed i k t s s o n H r e i n n. The First Grammatical Treatise. . . , p. 238).

<sup>27</sup> Den første og anden. . . , s. 25—26.

<sup>28</sup> Ibid., s. 26.

<sup>29</sup> H o l t s m a r k A. En islandisk scholasticus. . . , s. 25.

<sup>30</sup> Den første og anden. . . , s. 27—28.

<sup>31</sup> Ibid., s. 29.

это особые буквы: у них есть свое название *ebb, edd, enn, ell* и т. п., свое обозначение *b, d, n, l* и свое звучание [b:], [d:], [n:], [l:]. Автор отказывается обозначать долгие согласные традиционно как сочетание двух букв *bb, dd* и т. д., так как это нарушило бы его основной принцип: одна фонема — одна графема. Необходимость же выделения долгих согласных как особых букв очевидна, поскольку их противопоставление простым буквам служит для различения смысла (ср. *vina* 'друзей' — *viná* 'делать, побеждать', *ól* 'пиво' — *ól* 'все', *kgara*, от *kgar* 'талый снег', *kgara* от *kgarr* 'узкий' и т. д.).<sup>32</sup>

Строго проводя свой фонологический принцип построения алфавита, автор первого трактата предлагает писать одну букву для обозначения звонкого и глухого дентальных плоскощелевых.<sup>33</sup> В древнеисландском, так же как и в современном языке, глухой [θ] и звонкий [ð] были комбинаторными вариантами одной фонемы. Современная исландская графика, различающая эти аллофоны на письме, используя буквы *þ* и *ð*, менее последовательна, чем графика, предлагаемая автором первого трактата. Следуя своему принципу, он предлагает использовать одну букву для обозначения [k], так как *s, k* и *q* «имеют один и тот же звук»,<sup>34</sup> и исключить из алфавита буквы *x, y, z*, так как ни одна из этих букв не имеет собственного значения.<sup>35</sup> Об *u* мы уже писали выше, а *x* и *z* обозначают сочетания [ks] и [ts].

Лингвисты, описывавшие первый грамматический трактат, пытались выяснить, откуда у его автора возникла мысль об использовании противопоставления для выявления необходимого количества букв. Считается, что идея сопоставления минимальных пар могла возникнуть у автора под влиянием латинских грамматик, в которых для запоминания часто рифмовались слова, отличающиеся только разным количеством гласного (ср., например, *docto credè duci* (от *dux*), *sivis ab eo bene dūci* (второй инфинитив от *dūco*)).<sup>36</sup>

Хрейди Бенедиктссон считает, что идею обозначения долготы и сопоставления минимальных пар исландский автор мог позаимствовать у популярного в средние века грамматиста Исидора Севильского (560—636), который говорит, что слова типа *populus* 'тополь' и *populus* 'народ' должны различаться знаком ударения (апексом).<sup>37</sup> Сам автор трактата, оправдывая обозначение долгих гласных, пишет, что в греческом языке долгие и краткие гласные пишутся по-разному: *E* (e), но *H* (e:), *O* (o), но *Ω* (o:).<sup>38</sup>

<sup>32</sup> Den første og anden... , s. 47—48.

<sup>33</sup> Ibid., s. 38.

<sup>34</sup> Ibid., s. 39.

<sup>35</sup> Ibid., s. 41—42.

<sup>36</sup> Holtsmark A. En islandisk scholasticus... , s. 86, 87.

<sup>37</sup> Benediktsson Hrein. The First Grammatical Treatise... , p. 77.

<sup>38</sup> Den første og anden... , s. 27.

В латинских грамматиках сопоставление минимальных пар ограничивается только сравнением омографов с разным количеством гласного, причем сравнение это делается не для того, чтобы выявить различие, а для того, чтобы в стихотворной форме удобнее было запоминать эти омографы, так как долгота, как правило, не обозначалась, а в романском мире количество гласных уже давно перестало быть релевантным. Если рифмование латинских слов, содержащих количественно разные гласные, служило только педагогическим целям, то использование метода противопоставления минимальных пар — это основной метод автора первого грамматического трактата, с помощью которого он выявляет состав букв в исландском языке. Вероятнее всего, что фонологический метод автора первого грамматического трактата является либо его собственным достижением, либо восходит к неизвестному нам исландскому образцу. Считается, что в третьей и четвертой главах третьего грамматического трактата, автором которого был скальд Олав Тордарсон, используется трактат о рунах Торродда Гамласона — Мастера Рунического Письма, который был написан в начале XII в.<sup>39</sup> Б. М. Ульсен считает, что отрывок о дифтонгах восходит к Торродду,<sup>40</sup> а именно в этом отрывке говорится о том, что дифтонги нужны для обозначения различия «чтобы отличать имена (существительные) *męr* 'девушка' и *sęr* 'море' от местоимений *męr* 'мне' и *sęr* 'себе'». <sup>41</sup> Там же есть упоминание о том, что все гласные нужно поставить между рунами *g* и *s*,<sup>42</sup> что в рамках третьего трактата остается непонятным, однако *s* и *g* — это именно те согласные, которые служат одинаковым окружением при противопоставлении минимальных пар в первом грамматическом трактате (ср. *sár*, *sǫr*, *súr* и т. д.). Возможно, если действительно в трактате Олава сохранились именно эти места из трактата Торродда — Мастера Рунического Письма, то, вероятно, именно Торродд Гамласон был первым, кто использовал противопоставление минимальных пар для определения состава алфавита.

Способ определения необходимых букв у автора первого трактата полностью совпадает с методом выделения фонем современными фонологами.

Интересно отметить, что в своем исследовании средневековый исландский лингвист испытывает те же самые трудности, как и все современные фонологи. Особенно заметно это при анализе дифтонгов. Определение дифтонгов у автора первого трактата традиционно, дифтонг получается тогда, когда в одном слогое оказываются две гласные «гласная может терять свою природу, и тогда ее скорее следует назвать согласной». Это происходит тогда, когда она пишется с другой гласной, звук, который получается в этом

---

<sup>39</sup> Den tredje og fjerde. . . , s. XXII.

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Ibid., s. 49.

<sup>42</sup> Ibid., s. 43.

случае, почти смешивается или сливается с «тем гласным, с которым он пишется вместе», и его поэтому «нелегко различить».<sup>43</sup> Подобно современным фонологам, автору первого грамматического трактата трудно отождествить этот звук с каким-нибудь определенным гласным, так как в данном случае он не может использовать свой метод противопоставления минимальных пар.

Считается, что автор первого трактата рассматривает дифтонги как сочетания, так как он включает в свой список и то, что принято сейчас считать монофонемными дифтонгами [au], [ei], [ey] (ср. austr 'восток', eir 'медь', euger 'эре'), и восходящие дифтонгические сочетания, которые рассматриваются современными фонологами как бифонемные сочетания [jo], [ja], [vi] (ср. eog 'конь', eagn 'железо', vín 'вино').<sup>44</sup> О том, что автор первого трактата рассматривает эти дифтонги как сочетания букв, свидетельствует прежде всего тот факт, что он обозначает их двумя буквами. Возможно, автор ПГТ объединяет нисходящие (монофонемные) и восходящие (бифонемные) дифтонги по акустическому впечатлению, как это делают американские дискриптивисты, считающие, что [je] в yes и [ei] в day отличаются только порядком следования компонентов.<sup>45</sup> Считающееся обычно бифонемным современное исландское je тоже рассматривается как дифтонг, так как «j очень тесно связан с гласной».<sup>46</sup>

Однако автор первого грамматического трактата предлагает записывать восходящие дифтонги буквами ea и eo (в нормализованной орфографии ja и jo), что может свидетельствовать о том, что он отказывается отождествлять первую часть дифтонга с i, и делает это он, вероятно, не только потому, что так делали многие «умные люди», на которых часто ссылается автор первого трактата, но и потому, что эти дифтонги могли быть монофонемными. Ничего не говорит автор ни о долгих носовых дифтонгах, ни о кратких дифтонгах скандинавского преломления.

Одной из вершин лингвистического анализа автора ПГТ является то место, где он доходит до понятия различительного признака, когда говорит, что из девяти букв он получает 36 различий,<sup>47</sup> т. е. выделяет четыре признака (долгота—краткость, назальность—оральность), которые охватывают все гласные. Метод противопоставлений используется им не только для выделения нужных букв, но и для абстрагирования различительных признаков, причем выделив признак один раз, он затем отмечает его везде, даже в тех случаях, если в соответствующих позициях противопоставление отсутствует. Автор обозначает носовые гласные даже в том случае, если они краткие, хотя краткие носовые

<sup>43</sup> Den første og anden. . . , s. 30—31.

<sup>44</sup> Ibid., s. 30.

<sup>45</sup> Bloch B., Trager G. Outline of linguistic analysis. Baltimore, 1943, p. 23.

<sup>46</sup> Ofeigsson Jón. Træk af moderne islandsk lyd lære. — In: Blöndal S. Islandsk-dansk ordbog. Reykjavík. 2, d. 2, p. XV.

<sup>47</sup> Den første og anden. . . , p. 24.



не противопоставлялись кратким ртовым, и последователи Н. С. Трубецкого назвали бы эту позицию позицией нейтрализации. Современный фонолог Хрейдн Бенедиктссон критикует автора первого грамматического трактата за неточность фонологического анализа: «... если бы целью автора был строгий научный анализ фонемных отношений, то используемая процедура была бы неадекватной и недостаточной»,<sup>48</sup> и называет такой анализ непрактичным и излишним, даже если целью автора было улучшение орфографии.<sup>49</sup> Другой современный фонолог Э. Хауген считает, что анализ автора этих позиций соответствует современным требованиям.<sup>50</sup> Если бы автор первого трактата жил в наше время, то по пониманию проблем, связанных с анализом тех позиций, которые принято называть позициями нейтрализации, он был бы близок к ленинградской фонологической школе, так как он, очевидно, разделял бы ту точку зрения, что отсутствие противопоставления в некоторых позициях не означает отсутствия фонемы.

Следует заметить, что автор первого трактата оказывается в большей степени фонологом, чем теоретиком создания графики; обозначение кратких носовых на письме с графической точки зрения излишне, ведь после такой носовой гласной всегда следовала буква *n*, однако фонологически оправданно и соответствует основному принципу автора ПГТ о том, что каждая фонема должна обозначаться собственной графемой.

Нет сомнения в том, что автор первого грамматического трактата был образованным человеком, следовавшим лингвистической традиции своего времени. Об этом свидетельствует использование им понятия «буква», его уверенность в том, что все языки произошли из одного (еврейского), объяснение этимологии слова *titull* 'титло', которое полностью совпадает с общепринятой средневековой этимологией этого слова.<sup>51</sup> Кроме латыни автор, вероятно, знал греческий и еврейский. Возможно, он был знаком и с грамматикой Эльфрика. Термин *stafrof* 'алфавит' является калькой с древнеанглийского *stæfrof*, которым пользуется Эльфрик. Само построение трактата в значительной степени строится по законам средневековой схоластики, в виде ответов воображаемому оппоненту. Но не это сделало первый грамматический трактат выдающимся произведением. Все самое замечательное в трактате, и прежде всего использование смыслообразительных оппозиций для построения алфавита — индивидуальное достижение исландской лингвистической традиции. Достижения автора первого трактата не являются чем-то исключительным на фоне исландской культуры XII—XIII вв. Именно в этот период, в эпоху распространения христианства при сохранении старой общественной структуры общества, в период расцвета народовластия, ис-

<sup>48</sup> Benediktsson H rein n. *The First Grammatical Treatise...*, p. 83.

<sup>49</sup> *Ibid.*, p. 78.

<sup>50</sup> Haugen E. *First Grammatical Treatise...*, p. 32.

<sup>51</sup> Holstmark A. *En islandisk scholasticus...*, s. 78.

ландская культура переживала расцвет. Наука в Исландии всегда была практической, и в этот период появляются написанные по-исландски астрономические и географические трактаты, которые намного опередили средневековую европейскую науку того времени. Одди Звездочёт вычисляет расстояние от Земли до Солнца и сообщает о том, что Земля — шар. Торстейн Сурт усовершенствует календарь.<sup>52</sup> В середине XII в., т. е. как раз в эпоху создания первого грамматического трактата, появляются во многом оригинальные, основывавшиеся на скандинавской традиции, исландские географические сочинения.<sup>53</sup> Все эти сочинения были вызваны к жизни практической необходимостью и великолепно отвечали на поставленные жизнью вопросы. Точно таким же образом, когда возникла необходимость в создании исландского алфавита, неизвестный исландец создает грамматический трактат, блестяще решая эту задачу.

Автор создал идеальный фонографический алфавит, однако влияние трактата на исландскую графику не стало особенно заметным. Интересно, что сам составитель рукописи *Codex Wormianus* не следует рекомендации автора ПГТ. Долготу гласных он обозначает разными способами (сравни, например, написания á, áá, áá, áá) и использует те буквы, которые автор ПГТ предлагал исключить из алфавита. Это было связано, вероятно, не с общим упадком исландской культуры, начавшимся после потери Исландией независимости в 1262 г., а с тем, что графическая система может иметь свои законы. В современной исландской орфографии из всех предложенных автором ПГТ орфографических новшеств сохранился только знак акцента для обозначения исконно долгих гласных.

Автор первого трактата говорил также о возможности написания особого трактата о том, из каких букв должно состоять каждое слово, и о том, как надо связывать буквы в слове, т. е. предлагал создать основы исландской орфографии и «графотактики». Вполне вероятно, что на этот призыв откликнулся автор второго грамматического трактата.

Второй грамматический трактат, относящийся к началу XIII в., дошел до нас в двух рукописях *Codex Wormianus* и *Codex Upsaliensis*. Палеографический анализ показывает, что трактат появился между 1208 и 1224 гг. Более полной является рукопись *Codex Upsaliensis coll. Delagardi* № 11. Некоторые исследователи полагают, что автором части второго грамматического трактата был сам Снорри Стурлусон.<sup>54</sup> Если первый трактат был посвящен составлению исландского алфавита, то второй трактат дает классификацию всех букв в зависимости от их встречаемости в слове,

<sup>52</sup> О л ь г е й р с с о н Э й н а р. Из прошлого исландского народа. . . , с. 211—217.

<sup>53</sup> М е л ь н и к о в а Е. А. Древняя Русь в исландских географических источниках. — В кн.: Древнейшие государства на территории СССР. М., 1976, с. 142—144.

<sup>54</sup> М о г к Е. Der sogenannte zweite grammatische. . . , s. 30.

т. е. создает то, что можно было бы назвать графотактикой (ср. фонотактика). Все буквы автор делит в зависимости от их места в слове и для наглядности приводит две таблицы, одну в виде пяти концентрических кругов, другую в виде обычной прямоугольной схемы, очень напоминающей современные фонотактические матрицы. В первом центральном круге помещены буквы h, q, v и p, так как эти буквы могут стоять «только перед другими буквами». <sup>55</sup> Во втором круге 12 согласных букв, которые могут стоять и в начале, и в конце слова (b, d, f, g, k, l, m, n, p, r, s, t). В третьем круге — двенадцать гласных букв, которые автор делит на три группы в зависимости от их написания: в первую группу входят a, e, i, o, u, во вторую лигатуры (límingar) æ, *ai*, *oi*, соответствующие буквам e, o, ø в первом трактате; и третью группу составляют дифтонги (láusaklofar) ey и ei. Букву i автор называет «меняющейся буквой» (skiptingr), так как она является «настоящим гласным, если перед ней стоит согласная и за ней следует согласная», но она «превращается в согласную, если за ней следует гласная». В четвертом круге помещены двенадцать долгих согласных, каждая из которых может стоять и в середине, и в конце слова. В пятом круге помещены буквы ð, z, x, которые не могут стоять в начале слова, и несколько различных знаков сокращения — «титлов». В прямоугольной таблице сверху написаны одиннадцать гласных, и от каждой гласной вниз идет вертикальная линия. Внизу помещены согласные: те согласные, которые могут стоять и перед гласной, и после нее, находятся и слева и справа от черты, согласные, которые могут стоять только перед гласной, помещены слева от вертикальной линии, а согласные, которые могут стоять только в конце слова, — справа от нее. Автор трактата сравнивает гласные со струнами, а согласные — с клавишами музыкального инструмента. Речь получается тогда, когда клавиши ударяют по струнам, т. е. гласные сочетаются с согласными. <sup>56</sup> Интересно, что автор ВГТ дает согласным буквам названия, в которых отражается их возможная сочетаемость с гласными; те согласные, которые могут стоять и до и после гласного, называются heb, dud, sis, faf и т. д., те, которые стоят после гласного, получают названия egg, emm, enn и т. д. <sup>57</sup>

Единственный критерий группировки букв — формальный: автор второго трактата не дает обоснования для выделения букв, как это делает автор первого, он составляет группы уже интуитивно выделенных фонем, хотя в некоторых случаях обращается к методу противопоставления. Выделяя в третьем кругу гласные, он сообщает, что эти буквы сами составляют многие слова, приводя в пример í 'в', á 'на', ú 'тис', ey 'остров' или ey 'никогда', а ó и ú придают слову противоположный смысл, ср. satt, но ósatt

<sup>55</sup> Таблица и ее объяснение см. на с. 57—59 в кн.: Den første. og anden. . .

<sup>56</sup> Den første og anden. . ., s. 63, 65.

<sup>57</sup> Ibid., s. 57.

‘правдиво’, ‘неправдиво’. Различие же кратких и долгих гласных изменяет «весь смысл слова», что видно и из приводимого автором ВГТ примера á því ári sem Ari var fæddr, ‘в том, году (ári), когда родился Ари (Ari)’.<sup>58</sup> Вслед за автором первого трактата он советует обозначать долгие гласные знаком акцента.<sup>59</sup> Необходимость написания строчных маюскул или двойных букв для обозначения долгих согласных он обосновывает тем, что «некоторые слова или имена кончаются так четко, что одной согласной не хватает».<sup>60</sup>

Если автор первого грамматического трактата подошел к современному понятию фонемы, сравнивая для выделения букв минимальные пары и тем самым давая понять, что не сама фонема имеет значение, а ее замена в минимальных парах приводит к изменению смысла, то автор второго грамматического трактата фактически выделяет гласные потому, что они могут быть сами самостоятельными словами.

Считается, что второй грамматический трактат не имеет соответствий в средневековой лингвистической литературе,<sup>61</sup> хотя влияние первого трактата и в некоторых случаях почти текстуальное совпадение с ним уже было давно замечено.<sup>62</sup> Думается, что начало второго трактата, где рассказывается о разных видах звуков, основывается на классификации всех звуков, сделанной Присцианом, хотя полностью и не совпадает с ней. Присциан выделяет vox articulata — звуковое образование, связанное со смыслом, и vox inarticulata — бессмысленное звуковое образование.<sup>63</sup> Автор второго трактата делит все звуки на 1) природные и производимые человеком шумы, не связанные со смыслом, 2) на артикулируемые звуки, не связанные со смыслом, и на 3) звуки голоса и речь.<sup>64</sup> Началу второго трактата соответствует и начало третьего грамматического трактата. Автор второго трактата следует средневековой традиции и в понимании буквы, однако в данном случае он оказывается более фонологичным, чем его знаменитый предшественник. Автор первого грамматического трактата не включает дифтонги ei, ai и eu в свой список букв, автор же второго трактата называет ei и eu отдельными буквами, несмотря на то что каждый из них состоит из двух букв, следуя своему фонологическому чутью, не включает в список гласных восходящие дифтонги ja, jo и ju.

Классификация букв по их поведению напоминает лингвистическую классификацию букв грамматиками александрийской

<sup>58</sup> Ibid., s. 64.

<sup>59</sup> Ibid.

<sup>60</sup> Ibid., s. 64—65.

<sup>61</sup> M o g k E. Der sogenannte zweite grammatische. . . , s. 20; Den tredje og fjærde. . . , s. XXIX—XXX.

<sup>62</sup> Den tredje og fjærde. . . , s. XXXIII—XLVII.

<sup>63</sup> О л ь х о в и к о в Б. А. Состояние теории языка в раннее средневековье и Возрождение. — Учен. зап. МГПИЯ им. М. Тореза. 1969, т. 51, с. 228—229.

<sup>64</sup> Den første og anden. . . , s. 56.

школы и прежде всего Дионисием Фракийским, который классифицирует звуки с учетом места, занимаемого ими в словах и слогах,<sup>65</sup> однако разница во времени и слабое знакомство средневековой Европы с Дионисием Фракийским говорят против прямого влияния Дионисия на автора второго трактата. Вероятнее всего, автор этот либо следовал за каким-то не дошедшим до нас скандинавским или ирландским (см. выше) источником, либо создал свою классификацию сам.

С какой целью был написан второй трактат? Совершенно невозможно себе представить в средневековой Исландии создание классификации ради классификации; любая классификация здесь должна была находить практическое применение. Э. Могк и О. Бреннер считали, что ВГТ был языковым вступлением к перечню размеров Снорри Стурлусона. Содержание трактата ориентировано на определение значения разных звуков для скальдической поэзии. О. Бреннер считал, что разделение всех букв на пять групп связано с использованием их в аллитерации и внутренних рифмах. В первую группу попадают буквы, которые можно было использовать только для аллитерации, вторую группу букв можно было использовать как для аллитераций, так и для внутренней и для конечной рифмы; долгие гласные годились только для внутренней и конечной рифмы, а *ð*, *z* и *x* только для конечной рифмы.<sup>66</sup> Таковой по предположению О. Бреннера была исконная цель написания второго трактата. Позднейшие же переписчики восприняли его как трактат орфографический и изменили его соответствующим образом, вставив некоторые места из первого трактата.

Сейчас трудно судить о верности этой гипотезы, однако даже те факты, которые приводит в пользу своего предположения О. Бреннер, далеко не полностью укладываются в его схему. Общим для букв первой группы является вовсе не то, что они могут служить только для аллитерации. Это справедливо только для *h* и *p*; *q* же и *v* возможны и во внутренних рифмах, о чем пишет и сам О. Бреннер. С точки зрения скальдической поэзии ничего общего между *h*, *p*, *q* и *v* нет. Общим для них является то, что они могли стоять только в начале слога слева от слогаобразующего гласного (ср. слова типа *sva*, *hvat*, *hǫrva*, *stoqa* и т. п.), причем не обязательно в начале слова. Кроме того, для аллитерации существовали другие обязательные законы, которые никак не нашли отражения во втором трактате.<sup>67</sup> То, что автор его приводит в качестве примера на

<sup>65</sup> Фрейденберг О. М. Античные теории языка и стиля. М.; Л., 1936; Амирова Т. А., Ольховиков Б. А., Рождественский Ю. В. Очерки по истории лингвистики, с. 102.

<sup>66</sup> Brenner O. Der Tractat der Upsala-Edda «af setningu hattalykils». — *Zeitschrift für deutsche Philologie*, 1889, Bd. 21, S. 272.

<sup>67</sup> Например, сочетания *sp*, *sk*, *st* должны были аллитерировать только сами с собой, что позволяет даже некоторым лингвистам говорить о преасибилитированных смычных в древнеисландском; см.: Maverick G. V. Alliteration and consonant phonology in Icelandic. — *Scandinavian Studies*, vol. 40, n. 4, 1968, p. 324—325.

долгие согласные рифмующиеся пары слов (kross 'крест' и hross 'жеребенок' и т. п.), тоже не обязательно должно свидетельствовать о том, что трактат должен был быть предназначен для скальдов, рифмование примеров в средневековой традиции было обычным явлением (см. выше). Однако несмотря на то что во втором трактате есть многое, чего нельзя связать с правилами скальдического стихосложения, вероятнее всего, О. Бреннер и Э. Морк были правы, когда определяли, что первоначально второй трактат был написан как учебник скальдической поэзии и лишь затем под влиянием первого трактата стал рассматриваться как учебник письма. Лингвистическая литература на родном языке появляется именно там, где большое место в жизни общества занимает поэзия. Так, в Ирландии лингвистические трактаты предназначались для бардов, в Исландии — для скальдов, в Провансе — для трубадуров.<sup>68</sup>

Вероятнее всего, второй трактат стал учебником графики, и поэтому для удобства буквы были сгруппированы соответствующим образом.

Если первый трактат можно назвать теоретическим трудом, определявшим основы создания алфавита, т. е. выделение букв, то второй трактат преследовал, вероятнее всего, учебные цели, размещая эти уже выделенные буквы по группам в зависимости от их поведения, т. е. по формальным признакам.

Алфавит второго трактата отличается от алфавита первого своей нефонологичностью. Если автор первого трактата твердо следовал своему принципу «одна фонема — одна графема»,<sup>69</sup> то автор второго трактата не во всем последовал этому принципу, включив в свой алфавит х и z для обозначения сочетаний фонем и ð для обозначения позиционного варианта фонемы [θ]. Следует отметить, что ð было введено не только для обозначения звонкого аллофона этой фонемы, но и, вероятно, для обозначения любого нена начального аллофона [θ], о чем говорит и название этой буквы *med*, где ð оказывается в конце слова, и существование слов типа *auds*, род. пад. от *audr* 'богатство'. С одной стороны, автор второго трактата обозначил сочетания фонем одной буквой, а с другой стороны, он же обозначил монофонемные дифтонги двумя знаками *ei* и *eu*.

Обычно считается, что в идеальном алфавите каждой фонеме должна соответствовать одна буква.<sup>70</sup> Фактически такой идеальный фонографический алфавит и был создан автором первого трактата, однако он не стал нормой. Графическое изображение языка

<sup>68</sup> Stengel E. Die beiden ältesten provenzalischen Grammatiken. Marburg, 1878.

<sup>69</sup> Автор первого грамматического трактата только однажды изменяет этому принципу, вводя написание *g* для обозначения сочетания *ng*, которое в древнеисландском, также как и в современном исландском — бифономенно.

<sup>70</sup> Ср., например: Дирингер Д. Алфавит. М., 1963, с. 262; Мусеев К. М. Алфавиты языков народов СССР. М., 1965, с. 15.

имеет свои особенности, и не существует ни одного алфавита в мире, который бы был строго фонографичен, и дело здесь не только в том, что графика почти всегда традиционна и не отражает во многих случаях происшедших фонетических изменений. Восприятие и передача письменной речи имеет свои, во многом еще непознанные законы. Многие новшества автора первого трактата не привились, вероятно, именно потому, что они были идеальными только с фонологической точки зрения. Использование же автором ВГТ некоторых букв, не укладывающихся в идеальную фонографическую модель, имело свои основания и было вызвано не только слепым подражанием латинским (буквы *c*, *z*, *x*) и английским (буква *ð*) образцам и стремлением к экономии пергамента. Буква *z*, употреблявшаяся для обозначения сочетания [ts], всегда сигнализировала либо о возвратности глагола, либо о том, что между [t] и [s] проходит морфологическая граница. О границе морфемы свидетельствовала и буква *ð*, т. е. употребление этих букв могло иметь морфологическую обусловленность. Сравнивая алфавиты авторов первого и второго трактатов, мы не можем сделать вывода о том, какой из них совершеннее как система графики. Мы можем восторгаться тонкостью фонологического анализа автора первого трактата и говорить о недостаточной фонографичности алфавита второго трактата, но живучесть графической системы определяет практика, а практика показала большую живучесть алфавита второго трактата. Смысл любой системы графики, вероятно, не в том, чтобы каждой букве алфавита соответствовала одна фонема, а в том, чтобы при использовании алфавита как графической системы однозначно были бы показаны все фонемные различия, что совсем не одно и то же. В русской графике, например, палатализованные согласные обозначаются по-разному в разных позициях (*тю*, *дя*, *ни*, но *ть*, *дь*, *нь*), однако сохраняется принцип однозначной передачи фонемных различий.

Такая трактовка графики не исключает возможности появления одной буквы для обозначения двух фонем и, наоборот, двух букв для обозначения одной фонемы.

Единственный неанонимный древнеисландский лингвистический трактат был написан исландским скальдом Олавом Тордарсоном,<sup>71</sup> племянником знаменитого Снорри Стурлусона. Трактат относится к середине XIII в. Этот третий грамматический трактат представляет собой переложение грамматик Присциана и Доната. Он распадается на две части: первая, собственно грамматическая часть начинается с описания букв и доходит до частей речи. В основном она может быть сопоставлена с первыми двумя книгами Присциана: вторая часть — обработка применительно к исланд-

---

<sup>71</sup> Олаф Тордарсон родился около 1212 г., в 1236 г. переезжает к Снорри в Борг и становится его учеником и соратником. Он много путешествовал по Европе, но после гибели Снорри отошел от политической борьбы, стал подьяконом (*subdjaconus*) и основал школу, для которой и написал свой трактат. Умер Олав в 1259 г.

скому материалу третьей книги *Ars maior* Доната — *De barbarismo*.

Следуя за Присцианом, Олав попытался обнаружить в исландском языке все те категории, которые есть в латыни и в греческом. Он подразделил все исландские гласные на тяжелые (*þung*), острые (*hvöðss*) и переменные (*umbeygilig*), т. е., желая обнаружить в исландском различия акута, грависа и циркумфлекса, он акут отождествил с долгой гласной *hvát*, гравис с основным ударением в сложном слове *hár eusti*, а циркумфлекс с дифтонгом *raustr*. Точно так же он говорит о существовании в исландском острого (*snarpr*) или мягкого (*linr*) придыхания,<sup>72</sup> сравнивая исландские слова с начальным *h* и без него. После вступления о буквах следуют наиболее интересные главы трактата о руническом алфавите. Олав описывает 5 гласных скандинавского алфавита (*þrenn staf-rof*), указывая их традиционные рунические названия. Выделяя согласные, он не сообщает их обычных рунических названий, а делит их на две группы в зависимости от того, какие латинские названия могли иметь эти руны: полугласными (*halfradarstofur*) называются *r, n, s, m, l* (в другой рукописи *r, n, m, l, f*) — ср. их названия *er, en, em, el, ef* — влужими он называет *f, p, k, t* и *b*.<sup>73</sup> Наиболее интересная часть — это глава об обозначении рунами дифтонгов. Определение дифтонгов соответствует определению Александра Вилладейского (*Doctrinale*); дифтонг — это соединение двух гласных в одном слого, каждая из которых сохраняет свое качество (*aflí*).<sup>74</sup> Причем в скандинавском языке, т. е. в руническом алфавите, дифтонги нужны и для обозначения различия и для красоты звучания (примеры см. выше). Для обозначения дифтонгов предлагается использовать комбинаторные руны (*limingar*) † — *ae*, † — *au*, †† — *ei*, † — *eu*, † — *eo*.<sup>75</sup> Сообщаются сведения о пунктированных рунах, т. е. о датском руническом алфавите, где звонкие и глухие обозначались разными знаками (ср. *t* — †, *d* — †),<sup>76</sup> и об обычных младших рунах, когда одна руна

<sup>72</sup> Den tredje og fjærde... s. 40.

<sup>73</sup> Ibid., s. 44.

<sup>74</sup> Ibid., s. 48.

<sup>75</sup> Ibid., s. 48—49. †, ††, † обозначали древнеисландские дифтонги [au]., [ei], [eu], † — вероятнее всего, обозначала продукт *i*-умлаута от долгого [a], т. е. [æ], а † — по-видимому, обозначало [q], а не [ø] (они слились позднее), так как в одной из рукописей над этой руной была написана буква *q*; кроме того, Олав пишет, что дифтонга *oe* в рунах нет (а именно *oe* или *ø* могло обозначать продукт *i*-умлаута от *o*). Хотя в современном исландском языке продукт *i*-умлаута от долгого *a* представлен как дифтонг *ai*, не стоит думать, что † и † обозначали фонологические дифтонги. Скорее всего Олав называет их дифтонгами потому, что в рукописях они обозначаются двумя буквами.

<sup>76</sup> Ibid., s. 46.



«пишется вместо двух согласных, наиболее похожих друг на друга, g—k, s—z, b—p, d—t».<sup>77</sup>

Руническая часть трактата Олава представляет интерес, потому что именно в ней видно использование какого-то источника, который не восходит к латинским грамматикам, но не является и собственным добавлением Олава. Если отбросить пересказ Присциана и сведения о пунктированных рунах, которые, вероятно, принадлежат самому Олаву, побывавшему при дворе датского короля Вальдемара (пунктированные руны и называются руны Вальдемара), то останутся сведения, которые по предположению Б. М. Ольсена Олав почерпнул из упоминаемого в прологе к грамматическим сочинениям трактата Торорда Гамласона — Мастера Рунического Письма.<sup>78</sup> Торорд, вероятно, исходил из шестнадцатизначного рунического алфавита и добавил комбинированные руны для обозначения гласных; давая латинские эквиваленты комбинированных рун, он как бы подготовил переход к латинскому письму.<sup>79</sup> Он же, вероятно, обосновал введение новых знаков для обозначения дифтонгов, противопоставляя минимальные пары (ср. *mer—męr, ser—sęr*).

Что касается использования в Исландии рунического алфавита, то по этому поводу существуют две противоположные точки зрения. Одни ученые считают, что руны были распространены в Исландии в основном только как магические знаки и богатой рунической письменности собственно не существовало,<sup>80</sup> сторонники другой точки зрения, восходящей к Б. М. Ольсену, считают, что руническая письменность была широко распространена в Исландии, даже песни Эдды были сначала записаны рунами.<sup>81</sup> Вероятно, Торорд хотел усовершенствовать рунический алфавит в связи с возросшими потребностями в эффективной письменности, и в этом отношении он был прямым предшественником автора первого грамматического трактата.

Однако трактат Олава Гордарсона интересен не только тем, что в нем использован несохранившийся трактат Торорда о рунах. Третий трактат содержит первое сравнительно полное описание исландского языка. Таким образом, это уже не только орфографический трактат, каким был первый и второй трактаты и, вероятно, трактат Торорда. В ТГТ в середине XIII в. впервые появляются исландские термины для обозначения частей речи — *nafn* 'имя', *fornafn* 'местоимение', *orð* 'глагол', *viðorð* 'наречие', *hluttekning* 'причастие', *samtenging* 'союз', *fyrirsetning* 'предлог',

<sup>77</sup> Ibid., s. 50.

<sup>78</sup> Торорд Гамласон родился в 1100 г. и получил образование в Холаре, где познакомился с латынью, а поскольку он был плотником, то знал и рунический алфавит.

<sup>79</sup> Den tredje og fjerde. . ., s. XXIV.

<sup>80</sup> См., например: Стеблнин-Каменский М. И. Культура Исландии. Л., 1967.

<sup>81</sup> Steffenson Jón. Hugleiðingar um Eddukvaeði. — Árbók hins íslezka fornleifafélags. 1968. Reykjavík, 1969. .

medalorpnng 'междометие'.<sup>82</sup> Это свидетельствует о том, что в XIII в. в Исландии начинает складываться самостоятельная грамматическая традиция, которая, правда, не получила распространения и возродилась только в XVIII в.

Вторую часть третьего грамматического трактата составляет переложение De Barbarismo Доната. Олав приводит примеры из произведений скальдов, демонстрируя их «варваризмы». Эта часть трактата, несмотря на то что она задумывалась автором как прохибитивная часть грамматики, является фактически перечнем приемов скальдической поэзии и сообщает, какими приемами пользовались скальды для сохранения размера. Она не является собственно грамматической, однако и здесь автор делает несколько замечаний, свидетельствующих о его лингвистической наблюдательности. Олав сравнивает исландский язык с датским и немецким, отмечая, что сохранение *v* перед *g* в этих языках соответствует более древнему состоянию; ранее это *v* существовало и в исландском.<sup>83</sup>

Четвертый грамматический трактат был задуман, вероятно, как продолжение второй части третьего и содержит в основном перечисление приемов скальдической поэзии. Трактат основывается на Doctrinale Александра Вилладейского (на той ее части, которая называется de figuris grammaticis и на труде Эбрарда Graecismus.<sup>84</sup> Если ТГТ был прохибитивной частью грамматики (вернее метрики), то четвертый трактат должен был быть пермиссивной ее частью в соответствии с общей концепцией средневековой грамматики.<sup>85</sup>

Хотя третий и четвертый грамматические трактаты теоретически были малооригинальны и во многом соответствовали средневековой лингвистической традиции, существенно важным было, однако, то, что они были написаны по-исландски и посвящались родному языку и скальдической исландской поэзии. Если в Италии изучение грамматики было подчинено изучению римского права, а во Франции грамматика была частью философии, то в Исландии в XIII—XIV вв. грамматика, вероятно, считалась частью скальдической поэтики,<sup>86</sup> о чем свидетельствуют как сами третий и четвертый трактаты, так и тот факт, что вся исландская грамматическая литература включена в рукопись Младшей Эдды, которая и была собственно учебником для скальдов.

Экономический и культурный упадок в Исландии, начавшийся в XV в., отразился и на грамматической традиции. Следующие грамматические трактаты появляются в Исландии только

<sup>82</sup> Den tredje og fjærde. . . , s. 56—57.

<sup>83</sup> Ibid., s. 86.

<sup>84</sup> Den tredje og fjærde. . . , s. XLII—XLIII.

<sup>85</sup> Ср., например: A r e n s H. Sprachwissenschaft, der Gang ihrer Entwicklung von der Antike bis zur Gegenwart. München, 1955, s. 30—34.

<sup>86</sup> Den tredje og fjærde. . . , s. XLVII.

в XVIII в., причем они в значительной степени основываются на предшествующих древнеисландских образцах.<sup>87</sup>

Созданная в средневековой Исландии грамматическая литература представляла собой самостоятельный и значительный вклад в европейскую средневековую лингвистику, хотя позднее, уже в XVII—XVIII вв., в Скандинавии стали появляться такие интересные, не отстающие от своего времени лингвисты, как Ю. Ире и Г. Шернбельм в Швеции или Х. П. Хейгсор и О. Мадсен в Дании, древнеисландские трактаты продолжали оставаться лучшим, что было создано скандинавами в лингвистике до работ Расмуса Раска.

---

<sup>87</sup> Smith S. R. Orthographical Criteria in Eggert Ólafsson's «Rétttrabók». — Scandinavian studies, 1969, vol. 43, n. 3.

## ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ В ИСПАНИИ

---

Нет оснований выделять представления о языке, бытовавшие на территории современной Испании в VI—XIII вв. н. э., в качестве особого для своего времени комплекса представлений.

Культурный обмен в пределах римско-католического мира осуществлялся достаточно активно, и лишь условно можно разграничивать специфические локальные черты, вызванные своеобразием исторического развития отдельных его областей. При относительной устойчивости античных традиций, сохранении «авторитета» древних авторов, пусть и адаптированных в духе нового религиозного мировоззрения и известных чаще всего в цитатах и извлечениях, греческое наследие усваивалось обычно из латинских источников. Связи с Византией вызвали временный интерес к греческому языку при дворе Карла Великого, но «уже Алкуину греческий был чужим . . . В монастырях греческий окончательно съезжился до каких-то полупонятных слов, формул и стихов».<sup>1</sup> Со своей стороны, универсальный язык культуры западноевропейских территориально-политических образований обнаруживал усиливающийся «контраст между разговорной латынью с ее неологизмами, которые были вызваны обновлением доктрины и культа, и латынью литературной традиции».<sup>2</sup>

По мере появления национальных «неолатинских» языков и их консолидации практика обращения к литературной, точнее, книжной латыни как универсальному языку культуры не могла не сказаться на характере средневековых учений о языке, и уже в ренессансную эпоху отразилась в «рациональной грамматике» Франсиско Санчеса де Лас Бросаса, основной труд которого «Минерва, или о началах латинского языка» был издан в Мадриде в 1587 г.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Va e b l e r J. J. Beiträge zu einer Geschichte der lateinischen Grammatik im Mittelalter. Halle a. S., 1885, S. 67.

<sup>2</sup> P a g l i a r o A., B e l a r d i W. Linee di storia linguistica dell'Europa. Roma, 1963, p. 120—121.

<sup>3</sup> V i l j a m a a T. The Renaissance reform of Latin grammar. Turku, 1976 (=Annales Univ. Turkuensis. Ser. B, t. 142); Короленко И. А. Грамматические воззрения Франсиско Санчеса де Лас Бросаса. — В кн.: Актуальные проблемы советской романистики. Тезисы. . . , Л., 1975, с. 44—47; М а л я в и н а Л. А. Франсиско Санчес и его грамматика «Минерва». АКД. М., 1981.

Исторические условия привели и к некоторому изменению структуры средневековых знаний (сказавшемуся преимущественно на восприятии греческого наследия) под воздействием культурных влияний, центром которых оказалась Испания. В ходе культурного обмена средневековой Европы можно выделить два основных периода, характеризующих это воздействие в контексте западно-европейских учений о языке (применительно к испанскому языкознанию для этого времени можно говорить о культурно-исторических предпосылках его развития). Первый период относится к раннему средневековью и отмечен деятельностью Исидора Севильского; второй связан с испано-арабской культурой и Реконкистой.

\* \* \*

После падения Западной Римской империи на северо-западе Пиренейского полуострова продолжало существовать королевство свевов, югом владела Византия, на севере сохранялись мелкие независимые королевства и княжества, а в центре располагалось обширное Вестготское королевство, охваченное внутренними беспорядками и продолжавшее расширять свои границы в ходе многочисленных войн с вандалами и свевами, римлянами и византийцами, васконами и франками. Внутренние противоречия этого варварского государства усиливались противоборством католицизма, который в основном исповедовало покоренное римско-испанское население, и арианства вестготов. После того как на II Толедском соборе (587 или 589 г.) король Реккаредо перешел в католичество (с частью вестготской знати), в оппозиции оказалась арианская партия. На этом фоне разворачивается деятельность Исидора, сменившего в 578 г. в качестве епископа Севильского своего старшего брата Леандра.

По словам Т. А. Миллер, «среди писателей VI—VII вв. севи́льскому епископу Исидору (570—638 гг.) принадлежит особое место, сопоставимое с местом Августина в культуре IV—V вв.».<sup>4</sup> Французский исследователь Жак Фонтэн отмечает «решающее» влияние Исидора на школу Каролингского возрождения.<sup>5</sup> В. М. Линдсей, английский издатель основного труда Исидора «Этимологии, или Начала», рассмотрел 47 списков VIII—XI вв., копирующих это сочинение, или отдельные его книги.<sup>6</sup> «Эта работа, — подчеркивал Дж. Э. Сэндис, — столь высоко почиталась как энциклопедия классического знания, что на продолжительное время вытеснила, к несчастью, изучение самих классических авторов».<sup>7</sup> Даже среди

<sup>4</sup> Памятники средневековой латинской литературы IV—IX вв. Л., 1970, с. 196.

<sup>5</sup> Fontaine J. Isidore de Seville et la culture classique dans l'Espagne wisigothique. Paris, 1959 [vol. 1—2], p. 13—14.

<sup>6</sup> Isidori Hispalensis episcopi Etymologiarum sive Originum. Libri XX. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit W. M. Lindsay. Oxonii e typographeo clarendoniano, 1911, t. 1—2, p. VII—XI.

<sup>7</sup> Sandys J. E. A history of classical scholarship from the sixth century B. C. to the end of the Middle Ages. Cambridge, 1906, p. 457.

гуманистов Исидор сохранил репутацию «последнего филолога», а для средневековья его энциклопедия определила «состояние знаний в течение восьми веков, а также наложила отпечаток на саму форму мышления».<sup>8</sup>

Знания и начитанность Исидора были обширными, но епископ Севильи не составлял исключения среди своих современников. Готская и римская знать в Испании выдвинула немало духовных и светских писателей, хранивших культурные достижения античности. Среди них Орозий, Донат, Ильдефонс Толедский, Иоанн Бикларский, Евтропий из Валенсии, Север из Малаги. Здесь сохранялась не только римская, но и греческая традиция, чему способствовали достаточно тесные связи с Византией. Не все составляющие этой культуры доступны для наблюдения. После обращения Реккаредо в католичество были уничтожены арианские книги, написанные на готском языке, хотя готская письменность засвидетельствована еще в VII в. Более обширной по сравнению с современным состоянием была территория баскского языка. Лишь косвенным образом можно оценить деятельность монастырей по переписке и распространению книг, богатства книжных собраний, систему образования в монастырских и епископских школах. Можно все же предположить, что постепенно знакомство с «языческими» греческими и римскими авторами приобретало характер эзотерического знания. Об Исидоре, например, известно, что «единственными авторами, которых он позволял читать своим монахам, были грамматики».<sup>9</sup> Но и это скорее можно поставить в заслугу севильскому епископу, если в послании, адресованном своему другу, Леандру (брату Исидора), папа Григорий I (590—604 гг.) находил совершенно недостойным «слова небесного откровения подчинять правилам Доната».<sup>10</sup> Создание же того компендиума «языческих» знаний, который представлен «Этимологиями», несколько смягчает ортодоксальность предписаний Исидора Севильского, непримиримого противника ереси.

«Этимологии, или Начала» были разделены учеником Исидора Браулием (епископом Сарагосы в 631—651 гг.) на двадцать книг,

---

<sup>8</sup> Curtius E. R. *Mittelalterliche Literaturtheorien*. — *Zeitschrift für romanische Philologie*, 1942, Bd.62, S. 475. — Помимо «Этимологий» и ряда богословских сочинений, среди трудов Исидора можно назвать «О природе вещей» (*De natura rerum*), «Различия» (*Differentiae*), «Историю готов» (*Historia gothorum*), «Книгу чисел» (*Liber numerorum*), «Изречения» (*Sententiae*), «Мнение о музыке» (*Sententiae de musica*), «О библиотеке» (*Versus in bibliotheca*).

<sup>9</sup> Sandys J. E. *A history...*, p. 456.

<sup>10</sup> Fontaine J. *Isidore de Seville...*, p. 34. — Можно, правда, рассматривать это высказывание как сугубо риторическую фигуру, поскольку «Григорий весьма ценит у пишущего „ясность и изящество“»; в сочинении «О великих мужах» Исидор Севильский писал о Григории I, что «не только в его время не было никого, равного ему по учености, но и в последующие времена никогда не будет». См.: Голенищев-Кутузов И. Н. *Средневековая латинская литература Италии*. М., 1972, с. 140, 142—143.

первая из которых посвящена грамматике, а вторая — «риторике и диалектике»; третья книга содержит сведения о математике, «частями которой являются арифметика, музыка и астрономия».<sup>11</sup> Таким образом, здесь рассматриваются «семь свободных искусств», и все они определяются Исидором в качестве дисциплин («что можно сказать о науке»): «Дисциплин свободного искусства семь. Первая грамматика, то есть знание языка. Вторая риторика, которую из-за изящества и могущества красноречия считают особенно необходимой в государственных вопросах. Третья диалектика, прозванная логикой, которая тонким истолкованием отделяет истину от ложного . . .» (Etym., I, II, 1). При этом грамматика не просто «знание языка», но фундаментальная дисциплина, «откуда Исидор заимствовал основные методы, перенесенные им на всю систему знаний, включая теологию. Она вступает в область риторики, которой он оставляет лишь второстепенное место».<sup>12</sup>

Грамматический «метод» Исидора располагался в русле христианской экзегетики, выступавшей как «разновидность грамматики, специализированной на изучении, комментировании и передаче Писания»,<sup>13</sup> и развивал идеи Августина и Кассиодора. По его определению: «Грамматика есть знание правильного языка, и начало и основа свободной учености» (Etym., I, V, 1). В основе грамматики как «всеобщей науки» и «начала» знаний находятся четыре категории — аналогия, этимология, глосса и различие.

Уже в первом своем труде «Различия» Исидор пояснял, что «поэзия и обычай смешивают свойства терминов и путают значения близких слов, в связи с чем следует разграничивать последние, определяя через различия их собственное значение, поскольку, как бы они ни были схожи, они еще различаются между собой по своему соответственному происхождению».<sup>14</sup> Согласно «Этимологиям», различие — «вид определения, которым поэты обозначают одно и то же и иное» (Etym., I, XXX, 1). Это определение дано в книге I «О грамматике», но и далее в книге II «О риторике и диалектике» читаем: «Ибо ставя на первое место род, далее вид и другое, что может соседствовать с ним, мы объединяем и разделяем их, выделяя общее, до тех пор проводя между ними различия, пока мы не приходим к ясному выражению того, что намерены обозначить» (Etym., II, XXV, 2). Таким образом, различие выступает как грамматическая и как логическая категория, или принцип классификации, что и позволяет Ж. Фонтэну рассматривать различие в качестве основного метода, используемого Исидором в сочетании с «этимологией», которая становится «критерием „раз-

<sup>11</sup> Последующие книги рассматривают понятия, относящиеся к различным областям знания: медицине, законодательству, религии и церкви, животному миру, растительному миру, военному делу и др.

<sup>12</sup> Fontaine J. Isidore de Seville. . . , p. 15.

<sup>13</sup> Ibid., p. 31.

<sup>14</sup> Ibid., p. 38.

личия“, поскольку она позволяет добираться до происхождения слова и тем самым до его основной сущности». <sup>15</sup>

Этимология в определении Исидора есть «начало наименований, когда сущность слов или имен постигается истолкованием» (Etym., I, XXIX, 1). Разумеется, речь менее всего может идти об этимологиях в современном значении слова. В этом смысле показательно второе заглавие его энциклопедии — «Начала», поскольку «действительно, когда видишь, в чем происхождение имени, быстрее понимаешь его сущность» (Etym., I, XXIX, 2). При этом сущность имени адекватна сущности вещи, в чем Ж. Фонтэн усматривает влияние «библейской ономастики», унаследованной Исидором от греческой экзегетики. <sup>16</sup> Однако в «Этимологиях» рассматривается отнюдь не происхождение слов, а «природа вещей» (в широком понимании *вещи*), и именно потому не случаи звукового символизма или аллегорические толкования, которые здесь встречаются, а та сумма знаний и дефиниций понятийного словаря этих знаний, которые представлены в энциклопедическом труде Исидора, подлежат оценке.

Понятия «аналогия» и «гlossa» определяются в «Этимологиях» традиционно (вслед за Квинтилианом и Донатом), фактически дополняя в качестве частных приемов объяснения слова-вещи ту же этимологию. В целом схема классификации грамматических понятий заимствована Исидором у Доната и дополнена описанием графики и орфографии, главой о прозе, метре, фабуле и истории, а также определениями перечисленных выше четырех категорий.

Вполне можно согласиться с Ж. Фонтэном в том, что для Исидора Севильского «грамматика есть „начало“ наук точно так же, как этимология есть „начало“ имен», и в том, что в его труде «более „грамматики философии“, чем собственно философии». <sup>17</sup>

«Этимологии, или Начала» представляют собой попытку систематизации на основе логики и грамматики средневековых представлений о «природе вещей», что и объясняет последующую популярность этого труда, менее всего повлиявшего на грамматические учения. Сама попытка через толкование «имен» дать объяснение сущности явлений, перекликаясь со спорами номиналистов и реалистов, по-своему способствовала формированию рационалистического мировоззрения. Сыграло свою позитивную роль и частое обращение Исидора к мнениям и цитатам античных авторов, в том числе греческих, с которыми Европа познакомилась в новой интерпретации уже через посредничество арабов.

\* \* \*

19 июля 711 г. вторгшаяся на Пиринейский полуостров (который арабы именовали аль-Андалус) армия Тарика разгромила у оз. Ханда (пров. Кадис) вестготского короля Родерико (Родриго).

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid., p. 42.

<sup>17</sup> Ibid., p. 53—54.



К 715 г. мусульмане заняли все основные города Испании. Своего расцвета мусульманская Испания, не порывавшая культурных и экономических связей с Востоком, достигла при Абд ар-Рахмане III (912—961 гг.), принявшем в 929 г. титул халифа.

Об интенсивности ассимиляции покоренного населения к культуре ислама можно судить по тому, что уже со второй половины VIII в. мосарабы начинают усваивать арабский язык.<sup>18</sup> К 854 г. относится часто цитируемая жалоба кордовского епископа Альваро: «Многие из моих единоверцев читают стихи и сказки арабов, изучают сочинения мусульманских философов и богословов не для того, чтобы их опровергать, а чтобы научиться, как следует выражаться на арабском языке. . . Увы! Все христианские юноши, которые выделяются своими способностями, знают только язык и литературу арабов. . .»<sup>19</sup> Вопреки столь категорическому утверждению, описывая ряд сохранившихся в библиотеке Ватикана переводов латинских рукописей на арабский, выполненных в X—XI вв., Дж. Леви делла Вида приходит к выводу, что среди наиболее образованных христианских кругов арабской Испании латынь, как и арабский, изучалась серьезно и систематически, о чем свидетельствует и так называемый Лейденский глоссарий — латинско-арабский словарь, датируемый IX—XIII вв., который содержит не только «культурную», но и бытовую лексику.<sup>20</sup> XI—XII веком датируется составленное неизвестным арабским ботаником описание растений Испании, содержащее около 900 мосарабских (иногда латинских) названий с переводом на арабский язык и в ряде случаев с указанием греческих соответствий. Публикация этого труда, осуществленная М. Асином Паласиосом,<sup>21</sup> дополняет мосарабскую лексику, которую Ф. Х. Симоне собрал по арабским источникам.<sup>22</sup> Можно оспаривать степень сохранности «латинского» или романского элемента в Кордовском халифате, но, по-видимому, прав У. Монтомери Уотт, полагая, что «в мусульманских областях, видимо, и христиане и мусульмане знали арабский язык, хотя в быту и те и другие пользовались романским диалектом с включением арабизованной (т. е. арабской, — Н. С.) лексики».<sup>23</sup>

XI век открывает период смут в истории халифата, закончившийся в 1031 г. утратой престола последним из Омейядов, Хашимом III, и распадом централизованного государства на мно-

<sup>18</sup> Levi della Vida G. Storia letteraria arabo-ispánica. Roma, 1971, p. 61.

<sup>19</sup> Крачковский И. Ю. Арабская культура в Испании. М.; Л., 1937, с. 11—12.

<sup>20</sup> Levi della Vida G. Storia. . . , p. 66—67.

<sup>21</sup> Asín Palacios M. Glossario de voces romances registradas por un botánico anónimo hispano-musulmán (siglos XI—XII). Madrid; Granada, 1943.

<sup>22</sup> Simonet F. J. Glossario de voces ibéricas y latinas usadas entre los mozárabes. Madrid, 1888.

<sup>23</sup> Уотт У. М. Влияние ислама на средневековую Европу. М., 1976, с. 47.

жество эмиратов. Тем временем на севере укрепляли свои позиции христианские королевства — Галисия, Леон, Кастилия, Наварра, Арагон; а 25 мая 1085 г. после недолгой осады кастильский король Альфонс VI вступил в Толедо. В период XII—XIII вв. испано-арабская культура оказывает наибольшее воздействие на европейскую.

Обширная литература о мусульманском Западе,<sup>24</sup> как и исследование по истории арабского языкознания, синтез которых еще не осуществлен,<sup>25</sup> не содержит сведений о прямых влияниях арабских грамматиков и филологов на европейских. Не дала мусульманская Испания и сколь-нибудь оригинального вклада в арабскую науку о языке. Знаменитый филолог, затмивший на некоторое время славу Сибавейхи, Мухамед ибн-Малик (1206—1274 гг.), родившийся в Испании, жил в Дамаске.<sup>26</sup> Лексикологические труды Исмаила ибн-Сиди, умершего в 1066 г. в Дении (в современной пров. Аликанте), продолжают сложившуюся на Востоке практику «тематических» и «алфавитных» словарей. В Гранаде родился Абу Хайян (1256—1345 гг.), работавший в Каире и включивший в круг своих научных интересов персидский, турецкий и эфиопский языки. Испанец аз-Зубайди (ум. в 941 г.) написал труд «О народном диалекте»,<sup>27</sup> тема которого перекликается с «Трактатом об ошибках народного языка» куфийца аль-Кисайи. В первой половине XIII в. «андалусская грамматика выдвинула самого выдающегося своего представителя в лице Абу Али Умара ибн-Мухаммада ал-Шалавбини, который преподавал в Севилье и воспитал целую плеяду филологов. . . В Каире поселились два знаменитых ученых XIV в., вышедшие из андалусской школы, традиционалист и грамматик Абу Хайян аль-Гарнати и филолог из Альмерии Ибн аль-Са'иг».<sup>28</sup> Если и допустить, что в аль-Андалусе могла бы существовать грамматическая школа, подобная куфийской или басрийской, то и тогда этот вопрос целесообразнее было бы рассматривать с точки зрения арабского языкознания.

На европейские учения о языке повлияло прежде всего то общее воздействие философской мысли Ислама, которое осуществля-

<sup>24</sup> Ср.: *Levi-Provençale E. Histoire de l'Espagne musulmane. Paris, 1950—1953, vol. 1—3*; *Левин-Провансаль Э. Арабская культура в Испании: Общий обзор. М., 1967*; *Уотт У. М., Какиа П. Мусульманская Испания. М., 1976.*

<sup>25</sup> Ср.: *Ахвледиани В. Г. Арабское языкознание средних веков. — В кн.: История лингвистических учений: Средневековый Восток. Л., 1981, с. 53—95*; *The history of linguistics in the near East / Ed. by Cornelius H. M. e. a. Amsterdam; Philadelphia, 1983.* — Этот сборник повторяет издание: *Historiographia linguistica (Amsterdam), 1881, vol. VIII, N 2/3*; там же см. библиографию работ по истории арабского языкознания: с. 195—250 (=с. 431—486 журнальной публикации).

<sup>26</sup> *Звегинцев В. А. История арабского языкознания. М., 1958. с. 71.*

<sup>27</sup> *Мец А. Мусульманский Ренессанс. М., 1973, с. 200.*

<sup>28</sup> *Агиэ Р. L'Espagne musulmane au temps des Nasrides (1232—1492). Paris, 1973, p. 327.*

лось в ходе Реконквисты. Перевод классических арабских грамматик на латинский язык был осуществлен относительно поздно — в конце XV—начале XVI вв. в Италии и в Германии.<sup>29</sup> Интерес к ним возрастает уже после Скалигера. В 1505 г. в Гранаде публикует свою грамматику и словарь арабского языка Педро де Алкала.<sup>30</sup> Но это другая эпоха.

В XIII в. с уходом Алмохидов христианские королевства, используя противоречия между мусульманами, вновь достигли военного перевеса, захватив в 1236 г. Кордову, а в 1248 г. Севилью. К 70-м годам единственным мусульманским государством Испании оставалась Гранада, которая была включена в состав объединенного королевства Арагона и Кастилии только в 1492 г. Именно в XIII в. «в европейскую схоластику проникли элементы арабской мусульманской философии (в первую очередь аверроизм)».<sup>31</sup>

«Работа по переводу научных и философских текстов в арабо-мусульманском государстве в средние века была поставлена гораздо шире, чем в Европе, предназначалась для гораздо более широкой аудитории средневековой мусульманской „интеллигенции“ и носила светский характер»,<sup>32</sup> — подчеркивает И. М. Фильштинский, отмечая и своеобразный «прагматизм» этой переводческой деятельности. «Благодаря работам переводчиков, — констатирует П. А. Грязневич, — произошла языковая метаморфоза громадного объема накопленных знаний, литературных и научных произведений, которые были унаследованы от ряда цивилизаций древности, главным образом восточного эллинизма. . .»<sup>33</sup>

С учением Аристотеля арабы начинали знакомиться по трудам и комментариям Александра Афродисийского (II в.), Фемистия (IV в.), Прокла (410—485), Сириана (V в.), Симплиция (ум. в 549 г.), Иоанна Филиппона (VI в.). Особенное влияние на мусульманских ученых оказал Александр Афродисийский, проповедовавший номинализм и утверждавший, что «универсалии» — лишь следствие опыта и работы мысли. Комментированием трудов греческих философов занимались аль-Кинди (ум. в 873 г.), основатель арабской философии, аль-Фараби (ум. в 950 г.), который имел репутацию «второго учителя» после Аристотеля, Ибн Сина (Авиценна, ум. в 1037 г.), Ибн Рушд (Аверроэс; 1126—1198 гг.).

<sup>29</sup> А х в л е д и а н и В. Г. Арабское языкознание средних веков. — В кн.: История лингвистических учений: Средневековый Восток, с. 58—59; Т р о и р е а u G. Trois traductions latines de la «Muqaddima» d'ibn Āgurrūm. — In: Étude d'orientalisme dédiées à la mémoire de Levi-Provençal. Madrid, 1962, t. 1, p. 359—360.

<sup>30</sup> S o w a n W. Arabic grammatical terminology in Pedro de Alcalá. — In: The history of linguistics. . . , p. 121—128.

<sup>31</sup> Ф и л ь ш т и н с к и й И. М., Ш и д ф а р Б. Я. Очерк арабо-мусульманской культуры (VII—XII вв.). М., 1971, с. 246.

<sup>32</sup> Ф и л ь ш т и н с к и й И. М. Арабская культура VIII—IX вв. М., 1978, с. 18—19.

<sup>33</sup> Г р я з н е в и ч П. А. Развитие исторического сознания арабов (VI—VIII вв.). — В кн.: Очерки истории арабской культуры V—XV вв. М., 1982, с. 71.

Именно в истории мусульманского аристотелизма, первый период которого представлен выходцами из восточных областей халифата (аль-Кинди, аль-Фараби, Ибн Сина), выделяется период XII—XIII вв., связанный с деятельностью мыслителей мусульманской Испании — Ибн Баджжа (ум. в 1139 г.), Ибн Туфейля (ум. в 1186 г.), Ибн Рушда.<sup>34</sup> Испания дала и таких мыслителей, как Ибн Габироль (Соломон бен-Габироль, ок. 1020—1070 гг.), известный в Европе под именем Авицеброна, учение которого проникнуто неоплатонизмом, и Маймонид (Моисей бен-Маймон; 1135—1204), пытавшийся согласовать веру и разум уже после Аверроэса, но еще до Фомы Аквинского. Современник последнего, Сигер Брабантский, глава парижского авероизма XIII в.,<sup>35</sup> знакомился с комментариями Ибн Рушда к Аристотелю по латинскому переводу, выполненному с еврейской версии арабского оригинала.

Аверроэс, оказавший наибольшее влияние на средневековую европейскую схоластику, составил систематизированное извлечение из трудов Аристотеля, которого он знал в арабском переводе по сирийской версии греческого текста, и комментарий к нему. Большинство его сочинений, которые сохранились только в латинском переводе, были изданы в конце XV—начале XVI в. в Венеции. Аверроэс был тем «великим Комментатором, которому подражал Фома Аквинский, и великим еретиком, которого он отрицал».<sup>36</sup> Утверждение Аверроэса, что бытие в предметах и есть предмет, «но образ, схема или идея познанного или представленного предмета не может существовать в предметах подобно общему понятию о человеке. . . образ человека, существующий в душе, есть идея, не существующая в нем как в предмете»,<sup>37</sup> перекликается со спорами номиналистов и реалистов в европейской науке.

Этот компилятивный обзор дает лишь самое общее представление о характере влияния арабо-испанской культуры на европейскую схоластику, которое в истории языкознания отразилось в более далекой перспективе (в связи с уточнением концептуального аппарата формальной логики). В ту же перспективу вписывается так называемая Толедская школа перевода.

Школа переводчиков арабских рукописей возникла в Толедо при Альфонсе VI, но особенно активизировала свою деятельность в правление Альфонса VII не без содействия епископа Раймунду, занимавшего этот пост с 1125 г. до своей смерти в 1151 г.: «он встречался с Петром Достопочтенным, когда тот посетил Испанию в 1142 г., и, возможно, оказывал помощь переводчикам».<sup>38</sup> После смерти Раймунду развернулась переводческая деятельность Доминика Гундисалви (Доминго Гонсалес), который работал совместно

<sup>34</sup> См.: Фильштинский И. М. Арабская культура. . . , с. 25—31.

<sup>35</sup> См.: Шевкина Г. В. Сигер Брабантский и парижские авероисты XIII в. М., 1972.

<sup>36</sup> Sandis J. E. A history. . . , p. 503.

<sup>37</sup> Цит.: Фильштинский И. М., Шидфар Б. Я. Очерк. . . , с. 180.

<sup>38</sup> Уотт У. М. Влияние ислама. . . , с. 84.

с арабоязычным Ибн Даудом, обратившимся в христианство иудеем, и с Иоанном Севильским: «вероятно, Гонсалес выбирал сочинение для перевода и придавал латинскому тексту окончательную форму, после того как помощники передавали на латыни основной смысл арабского оригинала. Как представляется, большинство переводов XII в. были сделаны именно таким образом — двумя учеными, работавшими сообща».<sup>39</sup> Гундисальви приписывают перевод комментариев Авиценны («О душе», «О небе», «Физика», «Метафизика»), а также «Логики и философии» аль-Газали (ум. в 1111 г.). Иоанну Севильскому, если он идентифицируется с Иоанном Испанским (Johannes Hispalensis), принадлежит перевод трактата «О различии души и тела», который составил сириец из Баальбека Каста ибн Лука (820—912 гг.), работавший над переводом греческих рукописей в Багдаде.<sup>40</sup> К переводу Корана, заказанному Петром Достопочтенным, были привлечены Германн Далматийский и англичанин Роберт из Кетонна, впоследствии архидиакон Памплоны. Оба они работали также над переводами трудов по астрономии и метеорологии. Переводы с арабского осуществлялись и в других культурных центрах полуострова — в Тарасоне (близ Сарагосы), где приобрел известность Хуго Сантальский, в Барселоне, где итальянец Платон Тиволийский переводил труды по геометрии и астрономии совместно с Абрахамом бар Хиййа. Но именно Толедская школа обращается к трудам по философии. Из различных стран Европы в Толедо поступают заказы на переводы трудов Авиценны, аль-Газали, Авицеброна, Аверроэса. В эпоху Фернандо III стали переводить и произведения дидактического жанра. Однако в этот период деятельность Толедской школы стала менее интенсивной, чтобы вновь активизироваться при Альфонсе X Мудром (1252—1284 гг.), который заказывал переводы для задуманной им «Всеобщей хроники» («Crónica General») на латыни и на кастильском диалекте, ставшем к этому времени официальным языком государства.

Конец XIII в., по словам У. Монтгомери Уотта, «знаменовал завершение великой эпохи переводов с арабского на латынь . . . Именно благодаря этим ранним переводам арабская наука и философия оказали столь большое влияние на интеллектуальное развитие Западной Европы. К XII в. европейцы уже сами достигли высокого уровня в науке и философии».<sup>41</sup>

Если вестготская Испания, несмотря на языковую и конфессиональную неоднородность, остается, в конечном счете, частью латинской культуры раннего средневековья, то арабская Испания резко изменила культурную ориентацию населения. Лингвистические последствия романо-арабских контактов составляют предмет исследования истории языка, исторической диалектологии,

<sup>39</sup> Там же, с. 85.

<sup>40</sup> Sandys J. E. A history. . . , p. 562.

<sup>41</sup> Уотт У. М. Влияние ислама. . . , с. 86; там же см. литературу о переводах с арабского: с. 119—120.

лексикологии, этимологии. В культурно-историческом аспекте «арабская традиция представлена совокупностью текстов, которые перешли в средневековую Европу, сменив языковую принадлежность. Эти тексты, содержавшие, по крайней мере частично, целый пласт греческой науки, оказали заметное влияние на развитие европейской научной и философской мысли».<sup>42</sup> Собственно грамматические учения и филология арабов начинают привлекать внимание европейцев с XVI в. и лишь постепенно в европейское языкознание проникают достижения арабских грамматиков (так, «вне всякого сомнения, понятие корня и флексии»)<sup>43</sup> Вопрос о том, что могла дать в этом отношении арабская традиция испанскому языкознанию XIV—XVI вв., подлежит исследованию.

---

<sup>42</sup> In e i c h e n G. La tradizione araba come problema filologico e linguistico. — In: XIV Congresso internazionale di linguistica e filologia romanza. Napoli, 15—20 Aprile 1974. Atti, Napoli; Amsterdam, 1978, vol. 1, p. 389.

<sup>43</sup> А х в л е д и а н и В. Г. Арабское языкознание. . . , с. 59.

## СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА

Около тысячи лет грекоязычная культура существовала в рамках Византийской империи — с IV—VI вв. н. э., когда Византия складывалась, до падения Константинополя и исхода ученых греков на Запад в XV—XVI вв. Как известно, словесность и филология играли в центре восточно-христианского культурного круга представительную роль. Ожидалось бы, что и византийские занятия вопросами языка должны иметь, кроме сугубо исторического, еще и лингвистический интерес. Между тем иногда начинает казаться, что у историков языкознания выражение «средневековая грамматика» начинает означать просто «латинская».

Касаясь византийского языкознания, историки лингвистической мысли (так, Я. Пинборг и Берсиль-Холл<sup>1</sup>) указывают на (а) необработанность обширного материала, подлежащего оценке, а также (б) его лишь исторический интерес, поскольку — если выражаться без обиняков — византийский подход к языковым проблемам представляет собой лишь неуклонную деградацию унаследованного от античности запаса языковой теории. Были, впрочем, исследователи, которые ожидали от истории византийского языкознания чего-то большего, имеющего и актуальный интерес (Л. Ельмслев, Р. Якобсон, Р. Робинз<sup>2</sup>). Обе позиции заслуживают рассмотрения и уточнений.

Византийский материал действительно чрезвычайно обширен, и это естественно в ситуации, когда лингвистика как самодовлеющая, получившая особое название, словом, прошедшая институционализацию наука в Византии, как и в древности, не существо-

---

\* Автор предлагаемого пропедевтического и — пожалуй, в византийской манере — экскерпирующего очерка получил множество полезных указаний и советов от византинистов Я. Н. Любарского и И. П. Медведева, которым выражает здесь сердечную признательность.

<sup>1</sup> Pinborg J. Classical Antiquity: Greece. — In: Current Trends in Linguistics / Ed. by Th. A. Sebeok. 1975, vol. 13, 1, p. 121; Bursill-Hall G. L. The Middle Ages. — Ibid., p. 182.

<sup>2</sup> Robins R. H. Ancient and Mediaeval Grammatical Theory in Europe. London, 1951, p. VI; Jakobson R. Glosses on the Medieval Insight into the Science of Language. — In: Mélanges Benveniste. Paris, 1975, 2, p. 289 sq.

вала. Ведь именно поэтому желающие получить представление о том, что ближе всего соответствует языкознанию новейшего времени, должны иметь дело с византийской филологией в целом или даже с некоторыми смежными ей областями. В результате масса источников, подлежащих исследованию под лингвистическим углом зрения, очень велика.

Означает ли это, что византийские источники вовсе недоступны историку языкознания? Тому, кто знакомится с относящимися к этой сфере работами, помещенными в ведущих византиноведческих журналах и отраженными в библиографическом отделе *Byzantinische Zeitschrift*, открывается картина весьма энергичной работы, ведущейся из десятилетия в десятилетие во многих странах.<sup>3</sup> Кроме исследований отдельных ученых можно назвать и научные учреждения, целью которых являлось или является изучение различных сторон занимающей нас области.

Еще в 1878—1910 гг. было отчасти осуществлено задуманное очень широко и готовившееся с чрезвычайной основательностью издание Корпуса греческих грамматиков (*Grammatici Graeci*).<sup>4</sup> Ожидалось 8 частей в 15 томах; изданы были 4 части в 11 томах — план издания перестраивался в процессе работы. Издатели А. Хильгард, П. Эгенольф были гейдельбергскими учениками Г. Улига давшего основательное издание «Грамматики» Дионисия Фракийского. В частях 5—8, которые не вышли в Корпусе, но готовились (осталось немало подготовительных публикаций), многое приходилось на византийские грамматические сочинения и словари: для 5-й части П. Эгенольф готовил орфоэпические и орфографические сочинения византийского времени; 6-я часть предназначалась для диалектографов и аттицистов; 7-я — для специальных лексиконов; 8-я — для сочинений по синтаксису, особенно византийского времени.

Во второй половине XIX в. процветала и основанная А. Лобеком, учеником Г. Германна, кенигсбергская школа, изучавшая античную, а следовательно, в связи с судьбами традиции, и византийскую филологию. Учеником Лобека был К. Лерс, труды которого продолжали А. Лентц и А. Людвиг, унаследовавшие вместе с интересом к античной филологии неприятие новых веяний. Этот консерватизм шел от Германна, враждебно встретившего «реальную» филологию А. Бека; Лобек считал нужным враждебно отнестись к молодой индоевропеистике. Возможно, что торжество компара-

<sup>3</sup> Использование реферативных материалов этого журнала, работу с которым М. V. Anastos справедливо охарактеризовал (*BZ*, (1953) 46, S. 370) как «liberal education in itself», было важным подспорьем настоящего очерка. Кроме византиноведческих изданий, многое дают реферативные журналы и библиографические пособия по классической филологии (в особенности *Bursian*, *Gnomon* и *Anné philologique*). Новую литературу по античным персоналиям систематически указывает *Lexikon der alten Welt* (1965), а по византийским — *Tusculum Lexikon* (1982<sup>3</sup>).

<sup>4</sup> Проект издания см. в: *Mitteilungen der Verlagsbuchhandlung B. G. Teubner*. 1888, n. 1. — Вышедшие тома переизданы теперь анастатически (*Hildesheim*, 1965).



тивизма над классиками-стародумами было одной из причин, почему к концу прошлого века голос кенигсбергской школы стал приглушеннее; впрочем, эту традицию еще в 30-е гг. нашего века развивал П. Маас. Хотя в деловом отношении взаимоисключаемости у обоих направлений не было, как это показал Г. Курциус и его школа, однако серьезные основания для спора действительно имелись с обеих сторон: несколько соображений об этом мы выскажем в заключительных частях настоящего очерка.

В последние десятилетия издание греческих грамматиков возобновлено Х. Эрбзе, издателем схолиев Гомера, инициатором важного тома, посвященного истории греческого рукописного предания (*Überlieferungsgeschichte*) в серии, носящей название *Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker*.<sup>5</sup> О специальном архиве лексикографической комиссии при Датской Академии наук будет говориться ниже в разделе, посвященном византийской лексикографии.

Даже выборочные сведения о научных учреждениях и школах, занимающихся изучением национальных греческих грамматиков («грамматик» в греческом смысле слова было почти то же, что теперь «филолог»), показывают, что жалобы на запущенность этой области занятий не следует понимать слишком буквально. Если же учтем издания *anecdota*, критические издания корпусов схолиев к античным авторам (например, голландское издание схолиев к Аристофану), где выделение византийского слоя бывает побочным результатом работы по выявлению слоя античного; монографические исследования о деятелях византийской культуры и многое другое, чем сообща, хоть и с разными целями, занимаются византинистика и классическая филология, то становится ясно, что особенность интересующей нас исследовательской ситуации состоит не в скудости научных данных, а скорее в необходимости пробиваться сквозь толщу первичной и вторичной литературы.

Трудности этой работы отпугивали тем более, что читатель «Истории византийской литературы» К. Крумбахера<sup>6</sup> и византологических журналов на каждом шагу узнавал об опасностях, связанных с некоординированными изданиями бесчисленных грамматических эксцерптов, когда одно и то же сочинение являлось под разными названиями, а под одним названием можно найти текст, находящийся на разных стадиях эксцерпирования и т. п. Ненадежность датировок и авторства вносила дополнительную путаницу в эту область. Неудивительно, что еще не так давно Э. Швицер констатировал: «Подробной истории греческой национальной грамматики и ее влияния на литературу и жизнь не существует».<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> *Geschichte der Textüberlieferung der antiken und mittelalterlichen Literatur*. Zürich, 1964, Bd 1; серия SGLG издается под редакцией К. Альперса, Х. Эрбзе и К. Клейнлогеля.

<sup>6</sup> *K r u m b a c h e r* К. *Geschichte der byzantinischen Litteratur*. München, 1897<sup>2</sup> (repr. New York, 1958).

<sup>7</sup> *S c h w y z e r* E. *Griechische Grammatik*. München, 1953, 1, 2, S. 10.

И все-таки утверждения историков языкознания о необследованности византийского грамматического материала стоит уточнить. Ведь если в последние десятилетия правильнее было бы говорить о труднообозримости источников и посвященной им литературы, то теперь, после того как появился 2-й том обобщающего труда Г. Хунгера по истории византийской литературы, научный материал приведен в систему, достойную успехов византистики в XX в.<sup>8</sup>

Значение труда Г. Хунгера для создания истории греческого языкознания в византийский период состоит не в готовых решениях: давая оценки переменам в византийских лингвистических представлениях там, где удастся обнаружить таковые, Хунгер ссылается на работы специалистов в более тесном смысле слова. Важнее то, что автор, включая в рассмотрение и неизданные материалы, первоклассным знатоком которых он является, предлагает тонко нюансированное воззрение на византийскую филологию в целом. Рецензируя «нового Крумбахера», П. Шрейнер<sup>9</sup> особо отмечает ценность раздела, посвященного истории византийской филологии, которая не получила освещения даже в трудах Р. Пфейффера по истории классической филологии от античности до новейшего времени.<sup>10</sup> Теперь и сторонние исследователи могут чувствовать себя увереннее на зыбкой византийской почве. Для нашего обзора труд Г. Хунгера часто является источником и всегда — ориентиром.

Что касается общей оценки византийских грамматиков, то в лучшие дни филологии на них было принято смотреть с точки зрения интересов филологии классической, для которой византийцы интересны лишь косвенно, ради нахождения указаний на древних. Поскольку в основе этого взгляда лежит признание большей аутентичности и значимости древних свидетельств применительно к той эпохе, которой занимаются филологи-классики, такой подход невозможно оспорить. Другое дело, что от византийцев, кроме новых цитат из древних авторов, вообще не ждали ничего поучительного. В наши дни предпочитают судить культуры менее элитарно и сурово, однако само по себе исторически сочувственное отношение к Византии мало что меняет, когда речь идет о том, проявляется ли в византийских занятиях вопросами языка человечески общезначимое творческое начало или необходимо признать, что византийская мысль не только вторична в отношении древнегреческой традиции, но и второразрядна в сравнении как с ней, так и средневековым Западом, не говоря уж о современности?

<sup>8</sup> H u n g e r H. Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. München, 1978, Bd 2: Philologie; Profandichtung; Musik etc. (=Handbuch der Altertumswissenschaft. 12 Abteilung-Byzantinisches Handbuch. Teil 5, Bd 2, S. 3—83).

<sup>9</sup> Anzeiger für die Altertumswissenschaft, (1982) Bd 35, Sp. 176—184 (Schreiner P.).

<sup>10</sup> P f e i f f e r R. 1) History of classical scholarship. Oxford, 1968; 2) History of classical Scholarship from 1300 to 1850. Oxford, 1976.

## ДИСКУССИИ О ПРИОРИТЕТЕ

Иногда строгим критикам возражают, отказываясь от единого мерила в оценке культурных достижений даже тогда, когда такое единство и возможно, и необходимо, как это имеет место в науке. Возражения такого рода, с некоторых пор бытующие во многих разделах медиевистики, интересны скорее как симптом изменений, происходящих в современной культуре. По счастью, однако, наряду с ростом уравнивательных тенденций неоднократно вспыхивали полноценные дискуссии относительно возможного приоритета византийцев в изобретении новых знаний или интеллектуальных приемов, оказавшихся существенными для культурного человечества. Приведем несколько эпизодов такого рода, связанных с вопросами языка.

Аристотель стоял у колыбели западной схоластики. Не могли ли помимо арабов сами византийцы, которым он был гораздо доступнее, способствовать углублению его влияния на культуру Запада? В середине прошлого столетия историк логики К. Прантль возродил мнение,<sup>11</sup> что чрезвычайно важный для распространения логических, а также и грамматических знаний трактат *Summulae logicales*, приписываемый Петру Испанскому (папе Иоанну XXI, умершему в 1277 г.)<sup>12</sup> и переиздававшийся бесчисленное число раз в XIII—XVII вв. (более 300 рукописей и около 200 изданий), на деле представляет собой перевод так называемой *Σβουφίς*, автором которой — на основании *cod. Monac. gr. 548* и под влиянием издания XVI в. — считался Михаил Пселл (XI в.).

Допущение Прантля о византийском приоритете вызвало дискуссию, в которой приняли участие и русские византилисты. Если Ф. И. Успенский, с осторожностью принимая версию Прантля, взвешивал следствия положительного для византийцев решения вопроса,<sup>13</sup> то П. В. Безобразов, отрицательно относившийся к Пселлу,<sup>14</sup> держал сторону скептиков — Ш. Тюро и В. Розе, известных знатоков аристотелизма. Крумбахер сперва считал, что оригинал — греческий, хоть и не принадлежит Пселлу. Наконец, превосходная статья Р. Штаппера<sup>15</sup> убедила многих

<sup>11</sup> Prantl K. von. 1) *Geschichte der Logik im Abendlande*, 1861 (1885<sup>2</sup>), Bd 2; 2) *Michael Psellus und Petrus Hispanus. Eine Rechtfertigung*. Leipzig, 1867.

<sup>12</sup> За последние сорок лет трактат был издан трижды — теперь, разумеется, с науковедческой целью. Последнее издание: Rijk L. M. De. Peter of Spain (Petrus Hispanus Portugalensis): *Tractatus called afterwards Summulae Logicales / First critical edition from the Manuscripts*. Assen, 1972 (= *Philosophical Texts and Studies*, vol. 22). Об издании судим по рецензиям Н. Крепмана и его сотрудников (см.: *The Philosophical Review*, 1975, vol. 84, p. 560—567; *Journal of the History of Philosophy*, 1978, vol. 16, p. 325—333).

<sup>13</sup> Успенский Ф. И. *Очерки по истории византийской образованности*. СПб., 1892.

<sup>14</sup> См. его рецензию на книгу Ф. И. Успенского: ВВ, (1896) 3, особенно с. 141—148.

<sup>15</sup> Staapper R. *Summulae logicales des Petrus Hispanus und ihr Verhältnis zu Michael Psellus*. — In: *Festschrift zum elfhundertjährigen Jubiläum des Deutschen Campo Santo in Rom*. Freiburg im Br., 1897, S. 130—138.

в приоритете латинского текста, а капитальные исследования М. Грабмана сделали это несомненным. Впрочем, «византийский тезис» оказался цепким и Ф. Дельгеру пришлось напоминать, что вопрос решен бесповоротно: неполный перевод сочинения Петра Испанского на греческий язык был выполнен или заказан Геннадием (Георгием) Схоларием; что касается самого Петра Испанского, то и его вклад в *logica moderna* проблематичен, так как у него были серьезные предшественники.<sup>16</sup> Разумеется, при таком решении вопроса перед нами важное свидетельство об усилившемся интеллектуальном интересе Византии к Западу. Переводы латинских сочинений, между прочим и таких, которые касались логики и грамматики, становились все чаще в XIII—XIV вв. И хотя в споре о Пселле и Петре Испанском важен был приоритет, отзывчивость к культурным достижениям соседей, выпавшая в этом случае на долю византийцев, ничуть их не роняет.

Нечто сходное можно обнаружить и в имеющей для нас непосредственный интерес дискуссии последних десятилетий относительно будто бы оригинально византийской локалистической теории падежей. Вопрос был поднят после того, как Ельмслев обнаружил у Плануда толкование родительного, дательного и винительного падежей, когда они мыслятся отвечающими поочередно на вопросы *πόθεν*, *πὸς*, *πῆ* (откуда? где? куда?).<sup>17</sup>

Максим Плануд (1255—нач. XIV в.) — выдающийся деятель, явивший собой лучшие стороны византийской филологии. Выражение «христианский гуманизм» мало к кому в Византии применимо с большим правом. Его обширной издательской деятельности, известной всякому, кто знакомится с эзоповской традицией или с эпиграммами Греческой антологии, дал характеристику Г. Хунгер, так же как его энциклопедическим интересам.<sup>18</sup> Свообразно на фоне предшествующей греко-византийской традиции было и отношение Плануда к римской литературе. Он охотно переводил с латинского: Цицеронов «Сон Сципиона», Августина, Боэция и др.<sup>19</sup>

Казалось бы, что невозможного в том, чтобы объяснение падежной системы, которое Л. Ельмслев признал актуальным, принадлежало выдающемуся византийскому филологу? Тем не менее стереотипное убеждение в неоригинальности византийцев подтверждается и на этот раз. Ф. Мурру, написавший ряд статей, посвященных деятельности Плануда и, в частности, занимающему нас вопросу,<sup>20</sup> показал, что главное в этом пункте заимствовано Пла-

<sup>16</sup> BZ, (1959) 52, S. 412.

<sup>17</sup> R o b i n s R. H. The Case Theory of Maximus Planudes. — In: Proceedings of 11th International Congress of linguists in Bologna, 1972. 1974, vol. 1, p. 107—111.

<sup>18</sup> H u n g e r H. Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner, Bd 2, S. 68—70.

<sup>19</sup> Издание переводов Плануда предпринимается в Италии учениками А. Гарсиа (Неаполь).

<sup>20</sup> Назовем здесь две его работы: M u r r u F. 1) Sull'origine della teoria localistica di Massimo Planude. — In: Antiquité classique, t. 48, p. 82—97;

нудом у Присциана. Последний хоть и учительствовал в Константинополе приблизительно в VI в., однако был автором латинской грамматики, которая определила западную традицию, а влияние, как видим, имела и шире. При этом сам Присциан опирался, конечно, на труды Аполлония Дискола, но то была не ромейская, а старая греческая культура. Если учтем, что это соотношение источников видел уже Ш. Тюро и что к такому же решению независимо от Ф. Мурру пришла А.-М. Шанэ, которая готовит труд о системе греческих наклонений и времен по Плануду, то вопрос придется считать решенным.

Случаи такого рода не означают еще, что не было других, когда греческий гений оказывался верен себе. Так было, по всей видимости, в комплексе историко-лингвистических проблем, связанных с так называемым «эразмовским произношением». О том, что у Эразма, соответствующий труд которого был опубликован в 1528 г., были предшественники, говорили уже давно.<sup>21</sup> Предтечи ученой реконструкции древнегреческого произношения Иероним Алеандр, Альд Мануций и Антонио Лебрикса учились у греческих ученых, выехавших в Италию. Лебрикса был учеником Димитрия Халкондила и Константина Ласкариса; в Венеции у Альда, учившегося в свое время у Константина Ласкариса, жил признанный мастер филологической критики и учитель Эразма Марк Музур, ученик старшего Ласкариса — Яна. Известно далее, что Ян Ласкарис (род. в 1445 г.) в письме к своему покровителю Пьеро де Медичи, написанном еще в 1494 г., опираясь на комментарий к Дионисию Фракийскому, учил, что древние произносили η как [ε]. Из откликов современников создается впечатление, что Ян Ласкарис действительно разъяснял своим ученикам, каково было в древности произношение и других древнегреческих гласных и дифтонгов.<sup>22</sup>

В своем монументальном труде об истории произношения греческого языка в новое время Э. Дреруп со всей осторожностью приходит к выводу,<sup>23</sup> что если греческие учителя гуманистов и не стремились к реформе произношения, которая не без труда далась и менее пристрастному в этом деле Западу, то похоже, что они сами пробились к принципиально историческому взгляду на этот вопрос. Влияние Яна Ласкариса на ранний этап в развитии этой идеи представляется правдоподобным. Такой итог достаточен для нашего рассмотрения: интеллектуально острый эпизод в истории

---

2) *Minima planudea: un bizantino tra paradigma e rivoluzione.* — In: *Histographia Linguistica*, (1981) 8, p. 1—21.

<sup>21</sup> В у w a t e r I. *The Erasmus Pronunciation of Greek and its Precursors.* London; Oxford, 1908.

<sup>22</sup> H a v e r c a m p u s S. *Sylloge scriptorum, qui de linguae Graecae vera et recta Pronunciatione Commentarios reliquerunt.* Lugd. Batav., 1736, 2, p. 482 sq, 628 sq, VI.

<sup>23</sup> D r e r u p E. *Die Schulaussprache des Griechischen von der Renaissance bis zur Gegenwart.* Paderborn, 1930 (= *Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums*, 6—7 *Ergänzungsbände*).

гуманистического языкознания свидетельствует о том, что считать византийских и метавизантийских греков обреченными на отсутствие оригинальности и инициативы несправедливо.

С некоторыми другими новшествами, имевшими место в языковедческой практике византийской эпохи, мы встретимся в дальнейшем изложении.

Таким образом, вопрос о новаторском достоинстве тех или иных положений собственно византийской работы над вопросами языка решается по-разному в различных случаях. В качестве рабочего правила разумно принять, что бремя доказательства ложится на тех, кто говорит о проявлениях византийской инициативы. Нельзя при этом исключать того, что, хотя бы и вопреки установке византийской культуры на предание, а не новизну, в некоторых своих проявлениях византийская филология оказывалась новаторской.

Другое дело, что творческая новизна, являясь знаменем культур известного типа, не является ни единственной, ни безусловной ценностью даже в них. Располагать старыми ценностями и распоряжаться ими искусно — не менее важно для благополучия традиции. Это обстоятельство окажется существенным для общей оценки византийских знаний и умений в занимающей нас области. Забегая вперед скажем, что именно это, а не отказ от единого масштаба оценок, дает возможность адекватно оценить вклад и значение Византии и объясняет ее престиж у современных ей народов.

Кроме того, помимо творческих результатов даже и «только исторический интерес» в принципе достаточен для исторического рассмотрения. В самом деле, каковы бы ни были собственные интеллектуальные достижения византийского языковедения, значение этой традиции как моста, соединившего мир эллинизма с христианско-гуманистической Европой и Новым временем, очень велико. А потому описание обстоятельств, связанных с словесной теорией византийцев, в любом случае существенно для понимания преемственности в сфере знаний о языке.

## ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В ВИЗАНТИИ

Языковая ситуация в стране воздействует на национальную филологию, отчасти определяя существенную в истории науки «организацию занятий», их роль в общей динамике культуры.<sup>24</sup> В Византии складывалась не только диглоссия — возможно, правы те исследователи, которые нащупывают в греческом языке византийского тысячелетия три языковых разновидности.<sup>25</sup> Кроме все более застывавшего и вопреки своему назначению и наименованию все более неповоротливого (1) аттицистического литературного языка и, с другой стороны, (2) непринужденно развиваю-

<sup>24</sup> R o b i n s R. H. Ancient and Mediaeval Grammatical Theory in Europe, p. 4.

<sup>25</sup> Dölger F., Schneider A. M. Byzanz. Bern, 1952, S. 234—236 (Dölger).

щейся народной речи, которая продолжала общеэллинистический народный язык императорской эпохи, бытовал еще и (3) промежуточный вариант литературно-разговорной койнэ, восходящей к традиции специализированной эллинистической речи, образчиком которой может служить язык популярно-философской проповеди, — у Эпиктета, например, во многом близкого к языку посланий Нового завета. Ситуация осложнялась еще более под влиянием христианской языковой стихии,<sup>26</sup> так как независимо от христианских убеждений изощренные стилисты болезненно ощущали ее неэллиническую родословную. «Литературный террор» пуризма не остановился даже перед святыней. Знаток христианского греческого языка Г. Бартелинк высказал мысль, что не только такие люди, как Юлиан Отступник, но и церковные писатели иногда прибегали к описательной передаче традиционных христианских выражений исключительно из соображений пуризма:<sup>27</sup> примирение христианского языка с атицизмом составляло особую заботу позднеантичных и византийских литераторов.

Любопытны выражения, в которые нормализатор облакал свое осуждение расхожим словам и словосочетаниям: ἀδόκιμον (иногда даже ἐσχάτως); κάκιστον, ὁ χρῆ, ἔκφυλον, ἄθες, μηδέποτε εἶπης, φυλάττου, δυσχεραίνω и др.<sup>28</sup>

В этой ситуации получалось, что писание на чистом литературном языке превратилось в трудное упражнение под надзором строгих блюстителей старинных норм. И хотя были люди, овладевавшие рекомендуемым способом выражения в совершенстве (так, патриарх Фотий стал мастером чистой и богатой речи), для многих писателей это было непосильно, так что писания их носят печать вымученности. Результатом известного рода диглоссии, на одном полюсе которой можно поставить естественные, а на другом — искусственные речевые формы, было напряжение, которому трудно дать единую оценку. С одной стороны, оно вело к окостенению, вычурности, нарочитой вторичности по отношению к литературе прошлого.<sup>29</sup> С другой стороны, именно это напряженное усердие способствовало сохранению той степени преемственности в отношении древнегреческой традиции, которая обеспечила частичное сохранение последней. Иначе говоря, обязательства, добровольно принятые на себя византийцами, оказались для других более выгодны, чем для них самих.

<sup>26</sup> В е с к Н.-G. Das byzantinische Jahrtausend. München, 1978.

<sup>27</sup> Bartelink G. J. M. L'empereur Julien et le vocabulaire chrétien. — In: Vigiliae Christianae, (1957) 11, p. 37 sqq.

<sup>28</sup> Ср. по тону лемму из «Азбукovníка» (ркп. ГИБ О.ХVI.1, л. 45 об., процитированная в кн.: К о в т у н Л. С. Древние словари как источник русской исторической лексикологии. Л., 1977, с. 88): «еле, едва, а невѣжски речи толко, чуть».

<sup>29</sup> А. Тойнби в посмертно вышедшей книге обращает внимание на то, что греки лучшего времени ничуть не благоговели перед микенским прошлым (см.: Т о у н б е е А. The Greeks and their Heritages. Oxford, 1981; рец.: Snipes K. CLR, (1983) 33, p. 156 f.).

Характеристика внутренней языковой ситуации Византии останется неполной, если не учесть роли латинского языка в многонациональной Восточной Римской империи.<sup>30</sup> Формула, определяющая Византию как соединение римской государственности, греческого языка и христианской веры, упрощает, естественно, эту сторону дела. До разделения империи латинский язык был важным языковым фактором на Востоке: судопроизводство, армия, дипломатия пользовались языком римлян. Впрочем, и тогда, когда греческий был объявлен официальным языком Нового Рима, а Ираклий, правивший в 610—641 гг., стал именоваться не императором, а василевсом, влияние латинского языка и следы, им оставленные, были очень ощутимы. Живой язык ромеев, как мы находим его, например, в житийной литературе, полон латинских лексических заимствований, с которыми впоследствии боролся Симеон Метафраст.

На каждой странице словарей позднегреческого литературного византийского языка находим слова такого рода: βιάτωρ, βίγλα, βιχάριος, βιχεννάλα, βίχτωρ, βίνδιξ, даже βίγκας (οβίγκας) в обращении к полководцу и т. п.<sup>31</sup> Макаронические сочетания вроде κατ' ὄρδινα или, напротив, использование латинских морфологических элементов<sup>32</sup> (ἀτρίκλιτος в духе πρωτοασηκρήτης) показывает, что с обиходным греческим языком происходило нечто похожее на то, что много раньше давал симбиоз греческого и латинского языков с влиянием в обратном направлении.

Отсюда становится ясным, между прочим, и то, что только ретроспективная мечтательность может видеть в языке византийских греков, который так благотворно и сильно влиял на рост и едва ли не самое рождение литературного языка славян, еще и гарантию эллинской чистоты и залог единства с великими днями эллинизма, в чем будто бы отказано латинскому миру. Противопоставлять пронизанной самым утонченным эллинизмом классической латыни разговорный язык эллинизированных провинций или ощутимо подпорченный деловой и разговорной латынью греческий язык византийской эпохи не выгодно для тех, кто ищет такого рода выгод.

Со временем византийцам захотелось отстраниться от латинской речи. Латинские вкрапления, особенно в административной и деловой лексике, остаются навсегда, однако подчеркнутая преданность греческой идиоме начинает восприниматься после Ма-

---

<sup>30</sup> K a h a n e, H e n r y u n d R e n é e. Abendland und Byzanz. Sprache. Amsterdam, 1970—1976 (=Reallexikon der Byzantinistik, Bd 1, H. 4—6, Sp. 345—640).

<sup>31</sup> A P a t r i s t i c G r e e k L e x i c o n / E d. G. W. H. Lampe. Oxford, 1978, p. 296—297.

<sup>32</sup> S c h w y z e r E. Griechische Grammatik, Bd 1, S. 124; несколько интересных своей сложностью случаев рассмотрено в работе: F e i s s e l D. Trois aspects de l'influence du Latin sur le grec tardif. — In: Hommage Lemerle. Paris, 1981, p. 135—150; G i g a n t e M. Scritti sulla civiltà letteraria bizantina. Napoli, 1981, p. 65—104 (Il Latino a Bizantio).



лого и Великого церковных расколов как верный признак православия. Латинский язык преподается лишь будущим юристам. Следы занятий латинскими ораторами и поэтами с опорой на греческие подстрочники, сохранившиеся на двуязычных папирусах, отходят в прошлое. И хотя двуязычные выходцы из Южной Италии иногда выручали, необходимость переводов с латинского становилась со временем все более насущной.<sup>33</sup>

## СОПРИКОСНОВЕНИЕ С ЯЗЫКАМИ ОКРУЖАЮЩИХ НАРОДОВ

Вступая в общение с окружающими народами, византийцам приходилось иметь дело с различными языками. Кроме ряда индоевропейских: германских, славянских, иранских, армянского и др., ромеи знакомились и с семитическими: книжно — с древнееврейским, а в живом общении — с сирийским, затем с арабским; пришлось им столкнуться и с тюркскими языками. Хотя побуждения изучать и описывать «варварские» языки соседей сколько-нибудь обстоятельно не явилось и у византийцев, однако в их литературе сохранилось некоторое количество иноязычных вкраплений.<sup>34</sup>

Эти скудные языковые свидетельства приобретают иной раз большую историческую ценность. Так, параллельный перечень «росских» и славянских названий днепровских порогов<sup>35</sup> у Константина Багрянородного сыграл, как известно, важную роль в спорах по варяжскому вопросу. Несколько аланских выражений, приведенных у Цеца, дали возможность увидеть в аланском древнее состояние осетинского языка.<sup>36</sup> Остаткам тюркских наречий посвящено *opus magnum* Д. Моравчика, который собрал более двух с половиной тысяч свидетельств, главным образом в византийской топонимике и ономастике.<sup>37</sup> В эпилоге к своей «Теогонии» Иоанн Цец щеголяет формулами приветствия на многих языках. Есть там и такое приветствие: *οδρᾶ πρᾶτε, οσετριτῆα, δόβρα*

<sup>33</sup> Scheltema H. J. L'enseignement de droit des antécédents. Leiden, 1970, p. 13; Wolska-Conus W. Les écoles de Psellos et de Xiphilin sous Constantin IX Monomaque. — In: Travaux et Mémoires, 1976, t. 6, p. 223—243.

<sup>34</sup> Моравчик G. Barbarische Sprachreste in der Theogonie des Johannes Tzetzes. — In: Byzantinisch-neugriechische Jahrbücher, (1930), Bd 7, S. 352—365.

<sup>35</sup> Falk K. O. Dneprforsarnas namn i Keisar Konstantin VII Porfyrogenetos: De administrando imperio. Lund, 1951.

<sup>36</sup> После В. Миллера, Ю. Кулаковского и Д. Моравчика этим независимо друг от друга занимались Б. Мункачи и В. И. Абаев. См.: Gerhardt D. Alanen und Osseten: Bericht über neuere Arbeiten. — In: ZDMG, 1939, Bd 93, S. 33—51. — Характерно признание Д. Герхардта, что аланские слова, воспроизведенные в двух строчках Иоанна Цеца, надежнее всех косвенных свидетельств. Впоследствии Г. Хунгер издал важный материал полнее: BZ, (1953) 46, S. 302—307.

<sup>37</sup> Моравчик G. Byzantinoturcica. Berlin, 1958, 2 (Sprachreste der Turkvölker in den byzantinischen Quellen. — 3-е изд. : 1983).

δένη. Естественно, но и примечательно, что примерно два столетия спустя после Константина Багрянородного Цец называет «росской» славянскую речь. Можно понять Г. А. Ильинского, который еще в 1927 г. призывал к тому, чтобы все *residua* славянских наречий в византийских источниках были собраны воедино.

Для общения с окружающими народами часто использовались люди, побывавшие у них в плену.<sup>38</sup> В странах, давно проникших эллинской цивилизацией, можно было использовать местных греческих уроженцев или колонистов; посредниками между арабами и греками часто бывали христиане, жившие в мусульманских странах.<sup>39</sup>

Познания в иностранных языках и отрывочные наблюдения над ними, в частности соображения о их родстве, были нередки. Еще античный грамматик (I в. до н. э.), стремясь доказать близость латинского и греческого языков, использовал соображение об отсутствии как в латинском языке, так и в эолийском диалекте греческого форм двойственного числа. Присциан знал, что «пунический», еврейский и сирийский языки родственны один с другим.<sup>40</sup> Продолжая наблюдения этого рода, Лаоник Халкондил выделяет семейство славянских языков, осознает родство румынского с итальянским.<sup>41</sup> Он же связывал турок со скифами, а аланам приписывал иной язык.<sup>42</sup> Впрочем, было бы неосторожно говорить о собственно языковом интересе там, где интерес был главным образом политико-этнографический.<sup>43</sup>

Другая сторона общения с окружающими народами состояла в формирующем влиянии на их словесную культуру. Более всего это относится к восточно-христианскому культурному кругу. Раньше многих основы грамматики и риторики получили из рук византийцев армяне.<sup>44</sup> Несколько позже византийское соседство способствовало росту грузинской письменности.<sup>45</sup> В VII—VIII вв. имело место сильное воздействие византийцев на коптскую сло-

<sup>38</sup> См. работу, посвященную знанию языков в Византии: R u n c i m a n S. *Byzantine Linguists* (Προσφορά εις Στ. Κοριακίδη. Θεσσαλονίκη, 1953, с. 596—602).

<sup>39</sup> RAC, (1958) 4, 24 ff. s. v. Dolmetscher (Hermann A.).

<sup>40</sup> W e r n e r J. Nichtgriechische Sprachen im Bewusstsein der antiken Griechen. — In: Festschrift für Robert Muth. Innsbruck, 1983, S. 585—595.

<sup>41</sup> B o r s t A. Der Turmbau von Babel. Geschichte der Meinungen über Ursprung und Vielfalt der Sprachen und Völker. Stuttgart, 1957—1963, Bd 1—4. — Указания на соответствующие места из «Истории» Лаоника см.: Bd 1, S. 313.

<sup>42</sup> Ibid. — По этому кругу вопросов см. также труд: D i e t e r i c h K. Byzantinische Quellen zur Länder- und Völkerkunde (5.—15. Jh.). Leipzig, 1912, Bd 1—2.

<sup>43</sup> W h i t b y L. M. Theophylact's Knowledge of Languages. — In: Byzantion, (1982) 52, p. 425—428.

<sup>44</sup> Д ж а у к я н Г. Б. Языкознание в Армении в V—XVIII вв. — В кн.: История лингвистических учений: Средневековый восток. Л., 1981, с. 7—53.

<sup>45</sup> Ц а г а р е л и А. О грамматической литературе грузинского языка. СПб., 1873; Ср.: С а р д ж в е л а д з е З. А. У истоков грузинской лингвистической мысли. — ВЯ, 1983, № 1, с. 113—121.

вестность, что отразилось и в коптско-греческих словарных материалах.<sup>46</sup> Еще ранее, в IV в., Вульфилла, трудившийся над готской письменностью, был многообразно связан с Византией. И если на формирование в X в. грамматики еврейского языка повлияла главным образом арабская грамматическая мысль,<sup>47</sup> то это не означает, что греческая грамматическая традиция не имела в данном случае никакого влияния. Дело не только в том, что сирийцы, заложившие основы семитской грамматики в VI—VII в., существенно опирались на греков.<sup>48</sup> Убедительные сопоставления текстов показывают прямое греческое влияние на арабскую грамматику — другое дело, что за импульсом, полученным извне, у арабов последовало своеобразное развитие.<sup>49</sup> Неудивительно поэтому, что единственной, вполне независимой от греков крупной языковедческой традицией признают индийскую.

О славянских первоучителях Константине (Кирилле) и Мефодии существует обширная литература. Для нас важнее всего то, что, преодолев «триязычную ересь» пилатизма, или трилингвизма, они смогли ввести славянское наречие в качестве *lingua quarta* — это был четвертый язык, допущенный при отправлении литургии.<sup>50</sup> Возводимая к Кириллу глаголическая азбука часто расценивается как достижение не только культурное, но и лингвистическое, так как создателю славянского алфавита удалось выделить и учесть фонетические особенности славянской речи. Роль Кирилла и Мефодия как создателей авторитетных текстов изучается все настойчивее. И как бы ни решался в будущем вопрос о роли западной церкви в миссии славянских первоучителей и ее перипетиях,<sup>51</sup> не подлежит сомнению, что в деле солунских братьев проявились и культурная воля, и словесная искушенность восточно-христианской державы.

Одним из учителей Константина Философа был, как будто бы, Лев Математик; деятельность Константина была тесно связана

<sup>46</sup> P a s k R. A. The Greek and Latin Literary Texts from Greco-Roman Egypt. Ann Arbor, 1952, N 2351—2357.

<sup>47</sup> B a c h e r W. Die Anfänge der hebräischen Grammatik und der hebräischen Sprachwissenschaft vom 10. bis zum 16 Jh. Amsterdam, 1974 (= Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science, ser. 3, vol. 4). Исследования В. Бахера в свое время получили уточнение в кн.: К о к о в ц о в П. К. Материалы и исследования по истории средневековой еврейской филологии и еврейско-арабской литературы. Пр., 1916, т. II.

<sup>48</sup> M e r x A. Historia artis grammaticae apud Syros. — In: Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. 1889, Bd 9, 2, S. 9—88.

<sup>49</sup> R u n d g r e n F. Über den griechischen Einfluss auf die arabische Nationalgrammatik. Uppsala, 1976 (Acta Universitatis Upsaliensis, n. s., vol. 2, 5, S. 119—144); ср. статью В. Г. Ахведиани в «Истории лингвистических учений: Средневековый Восток» (Л., 1981, с. 61—63).

<sup>50</sup> M i c h e l A. Sprache und Schisma. — In: Festschrift M. Faulhaber. München, 1949, S. 37—69; Revue d'Université de Bruxelles, 1977, p. 43 (Matsai F.).

<sup>51</sup> И л ь и н с к и й Г. А. Опыт систематической Кирилло-Мефодьевской библиографии. София, 1934 (№ 1—3385); новый обзор И. Е. Можжаевой, в котором указаны и предыдущие, см. в «Советском славяноведении» (1980, № 3, с. 71—85).

с Фотием, образованность которого могла бы послужить украшением любой культуры. Кроме греческого, славянского и латинского языков, у Константина предполагают — и если оспаривают, то лишь частично — знание древнееврейского,<sup>52</sup> других семитских, хазарского и вотского. Вслед за грамотой Византия передала славянству основные понятия теории языка и словесности (Хировоск, Псевдо-Дамаскин и др.) вместе с литературными образцами различных жанров. Труды православных книжников на Афоне обогащали славянскую письменность,<sup>53</sup> а конец Рима Второго привел в Московскую Русь ученых греков, поработавших на благо крепнувшего государства: для примера можно назвать памятные имена Максима Грека, Арсения Элассонского, Арсения Грека, братьев Лихудов.<sup>54</sup>

## ХРИСТИАНСТВО, ФИЛОСОФИЯ И ЯЗЫК

Поразительно энергичная деятельность византийцев по созданию письменности и грамматико-риторической катехизации окружающих народов была прежде всего частью христианской миссии. Заимствующим народам, впрочем, мало передавалось то, что в самой Византии может удивлять, — чрезвычайно близкое соседство христианского и эллинского.<sup>55</sup> Вечную борьбу за сохранение античного наследия в христианской культуре начали когда-то Климент Александрийский и Ориген. В III—IV вв. христианству, чтобы успешно соперничать с языческой цивилизацией, пришлось усвоить многие приемы, выработанные классической древностью. Уже тогда создавалась христианская филология, достигшая внушительных результатов, например в «Гекзаплах» Оригена или в процедурах атрибуции текстов у Евсевия в «Церковной истории».

Разумеется, история христианского гуманизма знала множество перипетий.<sup>56</sup> В пору македонского Возрождения или во времена Палеологов было немало выдающихся деятелей, в которых обе культурные струи как будто бы мирно уживались. Не следует забывать, однако, что случались моменты, когда возникала открытая борьба между чересчур горячими сторонниками только одной из сторон намечавшегося культурного двуединства: взять

---

<sup>52</sup> Minns Ellis H. St.-Cyril really knew Hebrew. — In: *Mélanges publiés en l'honneur de M. Paul Boyer*. Paris, 1925, p. 94—97.

<sup>53</sup> Порфирий (Успенский). *Восток Христианский: История Афона*. Ч. 3. Афон монашеский. СПб., 1892.

<sup>54</sup> Фонкич Б. Л. *Греческо-русские культурные связи в XV—XVII вв.* М., 1977.

<sup>55</sup> *Византийская литература* / Сб. под редакцией С. С. Аверинцева. М., 1974, с. 7—10 (От редакции).

<sup>56</sup> Hussey J. *Church and Learning in the Byzantine Empire*. New York, 1963; Bréhier L. *L'enseignement classique et l'enseignement religieux à Byzance*. — In: *Revue d'histoire et de philosophie religieuse*, (1944) 21, p. 34—69.

Юлиана Отступника или сожжение в 391 г. Серапейона ожесточенной толпой александрийских христиан, не без основания, пожалуй, ощутивших, что культура — эллинка по природе. Когда античная система образования была, наконец, сильно потеснена — наступил VII век.

Фактором, имеющим отчасти парадоксальный характер и вместе всемирно историческое значение, было принятие на себя черковью, в особенности монастырями, задачи сохранять эллинскую книжность, что означало непрестанную деятельность по сохранению, а следовательно, и переписыванию рукописных книг. Если на Западе это решение связано прежде всего с именами Бенедикта и Кассиодора, то на Востоке сходное значение имел Устав Василия Великого, а затем устав Студийского монастыря, в котором особо оговаривались наказания нерадивым переписчикам книг (PG 99, col. 1739—1740). Душеполезный смысл заботы о книгах получил принципиальную важность в последующей судьбе древних авторов, а значит, и новых народов. И если задача сохранения традиции, остро сознававшаяся византийцами и занимавшая их силы, скромна в сравнении с ее созданием, то количество и качество труда, необходимого для осуществления этой задачи, нельзя недооценивать. Явление это можно было бы назвать византийским чудом, если бы причины и обстоятельства его не были достаточно ясны.<sup>57</sup> Уровень осведомленности и усердия греческих переписчиков, благодаря которым был осуществлен в IX—X вв. переход (так называемый *μεταχαρακτηρισμός*) всей письменности от унциального письма к более практичному минускульному, можно оценить, сопоставляя переписанные ими разнообразные тексты отдаленнейших эпох с состоянием более молодых и менее разнообразных по содержанию и стилю литератур. Большая смысловая прозрачность греческих текстов имеет много причин: ясность изложения у древних, международный размах изучения и обработки античных текстов на протяжении столетий; не лишена значения, наверное, и более высокая степень образованности у поздних греческих переписчиков.

Высоко оценивая антиковедческие приложения труда византийских книжников, не следует упускать из виду значительный по объему, а также по внутренней энергии пласт филологии, связанный непосредственно с христианской литературой. С точки зрения языковедческой здесь сложился аналог схолиев к античным авторам — экзегетические катены и глоссарии, в которых толковались и библейские гебраизмы. *Onomastica sacra* включали

---

<sup>57</sup> Если бы не это положение вещей, тезис последователей шлиссельбуржца Н. А. Морозова, отрицающих возможность сохранения классической литературы в византийскую эпоху (сам Н. А. Морозов, впрочем, считал, что как раз византийцы рядом со своей словесностью походя создали словесность античную), был бы на один порядок менее несостоятелен; см., напр.: *Постников М. М., Фоменко А. Т.* Новые методики статистического анализа нарративно-цифрового материала древней истории. — В кн.: *Σημειωτική. Труды по знаковым системам.* Тарту, 1982, вып. 15, с. 24—43.

разъяснение заимствований, важных для понимания библейского текста и церковного обихода, главным образом древнееврейскую антропо- и топонимику.<sup>58</sup> Привнесению традиционных форм в христианскую литературу обязаны своим существованием как «апокрии»,<sup>59</sup> за которыми с легкостью угадывается наследие аристотелевской научной методологии, так и вопросы-ответы (ἐρωταποκρίσεις), которые М. Грабманн<sup>60</sup> сопоставлял с *quaestiones quodlibetales* западных схоластов.

Имели место и обратные процессы, когда старые языковые проблемы получали христианское освещение. Повествование о первоначальном языке, утраченном из-за попытки столпотворения в Вавилоне, вместе с теорией существования в мире 72 языков,<sup>61</sup> и о благодатном даре языков, полученном апостолами в знак упразднения последствий ветхозаветного языкового смещения, — все это развито было патристикой, но обсуждалось и обрабатывалось снова и снова, например у Григория Паламы (PG 151, col. 313). Отметим, что «дар св. Духа», зримо явившийся в виде языков пламени,<sup>62</sup> рекомендуют теперь сопоставлять, но не смешивать с так называемой глоссолалией — экстатическим произнесением звуков, нуждающихся в истолковании.<sup>63</sup> Вопрос о языке бога, ангелов (их 70 000 и каждый знает по 1000 языков), дьявола<sup>64</sup> связывался то с названным выше вопросом о языке-первенце, то с идеями о неязыковых формах мысли и ее передачи.<sup>65</sup> Вопрос о языке демонов привлекал, в частности, внимание Пселла.<sup>66</sup> Некоторым аналогом этих идей в древности мог бы служить так называемый язык богов,<sup>67</sup> впрочем, для создателя «Илиады» это была скорее литературная затея.

<sup>58</sup> *Onomastica sacra* / Ed. P. Lagarde. Gottingae, 1887<sup>2</sup>; образчики благочестивого этимологизирования см.: Bardenhewer O. *Der Name Maria: Geschichte der Deutung desselben*. Freiburg im Br., 1895.

<sup>59</sup> Heinrich C. F. G. *Griechisch-Byzantinische Gesprächsbücher und Verwandtes aus Sammelhandschriften* (=Abh. der philolog. — hist. Klasse der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, № 8). Leipzig, 1911.

<sup>60</sup> Grabmann M. *Geschichte der scholastischen Methode*. Berlin, 1911, S. 102—105; Dörrie H., Dörries H. *Erotapokriseis*. — In: RAC, (1966) 6, S. 342—370.

<sup>61</sup> Borst A. *Der Turmbau von Babel*, Bd 1, 2, S. 931 ff. — Приведенные здесь (Bd 1, 2, S. 931 ff.) списки 72 языков восходят к Ипполиту Римскому (сер. III в. н. э.) и бытовали в Византии и в Европе до XVII в.

<sup>62</sup> Лежащее здесь в основе сравнение формы пламени с языком неизвестно греческой словесности и восходит, по-видимому, к Книге Исая 5 : 24 (др.-евр. lašôn).

<sup>63</sup> *Reallexikon für Theologie und Kirche*, Bd 9, S. 739—740 (Meinerts).

<sup>64</sup> Успенский Б. А. Вопрос о сирийском языке в славянской письменности: почему дьявол может говорить по-сирийски? — В кн.: *Вторичные моделирующие системы*. Тарту, 1979, с. 79—82.

<sup>65</sup> Эдельштейн Ю. М. Раннесредневековые учения о происхождении языка. — В кн.: *Языковая практика и теория языка*. М., 1978, вып. 2, с. 167—197.

<sup>66</sup> Dakouros D. *Die antiken Religionen bei Michael Psellos*. Griechische Religion. Inaugural. Diss. Köln, 1975.

<sup>67</sup> Güntert K. *Die Sprache der Götter und der Geister*. Halle, 1921.

Вдохновенное представлениями о Боге-Слове, но считавшееся и с языческими авторитетами,<sup>68</sup> особенно с Проклом (410—484), который предложил собственную семасиологическую систему,<sup>69</sup> христианское философствование «Ареопагитик» Псевдо-Дионисия (или, осторожнее, Псевдо-Ареопагита) стало влиятельным как на Востоке, так и на Западе. Известно, что рукопись «Ареопагитик» императором Михаилом II была подарена в 827 г. Людовику Благочестивому и в скором времени переведена на латинский Иоанном Эриугеной. Вокруг философской и богословской характеристики ареопагитского корпуса<sup>70</sup> ведется долгая полемика: есть исследователи, которые обнаруживают здесь дух просвещения и чуть ли не атеизм.<sup>71</sup> Чтобы истолковать эту неожиданность, полезно помнить мысль, высказанную авторитетным знатоком таких вопросов: «Мыслители, которые до последних логических выводов применяли к христианскому учению воззрение греческой философии, действительно всегда осуждались на соборах как еретики — и недаром».<sup>72</sup>

Глава «О божественных именах», входящая в ареопагитские сочинения,<sup>73</sup> была в VI в. снабжена толкованиями Максима Исповедника, одного из творцов византийской мистики.<sup>74</sup> Выполненный в XIV в. сербский перевод текста вместе с толкованиями был введен в русский обиход митрополитом Киприаном. Иван Грозный, а потом Аввакум ссылались, как известно, на места из «Ареопагитик».<sup>75</sup>

Трактат «О божественных именах», посвященный прежде всего вопросу о наименованиях высшего Блага (имя этой ἀρχητος φους состоит как раз в том, чтобы не иметь имени), может представлять

---

<sup>68</sup> Beck H.-G. Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich. 1977<sup>2</sup> (=1 Aufl. 1959. — In: Handbuch der Altertumswissenschaft, 12, 2, 1).

<sup>69</sup> См.: Лосев А. Ф. Философия имени. М., 1927. — Благодаря опоре на позднеантичную традицию эта книга, не заменяя положительного знания, может служить в качестве *remedium heroicum* против чересчур прозаического подхода к смысловой природе слова.

<sup>70</sup> Об отношении «Ареопагитик» к неоплатонической традиции см.: Gersch S. From Jamblichus to Eriugena. An Investigation of the prehistory and Evolution of the Pseudo-Dionysian Tradition. Leiden, 1978. (Судим по рец. в: CR, XXIX (1979) n. 2, p. 255—257 (O'Daly C. J. P.)). См. также: Бриллиантов А. Влияние восточного богословия на западное в произведениях Иоанна Скота Эригена. СПб., 1898, в особенности с. 142—178.

<sup>71</sup> Leu H. Patristische Literatur als Quelle für die Geschichte von Aufklärung und Atheismus: Zur paradoxen Funktion des Corpus Areopagiticum. — In: TuU, Bd 120, S. 77—89.

<sup>72</sup> BZ, (1959) 52, S. 105 (Joannou P.).

<sup>73</sup> PG, 3, col. 585—996, особенно I, 6; XIII.3. — Критически об атрибуции Петру Иверу (V в.) ср.: Даниелиа С. И. К вопросу о личности Псевдо-Дионисия Ареопагита. — ВВ, (1956) 8, с. 377—384.

<sup>74</sup> PG, 4, col. 185—416.

<sup>75</sup> Meyendorff J. Byzantium and the Rise of Russia. A Study of Byzantino-Russian relations in the fourteenth century. Cambridge, 1981, p. 125, 131.

интерес с точки зрения философии языка.<sup>76</sup> А поскольку последняя в позднеантичное и византийское время оставалась по преимуществу в пределах платоновских и аристотелевских идей,<sup>77</sup> ясно, что для выяснения новшеств в этой области необходимо внимательное обследование неоплатонической языковой философии,<sup>78</sup> как и комментариев к Аристотелю и античным теоретикам словесности.<sup>79</sup> Для истории семантических дискуссий, кроме Прокла, интересен его учитель Сириан, а также Дамаский и Симпликий — представители афинской школы, пережившие ее закрытие в 529 г. Представляют интерес и труды влиятельного представителя александрийской школы Иоанна Филопона,<sup>80</sup> перешедшего в христианство и полемизировавшего с Симпликием.

Византийское философствование, выросшее из позднеантичного философского синкретизма, богато интуициями относительно природы слова. Так, идея «внутреннего слова», которую высказывал Иоанн Дамаскин (прибл. 650—750), повлияла, по признанию Я. Пинборга, на представительного западного теоретика XIII в., архиепископа Кентерберийского Роберта Кильвардби. Как и у Фомы Аквинского, с которым он спорил, у Кильвардби встречается понятие *verbum interius*, или *verbum cordis (mentis)*, которое Р. Якобсон выводил из патристики.<sup>81</sup> Страстные дискуссии по основополагающим метафизическим вопросам, мало зависящим от накопления положительных знаний и тем не менее способствующим иногда осмыслению последних, нередко касались природы символа, проблемы универсалий, вопроса произвольности словесных знаков.

По мнению П. Иоанну, спор об универсалиях, и в частности номиналистические идеи, явились в Византии на несколько десятилетий раньше, чем на Западе. Эти проблемы затрагивались в полемике, развернувшейся вокруг Иоанна Итала,<sup>82</sup> а затем — его ученика Евстратия Никейского.<sup>83</sup> И хотя можно предвидеть,

---

<sup>76</sup> Тахо-Годи А. А. Античная традиция об имени и предмете наименования в «Ареопагитиках». — В кн.: Античная балканистика. М., 1978, 3. Предварительные материалы, с. 44—46.

<sup>77</sup> Oehler K. 1) *Antike Philosophie und byzantinisches Mittelalter. Aufsätze zur Geschichte des griechischen Denkens.* München, 1979; 2) *LAW, s. v. Sprachphilosophie* (с лит.).

<sup>78</sup> Шичалин Ю. А. Язык у Плотина: Постановка вопроса. — В кн.: Языковая практика и теория языка. М., 1978, вып. 2, с. 158—176.

<sup>79</sup> Procli Diadochi in Platonis Cratylum Commentaria / Ed. G. Pasquali. Lipsiae, 1908.

<sup>80</sup> RE, (1916) 9, Sp. 1781 ff., s. v. Ioannes, N 21 (Gudeman A.).

<sup>81</sup> Pinborg J., 1975, с. 5 сл.; также с. 58—59; Мнение Р. Якобсона см. в кн.: *Mélanges Benveniste.* Paris, 1975, vol. 2, p. 295.

<sup>82</sup> Об Итале и его осуждении в свое время писал Ф. И. Успенский. См. его «Очерки по истории византийской образованности». СПб., 1892; Кечакмадзе Н. Грамматико-логический трактат Иоанна Итала. — ВВ, 1967, т. 27, с. 197—205.

<sup>83</sup> Joannou P. *Der Nominalismus und die menschliche Psychologie Christi: Das Semeioma gegen Eustratios von Nikaia (1117).* — In: *BZ*, (1954) 47, S. 351 ff., 365. — Впрочем, на разработку вопроса об универсалиях еще



что историографическое исследование идей, которые связаны со столь общими вопросами, сопряжено с неожиданностями, однако в целом обозреваемый нами материал сулит, кажется, не только историографические плоды. Как говорит М. В. Мачавариани, «семантическая теория средневековья гораздо богаче по содержанию, чем аристотелевский треугольник. Самым интересным и принципиально новым нам представляется различение внешней и глубинной семантической структуры слова...»<sup>84</sup>

Полемика, разразившаяся в XIV в. между поборником мистического богословствования Григорием Паламой и «западником» Варлаамом, к которому присоединились Никифор Григора и Акиндин, вновь содержала противостояние реализма и номинализма.<sup>85</sup> Старые и новые споры вокруг мистики исихастов («умной» молитвы<sup>86</sup> в особенности) небезынтересны в смысле философии слова.<sup>87</sup> Заметим, что высказывания, перекликающиеся с языковедческой мыслью, можно встретить весьма неожиданно. Так, упомянутое выше монументальное исследование А. Борста возникло из необходимости прокомментировать слова о 72 языках земли, произнесенные на допросе в 1296 в. казненным впоследствии катаром. У Георгия Синкелла, автора хроники, жившего во 2-й половине VII—начале VIII в., находим в связи с рассказом о столпотворении и смешении языков одно из звеньев долгой и полной многозначительных перемен традиции перечисления «всех» 72 языков, имеющих на земле.<sup>88</sup> Сомнительная во всех отношениях, кроме разве поэтического, приверженность к магии слова способна соединить вдруг суеверие и — применительно к варварским закланиям — категории φύσει/θέσει, взятые из солидного философского обихода.<sup>89</sup>

По-своему занимательны были исопсефисмы: например, загадки вроде Κοσμάς ἀκούω καὶ λύρα φηρίζομαι (т. е. «Кувшмой зовусь я, а считаюсь лирою»), где, опираясь на известную систему

---

в VII—начале VIII в. давно указывал Ф. Дикамп (Die sam p F. Doctrina patrum de Incarnatione Verbi. Ein griechisches Florilegium aus der Wende des 7 und 8. Jahrhunderts. Münster, 1907, cap. 26).

<sup>84</sup> М а ч а в а р и а н и М. В. Вопросы семантики в средневековых теориях языка с точки зрения современного языкознания. — In: Proceedings of the 11th International Congress of Linguists in Bologna, 1972. 1974, vol. 2, p. 51—55.

<sup>85</sup> M e y e n d o r f f J. Humanisme nominaliste et mystique chrétienne au XIVe siècle. — In: Nouvelle Revue Théologique, (1957) 79, p. 905 sqq. — Полезно учесть критические замечания к этой работе, сделанные В. Лораном в рец.: BZ, (1958) 51, S. 216.

<sup>86</sup> PG, 150, col. 1118—1121 («достичь несказуемого»); cf. ibid., col. 1313 sqq. («вобнить умственно»).

<sup>87</sup> М е д в е д е в И. П. Современная библиография исихастских споров в Византии XIV в. — В кн.: Античная древность и Средние века. Свердловск, 1975, вып. 10.

<sup>88</sup> Georgius Syncellus ex recensione Guil. Dindorfii, Bonnae, 1829, p. 85 sqq.

<sup>89</sup> Этот пример привлечен в кн.: S t e i n t h a l H. Geschichte der Sprachwissenschaft. Berlin, 1891<sup>2</sup>, Bd 2, S. 365—366.

счета, получаем  $\text{Κοσμᾶς} = 531 = \lambda\acute{o}\rho\alpha$ .<sup>90</sup> Хуже испосефические стихи, отысканные у Гомера, вроде Н 264 и 265, буквы которых, складываясь в своем цифровом значении, давали одно и то же число. И все-таки литературные забавы, о которых говорит Евстафий,<sup>91</sup> выводно отличаются от столь же бесплодной, сколь и скучной гематрии, в которой ставится с ног на голову золотое сочетание серьезности с игрой.<sup>92</sup> Вера в магическое значение букв нашла себе выражение в приписываемом известному Савве (ум. 532 г.) коптском трактате, называвшемся «Тайны греческих писмен» — так была продолжена линия гностика Марка с его алфавитной мистикой.<sup>93</sup>

## ШКОЛЬНЫЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Если обратимся непосредственно к наследию грамматической мысли древних, то придем в византийскую школу, задачам которой это наследие призвано было служить. Рассуждения о языке воспринимались здесь прагматически, а не как самоценное усилие ума.

Приобщенный к элементарным навыкам чтения и письма у «грамматиста» ученик<sup>94</sup> на трехлетний приблизительно срок поступал к «грамматику»,<sup>95</sup> обучавшему его с Дионисием Фракийским и орфографическими «Канонами» Феодосия Александрийского в руках. В этой *grammar-school* усваивались нормы построения собственной и истолкования чужой речи. После упражнений

---

<sup>90</sup> Schultze W. Rätsel aus dem hellenischen Kulturkreise (=Mythologische Bibliothek, 1909, 3, 1; 1912, 5, 1), N 290.

<sup>91</sup> Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis Commentarii ad Homeri Iliadem. Lipsiae, 1830, t. 4, p. 331 sq (ad 24, 1). В его же комментариях к «Одиссее» (там же, 1825, t. 1, p. 348 sq) приводится несколько шуточных, на созвучии построенных амфиболий. Евстафий называет их  $\lambda\acute{o}\gamma\omicron\varsigma \acute{\epsilon}\nu$  (или  $\acute{\epsilon}\pi\iota$ )  $\lambda\acute{o}\gamma\omicron\phi$ , но не приписывает им и тени того фантазмагорического значения, которое скопилось в XX в. вокруг печальных «анаграмм» Соссюра.

<sup>92</sup> Plytoff G. La magie, les lois occultes, la théosophie etc. Paris, 1892, p. 212 sqq. — Традиции эти не забыты тем направлением, представительным образчиком которого можно считать, например, такую работу: Г а с п а р о в Б. Л. Мастер и Маргарита М. Булгакова. — In: Slavica Hierosolymitana, 1978, 3.

<sup>93</sup> Много материала по этой теме содержит книга: Dornseiff F. 1) Das Alphabet in Mystik und Magie. Leipzig; Berlin, 1925<sup>2</sup> (анаст. 1977); 2) RAC, 1954, 2, Sp. 775—778. s. v. Buchstaben (= Dornseiff F. Kleine Schriften. Leipzig, Bd 2, S. 240—243).

<sup>94</sup> Brownig K. Byzantinische Schulen und Schulmeister. — In: Das Altertum, (1963) Bd 9, H. 2, S. 105—118; Κυριακίς Μ. J. In: Byzantion, (1973) 43, p. 108—109; см. также: В И, 1972, 7, с. 209—213; о влиянии византийской системы на школы славянских народов см.: Lexicon antiquitatis slavicae, (1975) 5, p. 542—545, s. v. Szkoły (Swoboda W.).

<sup>95</sup> Не следует смешивать с этим старинным употреблением появившиеся у  $\gamma\rho\alpha\mu\mu\alpha\tau\iota\kappa\acute{o}\varsigma$  значения «секретарь» (ср.  $\gamma\rho\alpha\mu\mu\alpha\tau\epsilon\upsilon\varsigma$  «письмоводитель») и «ученик» (так сказать, «грамотея»). К именам византийских деятелей это слово добавляется в различных значениях.

в чтении поэтов «ритор» или «софист»<sup>96</sup> руководил чтением прозаиков. Для настоящего обзора важно рассмотреть, какими способами античное языкознание было приспособлено к новым условиям.

Разрастающийся итацизм и усугубленная им историческая ориентация орфографии превратили грамматико-риторическое обучение в царство орфографических канонов.<sup>97</sup> Феодосий в V в., в VI в. Тимофей Газский и Иоанн Харак, а в конце VIII—начале IX в. Георгий Хировоск черпали материал для своих орфографических и орфоэпических сочинений в основном из Геродиана Техника. Под давлением внешних обстоятельств и собственной инерции перечни орфографических правил становятся все более громоздкими. В начале IX в. Феогност включил в свою систему и орфографов, писавших после Геродиана.<sup>98</sup>

В ситуации, когда даже на печатках стоят ἄγρος вместо привычного ἄγιος, συνκέλω вместо συγγέλλω, или еще ὀκονόμος (бывает и такое!), орфографическая зубрежка превратилась в муку для учащихся и, надо полагать, учителей.<sup>99</sup> Вот образчик того, как по Феогносту предлагалось усвоить правописание, скажем, слова ὑπέρτατος: «Перед π в начале слова дифтонг οί не встречается: ὑπερήφανος, ὑπόδικος, ὑπέρτατος». Не естественнее ли было запомнить зрительно, как пишутся предлоги ὑπέρ и ὑπό?

Неудивительно, что орфографы иногда устраивали из своего предмета печальную забаву. Так, Никита Ираклийский (XI—начало XII в.), хорошо известный и славянским книжникам, написал Στίχοι περί γραμματικῆς, где орфографические каноны облечены в форму канона церковного.<sup>100</sup> Подготовкой к такому головокружительному шагу служили обычные у византийцев метрические изложения учебного материала. Позже Максим Плануд виртуозно подобрал антистойхический ряд слов, которые произносились или моули бы быть произнесены современниками одинаково: ἐρήμην, ἐροίμην, αἰρεῖ μιν, αἰροίμην, ἐρεῖ μιν, ἐρρίμην, αἰροίμην, ἐρρούμην, ἐρρούμην.<sup>101</sup> Антистойхические пары попали и в лексиконы. Бок о бок с ними существовали перечни омонимов, различающихся только ударением, — одна из таких коллекций приписывается Иоанну Филопону, относительно отождествления которого с известным философом VI в. спорили знатоки

<sup>96</sup> Зайцев А. О наименовании «софист» в применении к лексикографам Аполлонию и Тимею (см.: Филологический сборник студенческого научного общества. ЛГУ, 1959, 2, с. 143—145).

<sup>97</sup> Кроме очерка Х. Хунгера Die hochsprachliche. . ., S. 18—22; RE, (1942) 18, s. v. Orthographie, Sp. 1437—1456 (Wendel C.).

<sup>98</sup> Alpers K. Theognostos. Περί ὀρθογραφίας. Diss. Hamburg, 1964 (первые 84 канона из 1006). — Альперс выражал намерение издать Феогноста полностью.

<sup>99</sup> Примеры встречаются на каждой странице изд.: Laurent V. Le corpus des sceaux de l'Empire byzantin. Paris, 1963—1972, t. 5, 1—3.

<sup>100</sup> Neue Jahrbücher für Philologie und Pädagogik, (1886) 133, S. 662—664 (Cohn L.).

<sup>101</sup> Treu M. Antistoichien. — In: BZ, (1896) 5, S. 337 f.

орфографической и орфоэпической литературы древних П. Эгнольф и А. Людвиг.<sup>102</sup> Сборник Филопона<sup>103</sup> получил распространение — он переписывался и перерабатывался. Изменения в произношении придыхания вызвали на свет пневматологические сборники. К сочинениям того же «прескрептивного» рода близко прилежат и собрания правил интерпункции — последние с недавних пор стали называться стигматологическими.<sup>104</sup>

Неправильно было бы думать, однако, что эти орфографические неурядицы касаются лишь поздних греков. Ведь иногда мы не узнаем греческие слова только потому, что не привыкли к различным их написаниям, причем привычное для нас написание часто как раз «неверно» или, строже говоря, отражает поздние фонетические процессы. Так, привычный для нас образ слова βιβλιοθήκη представляет собой итацистический вариант употребительного прежде и оправданного исторически написания βυβλιοθήκη.<sup>105</sup>

Усилия, направленные к тому, чтобы обучить традиционному литературному языку и стилю, который отвечал бы требованиям изысканного (хоть и не всегда здорового) вкуса, не могли у византийцев ограничиться одной орфографией и орфоэпией, но распространились также на морфологию, синтаксис и лексику. Нарушение нормы называлось у византийцев, как и в античное время, варваризмом и солецизмом (σολοικισμός, soloecismus). Когда эти выражения употреблялись строго, под варваризмом понималось нарушение правильности речи применительно к отдельному слову, а солецизмом — к соединению слов,<sup>106</sup> как в известной конструкции ἐγὼ περιπατῶν ὁ τοῖχος ἔπεσεν, т. е. примерно «гуляючи, стена повалилась».<sup>107</sup> Из византийских писателей, касавшихся «синтаксиса» в этом смысле надо назвать Григория Коринфского, по прозванию Пардос (прибл. 1070—1156), трактат которого недавно был впервые и притом критически издан.<sup>108</sup>

Весьма своеобразны были формы, в которых происходило обучение грамматике. Прежде всего это были эпимерисмы (ἐπιμερισμοί), название которых Г. Хунгер возводит к термину μέρη τοῦ λόγου («части речи»): в эпимерисмах давался как бы ключ

<sup>102</sup> Ludwig A. — In: Bph W, 1888, Sp. 914 ff. (nn. 29/30).

<sup>103</sup> Johannis Philoponi collectio vocum, quae pro diversa significatione accentum diversum accipiunt. Breslau 1880 (=LGM p. 359 sqq).

<sup>104</sup> Hubert M. Corpus stigmatologicum minus. — In: Arch. Latinit. Med. Aevi, (1969/70), 37, p. 5—171; (1973/74), 39, p. 55—84.

<sup>105</sup> Handbuch der Bibliothekswissenschaft. Wiesbaden, 1955, Bd 3, Hälfte 1, S. 51 ff. (Wendel C.).

<sup>106</sup> Lausberg H. Handbuch der literarischen Rhetorik. Eine Grundlegung der Literaturwissenschaften. München, 1960, Bd 1—2.

<sup>107</sup> Hungen H. Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner, S. 16—17.

<sup>108</sup> Le traité περί συντάξεως τοῦ λόγου de Grégoire de Corinthe / Ed. D. Donnet, Bruxelles; Rome, 1967 (=Études de philologie, d'archéologie et d'histoire anciennes publiées par l'Institut historique Belge de Rome, 10).

к тому, как ученик должен, разобрав слова по частям речи, переходить к характеристике их по форме (род, число и т. д.).<sup>109</sup> Эпимерисмы писались и к школьным античным, и к христианским текстам, иногда сопровождая текст слово за словом или же в алфавитной форме. Георгий Хировоск (время его жизни определяется теперь все точнее, причем этот известнейший, может быть, из византийских грамматиков становится современником Фотия),<sup>110</sup> был автором эпимерисмов к псалмам. Максим Плануд и его ученик Мануил Мосхопул составили эпимерисмы, или технологии, к «Картинам» Филострата. Элементарнейшей формой пояснения классического текста служил парафраз, иногда между строк, на разговорном языке (так называемая психагогия, ψυχαγωγία).

Любопытной разновидностью учебного разбора текста была схедеография, в которой элементарный грамматический анализ обогащался сведениями, касающимися этимологии (словопроизводства), синонимии, тематически подобранной лексики, орфографии, а также энциклопедическими элементами.

Разнообразный дидактический материал приправлялся здесь назидательностью и получал сильное литературное оформление.<sup>111</sup> Так появился своеобразный полулитературный жанр, призванный скрасить ставшее тягостным изучение литературного языка. Схедеография засвидетельствована с X—XI вв.; представительным образчиком ее является «Лонгивард».<sup>112</sup> Схедеография нашла спрос, получила развитие. Ею занимались не одни бедствующие филологи, но и цари, и поэты, например Феодор Продром, которому приписывают известные «Мышьи схеды»<sup>113</sup> — юмористическое произведение, отчасти пародирующее этот жанр.

Поскольку схедеография в различных отношениях представляет интерес, публикацией неизданных схедеографических текстов теперь занимаются интенсивнее;<sup>114</sup> высказано и пожелание иметь в распоряжении исследователей схедеографический корпус.<sup>115</sup>

<sup>109</sup> H u n g e r H. Die hochsprachliche. . ., S. 22—23; Epimerismen. — In: RE, (1907) 6, Sp. 179 ff. (Cohn L.); Epimerismi Homerici. Pars 1. Epimerismos continens qui ad Iliadis librum A pertinent / Ed. A. R. Dyck. Berlin; New York, 1983 (=SGLG 5).

<sup>110</sup> T h e o d o r i d e s Chr. Der Hymnograph Klemens terminus post quem für Choiroboskos. — In: BZ, (1980) 73, S. 341—345.

<sup>111</sup> Неудивительно, что исстари связанное с книжностью греч. τὸ σχῆδος многообразно отразилось в европейских языках: из лат. schedula, cedula, возможно через польск., мы получили «цедульку» (ср. нем. Zettel), а затем позаимствовали также фр. и англ. рефлексы того же слова: «эскиз» и «скетч».

<sup>112</sup> F e s t a N. Longibardos. — In: Byzantion, (1931) 6, p. 101—222.

<sup>113</sup> P a r a d e m e t r i o u J. Th. Τὰ σχῆδη τοῦ μούρος: New Sources and Text. — In: Classical Studies presented to B. E. Perry. Urbana, p. 210—222.

<sup>114</sup> Actes du XIV Congrès International des Études Byzantines. București, 1971. (1975), t. 2, p. 101—102 (о работе учеников А. Гарсия); G a r z u a A. Testi letterari d'uso strumentale. — In: Akten des XVI. Internationalen Byzantinistenkongresses. Wien, 1981, Bd VI/1, S. 275.

<sup>115</sup> Actes du XV Congrès International des Études Byzantines, 1976, vol. 2, p. 105 (Grosdidier de Matons J.).

Действительно, как бы ни оценивать тот или иной жанр византийской филологии, все они сложно сплетаются между собой и, следовательно, требуют общего изучения. Показательно, что Х. Феодориду удается более точно установить время жизни византийских филологов благодаря обследованию цитат, которые у византийцев не ограничиваются древними.<sup>116</sup> Этому переходу из старых эпимерисмов в новые, из эпимерисмов в лексиконы и т. д. посвящены и другие работы.<sup>117</sup>

В качестве образца и источника морфологического описания византийцам служили позднеантичные «Каноны» Феодосия Александрийского, щедро комментированные Иоанном Хараком и Георгием Хировоском.<sup>118</sup> Впрочем, не следует думать, что организация парадигм имени и глагола не знала перестроек. Из описаний неизданной еще грамматики, автором которой был Мануил Калекá (конец XIV в.),<sup>119</sup> убеждаемся, что предпринимались попытки описать греческую флексию, ориентируясь на латинскую: 39 канонов (парадигм) именного склонения оказались, на основании окончания род. падежа ед. ч., распределены по пяти склонениям. Это любопытно в смысле обновления, хотя такое именно проявление западничества трудно признать удачей грека-доминиканца.

Любопытно отметить обстоятельство, также связанное с описанием греческой морфологии. С давних пор, еще до Феодосия Александрийского, на которого в этой связи указывает Г. Хунгер,<sup>120</sup> у греческих грамматиков было принято время от времени вводить вымышленные формы, особенно при изложении системы глагола. Поскольку разговорный язык старовизантийской эпохи почти неизвестен, оказывается затруднительным отличить эти *verba ficta* от *verba rariora*. В самом деле, к какой категории отнести формы *ἦκοα*, *ἔλεωα*, *ἔλευθα* и т. п. из названной выше грамматики конца XIV в.? С. Бернардинелло<sup>121</sup> предлагает считать их исторически существовавшими на основании двух соображений: (а) они встречаются и в византийских лексиконах, (б) в грамматике естественно приводить употребительные формы. С этим можно и не согласиться, так как (а) между лексиконами и грамматическими сочинениями случалось круговое движение; (б) из рассуждения С. Бернардинелло видно, что грамматика Мануила принадлежала периоду выраженного филологического волюнтаризма,<sup>122</sup> — и, следовательно, не обязательно, чтобы она во всем

<sup>116</sup> Theodorides Chr. Die Abfassungszeit der Epimerismen zu Homer, in: BZ, (1979) 72, S. 1—5.

<sup>117</sup> RhM, (1981) 124, p. 50—54; Hermes, (1981) 109, p. 225—235 (Dyck A.).

<sup>118</sup> «Каноны» вместе с комментариями изданы: Gr. Gr. IV 1, 2.

<sup>119</sup> Bernardinello S. La grammatica di Manuele Caleca. — In: Actes du XIV Congrès Internationale des Études Byzantines. București, 1971. (1976), t. 3, p. 51—56.

<sup>120</sup> Hunger H. Die hochsprachliche..., S. 12.

<sup>121</sup> Bernardinello S. La grammatica di Manuele Caleca, p. 55—56.

<sup>122</sup> Vasiliev A. A. History of the Byzantine Empire 324—1453. Madison, 1952, p. 701.

была естественна. Более того, даже если неожиданные формы встречаются в поздних текстах, с ними нужно обходиться осторожно: как бы скромно ни было положение грамматиков в обществе, им иногда удается навязать части языковой общины свои нормы.<sup>123</sup>

Что касается синтаксиса, то труд Аполлония Дискола περί συντάξεως, лежавший в основу синтаксиса Присциана, является представительным образцом работы древних в этой области, которая была, как известно, менее, чем теперь, отделена от остальных. У стоиков рефлексия над вопросами синтаксиса на первых шагах получала слишком сильный крен в логику. Внимание к синтаксису соединялось и со стилистико-риторическими задачами.<sup>124</sup> Нередко сочинения византийцев о «синтаксисе» представляют собой списки глаголов с указанием на их управление.<sup>125</sup> Такие перечни, называемые также «фразеологиями», служили подспорьем в работе византийского литератора над освоением турнюров литературной речи.

Возможно, что именно под знаком господства очень краткой «Технэ» Дионисия Фракийского синтаксис трактовался в Византии мало. Первым византийским синтаксисом считают Μέθοδος περί τῆς συντάξεως Михаила Синкелла (VIII—IX вв.).<sup>126</sup> Прежде это сочинение связывали с именем Георгия Лакапина; теперь этот текст не только тщательно издан, но и изучен Д. Доннэ на необходимом фоне.<sup>127</sup>

После Никиты Ираклийского<sup>128</sup> (называемого иногда и Серским), который в начале XI в. писал о синтаксисе стихами, назовем упомянутый уже синтаксис Григория Коринфского. По Д. Доннэ,<sup>129</sup> Григорий Коринфский — практик, в теоретическом отношении уступающий, скажем, Григорию Хировоску. IV книгу грамматики Феодора Газы, посвященную синтаксису, Д. Доннэ изучает, стараясь выявить связь между византийской и гуманистической грецистикой. Важным признаком византийской грамматики Д. Доннэ считает то, что она, как и античная, не выработала четкого понятия грамматической функции. В целом благо-

<sup>123</sup> Ср. судьбу старинного и вполне вразумительного выражения «попал как кур во щи», которое почти вытеснено из употребления неудачной, но удачливой конъектурой (указание Я. М. Боровского).

<sup>124</sup> RE, (1912) Bd 7, Sp, 1780 ff., s. v. Grammatik (Gudeman A.), — в особенности Sp. 1796—1797, 1789.

<sup>125</sup> Massa Positano L. Lessico sintattico laurenziano. — In: Giornale Italiano di Filologia, (1957) 10, p. 293—314.

<sup>126</sup> Le traité Méthode de la construction de la phrase de Michel le Syncelle / Histoire du texte, édition, traduction et commentaire par D. Donnet. — In: Études de philologie, d'archéologie et d'histoire anciennes publiées par l'Institut Belge de Rome. Bruxelles; Rome, 1982, t. 22.

<sup>127</sup> Cahiers de l'Institut de Linguistique de Louvain, 1980, p. 31—47.

<sup>128</sup> RE, (1942) 7 A 2, 2005, f., s. v. (Wendel C.).

<sup>129</sup> Donnet D. Théodore de Gaza. Introduction à la Grammaire, livre IV: À la recherche des sources byzantines. — In: Byzantion, (1979) 49, 133 sqq.

даря трудам бельгийского ученого область синтаксиса стала более обжитой, чем это было еще недавно.

Теория 8 частей речи (для памяти прибегали к стиху из «Илиады» 22, 59, где каждая из них представлена одним и только одним словом) излагалась за счет теории частей предложения. Вопрос о принципах классификации частей речи у Дионисия Фракийского давно признан заслуживающим исследования.<sup>130</sup> Примечательно, что если стоики и различали ῥῆμα (глагол), с одной стороны, и σύνθεσις и κατηγορία (разновидности предикатов) — с другой, то понятие именного сказуемого, которое весьма употребительно в греческом языке, у греческих грамматиков так и не появилось.<sup>131</sup> Сознание важности описания и вместе равнодушие к историческому, передававшемуся византийским грамматикам от античной грамматической «технэ», может напоминать современный структурализм.<sup>132</sup>

Описание греческих диалектов служило в Византии прежде всего пониманию неаттической школьной классики (Гомер, Пиндар, Геродот, дорийски окрашенные хоровые партии аттической трагедии, Феокрит и т. д.).<sup>133</sup> Благодаря Феодосию Александрийскому, Иоанну Филопону и Георгию Хировоску, а также через диалектные глоссы лексиконов, Гезихия в особенности, часть этой традиции сохранилась. Из пособий, служивших ознакомлению с особенностями старинных диалектов, наиболее известны трактат Григория Коринфского *Περὶ τῶν ἰδιωμάτων καὶ διαλέκτων*,<sup>134</sup> а также Мосхонул, который на самом деле описывал лишь ионийский диалект, а не все то, что связывает с его именем предание.<sup>135</sup>

В эпоху Палеологов интерес к диалектологическим сведениям поддерживался еще и стремлением к активному использованию их в литературных упражнениях. Так, Феодор Метохит в своем жизнеописании ввел в стих, по-видимому ради придания ему эпичности, слова *λοῦγος, χροῖνος, μορρά, φιλοσοφία*, которые говорят сами за себя.<sup>136</sup> Ученик Метохита Никифор Григора обратился к императору Андронику II с посланием на ионийском диалекте.<sup>137</sup> Последнее поколение византийцев привезло диалек-

<sup>130</sup> Sch o e m a n n G. P. Die Lehre von den Redeteilen nach den Alten. Berlin, 1862, S. 49—50 (Anm.).

<sup>131</sup> LAW, s. v. Grammatik (Glück M.).

<sup>132</sup> Ibid.

<sup>133</sup> H u n g e r H. Die hochsprachliche. . ., S. 29—33.

<sup>134</sup> Aevum, (1953) 27, p. 97—120 (Bolognesi G.).

<sup>135</sup> S e n g a r l e S. A. Ps. Moschopuli compendium de dialectis linguae Graecae. — In: Acme, (1971) 24, p. 243—292.

<sup>136</sup> B r o w n i n g R. Language of Byzantine Literature. — In: Βυζαντινὰ καὶ Μεταβυζαντινὰ. Malibu, 1978, 1, p. 124—125. Чтобы оценить, сколь нескладны эти опыты в сравнении не только с древним, но и с новейшим временем, достаточно прочесть шутивное стихотворение Ф. Е. Корша, написанное сапфическим языком и размером, см.: Στέφανος. Carmina partim sua graeca et latina, partim aliena in alterutram linguam ab se conversa. Hauniae, 1886.

<sup>137</sup> Byzantion, (1971) 41, p. 510—515 (текст издал П. Л. М. Леоне).



тографические трактаты в Италию, где их ценили, переписывали, печатали и даже начали традицию их подделывания. Несмотря на практический характер этих пособий, они послужили отправной точкой для будущей научной диалектологии,<sup>138</sup> к указаниям греческих диалектографов до сих пор прибегают солидные исследования истории греческого языка, в особенности если дело касается эолийского и дорийского диалектов, образчики которых представлены теперь скудно.<sup>139</sup>

Таким образом, если греческая национальная грамматика, с александрийского времени получившая обособленный «технологический» статус, имела по преимуществу дескриптивный характер, то в дальнейшем она превратилась преимущественно в школьную прескриптивную дисциплину, главной задачей которой было поясняя обучать, а не исследовать описывая. Именно этому переходу и лингво-дидактической практике, целью которой было передать минимум грамматических знаний, посвящены были усилия византийских словесников. Неудивительно, что остроты подхода можно ожидать скорее от грамматических дефиниций в богословских спорах — византилисты начинают вычленять и рассматривать эти вкрапления.<sup>140</sup>

В поисках доходчивых и неотталкивающих форм обучения, т. е. до некоторой степени параллельно со схевографией или дидактической версификацией учебного материала, византийцы со временем все чаще стали излагать грамматические сведения в вопросно-ответной форме. Эти грамматики-диалоги — *ἑρωτήματα*, в XI в. не казавшиеся уже новостью, приобрели популярность в обработках Мосхопула, Мануила Хрисолора, Димитрия Халко[ко]ндиды и др.<sup>141</sup> Первой печатной книгой в Европе, напечатанной целиком по-гречески, считается эротематическая грамматика Константина Ласкариса (1434—1501), изданная в 1476 г. в Милане. Ее отчасти опередила лишь греко-латинская грамматика Хрисолора,<sup>142</sup> которая была много старше по времени создания и оказывала влияние на Запад уже с начала XV в., распространяясь в рукописях.<sup>143</sup> К дальнейшему, более широкому использованию

<sup>138</sup> Schulze W. Kleine Schriften. Göttingen, 1933, S. 1—7.

<sup>139</sup> Тронский И. М. Вопросы языкового развития в античном обществе. Л., 1975, с. 47—53.

<sup>140</sup> Riedinger R. Grammatiker-Gelehrsamkeit in den Akten der Lateran-Synode vom 649. — In: JÖB, (1976) 25, S. 57—61.

<sup>141</sup> Pertusi A. Erotemata: Per la storia e le fonti delle prime grammatiche greche a stampa. — In: Italia medioevale e umanistica, (1962) 5, p. 321—351; Hunger H. Die hochsprachliche. . . S. 14. Сравнение этих грамматик друг с другом, а также с позднейшими подделками провел Л. Фольц. См.: Voltz L. Zur Überlieferung der griechischen Grammatik in byzantinischer Zeit. — In: Neue Jahrbücher für Philologie und Pädagogik, Jg 59, Bd 139, S. 579—599.

<sup>142</sup> Layton E. The First printed Greek Book. — In: Journal of Hellenic Diaspora, (1979) 5, 4, p. 63—79.

<sup>143</sup> И. П. Медведев готовит кодикологическое описание рукописи этой грамматики, хранящейся в архиве ЛОИИ АН СССР (западноевропейская

на Западе национальной греческой, в частности византийской, языковедческой традиции, приглашала и грамматика Феодора Газы (1400 — ок. 1476), вышедшая в Венеции у Альда Мануция в 1495 г.

## ВИЗАНТИЙСКАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ

В отличие от других разделов языковедения византийская лексикография, имеющая фундаментальное значение для всякого грециста, уже не раз становилась предметом и обстоятельного и компактного изложения (Л. Кон,<sup>144</sup> И. Толкин,<sup>145</sup> а с византологической стороны — Г. Хунлер<sup>146</sup>). Над источниковедческими проблемами трудились такие ученые, как Г. Венцель, Р. Рейценштейн, А. Б. Драхман, труды которых, отчасти неопубликованные, легли в основу Греческого лексикографического архива при Датской Академии наук. В серии *Lexicographi Graeci*, издаваемой с поддержкой Архива, применительно к занимающей нас эпохе вышли: признанное классическим издание Свида (Суды), подготовленное А. Адлер,<sup>147</sup> а также капитальное издание Гезихия, которое К. Латте не успел закончить.<sup>148</sup> Х. Эрбзе и К. Латте собрали в одном томе разбросанные по многочисленным и часто редким изданиям небольшие греческие словари различного назначения и важнейшие работы о них.<sup>149</sup> Работу А. Адлер по изданию так называемого *Etymologicum Genuinum*, которое имеет решающее значение для изучения традиции словарей этимологиков, продолжает К. Альперс.<sup>150</sup>

Известные многочисленностью и тонкой специализацией античные лексические сборники (первично различались λέξεις — слова

---

секция, греч. 5/666), так же как и рукописи «Грамматики» Мануила Мохопула (*ibid.*, 1/666).

<sup>144</sup> Handbuch AW II, 1<sup>4</sup> (1913), S. 679—730 (Cohn L.).

<sup>145</sup> RE, (1925) 12, 2, s. v. Lexikographie, (T o l k i e h n J.) (позднеантичный и византийский период: Sp. 2463—2479). Ср. также статьи *Etymologica*, *Glossographie* и, конечно, персоналии.

<sup>146</sup> H u n g e r H. Die hochsprachliche. . ., S. 33—50 (с лит.); ср. коллективную испанскую работу: *Introducción a la lexicografía griega*. Madrid, 1977, в особенности с. 100—106 (Concepción Serrano Aybar).

<sup>147</sup> *Suidae Lexicon* / Ed. A. Adler. Hauniae, 1928—1938, vol. 1—5. (=LG, 1, 1—5).

<sup>148</sup> *Hesychii Alexandrini Lexicon* / rec. et emend. K. Latte, Hauniae, 1953, vol. 1 (A—Δ) и 1966, vol. 2 (E—O) (E—X на обложке указано по ошибке). Таким образом, начиная с буквы Π до сих пор приходится пользоваться устаревшими изданиями М. Шмидта (ed. maior, Jenae, 1857—1868; анатат. Amsterdam, 1965—1966).

<sup>149</sup> *Lexica Graeca minora* / Selegit K. Latte, disposuit et praefatus est H. Erbse. Hildesheim, 1965 (=LGM).

<sup>150</sup> A l p e r s K. Bericht über Stand und Methode der Ausgabe des *Etymologicum Genuinum* mit einer Ausgabe des Buchstaben Λ (=Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, historisk-filosofiske Meddelelser 44, 3) København, 1969. — Как видим, исследования К. Альперса охватывают различные области как античного, так и византийского языковедения.

с особенностями употребления, и γλῶσσαι — забытые или чужие слова) дошли до нас в малой доле и почти никогда — в первоначальном своем облике. Весьма богатая византийская лексикография, которая была несравненно беднее античной, основана главным образом на позднеантичных словарях и сводах различных типов, включавших в себя материал предшествовавших эпох. Эта мощная традиция находилась в постоянном движении и перестраивалась не всегда в лучшую сторону, но так, что оказалось возможным сохранение многих ценностей. Без средневековой лексикографии заметно обеднело бы гордое своими достижениями греческое языкознание нового времени.

Яркий пример чрезвычайной запутанности лексикографической традиции — это так называемый «Глоссарий Кирилла», который уже в VI в. был введен в словарь Гезихия, а затем в «Лексикон» Фотия (VIII в.) и в Суду (X в.). Поскольку в качестве названия многих его обликов выступает Συναγωγή λέξεων χρησίμων, принято обозначать эту традицию в целом «сигмой» (Σ). Энергии нескольких поколений ученых до сих пор не удалось надежно выявить и удовлетворительно издать ядро этого переменчивого собрания. Наряду с сопоставлением рукописных редакций ценным материалом, рассмотрение которого еще раз обнаружило сложность проблемы, являются папирусные лексикографические отрывки,<sup>151</sup> позволяющие заглянуть в ранние этапы роста этих «джунглей традиции».<sup>152</sup> Считают правдоподобным, что «Глоссарий Кирилла» предназначался для употребления в церковных школах, о чем свидетельствует между прочим его окружение в рукописных сборниках.

«Гезихий» — самое крупное по числу словарных статей собрание, включающее отчасти и новый материал. Составитель жил в Александрии в эпоху Анастасия и Юстиниана, приблизительно в то же время, что и Гезихий Иллюстрий из Милета — составитель биографического «Ономатолога», которому впоследствии, в переработанном виде, суждено было сделать «Суду» столь важной для классической филологии нового времени. Кроме античных источников, которые Гезихий Александрийский назвал сам (Аристарх, Апион, Гелиодор, Диогениан), им были использованы также «Глоссарий Кирилла», гомеровская парафраза, библейский оно-

---

<sup>151</sup> Naoumides M. The Fragments of Greek Lexicography in the Papyri. — In: Classical Studies presented to V. E. Perry. Urbana, 1969. После рано умершего А. Наумидиса этой областью много занимается А. Wouters (см.: Ancient Society, (1970) 1, p. 237 sqq.; Scriptorium, (1977) 39, p. 240 sqq., и др.).

<sup>152</sup> Hunger H. Die hochsprachliche. . ., S. 37—38. — Завершить издание «Глоссария Кирилла», над которым много трудился М. Наумидис, поручено теперь сотруднику фессалоникийского университета д-ру И. Казанису (см.: Gnomon, (1983) 55, S. 384).

мастикон и некоторые другие. Со временем традиция, обогатившая Гезихия, стала сама кое-что из него брать.<sup>153</sup>

Если оставить в стороне значение Лексикона для критики текста (к сожалению, сам Гезихий сохранен в единственной и не очень добротной рукописи) и других филологических задач, а остановиться на чисто лингвистической его ценности, то прежде всего надо назвать множество диалектных глосс, отражающих как старинные лексические различия в разновидностях греческого языка, так и воспроизводящих маргинальные для греческих диалектов явления в ареалах с оживленными межъязыковыми контактами.<sup>154</sup>

Первоклассные сведения об античной лексике, как поэтической, так и прозаической, собраны в «Лексиконе»<sup>155</sup> Фотия. Слово *λεξικόν* хотя и употребляется уже у самого Фотия (Bibl. cod. 145 применительно к словарю V в. н. э.), однако не было еще ходовым в ту пору. Думается, что в качестве названия словарей *λεξικόν* представляет собой сокращенное *λεξικόν σύνταγμα*,<sup>156</sup> которое могло быть вариантом обычного в Средние века названия словарей *λέξεων συναγωγή*, как и называется в точности словарь, составленный Фотием.

Три рукописи «Словаря», известные к началу текущего столетия, были восполнены недавно еще одной, наконец полной, найденной в 1959 г. в Западной Македонии (cod. Zabordensis 95).<sup>157</sup> Над обработкой рукописи для первого полного издания словаря Фотия трудятся видные греческие специалисты; время от времени публикуются новинки, обнаруженные в неизвестных доселе частях словаря.<sup>158</sup> Пока новое издание, задуманное не только как количественное восполнение прежних изданий, не завершено,<sup>159</sup> следует, минуя чересчур своевольного С. Набера, опираться на Р. Порсона, восполняя начало словаря по книге Р. Рейценштейна.<sup>160</sup> Число лемм словаря оценивают в 7000—8000.

<sup>153</sup> Издание К. Латте снабжено множеством специальных обозначений, сознательное пользование которыми возможно только после ознакомления с обширными Prolegomena в т. I его «Гезихия».

<sup>154</sup> Blumenthal A. von. Hesych-Studien. Untersuchungen zur Vorgeschichte der griechischen Sprache nebst lexikographischen Beiträgen. Stuttgart, 1930; у нас: Н е р о з н а к В. П. Словарь Гезихия как источник для изучения древних реликтовых индоевропейских языков. — ВЯ, 1978, № 4, с. 58—67.

<sup>155</sup> RE, (1925) 12, 2, Sp. 2433, s. v. Lexikographie (Tolkiehn J.).

<sup>156</sup> Слово *σύνταγμα* употреблено в «Предисловии» Фотия к его собственному словарю.

<sup>157</sup> Politis L. Die Handschriftensammlung des Klosters Zavorda und die neu aufgefundene Photioshandschrift. — In: Philologus, (1961) 105, p. 136—154.

<sup>158</sup> Theodoridis Chr. Zu drei Dichterstellen aus dem Lexikon des Photios. — In: ZPE, (1979) 35, S. 29—31.

<sup>159</sup> Photii Patriarchae Lexicon. Volumen: A — Δ. Edidit Christos Theodoridis. Berlin; New York, 1982. — О диссертации X. Феодоридиса на эту тему (Θεοδωρίδης Χρ. Προλεγόμενα στο Λεξικό του Φωτίου, 1980) — см.: Gnomon, (1981) 53, S. 416.

<sup>160</sup> Photii Lexicon e cod. Galeano descripsit R. Porsonus, partes 1—2. Lipsiae, 1822; Reitzenstein R. Der Anfang des Lexikons des Photios. Leipzig; Berlin, 1907.

В основу «Лексикона» была положена одна из редакций все того же «Глоссария Кирилла». Впрочем, ввиду растущего интереса к аттицизму Фотий настойчивее, чем его предшественники, привлекает аттицистические лексиконы, включает и материал специальных словарей, например двух платоновских. И если даже Фотию, эрудиту и тонкому словеснику, знатоки склонны отказывать в самостоятельных наблюдениях над словоупотреблением старых текстов, ограничивая его работу комбинацией уже готовых словарных материалов, то нельзя сомневаться в том, что леммы были внимательно отобраны и обдуманы самим Фотием; стиль образованности которого напоминает лучшие дни греческой культуры.

В Словаре, возникшем заботами Фотия, ценным кажется даже молчание. Положим, мы задались целью уяснить себе историю частицы  $\lambda\alpha$ -,<sup>161</sup> существование которой современные словари древнегреческого языка признают на основании трех примеров, из которых один опирается на одно разночтение в рукописях «Ахарния» Аристофана (Ach. 664 Cantarella), а два других — на сделанные в соответствии с этим чтением поправки в «Лексиконе» Фотия. Напротив, сохраняя рукописные чтения «Лексикона», получаем подтверждение разночтению  $\lambda\alpha\chi\alpha\tau\alpha\pi\acute{\upsilon}\rho\omega$  в аристофановской рукописной традиции. Но это скорее достоинство рукописной традиции «Лексикона», нежели его составителя. Важнее для характеристики работы Фотия то, что по соседству с этой глоссой можно найти несколько редких аттических слов, которые подтверждают существование композитов, начинавшихся с  $\lambda\alpha\chi(\chi\omicron)$ -. Но если префикс  $\lambda\alpha$ -, обязанный своим существованием единственно теориям позднеантичных этимологов, и в особенности принципу так называемой патологии, этого карикатурного предчувствия фонетических законов новейшего языкознания, был принят в широко открытые двери гезихиева словаря, то у Фотия он отсутствует. Опасаясь применить *argumentum ex silentio*, не станем утверждать, что исключение вымышленной усилительной частицы произошло у Фотия сознательно: по этому эпизоду видно, тем не менее, что Фотий приводит важные языковые факты и не приводит нелепые домыслы.

$\Lambda\acute{\epsilon}\xi\epsilon\omega\nu$   $\sigma\upsilon\nu\alpha\gamma\omega\gamma\acute{\eta}$  Фотия несет на себе печать значительной эрудиции патриарха и его долгого труда — мы не разделяем мнение Г. Хунгера, присоединившегося к тем, кто считает «Лексикон» произведением юности Фотия. Тем удивительнее, что, несмотря на авторитет создателя и достоинство словаря, обнаруживается мало следов пользования им в Византии: имея ряд общих источников с «Судой» и этимологиками, словарь этот, как считают, сам в них не отражен. Одно из исключений — «Лексикон» Саввина

---

<sup>161</sup> В краткой форме наше рассуждение представлено в кн.: Античная балканистика-3. Предварительные материалы, с. 9—10 (Г а в р и л о в А. К.  $\lambda\alpha$   $\acute{\epsilon}\pi\iota\tau\alpha\tau\iota\kappa\acute{o}\nu$ . История одной лжепреставки).

монастыря, изданный Пападопуло-Керамевсом.<sup>162</sup> Кроме того, естественно допускать, что «Лексикон» был знаком такому ученику Фотия, как Арефа. Наконец, четыре известные теперь рукописи «Словаря», переписанные в XII—XIV вв., показывают, что словарь все же имел своих ценителей.

Словарь «Суда», о названии которого много спорили, по числу глосс (ок. 30 000) стоит рядом со словарем Гезихия. Кроме общих с Гезихием и Фотием, «Суда» использует источники энциклопедического рода, благодаря чему имеет огромное значение для науки о греческой древности в целом. В отличие от Гезихия, леммы которого расположены в весьма строгом (до 3 и даже 4 букв) алфавитном порядке (*κατὰ στοιχεῖον*, позже стали говорить *κατ' ἀλφάβητον*), «Суда» следует так называемому антистойхическому (*κατ' ἀντιστοιχίαν*) расположению, когда αι трактуется после ε, после ζ идут ει, η, ι, вслед за ο приводится ω; наконец, οι стоит непосредственно перед υ, причем это относится и к начальным буквам, и к последующим.

Создание алфавитных сводов хотя и не было византийским изобретением, однако было поставлено на широкую ногу именно в византийское время. «Алфabetизация» захватила не только лексические пособия (в древности даже этимологические перечни могли опираться, подобно ономастиконам, на предметно-идеографический принцип), но и юридическую, и грамматическую ученость. По культурно-информационному назначению это напоминает переводение письменности на минускульное письмо — вершина и того, и другого приходится на IX—X вв., время оживления, энциклопедизма и стандартизации.<sup>163</sup>

Так называемый «Лексикон Зонары» включает в себя леммы, взятые также из византийских авторов — Максима Исповедника, Иоанна Дамаскина и др.<sup>164</sup> В эпоху Палеологов, когда усиливаются классицистические тенденции, антицистический лексикон,<sup>165</sup> своего рода *antibarbarus*, составил Фома Магистр. В том же направлении идет собрание аттических выражений, приписываемое Мануилу Мосхопулу<sup>166</sup> (2-я пол. XIII—нач. XIV в.), ученику Плануда. Эти антицистические труды напоминают в принципе старые глоссарии вроде сборника *Ῥητορικαὶ λέξεις*, editio princeps которого появилась недавно: издатель и рецензент сошлись в признании того, что перед нами образчик выписок византийского литератора из старых писателей с целью употребления этих бле-

<sup>162</sup> Пападопуло-Керамевс А. *Lexicon Sabbaiticum*. — ЖМНП, (1892) 280, p. 39—48 и (1893) 281, p. 49—60. — Теперь публикация переиздана в *Lexica Graeca minora* (с. 39—60).

<sup>163</sup> Kazhdan A., Cutler A. *Continuity and Discontinuity in Byzantine History*. — In: *Byzantium*, (1982) 52, p. 429 sqq., 452 sqq.

<sup>164</sup> Alpers K. *Zonarae Lexicon*. — In: *RE*, (1971) 10 A, Sp. 732 ff.

<sup>165</sup> Thomas Magistri sive Theoduli Monachi *Ecloga vocum Atticarum* / ex rec. Fr. Ritschelii. Halis Sax. 1832.

<sup>166</sup> Moroche G. *Consideraciones en torno a la Collectio vocum Atticarum de Manuel Moscopulo*. — In: *Emerita*, (1977) 45, p. 153—169.

сток в собственных литературных выступлениях.<sup>167</sup> Тем примечательнее, что Словарь Андрея Лопадията, известный также под именем *Lexicon Vindobonense*,<sup>168</sup> учитывает и византийскую словесность.

До сих пор не изданы лексикографические труды известного византийского юриста XIV в. Константина Арменопула, «Алфавитный лексикон, содержащий синонимы (τὰ παρόμοια) глаголов» (inc. ἀγαπῶ—φιλῶ—ἀσπάζομαι—στέργω) и его же «Алфавитный лексикон, содержащий общеупотребительные глаголы, в котором показывается, какие из них непереходные, а какие переходные» (inc. ἀγάλλομαι τὸ χαίρω, ἀγάλλω δὲ τὸ τιμῶ ἕτερον).

Минуя изложение энергично изучаемой сейчас традиции «этимологиков»<sup>169</sup> (пробные издания *Etymologicum Genuinum* недавно предприняты порознь сразу несколькими учеными), остановимся на античном и византийском этимологизировании. На тех, кто представляет себе методы современного этимологического анализа, греческая национальная этимология производит беспомощное впечатление, контрастирующее с ее монументальностью. Причину этого К. П. Херберман видит в том,<sup>170</sup> что греческие филологи связывали смысл имени с природой (φύσις), а современные — с установлением (θέσις). На наш взгляд, важнее другое: если изучение звуковой стороны слова у византийцев, как и у древних, было вызывающе ненаучным,<sup>171</sup> то в отношении интереса к причинам номинации они были не только похожи на ученых новейшего времени (это признает Херберман), но, пожалуй, и более изобретательны, чем современная этимология, убаюканная научным оптимизмом исторической фонетики.<sup>172</sup> Основания для этой двойственной оценки греческого этимологизирования хорошо видны в «Кратиле» Платона, где наивно было бы предполагать иронию автора в отношении наивностей,<sup>173</sup> которые лишь недавно открылись человеческому уму в качестве таковых.

Перечень основных жанров византийской лексикографической

<sup>167</sup> Naumides M. N. *Ῥητορικαὶ λέξεις* / Ed. princ., Athenai, 1975; см. ред.; BZ, (1977) 70, S. 347—350 (Alpers K.).

<sup>168</sup> *Lexicon Vindobonense* / Ed. A. Nauck. Petropoli, 1867 (перезд. 1965).

<sup>169</sup> Reitzenstein R. *Etymologica*. — In: RE, (1909) 6, S. 807—817; теперь: Alpers K. *Bericht über Stand und Methode der Ausgabe des Etymologicum Genuinum*. København 1969; обзор см.: Hunger H. *Die hochsprachliche*. . ., S. 45—48; LAW, s. v. *Etymologica* (Erbse H.).

<sup>170</sup> Herbermann C.-P. *Moderne und antike Etymologie*. — In: *Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung*, (1981) 95, S. 22—45.

<sup>171</sup> Памятуя, с какой безответственностью делались у греков выкладки в духе учения о патологии, приходится настороженно относиться к глоссам вроде *Σινδοί· Ἰνδοί* у Гезихия.

<sup>172</sup> Мы имеем в виду тот стиль этимологических исследований, при котором к фонетическим закономерностям относятся с несколько преувеличенным пиететом за счет внимания к истории реальных, идей и многообразных культурных влияний.

<sup>173</sup> Мы согласны в этой оценке с И. А. Перельмутером (см. его статью «Платон» в «Истории лингвистических учений. Древний мир» (Л., 1980, с. 137)).

традиции был бы существенно не полон, если бы остались не упомянуты синонимические лексиконы (традиция Пс.-Аммония,<sup>174</sup> восходящая к Герению Филону); специальные терминологические словари (ботанические, медицинские, юридические и др.); двуязычные глоссарии (библейские, сиро-греческие, латино-греческие,<sup>175</sup> так называемые номические глоссы<sup>176</sup> и проч.).

Бросая взгляд на византийскую лексикографию в целом, нужно признать: глоссарии, имея прежде всего практическое назначение, содержали много такого, что важно для научной грецистики. Напротив, их этимология, воспринимавшаяся как нечто, имеющее научный или поэтический интерес,<sup>177</sup> оказалась с нынешней точки зрения далека от поэзии и еще дальше от науки. Диалектографические глоссы, появившиеся в качестве пояснений, легли в основание научной греческой диалектологии. Характерной чертой греческой лексикографии нужно признать энциклопедическое направление, создание алфавитных, и притом крупных, сводов. Часть традиции утрачивалась, некоторая часть утрат восполнялась новым, из собственной культуры взятым материалом. Связь со старой словарной литературой, техника экскерпирования и переработки разнородной филологической продукции делает эту область изысканно трудной в смысле источниковедческого обследования, постепенно достигшего значительных результатов.

Сохранив часть несметных словарных богатств античности, засвидетельствовав до некоторой степени и явления более позднего литературного языка, византийская лексикография влилась в грецистику нового времени: без нее немислимо было появление Тезауруса Этьенна, составляющего основу также и современных знаний о греческой лексике. Чтобы избежать недоразумений, отметим, что ценность поздних лексикографических собраний ни в коем случае не подразумевает равноценности того разнородного материала, который в них сохранен; сведения, имеющие капитальную важность для восстановления истории греческих слов и выражений, часто обнаруживаются только после того, как рассмотрено и отброшено множество неубедительных толкований, данных тою же национальной греческой лексикографией.

---

<sup>174</sup> A m m o n i u s, De adfinium vocabulorum differentia / Ed. K. Nicksau. Lipsiae, 1966.

<sup>175</sup> Corpus Glossariorum Latinorum / Ed. G. Goetz. Lipsiae, vol. II, 1888. См. также Glossaria Latina. Paris, 1926, vol. 2.

<sup>176</sup> О собранной А. Дэнном обширной коллекции латинских правовых терминов, транскрибированных греческими буквами и снабженных греческим переводом, сообщает S. Perentides (BSLP, (1979) 74, 2, p. 172—174); ср.: B ü r g m a n n L. Byzantinische Rechtslexica. — In: Fontes Minores, 1977, Bd 2, S. 87—146.

<sup>177</sup> По-своему изящны триметры Иоанна Мавропода, учителя Пселла, представляющие собой венок этимологических эпиграмм, расположенных по тематически-понятийным связям разъясняемых слов. Текст напечатан в кн.: R e i t z e n s t e i n R. Marcus Terentius Varro und Johannes Mauropus von Euchaita: Eine Studie zur Geschichte der Sprachwissenschaft. Leipzig, 1901, S. 3—30.



## ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ В РАМКАХ ФИЛОЛОГИИ И РИТОРИКИ

Грамматические дисциплины и лексикология как античной, так и византийской эпохи вошли в центр того круга интересов, который с некоторых пор называется лингвистикой. Это не означает, что наблюдение над языком ограничивалось этими формами. Филология, а также смежная с ней риторика, затрагивали и другие, тоже существенные стороны языка и речи.

Высшее образование в Византии не знало того взлета, который в Западной Европе был связан с распространением университетов. Старые культурные центры — Афины, Александрия, Антиохия, Бейрут, Газа, Кесария в Палестине, Нисибис — равно пострадали от внутренних и внешних перемен. Поэтому для средне- и поздне-византийского времени оставались главным образом школы Константинополя, Фессалоники, Трапезунда, Мистры.<sup>178</sup> По частным вопросам, связанным с хронологией, преемственностью и характером так называемого Константинопольского университета и других столичных школ, ведутся споры.<sup>179</sup> Так или иначе, наличие высокообразованных византийцев (надо помнить, что у византийцев всегда были сильны традиции автодидактики) свидетельствует о том, что тяга к высшему образованию существовала даже в самое глухое время. С другой стороны, немногочисленность крупных ученых показывает, что дело обстояло не вполне благополучно. Частичная деинституционализация высшего образования заметна и на такой характерной для византийского быта черте, как так называемые «театры» (θέατρα) — литературные кружки, или, как сказали бы теперь, «семинары», где литераторы могли показать свою работу и получали «аплодисменты публики взамен финансовой поддержки».<sup>180</sup>

Византийская филология была призвана оказывать помощь в ситуации углублявшейся диглоссии; сохранить, а это значит деятельно сохранять, древнюю книжность; изготовлять пособия, облегчающие подражание признанным за образец языческим и христианским авторам; служить, наконец, государству, воспитывая в будущих чиновниках способность составить официальный документ, поддерживать имперскую идеологию, мифы которой не могли обойтись без римской и эллинской древности.<sup>181</sup> Что

---

<sup>178</sup> История Византии. М., 1967, т. 1, с. 379—394, лит.: с. 510—511 (Е. Э. Гранстрем, З. В. Удальцова); т. 2, с. 354—368, лит.: с. 460—462 (Гранстрем Е. Э., Каждан П. А.); т. 3, с. 219—233, лит.: с. 366—367 (Липшиц Е. Э.). См. также: К а ж д а н А. П. Книга и писатель в Византии. М., 1973, с. 53—72.

<sup>179</sup> См. рец. на труд П. Шпека о высшем образовании в Византии в: ВЗ, (1978) 71, S. 357—359 (Moffat A.).

<sup>180</sup> H u n g e r H. State and Society in Byzantium. — Proceedings of the Royal Irish Academy. Dublin, 1982, ser. cont., vol. 82, p. 208; М е д в е д е в И. П. Византийский гуманизм XIV—XV вв. Л., 1976, с. 13—19.

<sup>181</sup> H u n g e r H. Die hochsprachliche... S. 3—9.

касается персональных филологических достижений, то наиболее значительными учеными были в XII в. Иоанн Цец и Евстафий Фессалоникийский, а затем знаменитая квадрига эпохи Палеологов — Плануд с его учеником Мосхопулом, трудившиеся в Константинополе, и Фома Магистр с Дмитрием Триклинием, оба связанные с Фессалоникой.<sup>182</sup>

Эти материалы привлекают теперь внимание под различными углами зрения: изучаются филологические школы, сложившиеся в Византии,<sup>183</sup> исследуется монографически творчество крупнейших византийских филологов. Так, в руководимом В. Костером голландском издании корпуса схолиев к Аристофану уже изданы схолии Цеца,<sup>184</sup> что должно было служить прежде всего надежному выделению древнейших схолиев, но представляет и самостоятельный интерес. Обширные комментарии Евстафия к Гомеру заново переиздаются.<sup>185</sup> Тщательно обследованы личные ученые пристрастия и особенности терминологии Фомы, Мосхопула, Триклиния.<sup>186</sup> Те же вопросы затрагиваются и в исследованиях, ставящих своей целью монографическое изучение рукописной традиции того или иного античного автора, что практически бывает равнозначно изучению работы византийцев.<sup>187</sup>

Для нашего рассмотрения в этом обширном материале существеннее всего то, что в своих схолиях византийские филологи, опираясь на позднеантичное и даже эллинистическое наследие, располагали таким богатым языком описания языковых явлений, что могли бы привести в изумление наших неизбалованных современников, как это видно из указателей<sup>188</sup> или специальных подборок этой филологической синонимии. В качестве примера

<sup>182</sup> Ibid., S. 55—77 Хунгер дает списки этих шести филологов.

<sup>183</sup> Laurdas B. *Ἡ κλασικὴ φιλολογία εἰς τὴν Θεσσαλονικίην κατὰ τὸν δεκάτον τέταρτον αἰῶνα* (= *Ἐταιρεία Μακεδονικῶν Σπουδῶν*, 37) *Θεσσαλονίκη*, 1960; резюме в: BZ, (1960) 53, S. 431. См. также: Garza A. *Sur la production philologique au début du XIV siècle à Byzance.* — In: *Actes du XIV congrès...*, București, 1971, (1975), 2, p. 99—102.

<sup>184</sup> Joannis Tzetzae *Commentarii in Aristophanem* / Edd. L. Massa Positano, D. Holwerda, W. J. W. Koster, fasc. 1—3, 1960—1962, Indices — 1964.

<sup>185</sup> Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis *Commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes* / Ed. M. van der Valk. Leiden, vol. 1—3 (A—P), 1971—1979.

<sup>186</sup> Hopfner Th. *Thomas Magister, Demetrios Triklinios, Manuel Moschopoulos. Eine Studie über ihren Sprachgebrauch in den Scholien zu Aischylos, Sophokles, Euripides, Aristophanes, Hesiod, Pindar und Theokrit.* — In: *SB der Akademie der Wissenschaften in Wien*. 1912, Bd 172, Abh. 3. — В последние десятилетия исследованиями этого рода занимается Б. Шартау.

<sup>187</sup> Значительнейшим представителем этого исследовательского направления был А. Турын, ученик Ф. Ф. Зелинского в послепетербургский период деятельности последнего. А. Турын написал монографии о рукописной традиции трех великих трагиков.

<sup>188</sup> Baar J. *Index zu den Ilias-Scholien. Die wichtigsten Ausdrücke der grammatischen, rhetorischen und ästhetischen Textkritik.* Baden-Baden, 1961 (= *Deutsche Beiträge zur Altertumswissenschaft*, 15); Rutherford W. *Scholia Aristophanica*, London, 1902, vol. 3 (A Chapter in the History of Annotation).

можно указать на десяток (и более) выражений, которыми в схолиях к Аристофану характеризуются различные виды смысловой двойственности.<sup>189</sup> В этой, в широком смысле стилистической, области уже не заметно того однообразия, которое господствует в школьной по преимуществу грамматике.

Языковедческий интерес процветавшего в Византии филологического жанра схолиев очевиден и в том, как, например, Евстафий, внимательный к фактам народной жизни, отмечает в своих комментариях между прочим и формы народной речи,<sup>190</sup> что весьма важно для неогрецистики. Иногда считают, что интерес и Евстафия, и Цеца к новым языковым явлениям свидетельствует о характерном для XII в. более свободном отношении к идеалам классицизма.<sup>191</sup> Нечто родственное, а именно побуждение к собиранию пословиц, включая и относительно новые, характерно не только для Евстафия, но и для Пселла и Плануда,<sup>192</sup> не говоря о составителях сборников, оставивших неоценимое собрание старинных греческих пословиц и выразительных речений.<sup>193</sup>

Оценивая филологическое комментирование классиков, приходится, конечно, признать, что старые схолии во многих отношениях интереснее поздних. Это не означает, однако, что следует преуменьшать степень искушенности византийских филологов. Вспомним, что Виламовиц придавал византийским издателям большое значение в истории традиции, а Триклиния, как и Марка Музура, почитал за выдающихся классиков по наивысшим меркам.<sup>194</sup> Во всяком случае, византийские филологи умели ценить такие объяснения, которые теперь и сами нуждаются в пояснении; они не думали, вероятно, что Аристофан Византийский, автор изящного схолия к ст. 1107 «Облаков» Аристофана: ἀπραγμοσύνη δὲ φυτόν... ἐν Ἀκαδημίᾳ φρούμενον, т. е. приблизительно «отрешенность — дерево, насаждаемое в академии», принимает ἀπραγμοσύνη за ботанический термин.<sup>195</sup>

Наконец, отметим обстоятельство, пожалуй, даже и неожиданное — влияние византийских представлений, а иногда и споров о строении или истории некоторых слов на воспроизведение этих слов в языках восточно-христианского круга. При столь тесных

<sup>189</sup> Holzinger C. von. De verborum lusu apud Aristophanem. Vindobonae, 1876, p. 16—17.

<sup>190</sup> Kallitziunakis J. E. Mittel- und neugriechische Erklärungen bei Eustathius, 1919; Kukules Ph. Θεσσαλονίκης Εὐσταθίου τὰ γραμματικά, Ἀθήναι, 1953 (реф.: BZ, (1953) 46, S. 434 (Dölger F.)).

<sup>191</sup> Brownling R. Language of Byzantine Literature (см. выше, прим. 136).

<sup>192</sup> Strömberg R. Greek Proverbs. Göteborg, 1954, p. 118—119; Kurtz E. Die Sprichwörtersammlung des Maximus Planudes. Leipzig, 1886.

<sup>193</sup> Leutsch E. L. A., Schneidewin G. Corpus paroemiographorum Graecorum. Göttingae, vol. 1—2, 1839—1851 (перепеч. 1958).

<sup>194</sup> Wilamowitz U. von. Geschichte der Philologie. 1927<sup>3</sup> (перепеч.: Leipzig, 1959, S. 4).

<sup>195</sup> Недоумение по этому поводу вслед за английским издателем «Облаков» высказывал С. И. Соболевский (в кн.: Аристофан: К 2400-летию со дня рождения. МГУ, 1956, с. 150).

и определяющих контактах бывают случаи, что кабинетная этимология в языке-образчике может со временем порождать живую внутреннюю форму в другом языке. Скажем, слово «насущенный», вошедшее в русский язык, представляет собой кальку греч. ἐπιούσιος из «Отче наш», восходящую к тому толкованию структуры этого слова (ἐπι-ούσιος, т. е. «жизненно необходимый»), которые существовало у византийских экзегетов (например, у Иоанна Дамаскина — PG 94, col. 1152) рядом с другим, которое можно считать лингвистически более правдоподобным (ἐπι-ούσιος в смысле «завтрашний, очередной»). Последнее также отражено в славянской письменности, но не имело равного успеха в обиходном словоупотреблении. Для решения вопроса о том, как понималось ἐπιούσιος евангелистом, история русского слова «насущенный» дает, разумеется, мало; зато независимо от адекватности или неадекватности исторически подлинному евангельскому смыслу русское слово «насущенный» живет, сохраняя в себе частицу позднеантичной и византийской семантической рефлексии.

Но не только филология была внимательна к стилистике. Риторика, которая по-прежнему служила основой высшего образования, приучала заниматься той же стилистикой деятельным, а значит наиболее эффективным образом. То, что литературная продукция византийцев перенасыщена риторической стихией,<sup>196</sup> не должно отвлекать нас от положительных сторон риторического образования. Аристотель прямо утверждал (Rhet. 1, 4; 1359в),<sup>197</sup> что риторику надо рассматривать не как знание, а как δῶσις — живую способность и силу. Для нас, однако, сейчас еще важнее то, что в развитой древними риторической дисциплине,<sup>198</sup> которой умели обучать так же, как всякой другой, в систематической форме отразилось долгое и активное наблюдение за художественной речью — этой праздничной разновидностью языковой способности человека.<sup>199</sup> Таким образом, античная риторика разрабатывала искусство речи с точки зрения говорящего, между тем как филология ориентировалась на воспринимающего художественную речь. Обе соединяли в себе то, что теперь называют поэтикой и герменевтикой. Византия не порывала с этой традицией.

Создание учения о тропах (обычно применительно к отдельному слову) и о фигурах речи и мысли (украшения, касающиеся сочета-

---

<sup>196</sup> RE, (1940) Suppl. 7, s. v. Rhetorik, Sp. 1039 ff. (Kroll W.); Kennedy G. A. 1) Classical Rhetoric and its Christian and Secular Tradition from Ancient to Modern Times. Chapel Hill, 1980; 2) Greek Rhetoric under Christian Emperors. Princeton, 1983; cf.: Beck H. G. Antike Beredsamkeit und byzantinische Kallilogia. — In: Ideen und Realitäten in Byzanz. London, 1972, 91 ff.

<sup>197</sup> Античные риторики. М., 1978, с. 27.

<sup>198</sup> Eisenhut W. Einführung in die antike Rhetorik und ihre Geschichte. Darmstadt, 1977 (с лит.).

<sup>199</sup> И. М. Троицкий во вступлении к кн. «Античные теории языка и стиля» (М.; Л., 1936, с. 15) говорит о «науке художественной речи, риторике».

ния слов), их описание,<sup>200</sup> попытки классификации и оценки<sup>201</sup> были существенной частью риторического, активно гуманитарного образования. То, что эти занятия имели преимущественно прикладное значение, не только не отменяет объективной значимости сделанных тогда наблюдений за художественными возможностями языка, но как раз объясняет их мощь. А то, что теперь явления эстетики речи воспринимаются вместе с изучающей их стилистикой как нечто, не имеющее вполне самостоятельного статуса и находящееся где-то между лингвистикой и литературоведением, характеризует не столько действительный их объем и значение, сколько состояние современной гуманитарной культуры, когда литературоведение и лингвистика в муках порождают целое семейство молодых дисциплин, контур которых в целом, кажется, напоминает их старую общую *alma mater* — филологию.<sup>202</sup> Методическое воссоздание и обдумывание заново старых приемов филологической работы в рамках, скажем, лингвистики текста, может оказаться плодотворным — при условии, что главным будет считаться не употребление новых выражений, а осмысление герменевтического опыта, выдержавшего испытание веков.<sup>203</sup> Примечательно, что расширение области поэтики в последние десятилетия — там, где оно разумно, — связано с включением в нее части того, чем встарь занималась риторика, служившая как бы поэтикой речи, между тем как собственно «поэтика» была ближе к современной теории и истории литературы.

Если языкознание не желает лишиться личностного измерения и хочет углублять историзм, не ограничиваясь генеалогией<sup>204</sup> отдельных языковых элементов, оно никуда не уйдет ни от вопросов, связанных с источниками, ни от нужды в стилистически изощренном, протейческом, так сказать конскриптивном, их истолковании.<sup>205</sup> Нельзя забывать, что именно филологическая работа над первоклассными авторами способствует развитию герменевтической восприимчивости, и недаром на упадок артистического языкового чувства жалуются теперь те исследователи, которые в состоянии окидывать взглядом перипетии гуманитарной традиции.<sup>206</sup>

<sup>200</sup> Lausberg H. Handbuch der literarischen Rhetorik. München, 1962, Bd 1—2.

<sup>201</sup> Volkman R. Die Rhetorik der Griechen und Römer in systematischer Übersicht, Leipzig, 1885<sup>2</sup> (1901<sup>3</sup>) (перезд. 1963).

<sup>202</sup> М а ч а в а р и а н и М. В. О предмете лингвистики. — В кн.: Проблемы языкознания (=Soviet Contributions to the Bucharest Congress). М., 1967, р. 33—38.

<sup>203</sup> Usener H. Ein altes Lehrgebäude der Philologie, 1892 (=Kleine Schriften, 1913, Bd 2, S. 265—314).

<sup>204</sup> Jakobson R. Mélanges Benveniste. Paris, 1975, vol. 2, p. 289.

<sup>205</sup> Э. Швицер выделяет эти древние добродетели в трудах В. Шульце (Schulze W. Kleine Schriften. Göttingen, 1933, Zum Geleit).

<sup>206</sup> Назовем две работы, появившиеся недавно одна вслед за другой: Seidler H. Ein vernachlässigtes Gebiet der Sprachwissenschaft — die Sprachkunst. — In: Anzeiger der Österreichischen Akademie der Wissenschaft,

Интересно, что младограмматики, способствовавшие выделению языкознания в отдельную дисциплину, подчеркивали, что речь идет не об отрицании единства предмета науки, а лишь о разделении труда.<sup>207</sup> Так они, наверное, и думали, однако по человеческой слабости бывает так, что счастливые стороны нового, невольно привлекая к себе взгляд, часто заставляют забыть как раз то, что было непременным условием их появления.<sup>208</sup> Поэтому не зря Г. Германи и А. Лобек, укорененные в филологии, угадывали некую опасность в нарождающемся сравнительном языкознании; и если в этой их реакции нельзя отрицать доли обскурантизма, то оборотной стороной этого изъяна были доблестная преданность традициям и чуткость к словесному мастерству, которое существенно для всех, кто имеет дело с текстами.

Такие прозорливыцы, как Г. Курциус, миривший новое научное языкознание и гуманистическую филологию, видели и достоинства, и недостатки нового положения вещей, особенно в сфере древних языков, материал которых не может быть освоен без помощи филологической критики.<sup>209</sup> Дальнейшее обособление и специализация лингвистики привели к тому, что основные вопросы общего языкознания не раз оказывались в XX в. легкой добычей для недисциплинированного мышления, а общий филологический фундамент, на котором прочно стояли основатели языкознания, потерялся из виду. На этом фоне борьбы серьезных идей становится понятней горечь, с которой Г. Улиг защищал национальную греческую грамматику.<sup>210</sup> Отсюда же легче понять, в чем был прав, а в чем не прав Я. Grimm, упрекая филологов-классиков в безразличии ко всему тому, что «выходит за пределы речевого употребления, поэтической техники и содержания произведения»: <sup>211</sup> он, видимо, не предчувствовал, что за такой критикой может последовать радикальная отчужденность как раз от всего того, что он перечислил. Между тем тогда же были ученые, которые указывали на то, что изучение речи (нуждающееся, разумеется, в адекватных описаниях языка) было в центре внимания древних и вообще составляет, в отличие от логики и этимологии, центральную задачу языкознания.<sup>212</sup> Предлагалось и несколько иное

(1977) 1978, Jg 114. S. 305 ff; K n o b l o c h J. Das Sprachgefühl, ein vernachlässigter Begriff. — In: Wege zur Universalienforschung. Sprachwissenschaftliche Beiträge zum 60. Geburtstag von Hansjakob Seiler. Tübingen, 1980, S. 51 f.

<sup>207</sup> B r u g m a n n K. Griechische Grammatik = Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft. Nördlingen, 1900, Bd 2, S. 4.

<sup>208</sup> J a k o b s o n R. Mélanges Benveniste. . . , p. 291; «discoveries and oblivions are used to go together». Пример Р. Якобсона: гуманисты своими преимуществами заслонили достижения модистов, которые были надолго забыты.

<sup>209</sup> C u r t i u s G. Philologie und Sprachwissenschaft. Leipzig, 1862, S. 17 ff.

<sup>210</sup> Dionysii Thracis Ars Grammatica, ed. G. Uhlig, Lipsiae, 1883, p. VII (=Gr. Gr., 1, 1).

<sup>211</sup> G r i m m J. Über den Ursprung der Sprache. Berlin, 1852<sup>3</sup>, S. 6.

<sup>212</sup> C u r t i u s G. Philologie und Sprachwissenschaft, S. 20. Ранее близкие идеи высказывал К. Шмидт (S c h m i d t K. E. A. Beiträge zur Geschichte der Grammatik des Griechischen und Lateinischen. Halle, 1859).

решение, также учитывающее необходимость как специализации, так и общности филологии и языкознания: лингвистике предлагалось изучать прежде всего естественную сторону языка, а филологии его культурную сторону.<sup>213</sup>

Этот экскурс в историю языкознания рядом с описанием греко-византийского подхода к языку должен показать, что утрата корней в риторико-филологическом образовании представляется отрицательным моментом в развитии современного языкознания. В отличие от других областей, где нелепо было бы отрицать крупные успехи знания и обогащение его структуры, в этом, весьма серьезном, на наш взгляд, пункте греческие занятия языком были организованы счастливее.

В Византию античная риторическая традиция<sup>214</sup> пришла главным образом от Гермогена (II в. н. э.) и Менаандра Лаодикийского (III в.) через Афтония (IV в.), а от себя византийцы могли бы назвать, например, специальные сочинения Пселла<sup>215</sup> или указать на риторическую осведомленность Евстафия<sup>216</sup> и многих других вплоть до Георгия Трапезундского (XV в.), чья «Риторика» привела на Запад греческую теорию византийского времени.<sup>217</sup> Филологическая и риторическая искусственность образованных византийцев, писавших по вопросам языка, составляла их сильную, поучительную для нашего времени сторону.<sup>218</sup> Представляется, что по причинам, изложенным выше, вычленение из необъятного риторико-филологического массива того, что относится к стилистике речи, имеет и актуальное значение.

## ПРАКТИКА И ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА

После крестоносцев внимание к Западу стало ощутимо и выразилось между прочим в более энергичной переводческой деятельности:<sup>219</sup> византийцы начали переводить с латинского богословско-философские трактаты. Димитрий Кидонис и его ученики были филотомистами; Геннадия Схолария мы уже упоминали в связи с переводом на греческий логического трактата Петра Испанского. Несколько особняком стоят грамматические сочинения, получившие название «греческих Донатов». Греческие под-

<sup>213</sup> Herzog E. von. Untersuchungen über die Bildungsgeschichte der griechischen und lateinischen Sprache. Leipzig, 1871.

<sup>214</sup> Часть византийских риторик представлена в старых изданиях греческих риторических сочинений Х. Вальца и Л. Шпенгеля.

<sup>215</sup> Их исследованию посвящены статьи Я. Н. Любарского и Т. А. Миллер в книге: Античность и Византия. М., 1975, с. 114 сл.

<sup>216</sup> Lindberg G. Studies in Hermogenes and Eustathios. Lund, 1977.

<sup>217</sup> Georgii Trapezundii Rhetoricorum libri V. Basileae, 1522; Venetiis, 1523; cf.: Monfasani J. George of Trebizond. Leiden, 1976, p. 18.

<sup>218</sup> Tomadakis N. B. La filologia bizantina dalla ricerca storica all'interpretazione estetica. — In: Rivista di Cultura Classica e Medioevale, (1960) 2, p. 278—299.

<sup>219</sup> Kianka F. Demetrius Cydones and Thomas Aquinas. — In: Byzantion, (1982) 52, p. 264—286.

строчники, служившие, может быть, сперва для изучения латинского языка и его грамматической терминологии, стали со временем использоваться итальянскими гуманистами как пособие по греческому языку. По-видимому, именно так можно объяснить, что положительная степень прилагательных, связанная в греческой грамматике с выражениями *ἀπλοῦς*, *ἀπλότος*, а в латинской — с *positivus*, в «греческом Донате» передается с помощью прилагательного *θετικὸς*, воспроизводящего латинское выражение.<sup>220</sup>

У Плануда эта деятельность имела не только широкий размах, но и приобрела артистический характер, что не было освоено греческой культурой времен расцвета. В переводе Цицеронова «Сна Сципиона» и в особенности «Утешения философии» Боэция Плануд заботился о художественном воссоздании иноязычного текста,<sup>221</sup> догоняя таким образом римлян и латинян, для которых переводы с греческого были литературной задачей, сыгравшей существенную роль в развитии собственных начал — М. Грабман признавал, что многое в западной схоластике основано на переводах из греческих отцов<sup>222</sup> церкви. Переводчиками греческих философов на латинский часто бывали венецианцы, тесно соприкасавшиеся с Византией (например, Яков из Венеции, XII в.), а также выходцы из Южной Италии (скажем, Генрик Аристипп из Катании, тоже XII в.).<sup>223</sup> Оттуда же происходил известный ученик Варлаама Калабрийского Леонтий Пилат, который по наущению Петрарки отважился переводить Гомера на латинский. Впоследствии такие переводы на латинский и даже оригинальные латинские сочинения становятся все более обычны для переселившихся на Запад византийцев (кардинал Виссарион, Феодор Газа, противник их обоих Георгий Трапезундский, Мануил Хрисолор, оба Ласкариса и др.). Переводили византийцы и с других языков — Симеон Сиф перевел по заказу имп. Алексея I старинный сборник, который в арабском обликии назывался «Калила и Димна», а в греческом переводе с арабского получил название «Стефанит и Ихнилат». В ходу были переводы на греческий с сирийского; трапезундские ученые переводили и с персидского. Грандиозной можно назвать программу «эксэллинизации» юстиниановых законов, т. е. их авторитетного перевода на греческий, что и завершилось созданием «греческого Юстиниана» — многотомного свода «Василик».<sup>224</sup>

<sup>220</sup> S c h m i t t W. O. *Donati Graeci*. — In: Actes de la XII Conférence Internationale d'Études Classiques. EIRENE. Clúj-Napoca, 1972. București; Amsterdam, 1975, p. 205—213.

<sup>221</sup> In: RE, (1950) 20, Sp. 2241—2244 s. v. (Wendel C.) S c h m i t t W. O. *Lateinische Literatur in Byzanz. Die Übersetzungen des Maximus Planudes und die moderne Forschung*. — In: JÖBG, (1968) 17, S. 127—147.

<sup>222</sup> G r a b m a n n M. *Die Geschichte der scholastischen Methode*. Berlin, 1956, Bd 2, S.

<sup>223</sup> Ibid., S. 73—76.

<sup>224</sup> Л и п ш и ц Е. Э. *Законодательство и юриспруденция в Византии в IX—XI вв.* Л., 1981.



Впрочем, не на этих переводах, а скорее на переводе Библии, соборных постановлений и авторитетных высказываний в богословских спорах настаивалось представление о том, что такое перевод в собственном смысле слова. На Западе этот вопрос стоял издавна. Вокруг библейских переводов Иеронима, пожелавшего освободиться от греческого посредничества и обратиться прямо к древнееврейскому оригиналу (*veritas Hebraica*), разгорелись споры.<sup>225</sup> Ученик Доната и сам тонкий ценитель классической римской литературы, Иероним пробудил на Западе стремление к полноценной передаче подлинника. Впрочем, уважение к тексту Священного писания требовало столь демонстративной близости к оригиналу, что в библейских переводах с еврейского даже Иероним иногда доводил «точность» до невнятицы.<sup>226</sup>

Наличие мерил ответственности переводчика существенно для адекватного восприятия вечных, кажется, рассуждений о буквальном (*κατὰ τὸ γράμμα*) или же вольном (*καθ' ἑρμηνείαν*) переводе. Когда есть «традиционные» тексты, вольный перевод означает не то, что подразумевают под этим мастера перевода новейшего времени с характерной для них теорией соревнования с оригиналом. У византийских филологов, трудившихся на Западе, можно встретить противоположные точки зрения на технику перевода. Возражая сторонникам буквализма, Мануил Хрисолор, ставший во Флоренции с 1397 г. учителем знаменитых своими переводами с греческого на латинский гуманистов Леонардо Бруни, Поджо Браччолини и Филельфо, отстаивал перевод по смыслу.<sup>227</sup> Буквалистические переводы в духе Вильгельма Мербеке (XIII в.), который всякое б передавал через *hic*, сменились теперь гуманистическим воссозданием греческих классиков на отличной латыни. Что касается молодых восточно-христианских литератур, то для их переводческой практики<sup>228</sup> представления о переводе, бытовавшие в Византии, играли существенную роль, как это можно видеть, начиная с Иоанна Экзарха Болгарского до ученых греков, приглашенных для помощи в книжной справе при Никоне.

Весьма любопытен эпизод из переводческой практики XIV—начала XV в. Кардинал Виссарион передал в 1468 г. Венецианскому сенату среди прочих рукописей перевод на греческий<sup>229</sup> большей части ветхозаветных книг. Перевод вызвал восхищение ученых новейшего времени точностью понимания подлинника и

<sup>225</sup> Н е с к Р. *Übersetzungsprobleme im frühen Mittelalter*. Tübingen, 1931; *Analecta Bollandiana*, (1942) 60, p. 308 sqq (Blatt F).

<sup>226</sup> *The Latin Josephus* / By F. Blatt. København, 1958, p. 18.

<sup>227</sup> М е д в е д е в И. П. Византийский гуманизм XIV—XV вв. Л., 1976, с. 48 (в прим. 162 литература к этому вопросу).

<sup>228</sup> По этой теме на русском материале см.: М а т х а у з е р о в а С. Древнерусские теории искусства слова. Прага, 1976.

<sup>229</sup> *Graecus Venetus. Pentateuchi, Proverbiorum, Ruth, Cantici, Ecclesiastae, Threnorum, Danielis versio Graeca* / Ed. O. de Gebhardt. Lipsiae, 1873. — Догадки о том, кто мог быть автором этого перевода см. там же, p. LXX sqq. (Г е б х а р д т) и в предисловии Ф. Делича (наше внимание к этому памятнику привлек А. А. Алексеев).

смелостью в использовании разнообразных средств греческого языка. Ученый издатель этого перевода отметил, что арамейский пассаж из книги Даниила 2, 4—7, который в Септуагинте и eo ipso в сделанных с нее переводах выдержан в том же слого, что и прилежащие к нему части, здесь воспроизводится с дорийской окраской,<sup>230</sup> которая должна была некоторым образом передать перемену диалекта в подлиннике. Откуда бы ни пришла решимость переводчика подняться на новый уровень точности, средство к решению было ему подсказано, наверное, греческой литературой, которая исстари прибегала к различным диалектам и их смешению в высоко поэтической речи. Случай этот показывает между прочим и то, как бедны «буквализмом» так называемые буквалистические переводы и как стремление к досконально точному воссозданию подлинника неожиданно смыкается с тем, что принято считать противоположностью буквализма.

## ЗНАЧЕНИЕ ВИЗАНТИЙСКОГО ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОГО ОПЫТА

Из сочинений У. Виламовица можно подобрать целую коллекцию высказываний, в которых филолог, убедительно соединявший старое и новое в единое живое знание, признает значимость собственно византийского вклада в грецистику нового времени. Не идеализируя византийскую филологию, Виламовиц тем не менее утверждал, что она как раз тогда даст особенно много для истории античной словесности, когда византийцами займутся ради них самих.<sup>231</sup> Его похвалы в адрес Триклиния и Марка Музура известны. Говоря об акцентуации, принятой в изданиях Нового времени, Виламовиц замечает, что «в отдельных вещах мы, несмотря даже на Геродиана, остаемся рабами византийцев».<sup>232</sup> Иначе говоря, тот, кто относится небрежно к византийскому этапу традиции, не осознает ни того, в чем он обязан их заслугам, ни того, в чем он руководствуется их заблуждениями. Последнее случается нередко,<sup>233</sup> являя собой печальный парадокс. Осмотрительнее поступает тот, кто не упускает из виду перипетии преемственности новой византийской и античной грецистики. Так, лишённые ударения формы  $\delta$ ,  $\eta$ ,  $\epsilon\iota$ ,  $\omicron\upsilon$  etc. введены в Средние века, а имя *proclitica* (*atona*) дано этим формам еще позже — Г. Германном. Более того, нынешняя система акцентуации классических

<sup>230</sup> Ibid., p. 518—537.

<sup>231</sup> Wilamowitz-Moellendorf U. von. Geschichte der Philologie. Leipzig, 1927<sup>3</sup> (перевзд. там же, 1959), S. 2—5, 74.

<sup>232</sup> Aischylos. Orestie. Griechisch und deutsch von U. von Wilamowitz-Moellendorf. Zweites Stück: Das Opfer am Grabe. Berlin, 1896, S. 146.

<sup>233</sup> Кроме эпизода с пришедшим в новое время через византийцев префиксом  $\lambda\alpha$ -, нам случилось наблюдать нечто сходное применительно к византийским  $\epsilon\lambda\omicron\upsilon\delta\epsilon\sigma\iota\varsigma$  аристофановских комедий, которые могли заслонять и более древние изложения, и самый текст Аристофана; см. об этом: G a v r i l o v A. Zur Exposition des aristophanischen «Plutos». — In: Philologus, (1981) 125, S. 188 ff.

текстов есть не что иное, как византийская, представлявшая собой переосмысление и перестройку александрийской и позднеантичной систем.<sup>234</sup> Привычные для нас написания названий греческих букв, как ε̄ φίλον, ξι, ὀ μικρόν, πι, представляют собой византийскую запись античных εἶ φίλον, ξει, οῦ, πεῖ<sup>235</sup> и т. д. И это естественно, раз грецистика — в отличие от универсальных грамматических понятий, врученных Риму еще эллинизмом, — именно Византией была передана в руки западных гуманистов.<sup>236</sup> И хотя в грамматической науке греческих наставников было мало принципиально нового,<sup>237</sup> эллинофилам Запада пригодилась надежная грецистика греков. Большинство выдающихся гуманистов многих национальностей (не говоря об итальянцах, такие люди, как Г. Бюде и Я. Рейхлин) учились у кого-нибудь из византийцев, а чаще — у нескольких. Ромеям не пришлось стать гувернерами — они были профессорами университетов, украшали академические содружества, знакомили Запад с греческими текстами и помогали описывать рукописные собрания Флоренции, Венеции, Фонтенбло; они же наблюдали за изданием первых греческих книг, предлагая, между прочим, свои шрифты, носившие отпечаток индивидуальных почерков. О грамматиках уже говорилось; что касается основополагающих словарей, то Димитрий Халкондил подготовил editio princeps Суды (1499), а Марк Музур — Гезихия, Etymologicum Magnum и др. В метавизантийское время на Крите расцвела сложившаяся там давно греко-венецианская культура (Критское Возрождение). Наследие греческой национальной грамматики в новом гуманистическом языкознании было одной из слагающих.<sup>238</sup> И если для восточно-христианского культурного круга из этого наследия жизненно важны были начала грамматики и риторики, то Запад занимали теперь филологические подробности, необходимые для воскрешения и всестороннего освоения древнегреческого языка.

Резюмируя состояние научной обработки материала, на котором должна строиться история византийского языкознания, сле-

<sup>234</sup> Jahresberichte über die Fortschritte der classischen Altertumswissenschaft, (1884) 38, S. 96 (Egenolf P.); смелая реконструкция истории знаков ударения (в особенности история так называемого accentus gravis) предложена Б. Лаумом: L a u m В. Alexandrinisches und byzantinisches Akzentuations-system. — In: RhM, (1920) 73, S. 1—34.

<sup>235</sup> См. примечания Н. М. Троицкого в кн.: Античные теории языка и стиля. М.; Л., 1936, с. 293.

<sup>236</sup> G e a n e k o p l o s D. J. Interaction of the «Sibling» Byzantine and Western Cultures in the Middle Ages and Italian Renaissance (330—1600). New Haven; London, 1976. — Этой темой занимался еще зачинатель антиковедения в Петербургском университете М. С. Куторга — см. его посмертно изданную работу: Водворение на Западе изучения эллинизма с эпохи Возрождения, в кн.: ЖМНП, 275 (1891, май, с. 81—120, июль, с. 216—251).

<sup>237</sup> S c h w y z e r E. Gr. Gr. 1953<sup>2</sup>, Bd 1, S. 8.

<sup>238</sup> K u k e n h e i m L. Contributions à l'histoire de la grammaire grecque, latine et hébraïque à l'époque de la Renaissance. Leiden, 1951; P a d l e y G. A. Grammatical Theory in Western Europe 1500—1700. The Latin Tradition. Cambridge, 1976.

Дует сказать, что в последние десятилетия накопление достижений вместе с оживлением интереса к греческому языковому сознанию привели к благоприятным переменам. Издания текстов филологического содержания, уточнение их атрибуции, выяснение источников как за пределами византийского времени, так и в его границах, позволяет исследователям частных вопросов лучше фиксировать особенности филологической культуры византийцев и давать им оценку, не зависящую ни от антивизантийской, ни от апологетической установок. В скором времени можно надеяться получить от специалистов в этой источниковедчески только теперь проясняющейся области такие обзоры, по которым можно будет отчетливо представить себе судьбы традиции, интересующей языковедов. Интенсивная работа по кодикологическому описанию мирового фонда греческих рукописей,<sup>239</sup> возродившаяся и у нас, способствует продвижению в этом деле:<sup>240</sup> имеют место поразительные находки, регулярно пополняется папирусный материал. Рукописи, содержащие греческие грамматические сочинения, хранятся и в собраниях СССР.<sup>241</sup>

Отсутствие обзорных работ по истории языкознания в византийский период объясняется не только естественными при освоении большой массы материала трудностями, ныне успешно преодолеваемыми наукой, но и тем, что интерес к собственным истокам у языкознания как отдельной дисциплины не может быть старше ее самой. Как мы старались показать, научная революция, стоящая за обособлением языкознания, не лишена своих проблем. Именно в этой связи раскрывается смысл старофилологической позиции, занятой Г. Германном и его школой. Перед внутренне демократичным историзмом А. Бёка эта школа отставала классическое значение античности; в сравнительном (и во многих отношениях уравнительном), научном (и даже слишком научном) языкознании она угадывала угрозу традиционной риторико-герменевтической речевой искренности. То, что *philologia perennis*, отстаиваемая хранителями традиции перед лицом меняющейся культуры, могла бы без потрясений такого рода оказаться застойной, — в этом опасность всякого консерватизма.

Мы уделили столько внимания спорам в классической филологии XIX в., в которых слышен отзвук спора древних и новых, потому, что они, кажется, помогают осмыслить как недостатки, так и достоинства консерватизма, отличавшего византийцев. Хранить обретенные ценности — это не так ярко, как создавать новые, но весьма существенно для блага традиции. Ведь не все

<sup>239</sup> Griechische Kodikologie und Textüberlieferung. Ein Sammelband. Hrsg. von D. Harlfinger. Darmstadt, 1980.

<sup>240</sup> Например: Schmidt W. O. Einige Bemerkungen zur griechischen Elementargrammatik Cod. Vat. Graec. 1388 fol. 79—92, in: TuU, 1977, Bd 124, S. 425—431.

<sup>241</sup> Самодурова З. Т. Греческие и древнерусские энциклопедические сборники X—XVII вв. — In: Beiträge zur byzantinischen Geschichte im Jh. 9—11, Praha, 1978, S. 413 ff., особ. S. 420.

новое ценно, и не все ценное ново. Отсюда понятно, что за консервативной позицией может скрываться и бессодержательная косность, и сознательное сохранение ценностей. И напротив, поклонение новому *κατ' ἐξοχήν*, свидетельствуя о притязательности, честолюбиво и переменами в невыгодную сторону: по природе своей творчество не только созидательно, но и разрушительно.

Мы видели, с другой стороны, что бедность Византии новаторством не означает отсутствия таких новшеств, как компендиарная переработка сведений, их алфаветизация, реформа книжности в IX в.<sup>242</sup> или новые дидактические приемы. Новшеством, связанным с волей к распространению христианской культуры, является и более сильное, чем у древних, стремление византийцев цивилизовать словесность тех народов, которые, нуждаясь в такой помощи, были склонны ее ценить. Новой была и решимость самим переводить на греческий иноязычную литературу и способствовать другим в освоении сокровищ греческой словесности.<sup>243</sup>

Чтобы оценить успехи византийцев в обращении с языковыми проблемами, необходимо сравнивать. Сопоставление с древними (при наличии ученой реконструкции античного языкознания, восстанавливающей то, что было утрачено в поздней античности и Византией), говорит в пользу древности. Языкознание византийцев — это прежде всего приспособление античного языкознания к новым историческим условиям. Сравнение со средневековым Западом не дает столь же отчетливого соотношения в пользу одной или другой стороны. Что касается других, например, восточноевропейских народов, то для них Византия была наставница, и они навсегда обязаны ей за это благодарностью. Переходя, наконец, к новейшему времени, следует сказать, что не в новых сведениях, а в благоразумном сохранении византийцами хотя бы некоторых элементов органичной образовательной системы; не в разработке дробящихся все далее дисциплин, а в здоровой иерархии словесного знания, еще не сломленной в погоне за новым, сила византийцев, и в этом есть много поучительного для тех, кому не чуждо «слабоумное — по слову Пушкина — изумление перед собственным веком». Византийская филология в этом отношении актуальна для критического самопознания современных гуманитарных дисциплин.

Как видим, капитальную важность при оценке византийских словесников имеет то, какая из сторон их языковедческих интересов берется в рассмотрение. Для теоретического языкознания византийцы интересны скорее косвенным образом; для грецистики они представляют неисчерпаемый и многообразный интерес; для

<sup>242</sup> У. Вилламовиц-Меллендорф (*Geschichte der Philologie*, S. 4) высказался о языковедческой стороне этого процесса: «тексты и схолии как раз в это время получают облик, в котором мы застаем их, чему предпосылкой может быть только солидная грамматическая ученость».

<sup>243</sup> Burg V. *Der byzantinische Kulturkreis*. — In: *Handbuch der Bibliothekswissenschaft*. (*Geschichte der Bibliotheken*). Wiesbaden, 1955, Bd 3, Hälfte 1, S. 146—187.

византинистов они — благодарный предмет изучения; наконец, для истории языковедческой традиции византийский период содержит материал, позволяющий наблюдать неповторимые обстоятельства, в которых многие эллинские достижения были в различном объеме переданы окружающим народам и превратились в явление глобальное.

## СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- Année philologique. Paris, 1928— : APH  
 Berliner philologische Wochenschrift. Leipzig, 1882— : BphW  
 Bulletin de la Société Linguistique de Paris. 1869— : BSLP  
 Jahresberichte über die Fortschritte der klassischen Altertumswissenschaft. Leipzig, 1873— : Bursian  
 Byzantinische Zeitschrift. München, 1892— : BZ  
 Classical Quarterly. Oxford, 1907— : CIQ  
 Classical Review. Oxford, 1887— : CIR  
 Grammatici Graeci. 11 voll. Leipzig, 1878—1910 : GrGr  
 Handbuch der (klassischen) Altertumswissenschaft (en). Nördlingen (München), 1885— : Hb AW  
 Jahrbuch der Österreichischen Byzantinischen Gesellschaft (Byzantinistik). Wien, 1951— : JÖB(G)  
 Lexikon der Alten Welt. Zürich, 1965 : LAW  
 Lexica Graeca Minora. Hildesheim, 1965 : LGM  
 Patrologia Graeca. Ed. J. P. Migne. Paris, 1857—1866 : PG  
 Reallexikon für Antike und Christentum. Stuttgart, 1950— : RAC  
 Paulys Realencyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft. 1. Reihe (A—Q), 1895—, 2. Reihe (P—Z) I A, 1914— : RE  
 Rheinisches Museum für Philologie. Frankfurt a. M., 1827— : RhM  
 Sammlung der griechischen und lateinischen Grammatiker. Berlin—New York, 1974— : SGLG  
 Tusculum—Lexikon griechischer und lateinischer Autoren des Altertums und des Mittelalters. München; Zürich, 1983 : Tusculum Lex.  
 Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur. Leipzig; Berlin, 1883— : TuU  
 Zeitschrift der Morgenländischen Gesellschaft. Wiesbaden, 1847— : ZDMG  
 Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. Bonn, 1967— : ZPE  
 Византийский временник. СПб., 1894—, М. 1947— : ВВ  
 Вопросы истории. М., 1945— : ВИ  
 Журнал министерства народного просвещения. СПб., 1834— : ЖМНП

## ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКА В ПАМЯТНИКАХ ПАТРИСТИКИ

---

§ 1. Традиционная схема мировой истории, так называемая гуманистическая трихотомия «античность—средневековье—новое время», с самого начала осознавалась как дихотомия: гуманисты считали свой просвещенный век временем возрождения и продолжения классической латыни и всей античной культуры, а мрачное средневековье — антиподом обеим эпохам. Гуманисты, эти «люди нового времени», не просто критиковали средневековую латынь, науку или культуру, они отказывали им в существовании, вычеркивали их из истории.

На протяжении ряда веков отношение к средневековой философии и средневековой науке продолжало оставаться по преимуществу негативным. Средние века рассматривались как эпоха застоя, эпоха глубокого упадка творческой мысли во многих областях культуры и науки, и в частности в сфере изучения явлений языка.

Лишь в последние десятилетия отношение к средневековой культуре существенно изменилось. В наше время крупные достижения средневековой культуры получили достойную оценку. Пристальное внимание проявляют современные исследователи и к тем трудам средневековых мыслителей, в которых рассматриваются проблемы языка. Хотя работа в этой области еще только начинается, сейчас уже очевидно, сколь крупный вклад внесли средневековые ученые в изучение лингвистических явлений. Исследования последних лет обнаруживают наличие глубоких преемственных связей между лингвистическими воззрениями Средних веков, с одной стороны, и учениями эпохи Ренессанса и Просвещения, с другой. Мы ясно видим теперь, что вся область европейской философии языка, вся лингвистическая традиция от трактата Данте «О народном красноречии» до «Грамматики» и «Логики» Пор-Руаяля, до философии языка Декарта и Лейбница строится в большей мере на критическом осмыслении идей средневековых теологов, чем на изучении античных философов.

Не будучи соотнесены со средневековыми учениями, и Данте, и Ян Амос Коменский, и Декарт, и Лейбниц поневоле выпадают из истории языковедческой мысли, их рассуждения о природе и сущности языка, его происхождении и функционировании приходится трактовать как «необычные для того времени» или «зна-

чительно опередившие свое время» гениальные догадки, которые возникают как бы в пустоте, нисколько не определяются предшествующими теориями языка и господствовавшим мировоззрением. Выпадают и учения выдающихся мыслителей Армении и Грузии — Давида Анахта, Иоанна Воротнеци, Григора Татеваци, Ефрема Мцире, Петрице, воспринявших и творчески развивших теории языка средневековой Европы и Византии.

§ 2. Историю средневековой науки принято начинать с зарождения патристики (вторая половина II в. н. э.) — учения ранних христианских теологов, именуемых «отцами церкви»,<sup>1</sup> и заканчивать наступлением Ренессанса.<sup>2</sup> В пределах этих временных границ выделяют два периода. Первый, продолжающийся до VIII в. — времени окончательной систематизации догматики, характеризуется преимущественным и даже исключительным интересом к так называемой «философии языка», второй — возрастающим интересом к формальной логике и спекулятивной грамматике.<sup>3</sup> Разумеется, при этом не следует упускать из виду постепенно расходившиеся пути учений о языке на грекоязычном Востоке и латиноязычном Западе.

Однако, установив хронологические рамки, мы не вправе механически относить всю сферу духовной жизни Европы III—IV вв. полностью и неизменно к средневековью. Сменяющие друг друга мировые эпохи несколько веков сосуществуют бок о бок, историю науки нередко приходится излагать вопреки хронологической последовательности. Так, апологии римского юриста Тертуллиана (ок. 160—после 220) выражают мировоззрение раннего средневековья, а труды неоплатоников от Плотина и Порфирия до Прокла (410—485) и последнего схоларха платоновской Академии Дамаския (ок. 470—после 531) принадлежат еще античному миру, перенапрягавшему свои силы в борьбе с бурно и неуклонно возrastавшим монотеизмом. Эта крупнейшая школа античной философии синтезировала достижения именно античной, а не средневековой мысли.

Отдельные лингвистические учения как в области эмпирики, так и метафизики всегда возникают не сами по себе, не изолированно, они формируются в русле какого-то направления, какой-то школы и, шире, какого-то мировоззрения. Как часть этого мировоззрения

---

<sup>1</sup> Отсюда название основного корпуса их писаний, тех трудов, что служат материалом любого исследования по истории средневековой мысли: *Patrologiae cursus completus, series Graeca et series Latina* (далее PG и PL).

<sup>2</sup> Соколов В. В. Философия древности и средневековья. — В кн.: Антология мировой философии. М., 1969, т. 1, ч. 1, с. 55 и сл.; также, например, статья «Патристика» в философской энциклопедии (М., 1967, т. 4).

<sup>3</sup> Материалы по истории формирования средневековой логики, тесно смыкавшейся с языковедением, достаточно полно представлены в известной работе: P r a n t l K. *Geschichte der Logik im Abendlande*. Lpz., Bd 1—4. 1855—1870; см. также: Попов П. С., Стяжкин Н. И. Развитие логических идей от античности до эпохи Возрождения. МГУ, 1974.



они и должны изучаться. Поэтому есть все основания отнести к античности грамматические труды Элия Доната и Присциана, равно как и Харисия или Диомеда. Все эти многочисленные компендии и изводы, независимо от того, когда они были созданы и каким авторитетом пользовались в Средние века, принадлежат одной школе — Александрийской. Как труды одной школы, написанные на основе единых исходных принципов, должны войти в историю языкознания все грамматик греческого и латинского языка от Дионисия Фракийца до Присциана. Ранее средневековье унаследовало от древности грамматическую теорию и восприняло в готовом виде грамматику канонических языков, не внося в них каких-либо существенных изменений, ограничиваясь пространном комментированием, составлением глосс и примечаний.<sup>4</sup> В дальнейшем те же принципы были использованы для написания грамматик так называемых «новых» европейских языков. Античному же, а не средневековому языкознанию принадлежит приписываемая Аврелию Августину «De Grammatica liber»,<sup>5</sup> где автор излагает основы нормативной грамматики латинского языка.

Характерно, что именно александрийская грамматическая теория и этимологизирование в духе стоиков, имеющие только косвенное отношение к средневековым учениям о языке, подробнее всего анализируются в соответствующих разделах курсов истории лингвистических учений, а философия языка игнорируется, словно ее вовсе не было.<sup>6</sup> Принято считать, что грамматики Доната и Присциана не только использовались как практические руководства для обучения латинскому языку, но и служили основой лингвистической теории. А так как это были своды правил, хорошие практические пособия и не более того, они, мол, не могли стимулировать творческие исследования в области общей теории языка. Тем самым языкознание выводится за пределы идеологической борьбы, «эмансипируется» от философии, на его долю остается только нормативная грамматика, создается иллюзия существования одной из наук гуманитарного цикла вне господствующего мировоззрения эпохи.

Тексты курса патрологии греческой и латинской серии свидетельствуют об обратном. Трактаты средневековых мыслителей, где рассматривались фундаментальные проблемы теории языка, стимулировались не Донатом, и не Присцианом,<sup>7</sup> а христианской онто-

<sup>4</sup> См. наст. изд., с. 213.

<sup>5</sup> PL, t. 32, col. 1385—1408. — Вопрос об атрибуции текста в данном случае совершенно нерелевантен.

<sup>6</sup> Амирова Т. А., Ольховиков Б. А., Рождественский Ю. В. Очерки по истории лингвистики. М., 1975, с. 171—172.

<sup>7</sup> Сам знаменитый Элий Донат, чье имя стало нарицательным, обучал своему искусству одного из известнейших отцов церкви — Иеронима Стридонского. Блаженный Иероним с похвалой упомянул умение своего учителя интерпретировать памятники языческой словесности (Против Руфина, кн. 1, гл. 16. — PL, t. 23, p. 410A) — и только.

логией и гносеологией, практическими нуждами проповеди христианства, необходимостью создания письменности для перевода на «варварские» языки сакральных текстов, развитием библейской экзегетики и герменевтики, борьбой против враждебных ортодоксии учений. И конечно, теории языка создавались не вопреки господствующей идеологии» (такой парадокс вообще вряд ли известен в истории языкознания), а в соответствии с нею, как ее неотъемлемая часть, ибо они были прямо или косвенно направлены на решение тех задач, которые эта идеология ставила. Теории языка всегда были глубоко укоренены в господствующем мировоззрении, будь то Древняя Индия, Древняя Греция, Арабский Восток, Западная Европа или Византия.

Европа Средних веков не знала характерной для Нового времени дифференциации наук. Вряд ли вообще здесь можно говорить о науке в новоевропейском понимании слова — было нечто качественно иное. Вся сумма знаний о природе, обществе и мышлении существовала и развивалась в едином комплексе. Кроме того, наука этого времени никогда не осознавала себя самодовлеющей и самостоятельной формой духовной деятельности человека, «фисика» не противостояла «метафисике», но была ее низшей частью, была интересна лишь постольку, поскольку способствовала выяснению и уяснению истин метафизических. Пути и перепутья развития целого — средневековой теологии и философии — определяли пути развития и проблематику части — средневековой лингвистической мысли. Это и понятно: ведь «если в социально-экономическом плане особенности теоретической мысли средневековья главным образом зависели от феодального уклада жизни, то духовной силой, которая определяла в эпоху Средних веков как ценностные ориентации, так и регулятивные принципы знания, была христианская религия».<sup>8</sup>

Хорошо известно, что средневековое (как и античное) языкознание было безымянным: термин «языкознание», «языковедение» или какой-либо аналогичный термин не существовал ни в античном, ни в средневековом мире, не было и самого понятия,<sup>9</sup> как не было эстетики, психологии и других наук. Мы говорим, что Древняя Греция — колыбель европейского языковедения, давно уже не называем этот период развития ненаучным или донаучным, исследуем лингвистические учения Демокрита, Платона, Аристотеля, Секста Эмпирика, хотя ни один из них, естественно, не может быть назван лингвистом. Не были лингвистами и Аврелий Августин, Григорий Нисский, Боэций, Ансельм Кентерберийский, Фома Аквинский,

---

<sup>8</sup> Философская энциклопедия. М., 1970, т. 5, с. 334 (статья «Философия»).

<sup>9</sup> «Основной особенностью античной „языковой“ теории является то, что она вовсе не ставит своей задачей изучение языка. Термин „языкознание“ не античен, не антично и само понятие» (Т р о н с к и й И. М. Проблемы языка в античной науке. — В кн.: Античные теории языка и стиля. М.; Л., 1936, с. 23).

но история науки о языке немыслима без их трактатов, где дан подробный анализ проблем сущности и природы языка, происхождения языка, взаимосвязи языка и мышления, соотношения имени и именуемой реальности, природы языкового знака. История науки о языке началась уже тогда, когда еще не был вычленен ее предмет, когда никто не называл ее языковедением и когда языковедов еще не было.

Средневековые учения о языке по сути своей иные, чем учения Нового времени. Иными были побудительные мотивы обращения к языку, иными конечные выводы, которые делал мыслитель, — подчас они не имели никакого отношения к тому, что интересует языковедение сегодня. Поэтому исследователь неизбежно оказывается перед дилеммой: средневековые теории языка — неотъемлемая часть истории лингвистических учений, но они (как и античные теории) разработаны нелингвистами и с трудом подводятся под новоевропейское понимание науки. Вся теория языка определялась, так сказать, не внутренними, а внешними зависимостями, предмет языковедения не вычленялся, а растворялся в онтологии, гносеологии. Описывать эти учения можно только восстановив, хотя бы в наиболее существенных чертах, систему средневекового миропонимания, составной частью которой были учения о языке.

Бесспорно, античное и средневековое языковедение имеют много общих черт. Но между ними есть и существенные различия. В Древней Греции языковедение было частью философии и развивалось философами, в средневековой Европе и Византии оно стало частью теологии и развивалось теологами. Наиболее важным отличием было не сужение сферы исследования, не ограничение языковедения грамматическим канонам, не стремление уклониться от решения кардинальных проблем философии языка (не было, пожалуй, ни одного аспекта общей теории, который теологи обошли своим вниманием), существеннейшим отличием было признание средневековыми мыслителями авторитета Откровения, зависимость их учений от христианской доктрины, от Писания и предания, чего не знали античные философы. Истинность системы философа подтверждалась (в идеале) логической правильностью и непротиворечивостью исходных постулатов, свободно им избранных, и хода рассуждения. В патристике же любая спекулятивная система признавалась достоверной лишь в тех пределах, в которых она соответствовала априорно заданной, независимо от данного мыслителя возникшей и сложившейся системе мирозерцания. Все, что противоречило ортодоксальной христианской доктрине, не входило гармоничной частью в целое, вносило разлад в незыблемый и прекрасный, по учению церкви, порядок, будь то в космосе или теории, что не находило себе прямого или косвенного подтверждения в Библии, безоговорочно отвергалось как «языческие бредни», «лжеименная мудрость», «зеленый домysel». «Заботящимися об искусственных способах доказательств достаточным для удостоверения кажется силлогизм, — писал один из самых образованных

и авторитетных раннехристианских богословов Григорий Нисский, — а у нас [христиан] более достоверным, чем все искусственные выводы, признается то, что подтверждается священными учениями Писания».<sup>10</sup>

## УЧЕНИЯ О СУЩНОСТИ ЯЗЫКА

### Язык и мышление

§ 1. Предметом рационалистических спекуляций средневековых мыслителей были не языки различных народов тогдашней ойкумены, а «язык как человеческая способность, как универсальная и неизменная характеристика человека».<sup>11</sup> Уже ранние апологеты неоднократно повторяли мысль, что у каждого народа есть свой язык, но сущность языка всеобща.

Краеугольным камнем всех теорий был тезис, что язык (точнее, Язык) является отличительным признаком человека. Не может быть, утверждали теологи, ни языка без человека, ни человека без языка. Сущность языка в том, что он — противоречивое единство идеального содержания и материального способа выражения; как без того, так и без другого язык утрачивает свою сущность, перестает быть тем, что он есть. Поэтому никому во вселенной — ни животным, ни ангелам, ни богу — язык не присущ и принципиально не может быть присущ, ибо для бога и ангелов любой материальный способ обнаружения разумности излишен, а животным язык недоступен: они лишены разума.

Согласно христианской антропологии, человеческий язык — единственное и неповторимое явление в истории не только Земли, но и космоса, он определяет место человека в космической структуре. Теологи признавали речь важнейшей формой деятельности, в которой проявляется разумность человека. Человек с самого начала есть существо, с одной стороны, разумное, с другой — телесное. Он способен творить предметы материальной культуры — меч, плуг, здание; мы называем эти творения разумными, потому что в них осуществилась, нашла свое выражение способность человека к творчеству. Та же способность к творчеству, к материальному обнаружению во вне творческих глубин человека как существа одновременно телесного и разумного проявляется в порождении орудий мысли — слов.

Если все другие виды деятельности людей носят временный и частный характер, в потенции присущи всем, но в действительности реализуются только у некоторых, то словесное творчество присуще любому человеку постоянно. Неслиянные и

---

<sup>10</sup> Григорий Нисский. О душе и воскресении. — PG, t. 46, p. 64 A—B. — Русский перевод (далее — Р. п.): Творения святого Григория Нисского. М., 1862, ч. 4, с. 243 (далее — Творения). Отдельные переводы здесь и далее — даны с некоторыми стилистическими изменениями.

<sup>11</sup> Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974, с. 21.

нераздельные, по общепринятой средневековой терминологии, разумность и словесность, «разумнословесность», т. е. разум, живущий в слове, и «словесноразумность» — слово, всегда присущее человеку, никогда не лишенное «разума», значения, внутреннего смысла («Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения»<sup>12</sup>) — вот что составляет саму сущность человека. «Ученейшие мужи имеют обыкновение с остроумием и тонкостью различать субъективно разумное (*rationale*) и объективно разумное (*rationabile*). Этого различения никоим образом не следует упускать из виду и нам для нашей цели. Субъективно разумным они называли то, что пользуется или может пользоваться разумом (*ratione uteretur vel uti posset*), а объективно разумным — то, что сделано или сказано разумно (*quod ratione factum esset aut dictum*). Например, объективно разумными мы можем назвать эти бани и нашу речь (*sermonem*), субъективно же разумными или того, кто эти бани построил, или нас, вворящих. Итак, от субъективно разумной души разум переходит в объективно разумное, т. е. в то, что делается или говорится. Итак, я вижу два рода предметов, в которых могущество и сила разума может подпасть даже наблюдению самих чувств: это дела человеческие, подлежащие зрению, и слова, подлежащие слуху. В отношении к тем и другим душа, по необходимым условиям телесной жизни, пользуется двумя вестниками: один из них — глаза, другой — уши».<sup>13</sup>

Язык потому является дифференциальным признаком человека, что всякий человек разумен и проявляет (или способен проявить) свою разумность в процессе создания каких-то орудий или в форме какой-то речи (звуковой, письменной или кинетической). Животное тоже издает звуки, ласточка мастерски строит гнезда, а пчела — соты, их постройки точны и соразмерны. Но я потому лучше ласточки или пчелы, говорит Августин, что я — животное, одаренное разумом, а их действия стереотипны. «Меня возвышает над скотом не что другое, как то, что я животное разумное».<sup>14</sup> Ни одно животное, по учению христианских богословов, не обладает разумом, неспособно к творческой деятельности, поэтому у него не может быть языка.

Теологи заимствовали у античных философов учение о том, что все существующее в материальном мире делится на три (вещественное — чувствующее — словесное) или четыре (вещи — растения — животные — человек) восходящие ступени совершенства. Каждая последующая ступень включает отличительные свойства предыдущей и сверх того обладает каким-то новым свойством, которое не есть просто один из признаков в ряду, но конструктивная

<sup>12</sup> I Коринфянам, гл. 14, с. 10.

<sup>13</sup> Аврелий Августин. О порядке, кн. 2, гл. 2, §§ 31—32. 32, с. 1009—1010. Р. п.: Творения блаженного Августина епископа Иппонийского. Киев, 1897, ч. 2, с. 204.

<sup>14</sup> Аврелий Августин. О порядке, кн. 2, гл. 19, § 49. — РЛ, т. 32, р. 1018. Р. п.: Творения, ч. 2, с. 220.

характеристика, наличие которой на данной ступени противопоставлено ее отсутствию на предыдущей<sup>15</sup> «Природа по ступеням, разумею отличительные свойства жизни, делает восхождение от малого к совершенному».<sup>16</sup> Словесное живое существо — человек — является вещественным, чувствующим и говорящим; все прочие живые существа — вещественными и чувствующими, но не говорящими; предметы только вещественны, но бесчувственны и бессловесны.<sup>17</sup> Только потому, что человек занимает такое место в мире, уникальное, свойственное лишь ему одному, только потому, что он — средостение, где сходится небесное с земным, телесное с бестелесным, разумное с неразумным, он является обладателем уникального орудия — языка. «Переходя затем от неразумных к разумному животному — человеку, [Творец] не сразу его создал, но прежде наделил остальных животных некоторой природной рассудительностью, ловкостью и хитростью для их самосохранения, чтобы они были более близки к разумным [существам], и тогда уже сотворил человека — животное истинно разумное. Такую же самую градацию, если поищешь, заметишь даже и в звуке голоса: от простого и однообразного ржания и мычания лошадей и быков он постепенно переходит к разнообразным и различным голосам воронов и подражающих птиц, пока Творец не дошел до ясной и совершенной человеческой речи; кроме того, Он соединил эту ясную (членораздельную) речь с мыслью и рассудком, сделавши ее выразителем умственных движений».<sup>18</sup>

Устройство языка, согласно патристике, может быть понято по аналогии с устройством человека: как человек, так и его язык антиномично сопрягает в себе «тело» и «душу». При этом «тело» — база для сравнения, оно объединяет язык с явлением более низкой ступени, а «душа» служит отличительным признаком. Поэтому и человек, и его язык должны быть особенно ценимы не за то, что сводит их воедино с низшими, но за то, что отличает и возводит к высшему. Тело человека не есть человек, но часть человека, сама по себе не существующая и не являющаяся первичной по отношению к целому, утрачивающая свою сущность вне целокупности; и душа человеческая не есть человек, она не что-то первичное по отношению к человеку, но только часть человека, животворящая своим присутствием тело, собирающая его в одно и содержа-

---

<sup>15</sup> Вообще следует заметить, что антиномичное сопряжение служит универсальной формой средневекового представления мира. Такая картина дана в сочинениях Григория Нисского, в Ареопагитиках, в сочинениях Иоанна Дамаскина, Иоанна Скота Эриугены, Григория Нового Богослова. Быть может, наиболее показательным в этом отношении учение Максима Исповедника о «делениях», где дана дихотомическая картина Вселенной.

<sup>16</sup> Григорий Нисский. Об устройении человека, гл. 8. — PG, т. 44, ср. 148. Р. п.: Творения, М., 1861, ч. 1, с. 101.

<sup>17</sup> Немезий Емесский. О природе человека, гл. 1. — PG, т. 40, р. 508 В—С. Р. п.: Почаев, 1904, с. 22—23.

<sup>18</sup> Немезий Емесский. О природе человека, гл. 1. — PG, т. 40, р. 512 А. Р. п.: с. 24.

щая в единстве, не позволяющая ему распадаться и истощаться, она равным образом существует не сама по себе, но в составе целого.<sup>19</sup> Так и в языке «телесные» звуки сами по себе — просто звуки, они не составляют языка; и значение вне материального способа его выражения есть только наша мысль о чем-то и не есть язык.<sup>20</sup> Мы нередко используем слово «язык» в других значениях, говорили теологи, но это все — обычные примеры употребления слова в несобственном, метафорическом значении. Наиболее показательно в этом отношении толкование сакральных текстов, где говорится об «ангельских языках»: здесь разумеются, согласно средневековым экзегетам, не языки, а не имеющая прямого названия мыслительная способность; сказано так не потому, будто ангелы имеют языки, как люди, но чтобы указать на что-то превосходящее человека, т. е. это следует понимать в переносном смысле.<sup>21</sup> Подробный анализ вопроса об «ангельских языках» дан Фомой Аквинским.<sup>22</sup> Пересказ общепринятой в Средние века трактовки этих «языков» мы находим в трактате Данте «О народном красноречии»: «Ни ангелам, ни животным не было необходимости в речи; это было бы для них напрасным даром, а делать так, конечно, противно природе. Ибо если мы внимательно рассмотрим, к чему мы стремимся в нашей речи, то очевидно не к чему иному, как открывать другим мысль, зародившуюся в нашем уме. А раз ангелы для раскрытия благочестивых своих мыслей обладают быстрее и несказанной способностью разумения, благодаря которой полностью извещают друг друга либо самостоятельно, либо посредством того светозарнейшего зеркала, в коем все они отражаются во всей красоте и которое они ненасытно созерцают; то очевидно не нуждаются ни в каком знаке речи».<sup>23</sup> Подчеркнем еще раз, что исходные послылки средневековых авторов подчас не имели ничего общего с проблематикой современного языкознания, но, говоря об «ангельских языках», они анализировали язык человека, его происхождение и устройство и каждый раз неизменно делали вывод, что язык не присущ никому во вселенной, что он — отличительный признак человека.

Сходство между языком и человеком обнаруживается и в том, что означающее языкового знака, согласно патристике, обяза-

<sup>19</sup> Иринеи Лионский. Пять книг против ересей, кн. 5, гл. 6, § 1. PG, t. 7, c. 1138 A. P. п.: М., 1868, с. 590; Аврелий Августин. О количестве души, гл. 33, § 70. — PL, t. 32, p. 1073—1074. P. п.: Творения, ч. 2, с. 407.

<sup>20</sup> Как известно, Ф. де Соссюр признавал сравнение языкового знака с человеком ошибочным: «Эту двустороннюю единицу часто сравнивали с человеческой личностью как целым, состоящим из тела и души. Сближение малоудовлетворительное» (Курс общей лингвистики, гл. 2, § 1).

<sup>21</sup> См., например, многочисленные толкования на I Коринфянам, 13, 1: Феодорит Кирский. — PG, t. 82, p. 332 В—С; Феофилакт Болгарский. — PG, t. 124, p. 725 А—В.

<sup>22</sup> Сумма теологии, 1, chapter 4, §. 54—58.

<sup>23</sup> Данте Алигьери. Малые произведения. М., 1968, с. 271. — Эти идеи восходят к ангелологии группы трактатов, датируемых второй половиной V в., известных под названием «Ареопагитик».

тельно имеет; как всякое тело, какие-то измерения, оно непременно существует во времени или пространстве, может быть расчленено на составляющие его элементы, тогда как означаемое<sup>24</sup> не существует ни во временной, ни в пространственной протяженности, не представляется человеку ни длинным, ни широким и никоим образом не может быть делимо на элементы меньшего времени звучания или более краткой линейной протяженности. В языковом знаке нельзя установить однозначное соответствие между элементами означаемого и означающего. И в человеке, и в языковом знаке целое не есть простая механическая сумма элементов, значение целого не выводится из суммы значений составляющих, знание об элементах не дает познания целого, неадекватно ему. Особенно часто и подробно занимался проблемой языкового знака Аврелий Августин. В диалоге «О количестве души» он писал:

**А в г у с т и н:** Если само название (*nomen*) состоит из звука и значения (*sono et significatione constet*), звук же относится к ушам, а значение к уму, то не полагаешь ли ты, что в названии, как бы в некотором одушевленном существе, звук представляет собою тело, а значение — душу звука?

**Е в о д и й:** На мой взгляд, ничего нет более сходного.

**А в г у с т и н:** Теперь обрати внимание на то, может ли звук имени быть разделен на буквы (*utrum nominis sonus per litteras dividi possit*), между тем как душа его, т. е. его значение (*significatio*), не может? Ведь несколько прежде ты сказал, что в нашей мысли оно не представляется тебе ни длинным, ни широким.

**Е в о д и й:** Вполне с этим согласен.

**А в г у с т и н:** Ну, а когда этот звук разделится на буквы, удерживает ли он, по твоему мнению, свое значение?

**Е в о д и й:** Как же могут отдельные буквы обозначать то, что обозначает составленное из них имя?

**А в г у с т и н:** Ну, а когда с разделением звука на буквы теряется значение, не кажется ли тебе, что делается нечто похожее на то, что бывает, когда из растерзанного тела исходит душа, и что с названием случается как бы некоторый род смерти?

**Е в о д и й:** Согласен с этим, и при том так охотно, как ни с чем в этой речи.

Подводя итог сказанному, Августин заключает: «Так как все, что подлежит чувствам, находится в известном месте и времени, или, точнее, занимает известное место и время, то чувствуемое глазами разделяется по месту, а ушами — по времени».<sup>25</sup>

§ 2. Для чего дан человеку язык? — Чтобы человек открывал другому человеку свои мысли; чтобы учить других и припоминать себе; чтобы движения разума не остались несообщенными, но могли проявиться вне нас, стали известны другим людям; чтобы открывали

<sup>24</sup> Напомним, что термины «означаемое» и «означающее» чрезвычайно широко использовались и латиноязычными, и грекоязычными авторами.

<sup>25</sup> Аврелий Августин О количестве души, гл. 32, §§ 66, 68. — PL, t. 32, p. 1072—1073. P. п.: Творения, ч. 2, с. 402—404.



мы друг другу умственные движения и сердечные совещания и чтобы каждый из нас, по общительности природы человеческой, передавал ближнему свои мысли, как бы из некоторых сокровищниц, износя их из таинца сердца, — этими или подобными формулами средневековые теологи определяли функции языка. «То субъективно-разумное, что существует в нас, т. е. то, что разумом одарено и разумно-объективное производит, или следует ему, связывается некоторыми естественными узлами общения с теми, с которыми у него этот разум общий. Но так как человек не мог бы установить прочного общения с человеком, если бы они между собою не разговаривали и таким образом не передавали друг другу свои чувства и мысли (*mentes suas cogitationesque*), то это субъективно-разумное нашло нужным обозначить предметы словами, т. е. некоторыми, служащими знаками, звуками (*vidit esse impro-penda rebus vocabula, id est significantes quosdam sonos*), так, чтобы люди, не могшие чувствовать свои души, пользовались для установления между ними взаимного сношения чувством, как бы переводчиком. Но слышать слов отсутствующих они не могли. Поэтому разум тот изобрел письмена, обозначив и различив все звуки гортани и языка».<sup>26</sup>

Служить средством общения — основная, но не единственная функция языка. «Поскольку нам невозможно иметь всегда перед глазами все существующее, то нечто из того, что всегда перед нами, мы познаем, а другое запечатлеваем в памяти. Но сохраниться раздельное памятование в нас иначе не может, если обозначение именами заключающихся в нашем разуме предметов не даст нам средства отличать их один от другого».<sup>27</sup> Мы «познаем не по сущностям, а по именам и по действиям, особливо же так познаем существа бестелесные».<sup>28</sup> Этот аспект — язык как средство объективизации, дискретного представления и познания мира, частично рассмотренный каппадокийцами, Августином и более подробно Боэцием,<sup>29</sup> стал предметом особого внимания в позднее средневековье во время споров реалистов с номиналистами.

Во многих трактатах подчеркивалось, что язык есть средство общения именно человека с человеком. Рассматривая другие случаи речевой деятельности — словесные приказания животному, восприятие человеком звуков «говорящих» зверей или птиц — теологи отказывали им в статусе языковых. В иной плоскости, утверждали они, следует рассматривать и молитву (обращение

<sup>26</sup> Аврелий Августин. О порядке, кн. 2, гл. 12, § 35. — PL, t. 32, p. 1011—1012. Р. п.: Творения, ч. 2, с. 208.

<sup>27</sup> Григорий Нисский. Опровержение Евномия. — PG, t. 45, p. 1005. Р. п.: Творения, ч. 6. М., 1984, с. 377—378.

<sup>28</sup> Василий Кессарийский. Опровержение на защитительную речь злочестивого Евномия, кн. 4. — PG, t. 29, с. 685. Р. п.: Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийския, т. 1. СПб., 1911, с. 535.

<sup>29</sup> Боэций. Комментарий на «Об истолковании» Аристотеля. — PL, t. 64.

человека к богу) или заповедь человеку: в этих случаях слова по существу излишни.

Коммуникативная функция признавалась ведущей, в творениях многих авторов она выдвигалась на первый план, ибо она определяет сущность языка.

Считалось общеизвестным, что речевой акт непременно предполагает говорящего, т. е. человека, который хочет что-то сообщить, научить кого-то, побудить его сделать что-то; слушающего, т. е. человека, который способен услышать то, что сказано, и непременно понять это; воздушную среду, разделяющую говорящего и слушателя, в которой может распространяться звук. Каждое из этих условий непременно предполагает любое другое. «Голос для слуха и слух по причине голоса. А где нет ни воздуха, ни языка, ни уха, ни извитого прохода, который бы переносил звуки к сознанию в голове, там не нужны речения». <sup>30</sup> «Кто даже из младенцев не знает, что звук и слово (*ἄκοή τε καὶ λόγος*) имеют взаимное соотношение, и что как слух не обнаруживает деятельности, если не раздаются звуки, так действительно и слово, не направленное к чьему-либо слуху?» <sup>31</sup>

Эти условия реализации речевого акта признавались столь непреложной истиной, что служили исходным пунктом доказательства невозможности вербального творения мира. Полемизируя с «языческими бреднями» антропоморфизма, богословы часто и весьма подробно истолковывали библейское повествование о «шести днях творения», объясняя, как следует понимать слова «сказал Бог», и почему книга Бытия представляет бога «повелевающим и разглагольствующим». Эти слова, утверждали они, нельзя понимать буквально, в прямом смысле, ведь всякий звук произносится говорящим для телесного чувства слушающего, ибо слух так устроен, что ощущает звук при сотрясении воздуха; и если до начала творческого акта или в процессе творения бог говорил, то значит до начала творения уже существовал воздух, уже было время, в течение которого должен был распространяться звук: ведь речь всегда линейна, преемственные моменты звуков последовательно сменяются одни другими. <sup>32</sup> Если бог говорил, то ему совершенно необходимо было произносить каждое слово так, как говорят обыкновенные люди, т. е. произнося звуки и слоги, из которых одни образуются посредством движения губ, другие — посредством языка, а третьи — при помощи того и другого органа, ибо всякое имя изречается не иначе, как с помощью голосовых органов, производящих посредством ряда артикуляций слоги

<sup>30</sup> Василий Кесарийский. Беседы на Шестоднев. Беседа 3. — PG, t. 29, p. 56 С. Р. п.: Творения, т. 1, с. 25.

<sup>31</sup> Григорий Нисский. Опровержение Евномия. — PG, t. 45, p. 980 А. Р. п.: Творения, ч. 6, с. 347.

<sup>32</sup> Аврелий Августин. О книге Бытия, кн. 1, гл. 9, §§ 15—16. — PL, t. 34, p. 251—252; также гл. 10, §§ 19—20, с. 253. Р. п.: Творения, ч. 7. Киев, 1893, с. 156, 163—164, 166.

и слово.<sup>33</sup> Следовательно, «нелепость, что Бог изрекал какие-то слова, пусть далека будет от ума человека мыслящего!» Вместо «сказал» здесь можно поставить «помыслил» или «захотел», все они в данном контексте равнозначны.<sup>34</sup>

§ 3. С каким органом человеческого тела связана «правлящая сила нашей души» — способность к творческому мышлению — ни античные философы, ни средневековые теологи точно не знали. Некоторые авторы указывали на головной мозг, но это считалось только одной из гипотез, и притом не самой достоверной.<sup>35</sup> «Что слово происходит от мысли и ума — это все люди знают», — писал во II в. один из ранних отцов церкви Иринеи Лионский.<sup>36</sup> Но с каким телесным органом связан ум? Какова физиологическая основа мышления? Зависимость речи от мышления признавалась самоочевидной истиной и не оспаривалась никем. Но если слово рождается из ума, то что это значит? Как происходит это рождение? Перечисляя труднейшие загадки мироздания, перед которыми в недоумении останавливается всякий мудрец, Григорий Назианзин вопрошал: «Как ум пребывает в тебе и рождает понятие в другом уме? Как мысль передается посредством слова?»<sup>37</sup> «Как мысль и заключена в пределы, и неопределима, и в нас пребывает, и все обходит в быстроте своего стремления и течения? Как общается и передается с словом, проникает сквозь воздух, входит с самими предметами? Как приобщена к чувству и отрешается от чувств? . . . Как тело питается яствами, а душа словом? . . . Много еще можем любоумдрствовать о членах и частях тела, много о звуках и слухе, о том, как звуки переносятся от звучащих орудий и слух приемлет их и входит с ними во взаимное общение вследствие ударений и впечатлений в посредствующем воздухе; . . . коротко сказать, о всем, что населяет этот малый мир (микрокосм) — человека».<sup>38</sup> «Как слово есть порождение ума, и рождает слово в уме другого? Как словом передается мысль?»<sup>39</sup> Человеку весьма нелегко осознать законы, определяющие «союз души с телом, ума с душою, слова с умом».<sup>40</sup>

На «неслиянное и нераздельное» единство этих трех различных сущностей — души, ума и слова — указывали всегда. Как ничто

<sup>33</sup> Григорий Нисский. Опровержение Евномия. — PG, t. 45, p. 977 В—Д. Р. п.: Творения, ч. 6, с. 345—346.

<sup>34</sup> Прокопий Газский. Комментарий на Бытие. — PG, t. 87, ч. 1, p. 48 С—D.

<sup>35</sup> Ее принимал Немезий (О природе человека, гл. 13), следуя за Галеном. Григорий Нисский, рассматривая те же доводы, оценивал их довольно скептически (Об устройении человека, гл. 12).

<sup>36</sup> Иринеи Лионский. Пять книг против ересей, кн. 2, гл. 28, § 6. — PG, t. 7, p. 809 В. Р. п.: с. 239.

<sup>37</sup> Григорий Назианзин. Гомилия 20, гл. 11. — PG, t. 35, с. 1077 С. Р. п.: Творения иже во святых отца нашего Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. М., 1889, ч. 2, с. 141.

<sup>38</sup> Гомилия, 28, гл. 21—22. — PG, t. 36, p. 56 В—С. Р. п.: ч. 3, с. 30—31.

<sup>39</sup> Там же, 32, гл. 27. — PG, t. 36, p. 205 А. Р. п.: ч. 3, с. 129.

<sup>40</sup> Там же, 29, гл. 8. — PG, t. 36, p. 84 А. Р. п.: ч. 3, с. 48.

мертвое, бездушное не может быть умным или словесным, так не может умное живое земное существо (человек) быть бессловесным или бездушным; человеческий ум так же предполагает слово, как слово — ум, отъятие любого равносильно отъятию всех трех: этим расстроится сущность человеческого естества, прекратится существование личности. Вся жизнь человека, вся без исключения его сознательная деятельность неизменно сопровождается внутренним или внешним (выраженным) словом. Именно поэтому признавалось справедливим античное определение, что человек — мыслящее словесное животное, и мыслящее словесное животное — это человек. «Душа не была и не есть прежде ума, ни ум прежде слова, рождающегося от него, но в один момент все три имеют бытие от Бога, и ум рождает слово, и чрез него изводит и являет вне желание души. . . . И собственный твой дух, или душа твоя вся есть во всем уме твоём, и весь ум твой — во всем слове твоём, и все слово твоё во всем духе твоём, нераздельно и неслиянно. . . . Теперь, если человек лишится одной какой из показанных трех принадлежностей, то уже не может быть человеком. Отыми у человека ум, — отынешь вместе с умом и слово, — и выйдет человек безумный и бессловесный. Отыми у него душу, — отынешь вместе с нею и ум, и слово. Также если отынешь одно внутреннее слово, то расстроишь все естество человеческое. Ум, который не рождает слова, не может и отынуды (извне) принять слова; ибо как возможно отынуды услышать слово тому, кто сам стал глух и бессловесен, и выступил из чина естества своего? Как естественно имеем мы в себе дух дышущий, коим дышим и живем, так что пресекись дыхание, мы тотчас умрем, так и ум наш естественно имеет в себе силу словесную, которою рождает слово, и если он лишен будет естественно ему порождения слова, — так, как бы он разделен и рассеян был со словом, естественно в нем сущим, то этим он умерщвлен будет и станет ни к чему негодим. Так ум наш получил от Бога естественную ему принадлежность всегда рождать слово, которую имеет нераздельно и всегда с собою соединенною. Если ты отынешь слово, то вместе с словом отынешь и ум — породителя слова. . . . Когда ум рождает слово, то вместе с тем явным делается для слышащих чрез живое слово, или чрез письмена, и желание души, как общее обоим, и уму, и слову, и три сия — ум, слово и душа — не сливаются в едино и не рассекаются на три, но все три вместе и каждое особо зрится в единой сущности».<sup>41</sup> Данная здесь формулировка — «неслиянно и нераздельно» — была общепринятой. Учение об этой не сливающейся в едино и не рассекающейся на части троице было для theologов тем более важным, что оно использовалось для разъяснения христианского учения о триничности бога, троица в человеке была образом божественной Троицы. Ортодоксальные авторы никогда

---

<sup>41</sup> Симеон Новый Богослов. Поучение 61. М., 1890, с. 94—98.

не постулировали абсолютного тождества языка («слова») и мышления. Мышление всех людей признавалось принципиально единообразным, а форма языков различной. Еще менее допустимым для средневекового мыслителя было разъединение (рассечение) и противопоставление языка и мышления, рассмотрение их как независимых явлений. В основном труде Иоанна Дамаскина «Точное изложение православной веры» — своде византийского догматического богословия, оказавшем заметное влияние на католический Запад, на Русь, Грузию, — дана ортодоксальная, общепризнанная трактовка проблемы: «Наше слово, выходя из ума, ни всецело тождественно с умом, ни совершенно различно; потому что, будучи из ума, оно есть иное сравнительно с ним, обнаруживая же самый ум, оно уже не есть всецело иное сравнительно с умом, но, будучи по природе одним, оно является другим по положению». <sup>42</sup>

Человек мыслит и тогда, когда он не произносит вслух ни слова. Какова сущность этой внутренней, безмолвной речи? Можно ли здесь говорить о двух формах реализации одного и того же процесса — мышления, или это иерархия, три ступени, где нельзя подняться на последнюю, минуя вторую (внутреннюю речь)? Средневековые авторы трактовали сущность внутренней речи по-разному. Значительные расхождения были как между Западом и Востоком, так и между раннесредневековыми и позднесредневековыми теологами. <sup>43</sup> В одних случаях о ней говорили как о «впечатлениях души, не выражаемых голосом», «слове сердечном и душевном», в других — как о простом аналоге произносимой речи (звучащая и беззвучная речь или внутренняя и произносимая). Проблема внутреннего слова во многом определяла схоластическую гносеологию. Не имея возможности достаточно полно рассмотреть различные точки зрения, приведем еще одно рассуждение на эту тему — главу из весьма авторитетного антропологического трактата, повторенную в основной части Иоанном Дамаскином в «Точном изложении православной веры». «Внутреннее слово есть движение души, происходящее в рассудке, — без всякого внешнего выражения. Отсюда, мы часто и молча ведем с самими собой целое рассуждение, а также разговариваем во время сновидений, по этой способности преимущественно мы все считаемся разумными, и именно — не столько по слову произносимому, сколько по внутреннему. Ведь и глухонемые от рождения, и потерявшие голос по причине какой-нибудь болезни или страсти несколько не менее разумны. Слово же произносимое (*λόγος προφορικός*) проявляется <sup>44</sup> в звуке и разговорах. Органы звука (го-

<sup>42</sup> Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры, кн. 1, гл. 6. — PG, t. 94, с. 804 А—В. Р. п.: СПб., 1894, с. 11.

<sup>43</sup> Кирилл Иерусалимский. Катехизис, 6, § 2. — PG, t. 33, р. 540 А—В. Максим Исповедник. — PG, t. 91, с. 21. — Неоднократно у Оккама, Бонавентуры, Фомы Аквинского.

<sup>44</sup> Буквально «проявляет свою деятельность» (*ἐνέργειαν*). О понимании речи как деятельности говорится ниже.

лоса) многочисленны, — именно: внутренние межреберные мышцы, грудная клетка, легкие, дыхательное горло («шероватая артерия») и гортань, особенно — хрящевые части этих последних, возвратные нервы, язычок и все мускулы, движущие эти части, являются органами произношения. Орган речи — рот: в нем именно складывается, образуется и как бы формируется речь, причем язык и надгортанник играют роль плектра, нёбо — литавры, зубы и различные открытия рта исполняют назначение струн, как в лире; принимает здесь некоторое участие и нос, способствуя благозвучию или какофонии, что бывает очевидно при пении». <sup>45</sup>

В описаниях процесса порождения речи внутреннее слово часто выделялось как этап, предшествующий слову произносимому. Вот одно из таких описаний: сначала в нашей мысли рождается образ предмета, потом, представив его себе, мы избираем значения, свойственные и соответственные данному предмету (термин «предмет» трактовался весьма широко), и, передав мыслимое на производство словесных органов, таким уже образом, с помощью сотрясения воздуха, которое необходимо для членораздельного движения голоса, делаем явной тайную свою мысль. <sup>46</sup> Судя по этому описанию, равно как и некоторым другим высказываниям средневековых христианских мыслителей, предполагалось, что процесс мышления протекает (или может протекать) вне языковой формы; мышление признавалось первичным, а природная материальная форма, закрепляющая его, — вторичной. <sup>47</sup> Принципиально допустимым считалось даже не только мышление, но и обмен мыслями «не отягощенными материей», но последнее было скорее логической конструкцией, рассуждением о возможностях «инобытия» человеческого, чем описанием реально наблюдаемых (или предполагаемых) фактов. Так, по словам Григория Нисского, человеку несколько не нужно было бы употреблять слова и имена, если бы люди могли открывать друг другу чистые движения разума, подобно тому как общаются ангелы. Но так как возникающие в нас мысли не могут обнаружиться вне телесной оболочки, мы, по необходимости, наложив на вещи как бы знаки, известные имена, посредством этих знаков объясняем движения ума. А если бы можно было иначе обнаружить движения разума, то мы, перестав пользоваться услугою имен, яснее и чище беседовали бы друг с другом, открывая чистыми движениями разума

---

<sup>45</sup> Немезий Емесский. О природе человека, гл. 14. — PG, t. 40, с. 665 В—668 В. Р. п.: с. 113—114; Иоанн Дамаскин. Точное изложение, кн. 2, гл. 21. — PG, t. 94, р. 940 В—С. В латинском переводе глава названа *De ratione et oratione*.

<sup>46</sup> Василий Кесарийский. Беседы на Шестоднев. Беседа 3. 29, с. 53 С—56 А. Р. п.: Творения, т. 1, с. 24. Ср. его же: Гомилия 3, гл. 1. — PG, t. 31, р. 197 С—200 А. Р. п.: Творения, т. 2. СПб., 1914, с. 91.

<sup>47</sup> Ср., однако, известнейшую средневековую формулу: «*Cogitatio nihil aliud est quam interior locutio*». См.: R o t t a P. *La filosofia del linguaggio nella Patristica e nella Scolastica*. Torino, 1907, р. 104—108.

саму природу вещей, которыми занимается ум. Теперь же, из-за невозможности подобного внеязыкового, нематериального выражения, а равно и восприятия мысли, мы одному из существующего дали имя «небо», другому — «земля», иному — еще какое-либо; также и отношение чего-то к чему-то, или действие, или страдание, — все это мы обозначаем особенными звуками для того, чтобы движение ума не осталось у нас несообщенным и неизвестным другим людям.<sup>48</sup> Подобные мысли встречаются и у грекоязычных, и у латиноязычных авторов. Следует также заметить, что цитируемые авторы — Василий Кесарийский и Григорий Нисский — принадлежат к числу наиболее чтимых «избранных отцов», единомыслие с которыми служило мерилор ортодоксальности и на Востоке, и на Западе. Их труды были хорошо известны в Западной Европе, Византии, Армении, Грузии.<sup>49</sup> Поэтому их учение о языке оказало решающее влияние на многие теории последующих веков во всем этом обширном регионе.

У многих авторов дано подробное описание органов речи и их работы, когда «ум передает на производство словесных органов свои помышления»; эти описания частично восходят к тем, что были даны в свое время стоиками. Достижения средневековых авторов в области эмпирики никогда не были значительными, речь интересовала их не в физиологическом, а в психологическом и семиологическом аспекте. Органы речи обычно сравнивали с музыкальными инструментами, ибо, объяснялось в описаниях, человек создал все инструменты, наблюдая за работой речевого аппарата: «Не природа у искусства, а искусство у природы научилось, как производить приятные сии звуки, потому что образец для искусства — природа, а искусство — снимок с природы».<sup>50</sup>

§ 4. Звук человеческой речи, рассматриваемый в своей материальной сущности, не имеет ничего специфически человеческого и может быть уподоблен любому иному звуку, улавливаемому слухом. Слух лукаво присваивает слова, называет их своею собственностью, но они ему не принадлежат, мы слышим слова не ухом, а разумом. Нельзя не усмотреть различия между собственно звуком, что улавливается ухом, и тем, знаком чего он служит, что и делает его словом, ибо существенно не само звучание, а знаковая функция: всякое слово — знак, но не всякий звук — слово. Только разум способен указать разницу между звуком голоса одушевленных существ, у которых этот звук служит знаком чего-

---

<sup>48</sup> Григорий Нисский. Опровержение Евномия. — PG, t. 45, p. 1041 C—D. P. п.: Творения, ч. 6, с. 419.

<sup>49</sup> Высказывалось мнение, что оба эти автора принадлежат к грузинской этнической среде. См.: Г о з а л и ш в и л и Г. О национальной принадлежности «трех великих капподокийцев». — В кн.: Г о з а л и ш в и л и Г. Два этюда из истории Понта и Каппадокии. Тбилиси, 1967.

<sup>50</sup> Феодорит Киррский. Десять слов о Промысле. Слово 3. — PG, t. 83, p. 589 A—592 D. P. п.: Творения, ч. 5. Сергиев Посад, 1907, с. 171—173; также: Григорий Нисский. Опровержение Евномия. — PG, t. 45, p. 977 A—B.

то, звуком музыкального инструмента и прочими звуками, например от удара. То, что приятно звучит, доставляет удовольствие самому слуху, но тот смысл, который выражается этим звуком, хотя и приемлется слухом, относится исключительно к разуму. Таким образом, суждению слуха принадлежит не знак, но лишь звук как таковой.<sup>51</sup>

Рассуждая о том, с какими звуками имеет дело философия, слабо дифференцированный предмет которой включал и язык, почему философия может не только дать исходные начала всем искусствам и наукам, в том числе и грамматике, но еще и исправлять в них ошибочное,<sup>52</sup> средневековые мыслители говорили не об особом типе звука как физического явления, ибо любой звук — «сотрясение воздуха», а о соотношенности его с чем-то, что не есть сам данный звук, т. е. о его знаковой функции. Особенно подробно этот вопрос был рассмотрен в комментариях к Аристотелю и Порфирию, данных Боэцием.<sup>53</sup> В XIII—XIV вв. многие идеи Боэция были развиты в спекулятивных грамматиках модистов.<sup>54</sup>

Иоанн Дамаскин, также ориентировавшийся на логическую систематизацию Аристотеля и Порфирия, посвятил рассмотрению звука специальную главу своего основного труда «Источники знания». «Так как мы имеем в виду рассуждать о всяком чисто философском звуке (*φωνή*), то нам необходимо прежде определить, с каким звуком философия имеет дело. Начиная свою речь с рассмотрения звука, мы говорим: звук бывает или незнаменательный (*ἄσημος*) или знаменательный (*σημαντική*). Незнаменательный звук тот, который ничего не обозначает; знаменательный — тот, который что-либо обозначает. Далее, незнаменательный звук, в свою очередь, бывает или нечленораздельный, или членораздельный. Нечленораздельный звук — тот, который не может быть написан; членораздельный же — тот, который может быть написан. Таким образом, бывает нечленораздельный и незнаменательный звук, как например тот, который производится камнем или деревом, ибо он не может быть написан и ничего не означает. Бывает звук незнаменательный и членораздельный, например «скиндапс», ибо он может быть записан, но ничего не обозначает: скиндапсов и не было, и нет.<sup>55</sup> Философии нет дела до не-

<sup>51</sup> Аврелий Августин. О порядке, кн. 2, гл. 14, § 39. 32, с. 1013. Р. п.: Творения, ч. 2, с. 211.

<sup>52</sup> Давид Анахт. Определения философии, гл. 12. — В кн.: Давид Анахт, Сочинения. М., 1975, с. 73.

<sup>53</sup> PL, t. 64.

<sup>54</sup> В последние десятилетия появился ряд критических изданий трактатов и специальных исследований. Достаточно полную библиографию можно найти в кн.: *V u r s i l l - H a l l G. L. Speculative Grammars of the Middle Ages.* Hague; Paris, 1971.

<sup>55</sup> Это слово приводили то как пример имени без денотата, то как имени, не имеющего смысла. Григорий Назианзин. Гомилия 25, гл. 6. — PG, t. 35, p. 1205 В—С. Р. п.: Творения, ч. 2, с. 223. Ср.: Аристотель. Об истолковании, гл. 1, § 5 и указанный выше комментарий к нему Боэция.



знаменательного звука, как нечленораздельного, так и членораздельного. В свою очередь, знаменательный звук бывает или членораздельный, или нечленораздельный. Нечленораздельным знаменательным звуком будет, например, лай собак: он обозначает собаку, так как есть голос собаки; равным образом он обозначает и что-то присутвие; но это нечленораздельный звук, он не пишется. И до этого звука философии нет дела. Членораздельный знаменательный звук бывает или общим, или частным [единичным]. Общим звуком будет, например, «человек», частным — «Петр», «Павел». И до частного звука философии нет дела. Но [философия имеет дело с] звуком знаменательным, членораздельным, соборным, т. е. общим, высказываемым в применении ко многим предметам». <sup>56</sup> Данные здесь принципы и методика классификации звуков неоднократно использовались и другими авторами и до Иоанна Дамаскина, и после. <sup>57</sup>

Все звуки, каким бы колеблющимся телом они ни производились, «составляются в воздухе», переносятся и приемлются слухом одинаково; способность воспринимать звуки, так же как и способность издавать звуки, не является сама по себе уникальной, в ней нет ничего специфически человеческого. Строение органов, совокупность которых мы именуем речевым аппаратом, однотипно у человека и многих животных, никаких специализированных органов речи или речевого слуха у человека нет, язык, губы и другие органы просто приспособлены к произнесению звуков. Поэтому некоторые звери и птицы могут копировать звуки нашей речи, но эта способность несколько не приближает их к человеку и не служит существенным отличием от прочих животных, не обладающих такой способностью, ибо ни те, ни другие не говорят. Суммировавший многие средневековые теории языка «последний поэт средневековья и вместе с тем первый поэт нового времени» <sup>58</sup> — Данте писал: «И если скажут, что и досель сороки и другие птицы разговаривают, мы скажем, что это вздор, так как подобное действие не речь, а некое подражание звуку нашего голоса; они, разумеется, пытаются подражать нам, поскольку мы издаем звуки, но не поскольку мы говорим. Поэтому, если в ответ на отчетливо сказанное слово „сорока“ прозвучало бы „сорока“, это было бы лишь воспроизведением или подражанием ранее произнесенному звуку. Таким образом, очевидно, что речью был одарен только человек». <sup>59</sup>

---

<sup>56</sup> Иоанн Дамаскин. Источник знания, ч. 1, гл. 5. — PG, t. 94, с. 540 В—С. Р. п.: Полное собрание творений св. Иоанна Дамаскина, т. 1, СПб., 1913, с. 54. — Во введении Дамаскин сам заявляет, что не намерен вносить в творение ничего своего, но лишь изложит в сжатом виде добытое трудами других.

<sup>57</sup> Давид Анахт. Соч., с. 106—107.

<sup>58</sup> Энгельс Ф. Предисловие к итальянскому изданию «Манифеста Коммунистической партии». — Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч., т. 22, с. 382.

<sup>59</sup> Данте. Малые произведения. М., 1968, с. 271.

Более существенно другое: звуки, которые издают животные или птицы, обычно не случайны, не бессмысленны, они выражают чувства, испытываемые животными, они знаки чего-то (вспомним слова Дамаскина: лай собаки означает не только саму собаку, но и чье-то присутствие). «Хотя и живущие на суше животные бессловесны, однако же каждое из них естественным своим голосом выражает многие их душевные состояния, ибо и радость, и скорбь, и знание привычного, и недостаток пищи, и разлуку с пасущимися вместе, и другие многие состояния оно обнаруживает звуком». <sup>60</sup> Живший на рубеже позднего средневековья и раннего Возрождения Николай Кузанский особенно настойчиво подчеркивал именно коммуникативный аспект систем связи у животных: «Так как живые существа одного вида для блага жизни взаимно поддерживают друг друга и способствуют друг другу, им приходится знать свой вид и, насколько того требует совершенствование вида, помогать друг другу и понимать друг друга. Так, петух одним голосом созывает куриц, найдя пищу, и другим предупреждает их, чтобы они бежали, когда по тени замечает присутствие коршуна». <sup>61</sup>

Человек иногда пользуется языком не для разговора с себе подобными, а для управления неразумными животными, повелевания ими. При этом человек говорит, т. е. использует свои органы речи и мышление точно так же, как и при обращении к другому человеку: то, что он говорит — членораздельные, разумные звуки. А животное воспринимает звуки его голоса, если у него не повреждено ухо: ведь, утверждали теологи, пока дело касается только самих органов восприятия, а не разума, чувствам животного дан тот же объективный мир. <sup>62</sup> Однако человек видит не глазом, а разумом, и слышит не ухом, а тоже разумом, повторяли теологи известную античную формулу. Животное не способно по нему а т ь членораздельную речь, голос человека действует на него только как струя выдыхаемого и колеблющегося воздуха. <sup>63</sup> В отдельных случаях наш язык может сводиться для животного к небольшому числу команд, т. е. некоторые животные способны реагировать на звуковые сигналы, в том числе и на речь. «Слова» в подобном «разговоре» с животным могут вполне адекватно заменяться любым иным стимулом — жестом, свистом, шиканьем,

---

<sup>60</sup> Василий Кесарийский. Беседы на Шестоднев. Беседа 8, гл. 1. — PG, t. 29, p. 165 В. Р. п.: Творения, т. 1, с. 74—75.

<sup>61</sup> Николай Кузанский. Компендий. Р. п.: Языковая практика и теория языка. МГУ, 1974, вып. 1, с. 363. Переводчик «Компендия» В. В. Библихин пишет в комментарии: «„Голос“ петуха здесь можно переводить и как „слово“ петуха. Человеческое слово отличается от „слов“ животных, по Кузанскому, лишь тем, что оно усовершенствовано искусством», с. 390.

<sup>62</sup> Аврелий Августин. Исповедь, кн. 10, гл. 6, § 10. — PL, t. 32, p. 783. Р. п.: Творения, ч. 1. Киев, 1880, с. 275—276.

<sup>63</sup> Ср. яркие формулировки Ж.-Б. Боссюэ, известного католического проповедника XVII в., воспитанного на творениях отцов церкви, приводимые Ж. Вандриесом (Язык, с. 25).

они сопоставимы не с языком, а с криками животных и птиц. «Мы обыкновенно управляем неразумными животными посредством шиканья, понукания и свиста, но не то у нас слово (*λόγος*), которым мы действуем на слух неразумных животных, а то, которым по природе пользуемся между собою; а в отношении к животным достаточно употреблять соответственный крик и какой-нибудь вид звука». <sup>64</sup> Но вообще об этой форме «коммуникации» вспоминали редко: она была в стороне от теологических проблем. Считалось достаточным признать, что человек всегда словесен и разумен, а животное неразумно и бессловесно. Идет ли человек от идеи к звуку (говорящий) или от звука к идее (слушающий), он должен быть разумным. <sup>65</sup> Поэтому обычно говорили, что человек воспринимает звуки и вместе с ними мысли, а животные — только звуки, как чисто физический феномен. «Мы, люди, — животные разумные и можем понимать его мудрость, и не так несмысленные сердцем, чтобы подобно бессловесным скотам слышать только звук слова, а не мысли». <sup>66</sup> Тем самым патристика с самого начала категорически отвергла античную стихийно-материалистическую традицию, рассматривавшую происхождение и развитие языка человека как естественный эволюционный процесс, <sup>67</sup> сближавшую человеческий язык с системами коммуникации животных, считавшую их принципиально сопоставимыми. <sup>68</sup> Этим зачаткам античной натурфилософской эволюционной теории была противопоставлена доктрина креационизма — «учения о ступенях творения всего мира и человека — венца творения». Креационизм отграничивает человека от животного абсолютно непроходимым барьером, ставит их на противоположные края пропасти. <sup>69</sup>

§ 5. Во все предыдущие века в Древней Индии, Греции, Риме люди как бы не замечали языки своих соседей, жили в гордом сознании своей языковой исключительности. Отличительный признак варвара не уровень культуры, не религиозная принадлежность, не раса, а «бессмысленное бормотание». Даже беглые упо-

<sup>64</sup> Григорий Нисский. Опровержение Евномия. — PG, t. 45, p. 1052 В. Р. п.: Творения, ч. 6, с. 429.

<sup>65</sup> Как отмечал Р. Якобсон, различие между путем говорящего и слушателя подчеркивал еще Аврелий Августин.

<sup>66</sup> Иероним Стридонский. Письмо 82, гл. 9. — PL, t. 22, p. 741. Р. п.: Письмо 76. Творения, ч. 2. Киев, 1893, с. 357.

<sup>67</sup> Таковы мысли Демокрита, изложенные Диодором Сицилийским.

<sup>68</sup> Лукреций. О природе вещей, кн. 5, стихи 1021—1090.

<sup>69</sup> В дальнейшем это учение было развито Декартом (так называемая «теорема» или «пропасть» Декарта) в форме теории рефлекторного автоматизма поведения животных, без остатка сводимого к области физических и механических явлений, и противостоящего ему свободного, творческого мышления человека, единственным верным свидетельством которого служит язык. Материалисты XVIII—XIX вв. подвергли философский дуализм Декарта суровой критике. Эти идеи, частично воспринятые «картезианской лингвистикой», служат предметом острых дискуссий и в наши дни. «Материалистическое снятие теоремы Декарта. . . все еще остается на повестке дня» (Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории. М., 1975, с. 143).

минания о варварском языке у Платона — редкое исключение для античного мыслителя, на его «лингвистической карте мира» только два языка — родной и прочие. Римлянин, правда, видел три, но существа картины это не меняло. «За своими границами культурные народы древности видели только «варваров», и им, по всему их мировоззрению, не могло прийти в голову уделить какое бы то ни было внимание языкам этих варваров, не говоря уже о научном их исследовании».<sup>70</sup> Картина тем более парадоксальна, что «за своими границами» культурные народы древности видели все — религиозные и правовые институты, одежду и утварь, животных и растения, слышали любые сказания и легенды, но не слышали языка. Родной язык, подобно отечеству, обладал абсолютной ценностью, александрийские грамматики изучали язык потому, что это был язык Эллады, язык Гомера.

Как известно, формула «алфавит следует за религией» применима именно к эпохе феодализма,<sup>71</sup> в Средние века появилась письменность у многих прежде бесписьменных народов. Но для науки о языке последующих веков не менее существенным был «переворот во взглядах на языки земного шара», стимулированный христианством, о чем неоднократно писал И. А. Бодуэн де Куртенэ.<sup>72</sup>

Этот переворот был закономерен: ни Греция, ни Рим не стремились к прозелитизму, не несли свою веру варварам; иудейский мессианизм в пределах греко-римского культурного ареала был весьма ограниченным, христианство же с самого начала обращалось с проповедью ко всему миру. Когда Григорий Назианзин говорил в своем «Слове»: «Внимайте, народы, племена, языки, люди всякого рода, всякого возраста, — все, сколько есть теперь и сколько будет на земле»,<sup>73</sup> — это не было в его устах риторической фигурой, но лишь провозглашением христианской доктрины. В Средние века утвердилось учение, что многочисленные языки при всем их внешнем разнообразии в сущности своей представляют собой, как сказали бы мы сейчас, варианты, реализации одного инварианта — единого Языка Человеческого. «Ты глуп, — писал Тертуллиан, — если станешь приписывать это одному только латинскому или греческому языкам, которые считаются родственными между собою, отрицая всеобщность натуры. Душа снизошла с неба не для латинян только и греков. Все народы — один человек, различно имя; одна душа, различны слова; один дух, различны звуки; у каждого народа есть свой язык, но

<sup>70</sup> Томсен В. История языковедения до конца XIX в. М., 1938, с. 32.

<sup>71</sup> Дирингер Д. Алфавит. М., 1963, с. 629 (примеч. ред.).

<sup>72</sup> В статье «Языковедение», написанной для энциклопедического словаря (см.: избр. тр. по общему языковедению. М., 1963, т. 2, с. 106); Бодуэн де Куртенэ Н. А. Очерк истории языковедения или лингвистики, § 26. Р. п. (сокращенный): Теория и история языковедения. М., 1974, с. 198.

<sup>73</sup> Григорий Назианзин. Гомилия 4, гл. I. — PG, t. 35, p. 532 A. P. п.: Творения, ч. I, с. 68.

сущность языка всеобща». <sup>74</sup> Христиане не отличаются от прочих людей ни страной, ни языком, ни обычаями. Они не употребляют какого-либо необыкновенного наречия. Для них всякая чужая страна — отечество, и всякое отечество — чужбина, писал один из ранних апологетов. <sup>75</sup>

Климент Александрийский, чьи основные сочинения датируются концом II в., утверждал: «Вся человеческая семья делится на эллинов и варваров». <sup>76</sup> Однако цель у Климента противоположна той, какая была у мыслителей Древней Греции: он хотел убедить читателя, что в науке, культуре и языке первенство принадлежит варварам, что греки — не более чем дети на мировой арене, они только развили и усовершенствовали то, что было творчески создано другими. «Наречия первоначальные и образующие суть наречия народов, которые у эллинов слышат под именем варварских. В названиях предметов у них обозначается самое существо их, природа, почему признано, что молитвы на языке варварском более действенны, чем на других языках». <sup>77</sup> Правда, некоторые отцы церкви не могли скрыть своих особых симпатий к греческому и латинскому языкам. Иероним Стридонский хорошо знал несколько языков и чрезвычайно гордился этим, не упуская случая уязвить своих оппонентов напоминанием об их невежестве. Но блестящими, живыми, сладостными, доставляющими истинное наслаждение говорящему и слушателю, признавал только греческий и латинский. Он страстно любил античных «языческих» авторов, но считал эту любовь греховной, каялся в ней, клялся отстать от них, забыть, стать христианином, а не Цицеронианцем, а потом вновь возвращался к сладостным его сердцу Туллию, Плавту, Горацию и принимался сетовать, что слишком долго читал еврейские тексты (Библию!) и тем, должно быть, испортил свое прежде безукоризненное произношение. В одном из своих писем он сообщает в Рим: «Теперь я занимаюсь вашим письмом, обнимаю его, оно говорит со мною, оно одно только знает здесь поллатыни. Здесь нужно говорить или варварскою полуречью (*barbarus semisermo*) или молчать». <sup>78</sup> Речь библейских пророков казалась его утонченному вкусу грубой. Главным делом своей жизни он считал предпринятый им перевод Библии с еврейского языка на латинский, но вот что он рассказывал о начале изучения еврейского языка: «Для укрощения его [своего ума] я отдал себя в обу-

---

<sup>74</sup> Тертуллиан. О свидетельстве души, гл. 6. — PL, t. I, 618 A—B. Р. п.: Творения, ч. 2. Киев, 1910, с. 215.

<sup>75</sup> Послание к Диогнету, гл. 5. Р. п.: Памятники древней христианской письменности в русском переводе. М., 1863, т. 4, с. 17.

<sup>76</sup> Климент Александрийский. Строматы, кн. 5, гл. 14. — PG, t. 9, с. 197 А. Р. п.: Строматы. Ярославль, 1892, кол. 631.

<sup>77</sup> См.: Строматы, кн. 1, гл. 21. — PG, t. 8, с. 881 А. Р. п.: кол. 140.

<sup>78</sup> Иероним Стридонский. Письмо 7, гл. 2. — PL, t. 22, р. 339. Р. п.: Творения, ч. 1, с. 20. — Правда, постоянно ругая варварскую фонетику, которой он был вынужден осквернять свой язык, Иероним хвалил стиль библейских книг, который не удается сохранить в переводах.

чение некоему брату, обратившемуся в христианство из евреев, чтобы после остроумия Квинтиллиана, плавности Цицерона, важности Фронтоня и легкости Плиния поучиться азбуке и потрудиться над трещащими и захватывающими дух [еврейскими] словами». <sup>79</sup> Он всю жизнь жаловался, что ему приходится читать Библию на языке подлинника, в котором слова «шипят, трещат и дышат тяжело». Рассказывая об Оригене, он считал нужным поставить ему в особую заслугу то, что «он имел такое усердие к изучению Священного Писания, что, несмотря на свои лета и вопреки природным склонностям своего народа, учился даже еврейскому языку». <sup>80</sup> Безусловное предпочтение отдавал греческому языку и Исидор Севильский. <sup>81</sup>

И все же переворот во взглядах произошел, и процесс был необратим. Уже античных мыслителей подчас ставил в тупик вопрос: если люди, говорящие на разных языках, называют одно и то же разными именами, как решить, какое имя истинное, т. е. соотносится с сущностью именуемого, а какое — результат «порчи» языка? Если для эллина самым истинным был язык богов, далее шел эллинский, а на последнем месте стоял варварский, то ранне-средневековые теологи — Климент Александрийский или Ориген — изменили этот порядок, но во многом продолжали двигаться в русле античной мысли. Даже мнение Платона о «языке богов» Климент излагает бесстрастно, как бы разделяя его. У авторов последующих веков первое место оказалось вакантным, ибо они отвергли само учение о соответствии каких-либо имен сущности именуемого, восходящее, по их мнению, к Платону. <sup>82</sup> Ни один язык не имеет в этом аспекте никаких преимуществ перед любым иным. У нас нет оснований признавать какой-то язык или какие-то слова истинными, т. е. орудиями господства, управления именуемым, а другие — ложными или хотя бы менее истинными, ибо для грека правильными будут слова его языка, для римлянина — его, для сирийца — его, и так до бесконечности, пока не будут перечислены все языки, — таков смысл суждений о многоязычии, о природе различных языков и сущности каждого имени, наиболее широко принятых средневековыми мыслителями. В их рассуждениях об имени постоянно слышится явная или скрытая полемика с греческими философами. «Как пройти мимо этой тщательной и

---

<sup>79</sup> Письмо 125, гл. 12. — PL, t. 22, p. 1079. P. п.: Письмо 101. Творения, ч. 3. Киев, 1903, с. 279.

<sup>80</sup> Иероним Стридонский. Книга о знаменитых мужах, гл. 54, Ориген. — PL, t. 23, p. 666 В. P. п.: Творения, ч. 5, с. 290. — Достоверных сведений о национальности Оригена и о том, когда он изучал еврейский язык, нет.

<sup>81</sup> Исидор Севильский. Этимологии, кн. 9, гл. 1, § 4. — PL, t. 82, p. 326.

<sup>82</sup> Как известно, существует несколько интерпретаций диалога «Кратил», о котором идет речь. В данном случае мы говорим только о том, как понимали этот диалог в раннее средневековье. Вопрос о правильности или ошибочности этого понимания здесь не ставится.

обдуманной философии, где он [Евномий] говорит, что не только в делах, но и в именах обнаруживается премудрость Бога, свойственно и естественно приспособившего названия к каждому со-творенному [предмету]? Говорит это, вероятно, или сам прочитав диалог Платона „Кратил“, или услышав от кого-нибудь из читавших; по великой, думаю, скудости мыслей шпивает со своим празднословием тамошнюю болтовню. . . . Оглушенный благозвучием платоновой речи, он считает приличным сделать догматом церкви его философию. Сколькими, скажи мне, звуками, по различию народов, именуется небо? Мы (греки) называем его *οὐρανός*, еврей — шамаим, римлянин — *caelum*, и иначе сириец, мидянин, каппадокиец, мавританец, скиф, фракиец, египтянин; даже исчислить нелегко различия имен, существующие в каждом народе относительно неба и прочих вещей. Какое же, скажи мне, естественное имя их, в котором обнаруживается величественная премудрость Божия? Если предпочтешь прочим эллинское имя, то тебе, быть может, противостанет египтянин, выставляя свое. Если отдашь первенство еврейскому, сириец выставит свой звук, также и римлянин не уступит им первенства; мидянин также не допустит, чтобы не его слова первенствовали; и из прочих народов каждый сочтет достойным первенства свое. Итак, чего не потерпит это учение, при таких различиях слов разрываемое спорящими?»<sup>83</sup>

Широко дискутировавшиеся в античной философии вопросы о правильности одних имен и испорченности других, об особых словах богов, обозначающих реки, растения или птиц не произвольно, а правильно,<sup>84</sup> служили христианским теологам только поводом для насмешек.

Не только в период раннего христианства, но и много веков спустя попытки возвышения одних языков и принижения других признавались противоречащими ортодоксии. Житие создателя славянской азбуки Константин Философа (Кирилла) повествует, что римские миссионеры «воздвигли на него трехязычную ересь», имея в виду учение некоторых латиноязычных авторов, что богослужение достойно совершать только на греческом, латинском и еврейском языках, т. к., согласно Евангелию, на этих языках была сделана надпись на кресте, где был распят Христос.<sup>85</sup> Но ведь из евангельских слов можно было сделать и диаметрально противоположный вывод: эти языки осквернены грехом богоубийства, священное Писание и литургический канон должны существовать на каком-то ином, чистом языке, например, сирийском

---

<sup>83</sup> Григорий Нисский. Опровержение Евномия. — PG, t. 45, p. 1045 C—1048 A. P. n.: Творения, ч. 6, с. 423—424.

<sup>84</sup> Так, Сократ в диалоге «Кратил», ссылаясь на Гомера, сказавшего «нечто великое и удивительное по поводу правильности имен», сравнивает речь богов с человеческой речью, но указывает, что боги называют вещи другими, правильными именами (Платон, Кратил, 391 д—392 а).

<sup>85</sup> Об этом писал, например, Исидор Севильский в своей знаменитой энциклопедии «Этимологии», кн. 9, гл. 1, § 3. — PL, t. 82, p. 326 C—D.

или коптском. Такие «еретические» притязания и были скоро выдвинуты. Конечно, христианская церковь не могла отречься от этих трех канонических языков; более того, с веками языковое единство литургии стали рассматривать как конфессиональное единство, и все же теоретически все языки продолжали считать равноправными. Так, константинопольский патриарх Фотий писал, что переводы слова божия на любой язык оправданны и равноправны, ибо Писание на всех языках остается самим собой.<sup>86</sup> Известно, что и Фотий, и его злейший враг — папа римский активно поддерживали переводческие труды Константина Философа.

§ 6. Подчеркнем еще раз, что средневековые учения о языке — элемент сложной системы средневекового мирозерцания. Возникновение христианства повлекло за собой радикальную переоценку всех ценностей античного мира, определило развитие всех областей науки и культуры. Но и оно подверглось большому влиянию греко-римской культуры. Сведение средневековых учений о языке исключительно к тому или другому одинаково искажает картину. Искажает ее и отсечение тех или иных частей этих учений, которые языковедение XX века признает нерелевантными, желание выдать часть за целое. Конечно, ни блаженный Августин, ни каппадокийцы, ни Иоанн Дамаскин, ни Фома Аквинский не намеревались создать стройную и законченную лингвистическую теорию, не предназначали свои трактаты для лингвистов, были обеспокоены проблемами теологическими, а не лингвистическими, но ведь и иконы писались не для искусствоведов, что не мешает рассматривать их как произведения искусства. Многие аспекты учений о языке, которые в Средние века признавались наиболее существенными, не являются предметом современного языковедения, но, игнорируя их, конструируя предмет средневековой науки по сегодняшнему образцу, мы не сможем достаточно полно выяснить, как понимали природу и сущность языка авторы II—XIV вв., ибо что для сегодняшней лингвистики нерелевантно, то для средневековья стояло в центре внимания, давало смысл всей работе и определяло угол видения всех без исключения аспектов учения о языке. «Современный метод в истории средневековой философии, — указывает И. Н. Голенищев-Кутузов, — требует восстановления системы (или систем) мышления, ясного изложения, а не догматических утверждений и неуместных эмоций».<sup>87</sup>

Анализ средневековой философии языка немислим вне того теологического контекста, который был многовековой формой ее существования. Средневековая наука была единой во всех своих проявлениях, все ее области определялись господствующим мировоззрением эпохи — христианской доктриной. Известный тезис

---

<sup>86</sup> Аверинцев С. С. Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от античности к средневековью. — В кн.: Из истории культуры Средних веков и Возрождения. М., 1976, с. 31.

<sup>87</sup> Голенищев-Кутузов И. Н. Эпоха Данте в представлении современной науки. — В кн.: Ромашские литературы. М., 1975, с. 18—19.



«Философия — служанка теологии» принято возводить к схоластике, к жившему в XI в. Петру Дамиани, но фактически он появился на много веков раньше.<sup>88</sup> Теология была полновластной госпожой и тривиума, который начинался с грамматики и риторики, и квадравиума, теоцентричность — определяющая черта всякого средневекового знания. Учения о языке не просто зависели от богословия, они тесно смыкались с ним, подчас являясь его составной частью; оно служило отправным пунктом и конечной целью большинства спекуляций о языке. Поэтому, игнорируя столь существенные аспекты христианской доктрины, как толкование начальных слов Библии «сказал Бог», «сказал им Бог», «назвал Бог», как различие между Логосом и словом, между вербальным и невербальным характером творческого акта, игнорируя средневековое понимание форм диалога человека с богом и бога с человеком или отношение к языковой магии и глоссолалии, мы не сумеем адекватно раскрыть ни онтологические, ни гносеологические представления о языке в Средние века, а любая теория языка (равно как и иная теория), в конечном счете строится именно на этих представлениях.

История каждой науки должна способствовать более полному пониманию сегодняшнего статуса этой науки, ее предмета и задач, а также предвидению основных путей ее дальнейшей эволюции. Но если мы пренебрежем целостной картиной, если будем исходить из новоевропейского понимания задач науки, будем искусственно конструировать предмет средневековой философии языка, вносить туда лишь то, что есть в лингвистике сегодня, и только на этом фокусировать свое внимание, — за изучение средневековья не стоит даже браться: оно ничему не научит и ничего не объяснит, ибо мы утратим основную особенность средневекового видения мира — системность и цельность. Средневековыми учениями о языке может по справедливости быть названо только целое, а вне теологического контекста средневековой системы быть не может. Результатом поиска системы в оторванных от целого частях будет груда фрагментов, допускающих любую интерпретацию; одни будут названы гениальными (или любопытными) догадками, ибо они совпадают с тем, что и как мы думаем сегодня, другие — досадными заблуждениями, данью своему темному времени, следствием общего упадка науки и культуры. Первые (например, общепринятое в Средние века учение о двусторонней природе языкового знака) могут быть успешно использованы как броский аргумент в полемике, вторые (язык Адама, «языки ангелов», вавилонское столпотворение) вызовут лишь снисходительную улыбку — и только. Подобная «история науки» ничего нам в прошлом не объяснит и ничему не научит, расскажет только о том, что нам априорно

---

<sup>88</sup> Так озаглавлена, например, гл. 5 кн. I Стромат Климента Александрийского. Так же определял соотношение философии и теологии Иоанн Дамаскин.

было известно, что сами мы сконструировали. Мы не поймем органическую связь учений о языке с господствующим мировоззрением эпохи, не раскроем движущие силы становления и развития нашей науки, не осознали, что и в какой мере волновало умы.

### Учения о происхождении языка

§ 1. Для всех без исключения средневековых учений о происхождении языка опорой служил один и тот же библейский текст: «И когда образовал Господь Бог из земли всякого зверя полевого и всякую птицу небесную, привел Он к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и как назовет человек какое-либо живое существо, так и имя его. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым» (Бытие, 2, 19—20). История средневековых учений о происхождении языка есть история интерпретации этих стихов. Появление каких-либо теорий, игнорирующих Библию, в Средние века совершенно невероятно. Все теологи безусловно принимали повествование о наречении имен, но трактовали его по-разному.

Учение ортодоксальных теологов было таким: как человек не может в прямом смысле быть назван творцом вещей, так бог не может в прямом смысле быть назван ономотетом, установителем имен. «Ни Адам не сотворил животных, ни Бог не наименовал, как повествует Моисей». <sup>89</sup> Ведь сущность языка такова, что он нужен только человеку, поэтому ни одно имя не старше человека.

Эту трактовку нужно было согласовать с первой главой Бытия, где говорится о творческой силе слова божия и о наименовании стихий богом «И сказал Бог: да будет свет»; «И назвал Бог свет днем, а тьму назвал ночью» и т. д. Возражая «еретику» арианскому епископу Евномию, учившему, что язык не может иметь чисто человеческое происхождение, что в нем следует усматривать высшую премудрость, и сылавшемуся при этом на первую главу, защитник ортодоксии, один из «избранных отцов», «столп православия», Григорий Нисский писал: «Вероятно, наши противники станут опираться на эти слова. . . . Спрашивают: если Писание признает, что эти названия положены Богом, то как вы говорите, что имена придуманы людьми? Что сказать нам на это? Опять прибегаем к обычному слову и говорим, что изведший всю тварь из небытия в бытие есть Создатель вещей, рассматриваемых в их сущности, а не имен, не имеющих существенности и составленных из звуков голоса и языка; вещи же, вследствие находящейся в каждом [человеке] природной способности, именуется каким-либо служащим для обозначения их звуком, так что название соответствует предмету сообразно с местным у каждого народа обычаем». <sup>90</sup>

<sup>89</sup> Григорий Нисский. Опровержение Евномия. — PG, t. 45, p. 1048 C—D. P. n.: Творения, ч. 6, с. 426.

<sup>90</sup> Григорий Нисский. Опровержение Евномия. — PG, t. 45, p. 1001 B—C. P. n.: Творения, ч. 6, с. 372—373.

И несколько ниже подводит итог своему рассуждению: «Итак, всем подтверждается наше слово (хотя оно и не искусно построено по правилам диалектики), доказывающее, что Бог — Создатель предметов, а не простых речений, ибо не ради Его, а ради нас прилагаются предметам имена. . . . Если же кто скажет, что эти имена образуются, как угодно людям, сообразно их привычкам, тот нисколько не погрешит относительно понятия Промысла, ибо мы говорим, что имена, а не естество существующих предметов происходит от нас. Иначе именует небо еврей и иначе хананей, но тот и другой понимают одно и то же, от различия звуков нисколько не ошибаясь в разумении предмета».<sup>91</sup> Аналогичные рассуждения можно найти у старшего брата Григория Нисского — Василия Кесарийского, чью полемику против Евномия Григорий продолжил и развил, у Аврелия Августина, Гуго Сен-Викторского, Петра Ломбардского, Бонавентуры, Фомы Аквинского.<sup>92</sup>

Общепринятое ортодоксальное толкование соотношения естественного и сверхъестественного в происхождении имен было таким: от бога — творческая способность, разумность, дарованная первочеловеку Адаму и всему роду человеческому, поэтому каждый человек с момента рождения уже владеет Языком в потенции, а реализация этой способности, установление имен — дело самого человека. Это восходящее к Аристотелю учение о бытии в возможности (в потенции) и в действительности (реализации) имеет определяющее значение для средневековых теорий происхождения языка, наук, искусств, любых ремесел, умений и навыков. Всякая возможность имеет противоречивый характер, ибо в возможности существующее нечто как бы одновременно и есть, и не есть, как учил Аристотель. Всякая возможность, всякая человеческая способность, утверждали средневековые теологи, может выявиться в реальном бытии, но равным образом и остаться в небытии, в возможности бытия. Так, язык присущ в возможности любому человеку, но если человек не слышит речь с самого рождения («опыт Псамметиха»), то он и не заговорит, т. е. не будет произносить вслух артикулированные звуки, которые служат знаками каких-то внеязыковых сущностей, но будет передавать свои мысли каким-то иным способом, которому он научится от окружающих людей. Возможность и действительность диалектически взаимосвязаны и предполагают друг друга, ничто не может быть в действительности, если его нет в возможности; любая сущность представляет собою возможность в процессе постоянного осуществления.

<sup>91</sup> Ibid., p. 1005 C—D. P. n.: c. 377—378.

<sup>92</sup> R o t t a P. La filosofia del linguaggio nella Patristica è nella Scolastica. Torino, 1909, p. 183—189.

Ср. у Данте:

Естественно, чтоб смертный говорил;  
Но так иль по-другому, это надо,  
Чтоб не природа, а он сам решил.

Рай, XXVI, 130.

С этим было тесно связано учение о творческих способностях человека. Под творческой способностью или разумностью понималась вся совокупность духовных сил, свойственных человеку, его смысленность, сообразительность. Все теоретические и прикладные знания, все науки и искусства обязаны своим существованием этой способности. Анализируя ее, Григорий Нисский вопрошал: Откуда высшие из наук? Откуда геометрия, физика, логика, механика? Откуда сама философия и, короче говоря, всякое занятие души великими и высокими предметами? А земледелие? А мореплавание? Конечно, рассуждает он, бога нельзя признать причиной каждого отдельного творческого акта человека, человек произвольно распоряжается своими творческими способностями, по своему усмотрению он направляет их как на пользу себе и другим людям, так и во вред. Ведь все та же способность к творческому мышлению служит источником и добрых, и злых дел, но признать бога виновником последних — богохульство. Творческая способность человеку дарована, но мы сами делаем дом, скамью, меч, плуг и вообще все нужное для жизни. «Так и речевая способность (*λόγου δύναμις*) есть дело Создавшего наше естество таковым, а изобретение слов каждого в отдельности придумано нами самими, чтобы пользоваться ими для обозначения предметов. Это подтверждается тем, что повсюду признаются постыдными и неприличными многие слова, изобретателем которых ни один здравомыслящий не признает Бога». <sup>93</sup> Как нелепо думать, что мы нуждаемся в чьей-либо помощи, чтобы слышать ушами или видеть глазами, каково бы ни было происхождение этих органов, «так, говорим мы, и разумная сила души. . . сама собою движется и взирает на вещи, а для того, чтобы знание не претерпело никакой слитности, налагает на каждую из вещей как бы какие клейма (*σημαύτρα*), обозначения посредством звуков. Удостоверяет это учение и великий Моисей, сказав [в Библии], что Адамом положены наименования неразумным животным». <sup>94</sup>

§ 2. Анализ средневековых учений о происхождении языка еще раз выявляет теснейшую связь языковедческих идей с господствующим мировоззрением эпохи: средневековые мыслители занимались теми аспектами теории, которые ставила перед ними теология и разрешали их в соответствии с принятой конфессиональной доктриной. Сущности языка, соотношению имени и именуемого, роли языка в познании, взаимосвязи языка и мышления, полемике с невеждами, смешивающими Логос — вторую ипостась Троицы — и человеческое слово, посвящены многие главы в десятках трактатов. В то же время такой существенный для антич-

<sup>93</sup> Григорий Нисский. Опровержение Евномия. — PG, t. 45, p. 989 D—991 A. P. п.: Творения, ч. 6, с. 360—361. — Найти русское соответствие термину «эпиноиа» довольно трудно, в латинских колонках курса патрологии оно даже не транслитерируется. В русских переводах «примышление». Речевая способность — *sermonis potentia*.

<sup>94</sup> Григорий Нисский. Опровержение Евномия. — PG, t. 45, p. 1045 A—B. P. п.: Творения, ч. 6, с. 422—423.

ной науки вопрос, как сам механизм возникновения слов, происхождение материала, из которого они строятся, этимология, если занимал умы средневековых мыслителей, то лишь косвенно. Мы нигде не встретим споров по этому вопросу, никто не озабочен поисками истины в данной области, никто не отстаивает свою правоту, не обличает заблуждения инакомыслящих; это «внешняя наука», заниматься ею дело бесполезное. Поэтому здесь всегда бесстрастное изложение чьих-то мнений и взглядов, отчуждение автора от излагаемой теории. Оно ощущается постоянно, а нередко и намеренно подчеркивается. И страстный полемист Августин, и Григорий Нисский, и желчный Иероним Стридонский, хорошо знакомые с многочисленными грекоязычными и латиноязычными работами античных этимологов, часто цитировавшие их, всегда оставались равнодушными к существу спора.

«Стойки утверждают, . . . что нет слова, значение которого нельзя было бы верно объяснить», — так начинается известнейшее изложение практики этимологического анализа первых веков, данное в шестой главе трактата «Основы диалектики», приписываемого Аврелию Августину. Изложению предпослана общая оценка этой практики: «О происхождении слова спрашивают, когда спрашивают, почему так говорится; дело, как мне кажется, чрезвычайно любопытное, но не очень нужное. . . Как бы ни было полезно объяснить происхождение слова, бесполезно было бы приниматься за то, что, начав, пришлось бы толковать, воистину, бесконечно. Кто же может отыскать, откуда было так сказано все, что когда-либо было сказано? Из этого следует, что как толкование снов, так и объяснение происхождения слов зависит от выдумки каждого человека».<sup>95</sup> Такова и этимологическая практика Лактанция, Оригена, Августина. Анализ этимологических принципов и методов средневековья можно найти в известной работе В. Пизани «Этимология».<sup>96</sup>

В Библии довольно часто даются объяснения того или другого имени, переименовываются люди, получают названия горы, поля, колодцы, города, но экзегеты не проявляли особо пристального внимания к этим местам Писания. Чаще других занимался ими Иероним Стридонский, дававший буквальное толкование текста, избегавший аллегорий, в отличие от большинства отцов хорошо знавший еврейский язык, что необходимо в подобных изысканиях. Вообще поиски этимона более характерны для латиноязычных авторов (отцов западных), чем для грекоязычных (восточных), чему причиной, возможно, широкое распространение на Западе трудов Варрона и несколько меньшая языковая обособленность римлян, часто знавших еще и греческий, нередко сравнивавших эти

---

<sup>95</sup> Аврелий Августин. Основы диалектики, гл. 6. — PL, t. 32, p. 1411—1412. — Печатается в разделе «Приписываемое Августину». Ряд отрывков этого трактата дословно совпадает с текстами других раннесредневековых авторов, которые, надо полагать, черпали из одного источника.

<sup>96</sup> Пизани В. Этимология. М., 1956, с. 19—32.

два языка. При этом богословы не шли дальше механического приложения известных приемов к новому материалу — Библии. «„Кадес“, — пояснил Иероним, — значит не „святая“, как многие думают, а „измененная“ или „перенесенная“. . . . А если же переводится „святая“, то это нужно понимать как антифрасис, подобно тому как Парки называются так потому, что совершенно беспощадны, война (bellum) потому, что нисколько не прекрасна (bellum), и роца (lucus) потому, что нисколько не светит (luceat)».<sup>97</sup>

Наиболее широко использовал этимологию Исидор Севильский в своем энциклопедическом труде «Этимологии, или Начала», превратив ее в универсальный инструмент научного познания всего видимого и невидимого мира, но даже у него этимологические толкования зачастую сопровождаются ссылками на какие-то не очень авторитетные для христианина VI—VII вв. источники: считают, полагают, говорят вместо обращения к Библии или церковному преданию. Решая «недоуменные вопросы», Исидор ставит в один ряд мнение отцов церкви и языческих философов.

В позднее средневековье этимология была использована в агиографии для истолкования «таинственного» смысла имени того или иного святого. Следует, однако, иметь в виду, что на статус строгой и доказательной научной дисциплины этимология стала претендовать только в эпоху Возрождения, когда значительно выросла филологическая культура исследователей.

§ 3. В средневековых трактатах сравнительно редко рассматривался вопрос о внешних материальных условиях возникновения человеческой речи. Григорий Нисский был одним из немногих авторов, занимавшихся им достаточно подробно и наметившим путь его решения. В своем основном труде по антропологии «Об устройении человека» он заявил, что строение человеческого рта приспособлено к потребности произношения членораздельных звуков главным образом благодаря человеческой руке. Весьма любопытно, что в той же главе Григорий говорит не только о роли руки, но и о прямой походке человека, позволившей освободить передние конечности от функции опоры телу. Но если руку он безоговорочно связывает с трудом, если, согласно его теории, именно она взяла на себя многочисленные «служения» и тем самым позволила освободить рот для потребностей слова, то прямохождение Григорий связывает главным образом с символическим значением: оно обозначает право человека начальствовать и его царское достоинство на земле, где он поставлен владыкой над всем растительным и животным миром и потому высоко держит голову. Глава эта называется так: «Глава восьмая. Почему у человека прямой стан, и о том, что руки даны для слова». «У человека стан прямой, лицо обращено к небу, и смотрит он вверх, а этим означает его право начальствовать и царское достоинство.

---

<sup>97</sup> Иероним Стридонский, Письмо 78, ст. 33. — PL, t. 33, p. 716—717. Р. п.: Творения, ч. 2. Письмо 73. Киев, 1894, с. 320—321.

Ибо то самое, что из живых существ таков один только человек, у всех же прочих тела поникли долу, ясно доказывает различие в достоинстве преклонившихся пред владычеством и возвысившейся над ними власти. У всех прочих передние члены суть ноги, потому что нагбенное имеет нужду в опоре. А в устройстве человека члены эти стали руками. Ибо в потребность прямому стану достаточно было одного основания, так как и двумя ногами безопасно подпирается он во время стояния». «Кроме того, — продолжает Григорий, — содействие рук помогает потребности слова, и если кто-то услугу рук назовет особенностью словесного существа — человека, если сочтет это главным в его телесной организации, тот нисколько не ошибется. И дело не только в том, что человек всегда пишет с помощью руки, хотя это также имеет немаловажное значение, ибо обозначая слово письменами, мы, можно сказать, беседуем с отсутствующими рукою, сохраняя звуки в начертаниях букв. Но все же главным образом речь идет о другом: о том, что рука освободила рот для слова». «Поскольку человек есть словесное некое живое существо, то нужно было устроить телесное орудие, соответственное потребности слова. Как мы видим, что музыканты с родом орудий сообразуют и музыку, на лире не свиряют, и свирели не употребляют вместо гуслей, так, подобным сему образом, и для слова нужно было соответственное устройство орудий, чтобы, согласно с потребностью речений, изглашалось слово, образуемое голосовыми членами. Для сего-то приданы телу руки. Ибо, если можно рассчитать тысячи жизненных потребностей, в которых эти досужие и на многое достаточные орудия рук полезны для всякого искусства и всякой деятельности, с успехом служа в мирное и военное время, то преимущественно пред прочими нуждами природа придала их телу ради слова. Если бы человек лишен был рук, то у него, без сомнения, по подобию четвероногих, соответственно потребности питаться устроены были бы части лица, и оно было продолговато, и утончалось к ноздрям, у рта выдавались вперед губы мозолистые, твердые и толстые, способные щипать траву. Между зубами вложен был бы язык, отличный от теперешнего, мясистый, упругий и жесткий, помогающий зубам, или влажный и по краям мягкий, как у собак и прочих сыродных животных, вращающийся в промежутках острого ряда зубов. Поэтому, если бы у тела не было рук, то как образовался бы у него членораздельный звук, когда устройство рта не было бы приспособлено к потребности произношения? Без сомнения, необходимо было бы человеку или блеять, или мычать, или лаять, или ржать, или реветь подобно волам и ослам, или издавать какое-либо зверское рыкание. А теперь, когда телу дана рука, уста свободны для служения слову. Следовательно, руки оказываются принадлежностью словесного естества; Творец и их приспособил для удобства слову».<sup>98</sup>

<sup>98</sup> Григорий Нисский. Об устройении человека, гл. 8. — PG, t. 44, p. 144—149. P. п.: Творения, ч. 1, с. 96—102.

Григорий Нисский был виднейшим и авторитетнейшим представителем грекоязычной патристики, чьи сочинения оказали существенное влияние на формирование христианской доктрины и были хорошо известны мыслителям последующих веков как Востока, так и Запада, и не только ортодоксально мыслящим теологам, но и тем, кто склонялся к пантеизму, но его рассуждения о роли руки в специализации и устройстве органов речи, а равно и мысль, что именно вертикальная походка связана с освобождением руки для такого служения, были, кажется, слишком хорошо и надолго забыты наукой последующих веков в Византии и Западной Европе. Для обширнейшего культурного ареала трактат «Об устройении человека» служил основным источником знаний по христианской антропологии, но его учение об условиях возникновения языка подробно не развивалось никем. Только эпизодически встречается у разных авторов краткое изложение этих идей. Так, выдающийся армянский философ, богослов, общественно-политический деятель и педагог Григор Татеваци (1346—1409) писал в своем основном труде «Книга вопрошений»: «Человек — господин и владыка всех животных, поэтому все животные имеют опущенную вниз голову, как слуги и подданные, а у человека она поднята вверх, как у князя и царя. Голова у него поднята, дабы язык и руки служили мышлению и труду. Ибо если человек имел бы опущенную вниз голову и обе его руки покоились на земле, он не мог бы трудиться. И поэтому ему нужны были бы удлиненный язык и утолщенные губы для собирания пищи, и тогда язык не мог бы служить разуму так, как он служит теперь».<sup>99</sup> «Книга вопрошений» Григора Татеваци справедливо считается своеобразной энциклопедией философских знаний средневековья, современные исследователи чрезвычайно высоко оценивают ее роль в истории философской мысли. Григор Татеваци, «развивая материалистические тенденции татевской школы, выдвинул ряд философских положений, предвосхищавших концепции философов нового времени. К ним относятся оценка роли прямохождения для деятельности разума, отрицание врожденных идей, сравнение души с неисписанной доской и т. п.».<sup>100</sup> Разумеется, о Григории Нисском этого сказать нельзя, материалистические тенденции в области философии всегда оставались глубоко чуждыми этому отцу церкви (как, впрочем, и другим каппадокийцам). Тем не менее его идеи о влиянии прямохождения на освобождение руки и о роли освобожденной руки в специализации речевого аппарата весьма интересны и заслуживают самого пристального изучения.

§ 4. Теории происхождения языка развивались ортодоксальными теологами от Тертуллиана, Августина, каппадокийцев до

<sup>99</sup> Антология мировой философии, т. 1, ч. 2, с. 655.

<sup>100</sup> Аревшатян С. С. Григор Татеваци (вступительный очерк). Там же, с. 654. — Необходимо отметить, что средневековая философская мысль Армении и Грузии чрезвычайно богата конструктивными идеями в области общей теории языка, но эти труды все еще плохо известны лингвистам.



Григория Паламы и Фомы Аквинского. Именно их труды составляют основной корпус писаний курса патрологии, поэтому создается впечатление единообразного решения проблемы происхождения языка. Значительно хуже сохранились труды их оппонентов «еретиков». Они известны нам или по цитатам в полемических сочинениях, или под именем православных авторов. Так, несколько можно судить по цитатам из не дошедших до нас книг Евномия, которые дает Григорий Нисский, это крайнее крыло ариан принимало учение, что бог сотворил и все сущее и имена сущего (во всяком случае некоторые из них). Отсюда следовал неизбежный вывод, что имена также обладают сущностью; имя и именуемое связаны неразрывной связью в божественном разуме, что обозначено именем, то и есть сущность именуемого, ибо именование — сверхъестественное, а не человеческое творчество. Из этой общей теории имени Евномий делал важнейший для арианской гносеологии вывод о роли слова в человеческом познании вообще и в познании бога в особенности: имена — аналоги платоновских идей — суть некоторые идеальные потенции, и генетически, и логически предшествующие индивидуальному бытию именуемого или параллельные ему; познавая истинное имя, человек тем самым познает сущность именуемого (например, «рожденный» о боге-сыне и «нерожденный» о боге-отце, что было центральным пунктом расхождений ариан с никейцами). Евномий, очевидно, постулировал существование слов-идей в божественном разуме как аналога материального мира, при этом оба мира, согласно его учению, имеют объективное существование, принадлежат не сознанию, а бытию.

В полемике с арианами каппадокийцы выдвинули умозаключение, известное еще со времен Демокрита: если бы природа законоположила имена, то ее закон должен бы распространяться на все сущее в равной мере, как и все прочие природные законы. «Итак, если бы закон природы повелевал рождаться для нас именам из самих предметов, как из семян или корней (рождаются) растения, и не предоставил наименования, служащие к обозначению предметов, произволу рассматривающих эти последние, то все бы мы, люди, имели один и тот же язык, ибо если бы не различались одни от других данные предметам имена, то и мы не отличались друг от друга особенными языками».

Евномий трактовал акт установления имен как сотворчество человека с богом: человек узнает и выражает словесно имена, что были до времени сотворены и предопределены к воплощению богом. Бог является творцом и «насадителем» имен, эти же имена содержатся и в том, кто есть образ и подобие божие — в человеке, и в именуемом как его стержневая идея, как то, что дает именуемому индивидуальное бытие. Но то, что для бога ясное знание, для человека — только смутное видение как бы в тусклом зеркале, угадывание по неясным, размытым контурам, поиск, где возможны и прозрения, и ошибки. Именование возникает как результат познания чего-то сотворенного, имеющего бытие вне человека, и соединения с этим чувственно или рационально познанным объек-

том его имени, указанного или найденного человеком-ономатотетом в своей душе, угаданного там, выявление потенциально существовавшего в ее глубинах всегда, но только в этом акте именованя реализованного. Власть, проявляющаяся в имятворчестве, и есть высший знак царственного достоинства человека на земле, ибо только полновластный господин может именовать и переименовывать. Это господство подчеркивается присутствием при сем теургическом действии трех: пассивного именуемого (скота, зверя полевого, птицы небесной, женщины — Евы); активного именующего, хозяина, принимающего во владение всю тварь, налагающего на эту тварь как бы клеймо — имя; Творца — абсолютной причины и конечной цели всего, высшего судии, удостоверяющего достоверность клейма-печати и законность вступления во владение.

Согласно учению Евномия, а также, насколько можно судить, другим направлениям явного и прикровенного арианства, именоване животных Адамом было проявлением во всей полноте его мудрости, выявлением внушенной ему богооткровенной истины. Для Евномия Адам-ономатотет стоит особняком в человеческой истории, открытые ему глубины мудрости недостижимы для простых смертных, имятворчество — акт седой древности, инобытия человека, райского, а не греховного существа. Имена если не творения наравне с предметами, то удостоверения бытийности, некие паспорта, без которых нельзя судить со всей определенностью, есть ли нечто или не есть. Для ариан был не только Логос, но и бесчисленные логосы, укореняющие реалии в их бытии, и этими логосами они признавали имена.

Гносеология их противников никейцев была иной. Никейцы учили, что люди дают предметам имена в результате познания именуемого предмета, явления или отношения, познание же, как правило, возникает в процессе трудовой деятельности или абстрактного мышления. Высмеивая Евномия, в рассуждениях которого неизменно присутствовало благоговение перед мудростию ономатотета, Григорий намеренно снижал его образ: «О величественное учение! Какие мнения дарит богослов [Евномий] Божественным наставлениям, в которых люди не завидуют даже банщикам! Потому что и им мы уступаем составлять имена тех действий, над которыми они трудятся, и никто не величал их богоподобными почестями за то, что ими устанавливаются имена для бывающего у них: тазы, псилетиры, утиральники и многие таковые, естественно выражающие предмет значением слов».<sup>101</sup> Но, разумеется, именование не просто механическая реализация заложенной в человеке способности, не повторение в звуке того, что в готовом виде уже дано в языке как возможности, не перекодировка внутренних знаков в произносимые; именование — это всегда творчество. Как, например, зрение — природная способ-

---

<sup>101</sup> Григорий Нисский. Опровержение Евномия. — PG, t. 45, p. 1048 В. Р. п.: Творения, ч. 6, с. 425.

ность, пояснял Григорий, а связанная с ним оптика или геометрия суть изобретения нашего разума, это не сама способность зрения, но умение использовать зрение для определенных целей, это творчество, которое связано со зрением, невозможно без зрения, но физиологической стороной не исчерпывается, так и обозначение чего-то именем не может быть сведено к умению артикулировать звуки, именованию всегда предшествует познание. Поэтому список различных способов обозначения одного объекта ничем не замкнут, он ограничен только числом характерных признаков, которые могут быть выделены при познании. «Например, у каждого есть простое представление о хлебном зерне, по которому мы узнаем видимое нами. Но при тщательном исследовании сего зерна входит в рассмотрение многое, и даются зерну различные именованья, обозначающие представляемое. Ибо одно и то же зерно мы называем то плодом, то семенем — как начало будущего, пищею — как нечто пригодное к приращению тела у вкушающего».<sup>102</sup>

В отдельных случаях в корпус писаний «отцов и учителей Церкви» попадали под чужим именем творения явных и прикровенных «еретиков», которые вели полемику против ортодоксальных theologов. Так, в одном из «Шестодневов», приписанных Иоанну Златоусту, говорится: «Итак, слушай, Необычайное было зрелище: стоит Адам, и Бог, как слуга, приводит к нему животных. . . Привел Бог всех животных и говорит Адаму таким, например, образом: „Как, по твоему мнению, назвать это животное?“ — „Пусть называется львом“. Бог утверждает название. Далее: „Как это животное?“ — „Пусть называется волком“. — „Прекрасно рассудил ты“. Подобным образом Бог утвердил имена всех животных. . . Смотри. Так как Бог сотворил человека по образу Своему, то Он пожелал явно представить и его достоинство и поистине показать, что он носит образ премудрости. И заметь дивное дело. Бог определил Сам имена заранее, но хотел показать чрез образ, что суждения Адама согласны с божественною волею. Несомненно, Писание, желая показать, что Бог предопределил имена, которые дал Адам, говорит: и как назовет человек [Адам] какое-либо живое существо, так и имя его, т. е. Бог так предопределил, Бог так решил. . . Представь, сколько существует животных; именно, представь ручных, диких, живущих в горах, в долинах, животных в Галлии, Индии, во всех других странах вселенной; представь далее роды и виды гадов, всех птиц, всех рыб, обитающих в море, озерах, реках. Все они были приведены к Адаму, и каждому из них он давал название, и Бог не возражал, а спокойно ожидал. Тысячи имен, — и Бог на все дает согласие. . . Он святым голосом признал тысячи имен и не отверг ни одного. Приведены были животные и названы именами. Теперь человек стоял как царь.

---

<sup>102</sup> Василий Кесарийский. Опровержение на защитительную речь злочестивого Евномия, кн. I. — PG, т. 29, р. 524 В—С. Р. п.: Творения, т. 1, с. 465—466.

Подобно тому как вступающие в войско отмечаются царским знаком, так и Бог, поскольку хотел даровать человеку господство, дает ему, как господину, власть наречь имена, потому что никто не назначает имен, кроме одного только господина или отца».<sup>103</sup>

Но как объяснить феномен современного многоязычия? Сохранился ли у какого-то из народов «истинный» язык? Можно предположить, что космическая вина Адама, нарушившего заповедь, внесшего разлад в мир, разладила и мышление, и язык, или даже повлекла за собой потерю дарованной ему мудрости и забвение «правильного» языка, на котором человек говорил в раю, нарекал имена животным.<sup>104</sup> Отсюда неизменно должен был следовать вывод, что после изгнания из рая люди, забыв прежний язык, остались немые, уподобились бессловесным, или, быть может, получили новый язык, замутненный, несовершенный, где имена не соответствуют сущности именуемого. Но зачем было нарекать зверей, если тот язык был сразу же утерян? И кто творец этого нового, несовершенного орудия познания, этого постоянного источника заблуждений — нынешнего человеческого языка? Бог? Какой богослов согласится изречь подобную хулу? Или разве признать, что нынешние языки рода человеческого — результат не мгновенной, а постепенной и неизбежной эволюционной порчи мудрого адамического языка, что все языки — продукты деградации языка Адама?<sup>105</sup> Эта гипотеза казалась более достоверной в новое время, чем в Средние века. О подобном образом истолкованной «эволюции» языка, о сохранении первоначального языка одним каким-то народом как награды за послушание, чаще рассказывается в апокрифах или хронографах более поздних времен, где преобладала манера свободного повествования, чем в философско-теологических трактатах.

Богословы не очень часто пускались в пространные рассуждения о «вавилонском столпотворении», предпочитая ограничиться в необходимых случаях простым пересказом Библии. Что за язык был у людей до столпотворения, если о нем в Библии сказано: «На всей земле был один язык и одно наречие»?<sup>106</sup> Был ли это тот самый незамутненный язык, на котором беседовали между собою прародители? И сохранился ли он у какого-либо народа? Сколько «языковых катастроф» пережило человечество? На **У**се

<sup>103</sup> Наиболее вероятный автор — Севериан Гевальский. — PG, t. 56, p. 480—481. Р. п.: Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. СПб., т. 6, 1900, с. 794.

<sup>104</sup> Критический анализ подобных учений о происхождении языка можно найти в кн.: П о т е б н я А. А. Мысль и язык. Харьков, 1913, с. 1—7.

<sup>105</sup> В «Божественной комедии» Адам говорит:

Язык, который создал я, угас  
Задолго до немислимого дела  
Тех, кто Немвродов исполнял приказ.

<sup>106</sup> В другом переводе: «И была по всей земле речь одна со словами немногим».

перечисленные вопросы давали разные ответы. Некоторые из них, как известно, оказали весьма существенное влияние на последующее развитие лингвистической мысли в Европе.

Никейцы судили об этом так: «Естество вещей, как водруженное Богом пребывает недвижимым, а звуки, служащие для обозначения их, разделились на столько различных языков, что даже и перечислить [их] по множеству нелегко. Если же кто смешение (языков) при столпотворении представит как противоречие сказанному, то и здесь не говорится, что Бог творит языки людей, но смешивает существующий язык, чтобы не все понимали всех. Потому что пока все жили одинаково и люди еще не разделились на многие различия народов, вся совокупность вместе живших людей говорила одним языком; после же того, как по Божественному изволению должна была сделаться обитаемою вся земля, по расторжении общения языка, люди рассеялись по разным местам, и каждый народ вновь образовал особый характер речений и звуков, получив в удел единогласие, как бы некоторую связь взаимного единомыслия, так что, не разноглася относительно знания предметов, люди стали различаться образом именованья (их). Ибо не иное что кажется камнем или деревом (одним и не иное другим), а имена (сих) веществ у каждого (народа) различны, так что остается твердым наше слово, что человеческие звуки суть изобретения нашего рассудка. Потому что мы не знаем из Писания ни того, чтобы в начале, когда еще человечество было само с собою единогласно, сообщены были слова от Бога каким-либо научением, ни того, чтобы, когда языки разделились на разные отличия, Божественный закон установил, как каждый должен говорить; но Бог, восхотев, чтобы люди были разноязычны, предоставил им идти естественным путем, и каждому (народу) как угодно образовать звук для объяснения имен».<sup>107</sup>

Говоря, что существует столько различных языков, что даже исчислить их по множеству нелегко, Григорий расходился со многими средневековыми авторами, точно знавшими число народов и языков на земле. На основании символического толкования некоторых текстов из Библии (Второзаконие, 32, 8), они делали вывод, что число это должно быть чудесным, магическим — 72 (иногда округлялось до 70).<sup>108</sup> В таком виде это учение попало через хронику Георгия Амартола в «Повесть временных лет». На Руси оно получило широкое распространение и оказалось не менее живучим, чем в Западной Европе. Еще Дмитрий Ростовский рассказывал о нем весьма подробно.<sup>109</sup>

---

<sup>107</sup> Григорий Нисский. Опровержение Евномия. — PG, t. 45, p. 996 B—D. P. п.: Творения, ч. 6, с. 366—367.

<sup>108</sup> Borst A. Der Turmbau von Babel. Stuttgart, 1957, Bd 1, S. 228 и далее.

<sup>109</sup> Дмитрий Ростовский. Летопись, повествующая о деяниях от начала миробытия. События в восьмом столетии третьего тысячелетия. Творения, СПб., 1910, с. 176—178.

Иногда, признавая, что исходных языков по числу строителей было именно столько, предполагали, что в дальнейшем из них путем смешения образовались какие-то новые языки: «Еффор и многие из других историков говорят, что существует на свете 75 наций и 75 наречий. . . Но скорее за правду можно принять то, что число первоначальных наречий 72, как говорят нам наши священные Писания. Все другие наречия образуются из смеси первоначальных наречий, двух или трех или более».<sup>110</sup> На исходе средневековья Данте дал любопытную теорию «вавилонского столпотворения», где каждый новый язык был достоянием не народа, возглавляемого своим предводителем или патриархом, как у других авторов, а людей одной профессии. Исследователи отмечали, что подобные мысли характерны для человека, привыкшего к цеховой организации труда.<sup>111</sup>

§ 5. В раввинской экзегетике эпохи эллинизма и средневековья было принято учение о том, что языком Адама, общечеловеческим языком до столпотворения, был тот язык, который сохранился у потомков Евера и получил название еврейского. На этом языке бог говорил с человеком, на этом языке написана Библия. Это учение было принято Оригеном,<sup>112</sup> чьи труды имели в первые века христианства столь широкое хождение и высокий авторитет. Оно же развивалось, насколько можно судить по сохранившимся текстам, некоторыми направлениями арианства. Отношение к нему ортодоксальных посленикейских авторов не было однородным. Иероним Стридонский счел возможным писать папе римскому: «За начало языка и общей речи и всякого слова, которое мы произносим, вся древность признает язык еврейский, на котором написан Ветхий Завет». Эту гипотезу принимал и Исидор Севильский, указывавший при этом все же, что к еврейскому языку, который, согласно сказанию о башне, должен быть ни на один другой язык не похож, весьма близки языки других народов того же ареала.<sup>113</sup> Это учение было более широко распространено на Западе, но, ограниченнее, его принимали и грекоязычные авторы, и даже сирийские. В толковании на книгу Бытия Ефрем Сирийский писал, что первоначальный язык был утрачен всеми народами кроме одного племени. «Сам Евер остался с тем же языком, чтобы и это служило ясным знаком разделения».<sup>114</sup>

Такие интерпретации Библии служили теоретической предпосылкой многим поколениям филологов, пытавшихся вывести все языки из еврейского. То, что в Средние века было частным мнe-

---

<sup>110</sup> Климент Александрийский. Строматы, кн. 1, гл. 21. — PG, t. 8, p. 877 С. Р. п.: кол. 138—139; ср.: Исидор Севильский. Этимологии, кн. 9, гл. 3. — PL, t. 82, p. 328—341.

<sup>111</sup> Будагов Р. А. Литературные языки и языковые стили. М., 1967, с. 337—338.

<sup>112</sup> PG, t. 12, p. 649.

<sup>113</sup> «Syrus et Chaldaeus vicinus Hebraeo est in sermone, consonans in plerisque, et litterarum sonus». — PL, t. 82, p. 327.

<sup>114</sup> Opera Syriaca, t. 1, c. 59.

нием группы богословов, не придававших этому вопросу серьезного значения, после XIV в. стало фундаментальным принципом науки, определяло пути развития европейской филологической мысли. История становления этого научного предрассудка еще не написана, она отнюдь не так проста, как представлялось совсем недавно многочисленным авторам-позитивистам, усматривавшим в средневековье только интегральное мракобесие, корни и истоки всех предрассудков и заблуждений последующих веков. Так, Дж. Фрэзер писал: «Авторы книги Бытия ничего не говорят о природе того общего языка, на котором до смешения наречий говорили все люди, а также, надо полагать, наши прародители — друг с другом, со змеем и с богом в саду Эдема. В позднейшие времена возникло предположение, что первоначальным языком человечества был еврейский язык. Отцы церкви, по-видимому, не питали на этот счет никаких сомнений. Да и в новейшие времена, когда наука языкознания находилась еще в младенческой стадии развития, делались усердные, но, разумеется, тщетные попытки вывести все разнообразие формы человеческой речи из еврейского языка, как общего их источника. В этом наивном предположении христианские ученые не ушли дальше своих собратьев, принадлежащих к другим религиям и видевших в языке, на котором написаны их священные книги, не только язык первородных людей, но и самих богов».<sup>115</sup>

Мы уже говорили о «языке самих богов». Для христианских теологов это были, по их терминологии, просто «нелепые языческие бредни», «сказки старух и сон нетрезвых». Ошибочным является и наивное предположение, что отцы церкви безоговорочно принимали гипотезу о еврейском языке как праязыке рода человеческого. Они должны были усомниться в ней хотя бы потому, что их священные книги были написаны не на одном языке, а на разных. Сравним рассуждение по этому вопросу Григория Нисского с тем, что предполагал Фрэзер. «Моисей, живший много поколений спустя после столпотворения, употребляет один из последующих языков, повествуя нам исторически о происхождении мира и приписывая Богу некоторые слова, излагает их на своем языке, на котором был воспитан и к которому привык. Он не отличает слов Божиих особенностью какого-нибудь инородного и странного звука, чтобы необычайностью и отличием имен показать, что это — слова Самого Бога, но употребляя обычный язык, одинаково излагает и свои слова, и Божии. А некоторые из тщательнее изучивших Писание говорят, что еврейский язык даже и не так древен, как остальные, но что вместе с другими чудесами совершилось у израильтян и то чудо, что этот язык вдруг дан народу после (исшествия из) Египта. . . . Итак, если еврейский язык новее других и произошел позже всех по созданию мира, если Моисей — еврей и излагает речения Божии на своем языке,

---

<sup>115</sup> Фрэзер Дж. Фольклор в Ветхом Завете. М.; Л., 1931, с. 140.

то не ясно ли он учит, что не приписывает Самому Богу таковой речи, образованной по-человечески, но говорит так потому, что разумеемое им иначе и невозможно выразить, как человеческими звуками». <sup>116</sup> Григорий не случайно ссылаясь на «некоторых тщательнее изучивших Писание». Он и сам, и его брат Василий Кесарийский, и его друг Григорий Назианзин знали Писание очень хорошо. Но эта аллегорическая экзегеза казалась им сомнительной, хотя довод для полемики — выигрышным.

Весьма любопытны и своеобразны толкования данной проблемы Феодорита, епископа Киррского, признаваемого самым ученым между грекоязычными авторами V в. В своих «Ответах на недоуменные вопросы книги Бытия» он писал: «Вопрос 61. Какой древнейший язык? — Это показывают имена. Ибо „Адам“, „Каин“, „Авель“, „Ной“ — имена, свойственные языку сирскому. Красную землю у сириян в обычае называть „адамфа“. Поэтому „Адам“ переводится „земной“ или „перстный“, а „Каин“ значит „стяжание“, это сказал и Адам . . . „Авель“ же значит „плач“, потому что он первым явился мертвецом и первый был причиной плача родителем. „Ной“ значит „упокоение“.

Вопрос 62. Откуда же произошел язык еврейский? . . . Иные говорят, что язык еврейский так назван от Евера, потому что он один удержал первоначальный язык, и от него получили наименование евреи. Но я думаю, что евреи получили свое наименование оттого, что патриарх Авраам из земли халдейской вступил в Палестину, перешедши реку Евфрат, потому что словом „евра“ на сирском языке называется пришелец. А если бы евреи получили себе имя от Евера, то не им одним надлежало бы так именоваться, потому что многие народы ведут род от Евера, . . . Но ни один из сих народов не употребляет языка еврейского. . . Но спорить об этом дело излишнее, потому что не вредит учению о благочестии, примем ли то, или другое». <sup>117</sup>

Не только Феодорит Киррский, но и другие теологи сближали еврейский и сирийский язык. Весьма знаменателен конец ответа, который дает Феодорит на «недоуменный вопрос»: ни то, ни другое решение не вредит учению о благочестии; одни учат так, другие иначе, но спорить об этом дело излишнее, хотя речь идет о толковании важнейшего сакрального текста, проблема не касается догматики. Таким же рефреном нередко заканчивали свои рассуждения и другие авторы, сообщавшие, что вопрос не выяснен, темен, а так как благочестию не вредит, то и нечего мудрствовать, удовлетворимся констатацией его невыясненности.

Учение о «праязыке» и языковом родстве каких-то групп народов было поддержано достаточно авторитетными богословами, но это было скорее пассивное приятие, видимого влияния на дог-

<sup>116</sup> Опровержение Евномия. — PG, t. 45, p. 996 D—997 B. P. п.: с. 367—368.

<sup>117</sup> Феодорит Киррский. P. п.: Творения, ч. 1. Троице-Сергиева Лавра, 1905, с. 52—53 (PG, t. 80).



матику оно не оказало, в учение церкви ни в какой форме не вошло, на соборах специально не обсуждалось, т. е. осталось на уровне «частного богословского мнения», было приемлемой научной теорией, а не богословской истиной. В Средние века оно особенно активно развивалось в иудаизме, поэтому, очевидно, прав Дж. Р. Ферс, писавший, что не от христианских теологов, а от раввинов восприняли европейские филологи идею о языке.<sup>118</sup>

## ТЕОРИЯ НОМИНАЦИИ

§ 1. Средневековая философия языка не была атомистичной, мысль всегда сосредоточивалась не на языковом знаке, а на системе. Понимание природы языкового знака определялось пониманием природы языка. Если язык — «некий род движения», если его источник — способность человека к творчеству (эпиноиа), то каждый знак порождается той же способностью; если теологи говорили, что «человеческие звуки суть изобретения нашего рассудка», то это справедливо в отношении целого и в отношении части. Если, согласно христианской онтологии, окружающий мир обладает объективным существованием независимо от именуемого субъекта равно как и означающих звуков, то никакое имя уже не может мыслиться неотъемлемой частью именуемого или орудием господства, управления именуемым: весь мир есть то, что он есть в силу его сотворенности таковым, а не в силу его познания и названности: мир здесь первичен, он существует до имени, до именующего и независимо от них. Между объектом и его именем неизменно стоит тот, единственно ради кого знак существует, — установитель и интерпретатор знака, человек. Всякий знак связан не непосредственно с сущностью именуемого, а с тем, что в этой сущности познано и названо человеком. Только поэтому у заведомо несуществующих построений человеческой фантазии, каких-нибудь многоруких, многоглавых драконов, дышащих пламенем, говорящих человеческим голосом, тоже есть имена, ничем не отличающиеся от всех прочих знаков: ведь человек может *изобретать как полезное, так и вредное*, именовать как истинное, так и ложное, источник любого творчества один — разумность.

Для понимания средневековой теории имени весьма показательно отношение к имени собственному, которое в мифо-символической картине мира признается наиболее типичным, истинным именем.<sup>119</sup> Не случайно диалог Платона «Кратил» начинается с рассмотрения имени собственного.

Ортодоксальные средневековые авторы не усматривали в имени собственном ничего сверхъестественного, ничего оккультного.

<sup>118</sup> Ферс Дж. Р. Техника семантики. В кн.: Новое в лингвистике. М., 1962, вып. 2, с. 72.

<sup>119</sup> Объем и содержание понятия «собственное имя» в античном и средневековом мире существенно отличалось от того, что привычно для XX века. См.: Б и б и х и н В. В. Nāma. — В кн.: Языковая практика и теория языка. МГУ, 1974, вып. 1, с. 48—58.

Имя может быть дано случайным человеком по случайному признаку, но тем не менее оно остается истинным именем, будет выполнять все свои функции, не отличаясь ни в чем от любого иного имени. Так, Григорий Нисский писал, ссылаясь на Библию, что имя «Моисей» было дано еврейскому пророку чужестранкою — дочерью фараона, когда она нашла его на берегу реки, ибо «Моисей», пояснил Григорий, родственно слову «вода» на египетском языке. Вполне вероятно, что у мальчика было и другое имя, данное ему при рождении родителями, со словом «вода» никак не связанное, но случайно новое прижилось, попало в Писание, его употребляют все люди. Даже сам бог, как сообщает Библия, не погнушался звать пророка этим именем, какое еще доказательство его истинности требуется? Подобным же образом по случайному признаку получили имена другие пророки и патриархи, продолжает Григорий, таковы же и многие топонимы, упоминаемые в Библии. Одним словом, это можно сказать обо всем видимом на небе и на земле, о морях и рыбах, о зверях и птицах, о звездах, странах, лицах, народах. Звезды и созвездия названы именами «эллинского баснословия». Разве мог бог дать эти поганые имена? Но некоторые из них попали даже в Библию, в книгу пророка Исаии, в книгу Иова, значит это их имена. А если кто скажет, что у звезд есть иные, тайные имена, которые неведомы человеку, тот блуждает далеко от истины.<sup>120</sup> «Ложь говорит тот, кто умствует, будто из различия имен должно заключать и о различии сущности. Ибо не за именем следует природа вещей, а наоборот, имена изобретены уже после вещей. Иначе, если бы первое было истинно, то надлежало бы согласиться, что которых вещей названия одинаковы, тех и сущность одна и та же».<sup>121</sup> Легко усмотреть, что Василий Кесарийский прибегает в данном случае к доводам защитников теории имен «по установлению», известным еще со времен Демокрита.

Не только личные имена простых людей или пророков не заключают в себе таинственного смысла, суть просто слова обычного человеческого языка, но таковы, по учению ортодоксальных авторов, и слова, которые во все времена в различных культурных и религиозных ареалах признавались особо важными, выделялись в отдельную группу, табуировались, — имена божии. Не вдаваясь специально в эту сложнейшую проблему типологического сопоставления мировых религий, укажем только, что средневековые христианские теологи обходят молчанием широко распространенные в эти века сказания о чудесах, связанных с именем Божиим, которое обладает ипостасным бытием и чудесными свойствами, простое произнесение которого способно убить и тут же воскресить, которое является в ослепительном блеске и ужасающем громе.

---

<sup>120</sup> Григорий Нисский. Опровержение Евномия. — PG, t. 45, p. 1056—1057. Р. п.: Творения, ч. 6, с. 434—436.

<sup>121</sup> Василий Кесарийский. Опровержение Евномия, кн. 2, 29, с. 577 С—580 В. Р. п.: Творения, т. 1, с. 488—489.

Если у исследователей античных теорий именованья принято отмечать, что в любой культурной традиции (китайской, индийской или греко-латинской) теория именованья в принципе одна и та же как по своему назначению, так и по своим результатам, смысл ее везде однороден,<sup>122</sup> то в Средние века эта теория в разных ареалах диаметрально противоположна. Было бы ошибкой переносить на средневековую теорию номинации, как это иногда делается, выводы из довольно поверхностного и тенденциозного сопоставления первой и второй главы книги Бытия, данного протестантской теологией прошлого века и повторенного В. Томсеном.<sup>123</sup>

«Место языка в мифологической картине мира определяется не наличием тех или иных повествований о языке, а той ролью, которая приписывается языку в системе мышления, создававшей мифы», — писал И. М. Тронский. При этом он отмечал два основных аспекта мифологического подхода к языку: во-первых, имя вещи мыслится неразрывно связанным с самой вещью и признается ее неотъемлемой частью. Каждая вещь — единый целостный комплекс, от которого не абстрагируются отдельные элементы, в том числе имя; имя не существует вне вещи, и совершая какие-либо операции над именем, мы воздействуем на вещь, подчиняя ее нашей воле; наряду с убеждением в том, что обыденные слова родного языка в основном являются «настоящими» именами вещи, некоторые имена выделяются как особо значительные; во-вторых, в мифологической системе всякий процесс мыслится по аналогии трудовых процессов, вещь представляется существующей потому, что некто в некоторое время эту вещь «сделал» или «нашел»; для всякой мифологии характерны сказания о «происхождении» той или иной вещи, о «героях-изобретателях», слова, имена также нуждаются в изобретателе.<sup>124</sup>

Средневековая теория номинации, во-первых, всегда ставила между именем и именуемым человека, именующего, во-вторых, строила иерархию «правильности» имен в обратном порядке к мифологической теории. Слова, которые нередко выделялись в других культурных регионах как наиболее значительные, — имена сверхчувственных сущностей здесь трактовались как условные знаки в первую очередь, ибо, объясняли теологи, сверхчувственное вообще не имеет прямого и собственного наименования, не может быть адекватно познано через слово. Ведь слова сами по себе вообще относятся к конечному и временному, поэтому «сущности горнего мира безымянны в любом языке». Пределом неизменности является бог.<sup>125</sup>

<sup>122</sup> Амирова Т. А., Ольховиков Б. А., Рождественский Ю. В. Очерки по истории лингвистики. М., 1975, с. 33.

<sup>123</sup> Томсен В. История языковедения до конца XIX в., с. 7—9.

<sup>124</sup> Тронский И. М. Проблемы языка в античной науке. — В кн.: Античные теории языка и стиля. М.; Л., 1936, с. 8—9.

<sup>125</sup> О том, что бог превосходит всякий разум, тем более превосходит всякое наименование, писали сотни авторов от Иустина Философа до Николая Кузанского.

Если в мировоззрении, которое И. М. Тронский называет мифологическим, слово, имя принадлежит не только (и не столько) сознанию, но и бытию, является неотторжимой частью именуемого, его глубинной тайной, то для создателей христианской догматики оно есть знак или символ какой-то сущности, а не ее часть; оно — элемент вторичной системы, от которой существование самого именуемого не зависит, ибо для всех ясно, что «никакое имя само по себе не имеет существенной самостоятельности, но «всякое имя есть некоторый признак ( $\gamma\upsilon\omicron\rho\iota\sigma\mu\alpha$ ) и знак ( $\sigma\eta\mu\epsilon\iota\omicron\nu$ ) какой-либо сущности и мысли, сам по себе и не существующий, и не мыслимый».<sup>126</sup>

Однако было бы ошибочно полагать, что христианство вообще не знало мифологического подхода к имени, что никто из ранне-средневековых мыслителей в период становления догматики не пытался развить широко распространенные в античном мире мифологические трактовки сущности и происхождения имени. Явственные следы их прослеживаются у гностиков и в некоторых направлениях арианства, а в официальной церкви — в «даре языков», глоссологии. Против учения гностиков и ариан были написаны обширные трактаты, отношение их авторов к всевозможным формам языковой магии ясно видно уже из названий глав: «Нелепость доказательств, заимствуемых еретиками из числ, букв, и слов», «Бог не исследуется буквами, слогами и числами».<sup>127</sup> Глоссология также просуществовала в официальной церкви недолго, никакого «теоретического» обоснования ее мы не знаем, бессмысленное экстатическое «языкоговорение» не очень одобрялось уже в ранней эпистолографии, в дальнейшем оно, широко использованное гностиками и монтанистами, эволюционировало в сторону оргиазма и магии,<sup>128</sup> по существу слилось с языческой мантикой, поэтому церковные писатели стали нередко трактовать глоссологию как одержимость злым духом.<sup>129</sup> Но на периферии, в многочисленных «еретических» течениях, она жила во все века, возвращаясь различными путями в церковь.<sup>130</sup>

§ 2. Уже ранние апологеты настойчиво утверждали, что по одному имени, помимо действий, которые соединены с именем, точнее, с именуемым предметом или явлением, нельзя судить, хорошо ли что, или худо.<sup>131</sup> Отношение средневековой теологии

<sup>126</sup> Григорий Нисский. — PG, t. 45, p. 1108 D. P. п.: ч. 6, с. 495. В латинском переводе патрологии даны термины *indicium et signum*.

<sup>127</sup> Иринеи Лионский. Пять книг обличения о опровержении лжеименного знания; кн. 2, гл. 24 и 25. См. также: кн. 1, гл. 14 и 15.

<sup>128</sup> См., например: Болотов В. В. Лекции по истории древней церкви. СПб., 1910, т. 2, с. 214—218.

<sup>129</sup> Евсевий Памфил. Церковная история, кн. 5, гл. 16. PG, т. 20, с. 465 C—468 B. Иероним Стридонский. Жизнь св. Илариона, гл. 22. — PL, t. 23, p. 39 A—40 A.

<sup>130</sup> Оно ясно прослеживается в «хомовом» пении, в «хабувах» и «нененайках», против которых вели борьбу ревнители «истинноречия» в пении.

<sup>131</sup> Иустин Философ. Апология 1, гл. 4. — PG, t. 6, p. 332 B. P. п.: Памятники древней христианской письменности, т. 3. М., 1862, с. 39—40.

к миру и отражению его в слове было достаточно сложным, оно не может быть проанализировано в данной работе, но необходимо еще раз подчеркнуть, что в основе всех средневековых теорий лежал тезис о первичности мира и вторичности слова. «Различие в вещах определяется не тем или иным высказыванием о них, а наоборот, вещи сами определяют то или иное высказывание о себе. Природа вещей остается неизменной, все равно, имеется о них высказывание или нет. Никогда высказывание не изменяет природу вещей», — писал Иоанн Воротнеци.<sup>132</sup> Этот тезис служил краеугольным камнем средневековой онтологии.

Отсюда же следовало важное положение средневековой гносеологии, что познание вещи или явления ни в коем случае не может быть адекватно заменено познанием соответствующего знака, что любой знак по самой своей природе, безусловно, имеет меньшую ценность, чем то, что он обозначает. «Я желаю, чтобы ты понял, что обозначаемые предметы должны быть ценимы более, нежели их знаки. Ибо все, что только существует ради другого, необходимо ниже, чем то, для чего оно существует».<sup>133</sup> При этом были рассмотрены даже такие, казалось бы, парадоксальные случаи, как сравнение относительной ценности слова «грязь» и обозначаемого им вещества, и был сделан вывод, что и здесь, как всегда, первое следует признать вторичным, зависимым, а второе следует предпочесть, оно имеет большую ценность. Из проведенного сравнения Августин делает такой вывод: «Ты ведь согласишься, что познание вещей дороже, чем их знаки. Поэтому познание вещей, обозначаемых знаками, надлежит предпочесть познанию знаков».<sup>134</sup>

Всякий знак может быть интерпретирован другими знаками; всякое слово — знак, но не всякий знак — слово; языковые знаки по своей информативной силе превосходят все прочие знаки, ибо с их помощью можно объяснить значение всех остальных знаков, обозначить все предметы, все явления, все типы отношений, обратное же, т. е. интерпретация всех языковых знаков с помощью какой-то иной знаковой системы, невозможно. Указание пальцем на стену — знак, но на нее же указывает и слово (в данном случае вербальный и невербальный знаки взаимозаменяемы), а звук, запах, вкус, тяжесть, теплота и прочее, относящееся к остальным чувствам, хотя и не ощущаемы без тел и потому сами телесны, пальцем указаны быть не могут, словом же могут.

Одновременно была отмечена еще одна способность слов, отличающая их от неязыковых знаков: они используются как метазнаки, способны обозначать не только что-то иное, но и самих себя.<sup>135</sup>

<sup>132</sup> Иоанн Воротнеци. Анализ книги Аристотеля «Об истолковании». — В кн.: Антология мировой философии, т. 1, ч. 2, с. 654.

<sup>133</sup> Аврелий Августин. Об Учителе, гл. 9, § 25.—PL, t. 32, p. 1209. Р. п.: Творения, ч. 2, с. 451.

<sup>134</sup> Цит. по: Корнфорт М. Марксизм и лингвистическая философия. М., 1968, с. 160.

<sup>135</sup> Об Учителе, гл. 4, § 10, с. 1200—1201. Р. п.: с. 432—433.

Означающим языкового знака, согласно средневековым учениям о знаке, является не сам звук, но сохраняемый памятью акустический образ слова. Другие знаки, например жест, мы видим сразу во всей полноте, воспринимаем его целиком, здесь нет противоречия в строении означаемого и означающего. Иное дело слово, где означающее — линейная последовательность элементов, из которых состоит всякий вербальный знак, но которые, не обладая значением, не могут быть признаны знаками. Об этой фундаментальной для любого произносимого слова особенности Августин размышлял много лет, вновь и вновь возвращался к ней то в одном, то в другом трактате. Когда я читаю стихи, рассуждает он, я произношу долгие звуки и краткие.<sup>136</sup> Я знаю, что краткие по отношению к долгим суть однократные, а долгие по отношению к кратким суть двукратные, т. е. на произношение долгого требуется вдвое больше времени, чем на произношение краткого. Но что это значит? Предположим, что раздается голос, издаваемый каким-нибудь телом. Он начинает звучать, звучит, потом затихает и наступает тишина; голос отзвучал и нет его больше. До того времени, пока он не раздался, звук его принадлежал будущему и не мог быть измеряем, ибо его не было еще; и теперь его нельзя измерять, потому что его уже нет, он принадлежит прошлому. Этот звук тогда только и можно было измерять, когда он звучал, потому что в то время он существовал как физическая реальность, которая одна только и может быть измеряема. Но и тогда в нем не было ничего постоянного и неизменного: мы воспринимаем только настоящее, а ведь оно для нас — неуловимое мгновение, оно не имеет протяженности. «Таким образом я и произношу эти слог и уверяюсь в том свидетельством собственного слуха, и для меня становится несомненным, что я измеряю долгий слог — коротким, и что первый звучит в устах моих вдвое протяженнее последнего. Но так как они произносятся один после другого, сначала короткий, а за ним долгий, то каким образом могу я определить отношение короткого слога к долгому, когда долгий не прежде начинает звучать в устах моих, как по прекращении короткого? Да и сам долгий слог подлежит измерению не во время произношения, а после него, потому что доколе звуку нет конца, до тех пор нельзя составить определенного понятия и о продолжительности его. А коль скоро звук прекращается, то нет его уже более».<sup>137</sup> Все, что служит знаком, непременно материально, оно должно быть воспринято нашими органами чувств, иначе оно не может служить знаком. Этот признак всегда подчеркивался во всех определениях знака. Но означающее языкового знака все же не сам звук, а его акустический образ.

---

<sup>136</sup> Известно, что к V в. количественные особенности гласных в латинском языке сохранились только в метрическом стихосложении.

<sup>137</sup> А в р е л и й А в г у с т и н. Исповедь, кн. 2, гл. 26—27, §§ 33—36. — PL, t. 32, p. 822—824. Р. п.: Творения, ч. 1, с. 359—361.

И означаемое языкового знака не есть некая материальная сущность, но хранимый нашей памятью образ именуемой реальности. «Когда мы говорим, мы только обозначаем то, что говорим; и из уст говорящего исходит не сама обозначаемая вещь, а знак, которым вещь обозначается, если только не знак других знаков» (*non autem quae res significatur, sed signum quo significatur loquentis ore procedit, nisi cum ipsa signa significantur*).<sup>138</sup> Равным образом, когда мы слышим какое-то слово, в наши уши входит не предмет, а слово, звук; он возбуждает в нашей памяти образ названной реальности, мы переносимся мыслью к тому, знаком чего служит воспринятый звук.

Одним из важных следствий этого является неадекватность понимания слов. Главная причина здесь в том, что понимание озаряет душу, как вспышкой молнии, и речь, длинная и медлительная, так не соответствует мысли. И пока она тянется, мысль уже скрылась куда-то в свои тайники, но запечатлела свои следы в памяти, и они не исчезают, как слова. Мы перерабатываем эти следы, превращая их в звуки, которые называются словами латинского, греческого, еврейского или любого другого языка, но ведь те следы не будут ни латинскими, ни греческими, ни еврейскими, не будут принадлежать ни одному отдельному народу.

Все знаки делятся на два класса — знаки «по природе» (*naturalia signa*) и знаки «по установлению» (*data signa*). Такое разграничение проводили во все века и латиноязычные, и грекоязычные авторы. Первые знаки сообщают о чем-то невольно, как невольно они порождаются или издаются и невольно же воспринимаются (*naturalia sunt, quae sine voluntate atque ullo appetitu significandi, praeter se aliquid aliud ex se cognosci faciunt*).<sup>139</sup> Подобным образом, например, дым обозначает огонь. Аналогичны крики ярости или боли, издаваемые человеком. Вряд ли, утверждали средневековые авторы, следует в подобных случаях говорить об обозначении в собственном смысле слова. Эти знаки понятны всем, они неизменны во времени и пространстве: дым идет от огня во все времена и в любом краю света. Человек использует эти знаки, например, распознавая болезни или предсказывая погоду. Звуковые знаки, значение которых дано «по природе», не являются элементами языка, ими являются только намеренно издаваемые голосовые звуки, обладающие значением «по установлению». На протяжении всего средневековья это учение о знаке оставалось безусловно господствующим.

Не случайно в одном из важных для античной философии языка вопросов — о происхождении и сущности грамматической категории рода имен существительных и причинах родовых отличий в языке — христианские мыслители первых веков, а потом и модисты были склонны объяснять род того или иного имени просто

<sup>138</sup> Об Учителе, гл. 8, § 23, с. 1208—1209. Р. п.: с. 449.

<sup>139</sup> Аврелий Августин. Христианская наука, кн. 2, гл. 1, § 2. — PL, t. 34, p. 36—37.

из особенностей данного языка, из договоренности людей между собой, из освященного временем употребления, а не из природных законов или глубинной сущности именуемого, как это делали некоторые древнегреческие философы.<sup>140</sup> Так, Арнобий, профессиональный ритор, излагая для своего епископа основы христианского вероучения, счел нужным написать, что ни один закон природы не объяснит, почему люди говорят об одних предметах «это», а о других — «эта», или что такое род существительных вообще. Эти грамматические различия не отражают полового различия и нисколько не нужны для языкового общения.<sup>141</sup> Правда, Арнобий не принадлежит к числу строго ортодоксальных теологов, многие его теории восприняты без каких-либо изменений от античных философов и противоречат тому, что признавалось правильным в Средние века. Но подобные объяснения категории рода давали и общепризнанные авторитеты, например, Иероним Стридонский в комментариях к своему переводу Библии с еврейского языка на латинский. В одном из писем он говорит: «Есть еще различие в роде. Семьдесят, Аквила и Феодотион переводят слово „серафим“ средним родом, а Симмах — мужским. Не должно думать, что есть пол у ангелов, потому что даже сам Дух Святой, по свойствам языка, на еврейском ставится в женском роде: „Ruḥa“, на греческом — в среднем: „πνεῦμα“, на латинском — в мужском: „Spiritus“. Из этого должно понять, что когда относительно серафимов ставится мужское или женское окончание, то этим обозначается не пол, а звуковая особенность языка».<sup>142</sup>

Аналогичную позицию занимали теологи и при объяснении других грамматических категорий. Мы говорим так-то, ибо таковы особенности языка греческого; римляне употребляют это слово в иной форме, ибо таковы особенности языка латинского; еврей или сириец употребляет свою форму, ибо таковы особенности его языка. «Божественное Писание именует небеса во множественном числе, говоря „небеса небес“ (Псалом 143, стих 4), потому что на еврейском языке ни небо, ни вода не именуются в единственном числе. Много подобного сему можно найти и в языке греческом. Так, города Афины никто не называет в единственном числе, называют же Афинами, во множественном числе; и города Дельфы никто не называет Дельфом, называют же во множественном — Дельфами. Итак, не потому, что небес много, но сохраняя свойства еврейского языка, Божественное Писание выразилось о небе во множественном числе».<sup>143</sup>

<sup>140</sup> К о б о в И. У. Проблема грамматического рода в античной грамматической науке. — В кн.: Античность и современность. М., 1972, с. 43—51.

<sup>141</sup> А р н о б и й А ф р и к а н е ц. Против язычников, кн. 1, гл. 59. — PL, t. 5, p. 797 A—800 A.

<sup>142</sup> И е р о н и м С т р и д о н с к и й. Письмо 18, гл. 17. — PL, t. 22, p. 372. P. п.: Творения, ч. I, с. 67.

<sup>143</sup> Ф е о д о р и т К и р р с к и й. Объяснение трудных мест Божественного Писания. Толкование на книгу Бытия. P. п.: Творения, ч. I. Св.-Троицкая Сергиева Лавра, 1905, с. 16—17 (PG, t. 80).



Примеры подобных толкований многочисленны. Но одновременно следует отметить, что средневековые авторы не усматривали противоречия между такими трактовками грамматических категорий и аллегорическим толкованием, когда сопоставлялись три рода существительного в латинском языке и троица, два числа имени и два естества в Иисусе Христе.

Существеннейшей характеристикой средневековых теорий языка было понимание его как исключительно человеческого достояния, не приняв это во внимание, мы не поймем в этих теориях ничего. Ни язык, ни слово не осознавались здесь как нечто, лежащее в основе становления мира как целого, им было совершенно чуждо одностороннее представление о языковом знаке, как о чем-то абсолютном, первичном. Ко всей этой «буйной игре фантазии», как выражался Бодуэн де Куртене, ортодоксальные авторы интересующего нас региона не причастны. Язык здесь не отчуждался от мира вещей, не обожествлялся. Слова любого языка, утверждали наиболее авторитетные мыслители эпохи, бесконечно ниже человека и ниже именуемых реальностей; они все без исключения сотворены человеком ради его нужд, существуют постольку, поскольку существует (в человеческой фантазии или в мысли и в реальном мире) то, что соответствующим словом именуется.

## ГРАММАТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

---

Эпоха феодализма в западноевропейских странах отмечена доминирующим положением католической церкви, которая, став крупнейшим собственником земли и эксплуататором крестьянства, заняла определяющие позиции в экономике. Играя ведущую роль в общественной и государственной жизни, она взяла в свои руки также дело образования и просвещения. Благодаря множеству монастырей, аббатств и церквей сохранялась непрерывность ее просветительской миссии.

Но наряду со школами, которыми ведало духовенство, шло развитие городских муниципальных школ. В них зарождался новый дух, интерес к рациональному знанию. Образование таких школ сыграло позже большую роль в возникновении университетов. Университеты и городские школы, несмотря на сопротивление церковных властей, все в большей степени становились центрами интеллектуальной жизни в Западной Европе.

В Средние века языком церкви, а также науки, которая в эпоху феодализма целиком находилась под влиянием теологии, был латинский. На нем велась церковная служба, осуществлялась административная деятельность церкви, писались богословские и философские произведения. Отсутствие языкового барьера способствовало консолидации и оформлению схоластики — религиозно-идеалистической философии средневековья. Средневековые ученые, независимо от того, где они родились, выросли и где протекала их деятельность, пользовались в научных трудах и преподавании латинским языком. Латынь выступала в роли международного языка науки и обучения на протяжении всего классического средневековья и эпохи Ренессанса, почти до середины XVIII в., хотя эта ее роль и начала ослабевать в XVII в.

Фактом, имеющим если не прямое, то опосредованное отношение к развитию лингвистических взглядов в средневековую эпоху, был перевод Библии на латинский язык IV—V вв., называемый Вульгатой. Появление Вульгаты, язык которой был близок к разговорному латинскому и к языку церковного употребления и обнаруживал в своей структуре заметные отличия от литературной латыни классического периода, предвосхищавшие образцы современных романских языков, внесло противоречия в грамматические исследования. На протяжении всего

средневековья можно наблюдать со стороны христианского монашества примеры враждебного отношения разной степени интенсивности, в зависимости от места и времени, к классическим авторам как к представителям языческой литературы, которая только отвлекала от подлинно христианского образования. Так, Иероним (ок. 335—420), будучи сам переводчиком Библии, испытывал чувство вины за свой, как он считал, чрезмерный интерес к Цицерону и другим классикам в ущерб Св. писанию, а папа Григорий I (590—604) открыто заявил о своем презрении к правилам Доната по сравнению с языком «божественного вдохновения».

Поскольку Средние века охватывают огромный период времени, в научный обиход введены понятия раннего и позднего средневековья. Первые шесть веков, следовавшие за распадом Западной Римской империи и бывшие в целом периодом политической и интеллектуальной деградации, часто именуется «темными веками» в отличие от более позднего средневекового периода, примерно между XI в. и эпохой Возрождения, который был временем интенсивной интеллектуальной и научной жизни. В соответствии с этим и историю грамматических воззрений в Средние века можно условно разделить на два периода, рубежом между которыми будет XI век, время, когда грамматика подверглась ряду значительных воздействий, отразившихся на ее сущности и целях.

Средневековая европейская наука развивалась не на пустом месте, она была преемницей всего лучшего и ценного, что было достигнуто наукой древности. Лингвистическое достижение западной античности заключалось в создании грамматики в более узком смысле этого слова, не охватывающей звуковой строй, поскольку сравнительная скудость фонетических наблюдений и неспособность провести четкое различие между буквами и звуками препятствовали продвижению работы в этих областях. Наследство, полученное от античных грамматиков средневековыми учеными, было немалым.

Литературный латинский язык (классическая латынь), сформировавшийся в последние десятилетия Республики и первые десятилетия Империи, был основным предметом изучения и описания грамматиков императорского Рима, но они уделяли немало внимания и языку писателей доклассического периода (Плавт, Эний, Теренций, Лукреций).

Для западноевропейского средневековья наибольшее значение имели труды поздних латинских грамматиков — Доната (IV в.) и Присциана (нач. VI в.). «Грамматическое руководство» Доната состояло из двух частей — *Ars minor* и *Ars maior*, рассчитанных на обучение от простого к сложному. Особенно ценилась первая часть, где дается только учение о частях речи и материал излагается более сжато, в форме вопросов и ответов. На протяжении всего средневековья *Ars minor* использовалась как стандартный текст для элементарного грамматического обучения, а третья книга *Ars maior*, которую со времени Гуго де Сен-Виктора (кон. XI—1-я пол. XII в.) называли *Barbarismus*, служила для

правильного употребления форм. Имя Доната было широко известно в христианских кругах, поскольку он был учителем Иеронима. В VI в. грамматика Доната была рекомендована в качестве основного учебника латинского языка для монастырских школ и служила учебным пособием в школах Европы вплоть до XV в. Труд Доната сыграл также очень важную роль в процессе формирования грамматической терминологии современных европейских языков.

Присциан создал самую всеобъемлющую латинскую грамматику древности, подведя своего рода итог исканиям и достижениям античного языкознания. Его работа была гораздо более подробной и пространной, чем грамматика Доната. В своем труде Присциан опирался на авторитет и мнения греческих ученых, особенно Аполлония Дискола, в значительной мере создавая свое описание латинского по образцу греческой системы, заимствованной в свою очередь Аполлонием Дисколом у Дионисия Фракийца. В своем труде Присциан сохранил 8 частей речи, компенсируя отсутствие определенного артикля в латинском признании латинских междометий отдельным классом слов. Около восьми веков (вплоть до XIV в.) «Курс грамматики» Присциана был основой лингвистической теории в Западной Европе.

Труды этих поздних латинских грамматиков явились завершением и обобщением более ранних работ.<sup>1</sup> «Ни Донат, ни Присциан, которые стали знаменитыми учителями грамматики в раннее средневековье, не поднялись выше уровня простых компиляторов работ своих греческих и латинских предшественников».<sup>2</sup> Лишь немногие ученые средневековья знали греческий язык, и достижения греческой лингвистической мысли стали известны средневековому образованному миру именно через Присциана. Заслуга Доната и Присциана состоит в сохранении классической грамматики для средневековых и через их посредство для современных языковедов.

Донат и Присциан являются не только самыми крупными представителями грамматической науки в поздней античности, но и фигурами, стоящими на рубеже новой эпохи, эпохи средневековья, к которой мы непосредственно переходим.

В настоящее время нет недостатка в историях средневековой философии; исследование средневековой логики имеет также сравнительно богатую традицию; опубликованы тексты многих ведущих логиков средневековья, которые стали объектом интенсивного научного изучения. С историей средневековой грамматической теории дело обстоит, однако, далеко не лучшим образом. Со времен гуманистов средневековая лингвистика пользовалась дурной славой; на реабилитацию ее взглядов оказали особенное влияние «формальная» лингвистика и логика, к которым снова обратился

<sup>1</sup> О работе предшественников Доната и Присциана в области латинской грамматики см.: Шубик С. А. Языкознание древнего Рима. — В кн.: История лингвистических учений: Древний мир. Л., 1980, с. 233—256.

<sup>2</sup> Rijk L. M. De. Logica modernorum. Assen, 1967, t. 2, pt. 1, p. 97.

наш век. До сих пор не утратили своего значения слова сожаления, сказанные сорок лет назад одним из исследователей средневековой грамматики, Р. Хантом,<sup>3</sup> по поводу того, что так мало сделано в области изучения развития грамматических учений в Средние века с момента появления монументальной работы Шарля Тюрю «Notices et extraits de divers manuscrits latins pour servir à l'histoire des doctrines grammaticales au Moyen-Âge»,<sup>4</sup> которая была первым большим вкладом в современное представление о средневековой грамматической теории. Работа Тюрю, несмотря на отдельные поправки, внесенные в нее позднейшими исследованиями, не утратила до сих пор своего значения, хотя Тюрю пришлось работать с почти совершенно неопубликованными источниками; кроме того, эта работа остается необходимым вспомогательным средством для исследований прежде всего из-за содержащихся в ней многочисленных первоисточников. Главные линии развития средневековой грамматической мысли прочерчены Тюрю с чрезвычайной надежностью; для более углубленного ознакомления с ходом этого развития мы можем опираться, помимо материалов Тюрю, на труды нескольких ученых — Грабманна, Ханта, Робинса, Рооса, де Рейка, Пинборга и Бёрсилл-Холла. Их исследования показывают, что изучение средневековой грамматической теории важно не только для историка лингвистики, но представляет значительный интерес для историка идей.

Необходимо указать на тот факт, что исследования названных выше ученых, за одним важным исключением (работа Тюрю), относятся к XX в. История лингвистики по сути дела — очень молодая отрасль науки; отмечать достигнутый ею прогресс за последние 25—30 лет и то признание, которое она получила среди языковедов, становится общим местом в соответствующих исследованиях. Все сказанное в полной мере касается и истории средневековой грамматической мысли. Довольно легко объяснить, почему лингвисты, за несколькими выдающимися исключениями, сделали до сих пор столь малый вклад в названную отрасль. Подобные исследования сопряжены с большими трудностями. Рукописная традиция средневековья очень богата, но значительное количество текстов является анонимным и по этой причине тексты не могут быть расположены в хронологическом порядке — одних внешних критериев для этого недостаточно. Кроме того, содержание текстов таково, что исследователи легко могут прийти к опрометчивым заключениям об идентичности и зависимости рукописей.

Р. Робинс был, вероятно, первым лингвистом нашего века, который в своих трудах проследил непрерывность лингвистического изучения, зачатки которого имелись в Древней Греции, до

<sup>3</sup> Hunt R. W. Collected Papers on the History of Grammar in the Middle Ages. — In: III Studies in the History of Linguistics. Amsterdam, 1980, v. 5, p. 194.

<sup>4</sup> Опубликовано в изд.: Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale. Paris, 1868.

конца средневековья, когда изучение языка стало одним из основных занятий образованных людей того времени.<sup>5</sup> Целую серию исследований осуществил Я. Пинборг. В своей обширной многоплановой монографии<sup>6</sup> он отразил развитие грамматической теории от XI до XV вв. на примере эволюции средневековой терминологии, теории классов слов и синтаксиса; здесь же он рассмотрел возникновение и развитие лингвистических взглядов целой группы средневековых ученых, известной под названием «модисты», интенсивная деятельность которых охватывала 70—80 лет и протекала в период наивысшего подъема интереса к языку; кроме того, он включил в это исследование анализ деятельности грамматиков-номиналистов в их противопоставленности модистам. Чрезвычайно важными для целей нашего исследования являются две главы из «Введения в общую лингвистику» Ф. Динеена, посвященные грамматическим теориям древнего и средневекового периода;<sup>7</sup> основная ценность второй главы состоит в том, что автор заостряет внимание на всепроникающем влиянии Аристотеля во все разделы языковой теории. Большой вклад в изучение средневековой лингвистической теории внесен Бёрсилл-Холлом, среди работ которого имеются два исследования о модистах.<sup>8</sup> В своей обзорной статье «Средние века» Бёрсилл-Холл подчеркивает особую заслугу в историографии средневековой лингвистики, принадлежащую Мартину Грабманну, который предоставил в распоряжение лингвистов отрывки из первоисточников основных работ важнейших представителей грамматической теории (он употребляет термин *Sprachlogik*) XII—XIII вв. «Исследования Грабманна вместе с обширной работой Тюрю являются необходимыми для нашего представления о средневековой грамматической теории»,<sup>9</sup> хотя деятельность ученых последующих поколений неизбежно вносит и будет вносить коррективы в заключения этих пионеров в области изучения средневековой лингвистики. Критический обзор имеющейся литературы по истории средневековой грамматики можно закончить не слишком утешительными словами Бёрсилл-Холла о том, что, хотя практическая грамматика этого периода известна довольно хорошо, к сожалению, нельзя сказать того же самого о нашем знании грамматической

---

<sup>5</sup> Robins R. H. 1) *Ancient and Mediaeval Grammatical Theory in Europe*. London, 1954; 2) *A Short History of Linguistics*. London, 1967.

<sup>6</sup> Pinborg J. *Die Entwicklung der Sprachtheorie im Mittelalter*. — In: *Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters*. Münster; Kopenhagen, 1967, T. 42, H. 2.

<sup>7</sup> Dinneen Fr. P. *An Introduction to General Linguistics*. New York e. al., 1967.

<sup>8</sup> Bursill-Hall G. L. 1) *Speculative Grammars of the Middle Ages*. — In: *Approaches to Semiotics*. London, 1971, 14; 2) *Thomas of Erfurt. De modis significandi sive Grammatica speculativa*. London, 1972.

<sup>9</sup> Bursill-Hall G. L. *The Middle Ages*. — In: *Current Trends in Linguistics* / Ed. by I. A. Sebeok. The Hague; Paris, 1975, vol. 13. *Historiography of Linguistics*, p. 183.

теории средневековья: «Мы еще не в состоянии написать полную и непрерывную историю лингвистики того периода».<sup>10</sup> Имеющиеся обзоры развития грамматики в более поздний период средневековья большей частью являются нелингвистическими, не касающимися важных вопросов теоретического развития грамматики. Эти упреки обращены Бёрсилл-Холлом к авторам книг по истории лингвистики, из которых всего лишь два за последние 20 лет (Робинс, 1967, и Динеен, 1967) включили в свои труды специальное изложение средневековой лингвистической теории, другие авторы опускали средневековый период как не представляющий интереса для истории лингвистики.

На первом этапе (до XII в.) средневековья характер языковедческих наблюдений мало чем отличался от направлений деятельности предшествующего периода и основывался исключительно на работах латинских грамматиков конца Империи. Впрочем, сами работы, на которые опирались грамматики этого периода, были только сокращениями или компиляциями. За исключением Варрона и Проба, авторы не обращались к источникам более древним, чем Харисий, Диомед, Донат. Начиная с IV в. латинская грамматическая наука утратила свою оригинальность. В VI в. Присциан, тогда самый известный и влиятельный из римских грамматиков, составил компиляцию работ своих предшественников. Эта работа по сокращению и компиляции продолжалась Кассиодором, Исидором Севильским, Бедой Достопочтенным. Из всех грамматиков Донат и Присциан имели самый большой авторитет: Донат потому, что его грамматика издавна служила основой преподавания, Присциан потому, что он собрал в своей компиляции почти все, что знали о грамматике до VI в. В комментарии IX в. к Евтихию мы читаем: «Присциан был величайшим знатоком обоих языков, и чего недоставало в латинском языке, он прибавил, и что было излишним, отбросил, и что было испорчено, исправил».<sup>11</sup> Широко развернулось копирование трудов Доната и Присциана, благодаря чему грамматика последнего дошла до нас более чем в тысяче списков. Указанные тексты изучались и комментировались, однако вся эта деятельность носила чисто дидактический характер. Как все *auctores*, т. е. писатели античности, Донат и Присциан пользовались в Средние века безграничным авторитетом, поэтому слова их было не принято превратно истолковывать и изменять. «Они были необходимы как руководство для понимания латинской Библии, для изучения языка, который только тем был уже освящен, что на него были переведены священные тексты».<sup>12</sup> Авторитет грамматиков не

<sup>10</sup> B u r s i l l - H a l l G. L. Toward a History of Linguistics in the Middle Ages, 1100—1450. — In: Studies in the History of Linguistics. Traditions and Paradigms / Ed. by Dell Hymes. Bloomington; London, 1974, p. 77.

<sup>11</sup> T h u r o t Ch. Notices et extraits de divers manuscrits latins. . . , p. 63.

<sup>12</sup> A r e n s H. Sprachwissenschaft. Der Gang ihrer Entwicklung von der Antike bis zur Gegenwart. München, 1955, S. 30.

признавался лишь тогда, когда языковое употребление в Вульгате отклонялось от их учения. Внимание грамматиков не могли не привлечь те изменения, которые произошли в латинском за довольно длительный период, отделяющий латынь классических авторов, описываемую в грамматике Присциана, от живого разговорного языка IV—V вв., на котором была написана Вульгата. Однако никаких научно обоснованных выводов из этого наблюдения сделано не было, да и не могло быть сделано в силу недостаточной развитости грамматической науки, которая еще не скоро дойдет до осознания факта, что язык неизбежно подвергается изменениям. В античную эпоху всякие отклонения от норм классической латыни считались порчей языка, осуждались и отвергались, и одной из задач грамматики была специальная борьба за сохранение этих норм. С распространением христианства и появлением Библии на латинском языке положение изменилось: теперь церковники критиковали латинских грамматиков за несоответствие высшему, с их точки зрения, авторитету — языку Св. писания. Характерно высказывание аббата по имени Smaagdus, автора одного из трактатов по грамматике (IX в.): «Относительно слов *scala* 'лестница', *scora* 'метла' и *quadriga* 'повозка' мы не следуем Донату и всем тем, которые утверждают, что эти слова всегда множественного числа, так как мы знаем, что святой дух предписывает рассматривать их в единственном числе». <sup>13</sup> О греческом не знали в раннее средневековье почти ничего, кроме алфавита, соответственно и германский или романский родной язык рассматривался как вульгарный или варварский. По словам Тюро, «попытки, предпринимавшиеся тогда с целью дать себе отчет о грамматических фактах, обнаруживали полное бессилие ума. . . В общем исходили из того принципа, что язык был изобретен грамматиками путем размышления». <sup>14</sup> Подобный подход к языковым фактам сохранялся вплоть до XI в. Трактаты по грамматике Гуго де Сен-Виктора (ум. 1141) можно рассматривать как отражение грамматической традиции XI в., поскольку они совершенно лишены влияний, которые глубоко модифицируют грамматику в более позднее время. В своем труде, *Didascalion*, кн. II, он говорит о грамматике следующее: «Кто стремится это знать, пусть читают об ударении у Доната, Сервия, Присциана, . . . и *Barbarismus*, и об этимологиях у Исидора». <sup>15</sup> В этот период слишком рабски следовали античности, чтобы предписания и высказывания древних грамматиков могли подвергаться сколько-нибудь значительным изменениям.

В ряде монастырских центров продолжалось изучение античной литературы, копировались и сохранялись античные рукописи, изучалась и преподавалась грамматическая теория. Особенно

---

<sup>13</sup> Цитируется по: Thurot Ch. Notices et extraits de divers manuscrits latins. . . , p. 81.

<sup>14</sup> Ibid., p. 70.

<sup>15</sup> Ibid., p. 22.



большую роль в сфере образования в Западной Европе в период средневековья сыграл Боэций (ок. 480—525 гг.), современник Присциана. Боэций занимал высокие должностные посты в Остготском королевстве Теодориха, совмещая свою административную деятельность с литературным и научным творчеством. Научные интересы Боэция были весьма широки. Он был увлечен идеей перевода важнейших памятников греческой мысли для латинского мира, осуществлению чего способствовало блестящее образование, полученное им в Риме и в Афинах. Он перевел на латинский язык основные логические тексты Аристотеля<sup>16</sup> и небольшой трактат неоплатоника Порфирия (III в.) «Введение» в «Категории» Аристотеля. Впоследствии Боэций снабдил свой перевод «Категорий» собственным комментарием. К трактату «Об истолковании» Аристотеля (латинское название *De Interpretatione*) Боэций присоединил два комментария — один для начинающих, другой — для тех, кто преодолел начальный курс обучения. Работы Аристотеля в латинских переводах Боэция составили значительную часть ограниченного количества памятников греческой литературы, доступной Западной Европе в эпоху раннего средневековья. Помимо других комментариев, он был также автором оригинальных работ по логике, теологии, философии, астрономии, математике, музыке и геометрии. Благодаря этим сочинениям и описанию того, что должно включать образование, Боэций стал известен как «учитель Запада». Его план образования, «приличествующего свободному человеку», включал две части, известные под названием *trivium* и *quadrivium* и составлявшие вместе семь «свободных искусств» (*artes liberales*). *Trivium* заключал в себе грамматику, диалектику (логику) и риторику; *quadrivium* состоял из изучения арифметики, геометрии, астрономии и музыки; все эти предметы были подчинены изучению теологии.

Таким образом, грамматика, т. е. искусство правильно читать, говорить и писать по-латыни, занимала привилегированное положение в средневековой программе занятий и в период, предшествующий возникновению средневековых университетов, и в период расцвета схоластицизма, когда университеты стали теснить монастыри как центры образования. В течение длительного времени усвоение латинского языка по грамматикам Доната и Присциана и изучение классических авторов было в Западной Европе характерным отличием образованного человека.

Обобщая все сказанное о первом этапе средневековых лингвистических наблюдений и изысканий, надлежит подчеркнуть, что этот период вряд ли прибавил много нового к тому, что уже было сделано предшествующей греко-латинской наукой о языке, вклю-

---

<sup>16</sup> Все трактаты Аристотеля по логике объединены общим названием «Органон», данным не самим Аристотелем, а его преемниками. В «Органон» входили шесть трактатов: «Категории», «Об истолковании», «Первая Аналитика», «Вторая Аналитика», «Топика» и «Об опровержении софистических аргументов».

чая позднеантичных грамматиков. Скорее это было время широкого распространения знаний о латинском языке в самых разных формах по всей обширной европейской территории.

Раннее средневековье восприняло и сохраняло на протяжении определенного периода исторического развития удачную грамматическую модель поздней античности, что позволило в период большого творческого подъема в образовании (XII—XIV вв.) создать собственную модель грамматики, которая, впрочем, строилась также преимущественно в форме комментариев к Присциану.

К концу XI в. «определилась особенность идеологической формы западноевропейского феодализма — схоластика, ставшая официальной философией господствующих классов и повсеместно царившая в школьном преподавании. В силу специфических условий сложилась ситуация, которая, на первый взгляд, кажется странной, — новое христианское вероучение нашло себе опору в Аристотеле. Стагирит оказался в известном смысле канонизированным».<sup>17</sup>

Философским выражением интеллектуального подъема и расширения научного познания в более поздний период средневековья (начиная примерно с XII в.) было открытие заново образованным миром того времени работ Аристотеля и других философов античности. Раннее средневековье, как уже говорилось, не знало Аристотеля в подлинниках: обычно использовались парафразы, которые опирались даже не непосредственно на тексты самого Аристотеля, а на труды его комментаторов. Но даже переведенное на латинский язык Боэцием наследие Аристотеля было освоено лишь частично:<sup>18</sup> существенная его часть, а именно перевод обеих «Аналитик», вплоть до конца XII в. была почти неизвестна. В это время значительное число греческих философских сочинений проникло в Западную Европу из Испании как в подлиннике, так и в переводе на латинский язык с арабских и еврейских версий, вместе с комментариями, среди составителей которых были такие известные мыслители, как аль-Фараби, Ибн Сина, Ибн Рушд. Лишь в XIII в. весь «Органон» стал достоянием образованных кругов Западной Европы. Именно к этому времени относится основание нескольких самых первых университетов Европы.

Более ранние христианские философы уделяли преимущественное внимание Платону, а не Аристотелю, так как с учением Платона они могли ознакомиться благодаря сочинениям неоплатоников III в. и более позднего времени — Августина, Боэция. До XII в. августианство было единственным господствующим направлением в средневековой идеологии. По своему характеру оно было направлено против естественнонаучных исследований.

---

<sup>17</sup> Попов П. С., Стяжкин Н. И. Развитие логических идей от античности до эпохи Возрождения. М., 1974, с. 136.

<sup>18</sup> По данным Тюро, из работ Аристотеля в XII в. знали только «Categories» и «De Interpretatione»; см.: Thurot Ch. Notices et extraits de divers manuscrits latins. . . , p. 89.

Августин утверждал, что познание материального мира не приносит никакой пользы. Девизом философии Августина было: «Хочу познать бога и душу. И ничего более. Совершенно ничего».<sup>19</sup> В более позднее время опиравшееся на платоновские традиции августианство перестало соответствовать сложившейся интеллектуальной ситуации. У бюргерских слоев населения Западной Европы начинает пробуждаться интерес к изучению явлений материального мира. В философии Аристотеля пытались отыскать в первую очередь не столько теоретические, сколько определенные эмпирические и вместе с тем практические знания в области ботаники, зоологии, астрономии и вообще естествознания. Учение Аристотеля было попыткой примирения материализма с идеализмом, попыткой примирения, говоря словами В. И. Ленина, «тенденций или линий Платона и Демокрита в философии».<sup>20</sup> Арабские комментаторы, особенно Ибн Сина, а затем Давид Динантский, являлись продолжателями материалистической традиции аристотелевского учения. Материалистическая интерпретация, с одной стороны, повысила интерес к аристотелизму, с другой — была воспринята церковью как своего рода ересь. Задачу ассимиляции аристотелизма, его приспособления к нуждам церковной доктрины поставил перед собой Фома Аквинский, ставший для католиков высшим идеологическим авторитетом. В его истолковании высшая ступень обобщения по Аристотелю — мудрость (*σοφία*), опирающаяся на три уровня естественного знания, подвергается полной теологизации и предстает как «мудрость» сама в себе, как первопричина, независимая от всяких знаний, т. е. сводится к иррациональной спекуляции. Таким образом, Фома Аквинский не отделил науку от теологии, а, напротив, без остатка подчинил ее теологии. «В томистском истолковании аристотелизм перестал — конечно, ненадолго — угрожать догматам веры, ибо он был „очищен“ от материалистических элементов. С тех пор Стагирит объявляется уже не еретиком, а мыслителем, учение которого якобы не противоречит теологии, а, напротив, составляет философскую основу католической теологии».<sup>20а</sup> Хотя принятие работ Аристотеля встречало сопротивление во многих центрах преподавания, именно «учение Фомы Аквинского было решающим в признании Аристотеля главной философии в средневековой христианской мысли».<sup>21</sup>

Произведения Аристотеля, сделавшие доступным для Европы знание аристотелевской логики, вызвали к ней огромный интерес, который захватил все отрасли средневековой науки позднего периода, приведя, в частности, также к новому способу рассмотрения языковых явлений, названному «логизацией грамматики».

<sup>19</sup> Цитируется по: Боргош Ю. Фома Аквинский. М., 1975, с. 10.

<sup>20</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 48, с. 131.

<sup>20а</sup> Боргош Ю. Фома Аквинский, с. 22.

<sup>21</sup> Robins R. H. Short History of Linguistics, с. 75.

Именно с этого времени наметился разрыв между практическим и теоретическим подходами к грамматике; учебные пособия, главным достоинством которых была доступность и простота, стали составляться отдельно от теоретических трактатов по грамматике. Если в научной грамматике в это время стали намечаться важные и значительные перемены, то в области преподавания латыни в принципе все оставалось по-прежнему. Наибольшей известностью в этот период пользовалась школьная грамматика Александра Вилладейского (Alexander de Villa Dei, ок. 1200 г.) под названием *Doctrinale*, что подтверждается значительным количеством сохранившихся версий этого учебника.<sup>22</sup> Эта поэма, в которой все правила с мнемонической целью изложены в стихах, — плохих латинских гекзаметрах, — состоит из 12 глав, где последовательно трактуются склонения, гетероклитические имена, степени сравнения, родовая дифференциация, образование претеритов и супинов, глаголов дефективных и иррегулярных и т. д., управление, образование конструкций, метрика и ударение; наряду с сообщением сугубо элементарных сведений автор давал определения грамматическим явлениям. По существу Александр Вилладейский следовал в своем сочинении за грамматикой Присциана. Однако латинский язык за много веков, отделяющих эпоху классических авторов от периода XII—XIII вв., претерпел заметные изменения; недаром Александр Вилладейский посвятил 170 строк своего сочинения синтаксису латинских предложений, употреблению падежных форм, времен, относительных местоимений, союзов и т. д. Судя по приведенным в его грамматике правилам, латинский, которому он учил, был похож скорее на средневековую латынь, чем на классическую. В университетах, где учились студенты из многих стран, этот вид латинского был живым языком общения образованных людей того времени в Западной Европе.

Помимо *Doctrinale* Александра Вилладейского, популярными были в свое время еще несколько дидактических текстов, в частности *Graecismus* Эберхарда Бетюнского (*Bethuniensis*), *Lexicon*, или *Derivationes Magnae* Хугутио Пизанского, *Elementarium* Папия (*Papias*), *Catholicon* Жана Генуэзского (*Jean de Janua*).

Однако традиционные практические руководства по латинскому языку типа *Doctrinale* Александра Вилладейского, хотя и оставались необходимыми в деле преподавания, уже переставали отвечать требованиям изменившегося подхода к языковым фактам. Объяснение правил грамматики, базирующееся на соответствии нормам классических авторов, уступило место логическому (философскому, спекулятивному) рассмотрению языковых проблем, что для того времени свидетельствовало о прогрессивном сдвиге в подходе к языковым явлениям. Новое направление в грамма-

---

<sup>22</sup> Этот стихотворный учебник заслужил такое признание и любовь, что им пользовались и в эпоху гуманизма и реформации. В последний раз он был опечатан в 1588 г. См.: A g e n s Н. Sprachwissenschaft. . . , S. 32.

тике было воспринято многими как средство для решения множества «запутанных» философских вопросов, в частности вопроса об универсалиях. Углубление ученых в ряд логических проблем обуславливалось неясностью, противоречивостью религиозных догм, стремлением понять и разобраться в них.

История грамматики в Средние века традиционно разделяется на два периода XI веком — эпохой Абельяра, той эпохой, когда логика начала проникать в грамматику так же, как и в теологию. Предельно сжатая характеристика этого периода у Пинборга такова: «Грамматические и логические термины конфронтируются. Логика угрожает поглотить грамматику».<sup>23</sup> Смешение обеих наук особенно ясно проявляется у виднейших мыслителей начала XII в. — Ансельма Кентерберийского, Жильберта из Пуатье и Абельяра. Но для того же времени характерно и стремление резко отделить друг от друга грамматику и логику, как указывает Пинборг, имея в виду Гуго де Сент-Виктора<sup>24</sup> (см. выше, с. 214). Тот факт, что грамматика не должна была полностью отказываться от своей самостоятельности, находит себе объяснение в структуре средневекового преподавания, заключавшегося в комментировании авторитетных текстов. Средневековая наука зависела от *auctores* и не имела желания быть оригинальной: она принципиально была интерпретацией. Но эта интерпретация была оптимальной: все в тексте должно быть объяснено. Учителя пытались свои мнения и взгляды представлять как объяснения и толкования авторитетов, преданность по отношению к которым, в частности к Донату и к Присциану, не позволяла пренебрегать чисто грамматическими проблемами. Но часть традиционной грамматики, связанная с изучением классических авторов, отступила на задний план, что привело к ожесточению споров между сторонниками традиционного преподавания и энтузиастами введения новых методов.

Более ста лет назад Ш. Тюро указал на поворот, который произошел в средневековой грамматике, когда она заново установила эффективный контакт с родственной дисциплиной — диалектикой (=логикой). В наше время связь между логикой и грамматикой в XI—XII вв. тщательно прослеживается в серьезнейших исследованиях Ханта и де Рейка.<sup>25</sup> Историки логики, в частности тот же де Рейк, усматривают в развитии этой науки в период средневековья три стадии: *logica vetus*, *logica nova* и *logica moderna*, которые совпадали: а) с периодом, когда труды Аристотеля были известны лишь по переводам Боэция, б) с периодом, когда был освоен и включен в интеллектуальную систему весь объем трудов Аристотеля вместе с богатейшими научными и философскими комментариями к ним из арабских и еврейских источников, с) с пери-

<sup>23</sup> Pinborg J. Die Entwicklung. . ., S. 23.

<sup>24</sup> Ibid., S. 55.

<sup>25</sup> О трудах Ханта см. выше (прим. 3); Rijck L. M. De. *Logica modernorum: A Contribution to the History of Early Terminist Logic*. Assen, 1962—1967, 3 vols.

одом, когда западноевропейские ученые начали развивать свой собственный, оригинальный вид логики, что было результатом овладения достижениями греческой логической мысли.

Развитие грамматики следовало по сходным линиям, и судьбы обеих дисциплин тесно переплетались. В период *logica vetus* грамматика не отличалась какими-либо нововведениями; в период *logica nova* грамматика подвергалась опасности быть поглощенной логикой, но фактически обе дисциплины соперничали между собой. В течение последующего периода логика исследовала новые проблемы, особенно свойства терминов (*proprietas terminorum*), в то время как грамматика отстаивала свою автономию и вырабатывала собственные технические термины. Период конца XIII в. завершает синтез между терминистской логикой и грамматикой; модусы мысли диктуются формальной структурой языка, который служит выражению их. «Здесь впервые была сделана совершенно сознательная попытка всеобъемлющей теории языка, которая является также теорией семиотики, так как грамматика была явно базисом, на котором развивались главные семиотические проблемы».<sup>26</sup> Если взглянуть на эпоху средневековья с точки зрения развития языковой теории, можно было бы говорить о периоде риторики, который закончился к середине XI в., периоде лингвистики, завершившемся к середине XIV в., и, наконец, о периоде логики, когда номиналисты, перейдя от наук о слове (*scientiae sermonicales*) к наукам об окружающем мире (*scientiae reales*), сделали центром своих занятий эпистемологические проблемы. Таким образом, грамматическая деятельность в Средние века (начиная с XI—XII вв.) стала ориентироваться на теорию, развивалась и усовершенствовалась благодаря контактам с логикой и достигла наибольшего расцвета в XII и XIII вв., когда эти контакты были особенно тесными.

Итак, в XI в. появляются первые признаки изменения в направлении грамматической мысли; детали этого изменения и его инициаторы пока неизвестны.<sup>27</sup> Внешним фактором, как уже отмечалось, было открытие полного корпуса работ Аристотеля по логике. Благодаря тому, что весь *Organon* Аристотеля стал доступен ученым или в версии Боэция, или в новых переводах второй половины XII в., некоторые из его языковых идей оказались довольно рано включенными в схоластическую грамматику. Говоря словами Бёрсилл-Холла, «возможно, не будет большим преувеличением сказать, что воздействие Аристотеля на средневековых образованных людей XII—XIII вв. было единственным наиболее важным фактором в изменении направления граммати-

---

<sup>26</sup> Bursill-Hall. *The Middle Ages*, p. 199.

<sup>27</sup> По этому поводу Бёрсилл-Холл с иронией пишет: «как можно было ожидать, дополнительное исследование только усложнило ответ на такие вопросы, как: 1) кто первый представил грамматику в новом свете, 2) кто первый усомнился в авторитете Присциана» (Bursill-Hall G. L. *The Middle Ages*, p. 180).

ческой мысли того периода. . . Аристотелевская мысль является всепроникающей в грамматике несомненно до конца средневековья».<sup>28</sup> Одновременно старая система семи *artes liberales*, из которых важнейшим была грамматика, так как она одна могла объяснять положения всех других наук и сама себе давала обоснование, стала подвергаться сомнению. В течение XII в., как указывает Пинборг,<sup>29</sup> семь *artes liberales* отступают на задний план и грамматика низвергается с трона. С развитием новых наук — теологии, медицины и права с их собственными специальными знаниями — грамматика не могла соперничать. На ее месте вспомогательным средством этих новых наук стала логика, которая устанавливала свои методы. Такое изменение должно было стать значительным и для грамматики, которой предстояло приспособиться к требованиям и методам логики. Грамматика была связана с логикой особенно тесно, поскольку она как наука выросла из логических исследований Аристотеля и Стои. Отказавшись от своей привычной функции служить ключом к литературным текстам, грамматика оказалась перед опасностью быть поглощенной логикой. Логика сделала скачок вперед, став по преимуществу ведущей дисциплиной, и грамматика могла быть спасена только своим объединением с логикой. Хант определенно прав, утверждая, что распространенное мнение о том, что инфильтрация диалектики в грамматику датируется лишь начиная с середины XII в. под влиянием Петра Гелийского, обусловлено незнанием работ его предшественников. В действительности примерно с середины XI в. комментаторы Присциана прилагали усилия к тому, чтобы создать свое специфическое искусство (*ars*) грамматики с привлечением диалектических методов и доктрин. От современной науки пока еще скрыты подробности того важного изменения в направлении грамматических исследований, когда грамматика из дисциплины, призванной в первую очередь служить средством толкования текстов, превратилась в союзницу логики. Уже комментаторы Присциана XII в. ставили себе задачей дополнить его труд с логической точки зрения, чтобы ясно и единообразно дать определения классам слов, лучше объяснить их акциденции и указать причины «изобретения» (*cause inventionis*) как классов слов, так и их акциденций. В первую очередь здесь следует упомянуть имя Уильяма Кончийского, выдающегося ученого, который преподавал грамматику в Шартре примерно с 1120 г. и до конца жизни. В своей *De philosophia mundi*, в отличие от более ранних глоссаторов, он дал краткий обзор целей, которые, как он полагал, должен ставить хороший грамматик. Особенности средневекового образования, преклонение перед

---

<sup>28</sup> Bursill-Hall G. L. *Thomas of Erfurt: Grammatica Speculativa*. London, 1972 (цитируется по: Padley G. A. *Grammatical Theory in Western Europe 1500—1700*. London; New York; Melbourne, 1976, p. 11 — страница цитации из Бёрсилл-Холла не указана).

<sup>29</sup> Pinborg J. *Die Entwicklung. . .*, S. 22.

авторитетом *antiqui*, никоим образом не препятствовало тому, что формулировки предшественников могли восприниматься как недостаточные. Уильям Кончийский упрекал Присциана и более ранних комментаторов его работ за то, что они довольствовались неясными определениями, не объясняя их, и особенно за отсутствие внимания к причинам «изобретения» частей речи и их акциденций.<sup>30</sup> Выяснение этих причин могло бы объяснить классы слов и определить их общую грамматическую функцию лучше, чем слепое следование классическим авторитетам. По словам Туро, Уильям Кончийский исследовал не конструкции, а части речи и их акциденции, такие как род, число, наклонение, время, т. е. то, что было содержанием первых шести книг Присциана. Впоследствии он перестал связывать себя точным следованием тексту грамматики Присциана, а объяснял его определения и указывал, зачем каждая часть речи и каждая акциденция «изобретена»; например, имя изобретено, чтобы обозначать то, о чем говорят; род — чтобы отличать различие полов и т. п. «Пока еще невозможно дать полную оценку работы Уильяма Кончийского, но ясно, что он проложил путь для Петра Гелийского, первого подлинно оригинального грамматика средневековья».<sup>31</sup>

Среди комментариев к Присциану Уильяма Кончийского, Петра Гелийского и Роберта Килвордби комментарий второго из названных авторов считается в настоящее время наиболее значимым, хотя вполне возможно, что его оригинальность как грамматика неравноценна оригинальности Уильяма Кончийского, его учителя.<sup>32</sup> Тем не менее комментарий Петра Гелийского, пронизанный новыми идеями в области грамматических воззрений, заслуживает самого внимательного рассмотрения, поскольку этот комментарий послужил отправным пунктом для дальнейшей эволюции учения о языке; завершением этой эволюции явились теории модистов, которые, по словам Бёрсилл-Холла, «представляют собой первую в истории Западной Европы удачную попытку создания полностью интегрированной теории языка».<sup>33</sup>

То, что Петр Гелийский не был первым, кто включил в грамматику новую диалектику под влиянием открытия заново аристо-

---

<sup>30</sup> «И так как во всякой науке грамматика занимает главенствующее место, мы решили о ней говорить, поскольку, хотя Присциан об этой области говорит, но определения дает неясные и не объясняет их; причины же изобретения различных частей речи и различных акциденций — все это он опускает. Античные глоссаторы . . . в объяснении акциденций заблуждались. Так как ими меньше всего об этом сказано, решили мы говорить, объяснить, что неясно, чтобы из нашего труда кто-нибудь узнал причины изобретения предписаний и объяснения определений Присциана» — цитируется (в переводе) по: Thurot Ch. Notices et extraits de divers manuscrits latins. . . , p. 17.

<sup>31</sup> Bursill-Hall G. L. The Middle Ages, p. 204.

<sup>32</sup> См. по этому поводу мнение Бёрсилл-Холла: «До тех пор, пока мы не получим современное издание текста и эсегетический комментарий Глоссы к Присциану Уильяма Кончийского, мы будем далеки от полной оценки того, как обстояло дело в то время» (см.: Hunt R. W. Collected Papers. . . , p. XI).

<sup>33</sup> Bursill-Hall G. L. The Middle Ages, p. 181.



телевской логики, отнюдь не уменьшает значения его деятельности, которая в известном смысле может рассматриваться как кульминация переворота, начавшегося в конце XI в. Его достижения в области грамматической теории являются выдающимися, и это служит оправданием того особого положения, которое он традиционно занимает в истории средневековых грамматических учений.

Комментарий Петра Гелийского к Присциану (*Summa super Priscianum*) представляет собой не последовательное толкование текста, а скорее систематическое обсуждение взглядов Присциана с позиций той новой эпохи. «Это не значит, что он хотел отказаться от диалектики, особенно как метода анализа, но скорее означает, что он ясно выделил различие и в то же время близость между ними (т. е. между грамматикой и диалектикой, — А. Г.) и цель его была таким образом двойной: освободить грамматику от вопросов, которые не связаны с ее предметом, и включить в ее объяснение те аспекты диалектики и методологии, которые являются важными для ее целей».<sup>34</sup> Не в первый и не в последний раз в истории науки о языке грамматика оказалась таким образом в плену у родственных дисциплин. Однако заслуга Петра Гелийского заключается именно в том, что он способствовал достижению грамматикой заметной степени автономии благодаря полной систематизации теорий своих предшественников.

Петр Гелийский предложил нам первую попытку полного, упорядоченного, систематизированного комментария к Присциану, представлявшего собой законченную сводку современного ему состояния сведений по грамматике. Используя методы диалектики, он в то же время, как указывает Хант, пытался сохранить употребление логических различий в грамматической теории в пределах определенных границ.<sup>35</sup> *Summa super Priscianum* Петра Гелийского анализируется Хантом с современных позиций в названной выше работе.<sup>36</sup> Хант использует рукописи, хранящиеся в Париже, — *Bibliothèque de L' Arsenal 711<sup>2</sup>* (XII в.) и *Bibliothèque nationale 16220* (XIII в.), высоко оцененные в свое время Ш. Тюрю.<sup>37</sup> Само заглавие — «Свод по Присциану» — свидетельствует о том, что перед нами не последовательный комментарий, но попытка систематизировать дискуссии о Присциане. Композиция названного комментария отличается большой неровностью. Некоторые вопросы трактуются весьма подробно, автор обращается к ним несколько раз, давая лишь незначительные вариации: это природа глагола «быть», способ, которым имя обозначает

<sup>34</sup> *Ibid.*, p. 204.

<sup>35</sup> Hunt R. W. II *Studies*. . . , p. 70 (32).

<sup>36</sup> Hunt R. W. I *Studies*. . . , p. 5 (198).

<sup>37</sup> Thurot Ch. *Notices et extraits de divers manuscrits latins*, p. 18—24, 96. — В обзорной статье Бёрсилл-Холла «The Middle Ages» сообщается (с. 184), что автор намерен сам издать комментарий к Присциану Петра Гелийского и Роберта Килвордби. Сведениями о данных публикациях мы пока не располагаем.

субстанцию, и др. В то же время отдельные трудные вопросы только поставлены, но не рассмотрены, например вопросы, касающиеся безличного глагола и значения причастия.

Несколько слов о личности Петра Гелийского. Petrus Helias (или часто Helie, или Helye) преподавал в Парижском университете, который к этому времени (середина XII в.) стал научным и богословским центром Европы, независимым от светского суда и получившим закрепление своих прав со стороны папской власти. Ссылки на деятельность Петра Гелийского в Париже в 1142 г. имеются в Metalogicon Джона Салисберийского и Metamorphosis Goliae; известно, что он был жив в 1166 г.; но в самом его труде нет никаких указаний на более точные даты его жизни.

Выступая с новых позиций в своем комментарии к Присциану, Петр Гелийский иногда дополнял или заменял его грамматические определения логической терминологией. Между тем многие его пояснения скорее явно индуктивны, чем логически дедуктивны; в общем он принял основные определения Присциана и добавил к ним свои собственные комментарии, основываясь на идеях логики Аристотеля, с которыми он был знаком по переводам и комментариям Боэция; видно, что он использовал «Категории» и «Об истолковании» Аристотеля. Тьюро приводит этому массу доказательств. Так, Петр Гелийский отрицает, что артикулируемый звук (vox) является одной из 10 категорий; спрашивает, в чем именно находятся акциденции букв и акциденции частей речи; <sup>38</sup> стремится согласовать утверждения Присциана с «Категориями» Аристотеля; обсуждает вопрос о том, является ли предложение taseo 'я молчу' истинным в тот момент, когда оно произносится, и т. д. Вообще он прибегает к рассуждению только для того, чтобы решить вопросы, которые он сам себе ставит, и не добавляет ничего к фактам, собранным Присцианом, кроме отдельных слов и выражений, которые были введены Вульгатой и обиходным языком, не делая никогда сопоставлений классической латыни с вульгарной. В первую очередь необходимо ознакомиться с пониманием Петром Гелийским самого термина «грамматика». Он определяет грамматику как «науку о том, как правильно писать и говорить. . . Задачей этого искусства является надлежащим образом соединять буквы в слоги, слоги в слова и слова в предложения, избегая солецизмов и варваризмов». <sup>39</sup>

Своеобразие определения Петра Гелийского заключается в том, что грамматика характеризуется с двух сторон — как искусство и как наука. Подходя к грамматике как к искусству, коммента-

<sup>38</sup> В другом месте Тьюро шире раскрывает смысл исканий Петра Гелийского в этой области: «Он исследует волнованный тогда всех вопрос, находятся ли эти акциденции в субъекте, т. е. находятся ли они в частях речи, как белизна в теле, как наука в душе. Некоторые акциденции имеют вторичное значение (secundaria significatio), в противоположность значению части речи, которое является significatio principalis» (T h u r o t Ch. Notices et extraits de divers manuscrits latins. . . , p. 155).

<sup>39</sup> T h u r o t Ch. Notices et extraits de divers manuscrits latins. . . , p. 121.

тор предполагает, что ее самые существенные принципы будут следствием человеческого выбора, а не безличной необходимости, как это имеет место в естественных науках. Объявляя грамматику наукой, автор предполагает, что она основана на точных процедурах, для которых могут быть сформулированы правила, так что можно определить, когда эти правила соблюдены и когда они нарушены. Подобным определением грамматики Петр Гелийский подчеркивает, во-первых, строгие законы, на которых основан язык, во-вторых, элементы сознательного выбора в сфере пользования языком.

Отдельные исследователи (Робинс, Динеен) ставят Петру Гелийскому в заслугу признание теоретически важного положения, согласно которому имеется так же много грамматик, сколько есть языков: «Выражением любого искусства является качество, которое мастер придает материалу благодаря своему искусству. . . Имеется поэтому много типов этого искусства, так же как имеется большое разнообразие языков, в которых грамматическое искусство применяется и из которых оно слагается».<sup>40</sup> Создается впечатление, будто Петр Гелийский признает языковое разнообразие, допускает самостоятельность отдельных языков: каждый язык имеет свою собственную грамматику. Однако Пинборг утверждает, что такое толкование данного высказывания вряд ли обоснованно. Во всяком случае Петр Гелийский имел в виду совсем не то, что хотят усмотреть в его высказывании современные лингвисты. Ни в античности, ни в Средние века не сознавали, что структуры разных языков принципиально различны. «Скорее полагали, не выражая этого эксплицитно, что можно переводить слово в слово, так что различными были только звуковые формы, в то время как значения оставались одинаковыми».<sup>41</sup> Петр Гелийский утверждает лишь то, что грамматика имеет различный вид (*species*) в соответствии с языком, которым она занимается. Но такое же точно заявление делает и Роберт Килвордби, хотя он в то же время называет грамматику универсальной наукой, которая у всех народов и во все времена в сущности одна и та же (см. ниже, с. 236). Также Доминик Гундиссалин (ум. после 1181), чье понимание грамматики довольно точно соответствует представлению Петра Гелийского, знаком с понятием об универсальной грамматике;<sup>42</sup> у этого автора становится заметным новое влияние, влияние арабских ученых, и особенно аль-Фараби, который делил грамматику на науку о словах и науку о правилах (*canones, regulae*) слов. Эта последняя, по словам Гундиссалина, «почти одна и та же у всех». Как подчеркивает Пинборг, это — крайне важное различие, отделяющее Петра Гелийского от тех, кто рассматривал латинскую грамматику как универсальную.

<sup>40</sup> Thurot Ch. Notices et extraits de divers manuscrits latins. . . , p. 126.

<sup>41</sup> Pinborg J. Die Entwicklung. . . , S. 17.

<sup>42</sup> Сочинение Доминика Гундиссалина издано Бауром, упомянутое здесь место — с. 45—46.

При Петре Гелийском это понимание еще не проявлялось в полную силу. Для него грамматика, как и для античных ученых, еще была *scientia gnara recte scribendi et recte loquendi*,<sup>43</sup> тем самым она еще была тесно связана с практическими требованиями реальными существующих языков. Эта установка на протяжении XII в., по-видимому, существенно не менялась.

Исключительную важность для средневековой грамматики представлял вопрос о *cause inventionis* (см. выше, с. 221), одном из фундаментальных понятий комментаторов. Средневековые грамматики чрезвычайно интересовались происхождением языка и полагали, что смогут получить наиболее глубокое знание о языке, исследуя *cause inventionis* частей речи. Они полагали, что, однажды найдя их, они получают надежный критерий для исследования и определения собственно грамматической функции слова.

Петр Гелийский, по-видимому, хорошо понимал важность *cause inventionis* для становления грамматических теорий. Следуя более углубленной программе, начертанной его учителем, Уильямом Кончийским, он в своем комментарии к Присциану значительно расширяет употребление *cause inventionis*, определяя их для каждой из акциденций каждой части речи. Де Рейк не согласен с мнением Ханта, что важность учения о *cause inventionis* преуменьшена Петром Гелийским, так как он якобы редко применяет этот критерий для определения собственной природы слов. Петр Гелийский, который, как отмечает Хант, стремился освободиться от вопросов, не относящихся к грамматике, не разработал бы этой теории в такой мере, если бы не верил в ее важность. То, что он не напоминает эксплицитно об употреблении данного критерия или делает это лишь изредка, вероятно, не имеет особого значения.<sup>44</sup> *Cause inventionis* в его *Summa* систематизированы и их употребление значительно расширено. Петр Гелийский различает «общую причину изобретения всех слов» (*communis causa inventionis omnium dictionum*) и «собственную причину изобретения каждой части речи» (*propria causa inventionis cuiusque partis orationis*). Затем он дает *causa inventionis* для каждой из акциденций каждой части речи, используя для этого новую терминологию и проводя различие между *significationes secundariae*, т. е. акциденциями, которые имеют конкретные значения, например число и время, и *proprietaes communes* (*sc. vocum*), под которыми имеются в виду свойства слов в их назывной (исходной) форме (*species* и *figura*). Так, *species* 'вид' является общим свойством имен, потому что все имена являются или простыми, или производными; «фигурой» же обозначается свойство

<sup>43</sup> Это определение грамматики взято из одной анонимной рукописи XIV в.: «Грамматика. . . так описывается Присцианом и Петром Гелийским в его *Super maius volumen*: грамматика есть наука правильно писать и правильно говорить и правильно понимать смысл произнесенного» (*The u r o t Ch. Notices et extraits de divers manuscrits latins. . .*, p. 21) «*Maius volumen*» назывались первые 16 книг «*Institutiones grammaticae*» Присциана.

<sup>44</sup> R i j k L. M. De. *Logica modernorum*, 2, p. 1, с. 111, прим. 3.

имен быть простыми (*figura simplex*) или сложными (*figura composita*), но число для имен имеет вторичное значение, так как имя в первую очередь обозначает субстанцию и лишь во-вторых определяет, идет ли речь об одной вещи или о более чем одной. Для современного исследователя не всегда ясно, какими принципами руководствуется Петр Гелийский, относя одни грамматические категории к первичным, а другие — к вторичным. Кроме *species* и *figura*, к общим свойствам имен Петр Гелийский относит также падеж, к общим свойствам глагола — лицо; число и время он относит к вторичным значениям глагола. Помимо акциденций, совпадающих в определенной мере с грамматическими категориями в современном значении этого термина, Петр Гелийский проводит и другое подразделение в пределах общего свойства, или *species*, имен, выделяя четыре рода собственных имен — *propriomen*, *nomen*, *cognomen*, *agnomen*, каждый из которых соответствует одному и тому же денотату (по современной терминологии), но при этом привносит еще различные дополнительные значения; каждому роду приписывается *causa inventionis*.<sup>45</sup> Все это в значительной степени превосходит вклад, внесенный в эту область более ранними глоссаторами.

Людям необходимо иметь способ выражения своей воли друг другу — в этом, по мнению Уильяма Кончийского и Петра Гелийского, и заключается общая причина возникновения слов: *communis causa inventionis omnium dictionum est ut haberet homo quomodo propriam voluntatem alteri manifestaret*.<sup>46</sup> Глосса *Tria sunt*, датированная временем после Петра Гелийского, излагает эту причину в таких выражениях: «что[бы] мы могли иметь средство выражения наших понятий (*intellectus*) и обнаружения их другим людям» (*Orationes autem invente sunt, ut per illas intellectus nostros exprimeremus et aliis manifestaremus*). Значительным изменением является здесь замена *voluntas* на *intellectus*, которая проясняется благодаря отрывку из другой глоссы того же времени — *Promisimus*,<sup>47</sup> где говорится, что во всякой беседе, т. е. в речи одного человека, обращенной к другому, необходимы три компонента: подразумеваемая вещь, понятие и слово; вещь — для того, чтобы можно было высказать что-либо о ней, понятие — чтобы с его помощью мы могли узнать вещь, и слово — чтобы с его помощью мы могли представить понятие. Как полагает Хант, «в этом рассуждении заключен зародыш теории о *modi essendi, modi intelligendi* и *modi significandi*, которая является фундаментом более поздней спекулятивной грамматики».<sup>48</sup> Из сопоставления этих трех фрагментов становится очевидным, что автор глоссы *Promisimus* явно находился под влиянием логического учения.

<sup>45</sup> Имеется в виду трехчленная структура римского имени: *praenomen* — личное имя, *nomn* — имя рода и *cognomen* прозвище, принадлежащее отдельной ветви рода; *agnomen* — второе *cognomen*.

<sup>46</sup> Цитируется по Ханту: Hunt R. W. II Studies. . . , p. 70 (32), прим. 3.

<sup>47</sup> Об этих глоссах см.: Ibid., p. 39—40 (1—2).

<sup>48</sup> Ibid., p. 71 (33).

Развитие нового подхода к решению грамматических проблем и попытку Петра Гелийского внести определенную ясность в некоторые запутанные вопросы можно иллюстрировать, как это делает Хант, учением о глаголе.<sup>49</sup>

В определении глагола у Присциана главный упор делается на значении «действие» или «претерпевание действия»; глоссаторы добавляют к этому понятие присущности, которое они по всей вероятности почерпнули из работы логика, неизвестной в настоящее время.<sup>50</sup> Это делается для того, чтобы можно было отличить значение глагола от значения имен и деривативов.<sup>51</sup> Дискуссия в *Glosule*<sup>52</sup> развивается следующим образом: если глагол обозначает чистое действие или претерпевание действия, его значение соответствует значению имени, так как имена действия или претерпевания обозначают все действия и претерпевания действия. Глагол же не просто обозначает действие, но дополнительно сообщает, что действие заключено в действующем лице, например, «он бежит». А имя, например «бег», хотя и обозначает действие, не указывает, что оно «заключено» в каком-либо лице. Глагол обозначает неотъемлемость и действия, и субстанции, и таким образом можно сказать, что он обозначает действие и субстанцию, но иным способом, чем имя.

У Петра Гелийского мы наблюдаем попытку освободиться от вопросов, не имеющих отношения к грамматике. Он усматривает различие между первоначальной целью, ради которой глаголы были изобретены (обозначать действие субстанции или претерпевание ею действия), и позднейшим расширением употребления глаголов, в результате которого глаголы приобретают способность обозначать качества и другие акциденции, например «белеет» (*albet*). Но, даже будучи столь расширенным, значение глагола связано с обозначением времени и является высказыванием о чем-либо. Посредством такого общего определения Петр Гелийский отмечает обычные возражения. Он вполне осознает, что является новатором («Так как, однако, о значении глагола мы судим иначе, чем остальные, мы сочли необходимым привести

<sup>49</sup> Hunt R. W. *I Studies* . . . , p. 24—25 (217—218).

<sup>50</sup> Они, вероятно, исходили из такого типа отрывков у Боэция, как ниже-следующий, *Comm. II in De Interpret.*: «Когда я говорю «бег» (*cursus*), это слово, конечно, является акциденцией (свойством, качеством, — *A. G.*), но оно произносится безотносительно к тому, присуще оно кому-либо или нет. Если же я скажу «бежит» (*currit*), тогда, помещая само свойство в чье-либо действие, я обозначаю, что оно кому-либо присуще» (цитируется по Ханту (в переводе): Hunt R. W. *I—II Studies* . . . , p. 24 (217) прим. 5).

<sup>51</sup> Под деривативами здесь имеются в виду прилагательные. Хант, судя по его ссылке (*I Studies*, p. 25, прим. 2), заимствовал этот термин из «Диалектики» Абеяра. О понимании Абеяром субстантивов и прилагательных см. в настоящем томе статью Е. А. Реферовской «„Спор“ реалистов и номиналистов» (с. 25<sup>3</sup>).

<sup>52</sup> Этим термином Хант обозначает анонимный комментарий к I—XVI книгам «*Institutiones grammaticae*» Присциана, сохранившийся в трех рукописях XI—XII вв., см.: Hunt R. W. *I—II Studies*, p. 2—3.

наше мнение по этому вопросу. . . и в этом мнении будет заключено решение») <sup>53</sup> и отстаивает свою точку зрения как более соответствующую грамматике.

Отдавая должное кропотливым изысканиям Ханта, необходимо сказать, что к числу наиболее значительных результатов его исследования надлежит отнести выявленную им неразрывную связь работы Петра Гелийского с трудами его предшественников, имена которых, к сожалению, пока остаются неизвестными. Ханту удалось подчеркнуть логическую направленность работы глоссаторов, о чем до него лингвисты совершенно не были осведомлены; однако не следует из этого делать вывод, что подобный метод охватывал всю грамматику в том виде, как она тогда преподавалась. Повышенный интерес к логике в грамматике, по-видимому, не оказывал существенного воздействия на толкование текстов классических авторов. «Диалектика остается доминирующим партнером, но преподаватели artes ставят пределы ее применению к грамматике». <sup>54</sup>

Хотя определение грамматики Петром Гелийским («сочетание букв в слог»), по-видимому, призывало к рассмотрению звукового строя языка, он не уделил внимания исследованию этих вопросов. Его интересовали словообразование и словоизменение. Задаваясь вопросом, почему в латыни насчитывается именно шесть падежей, Петр Гелийский пытался найти решение исходя из логических критериев. Как видно из определения, под падежом он понимал не только формы словоизменения, но и формы словообразования, что соответствовало традиционному взгляду, идущему от античных времен: «Падеж — это свойство слова, заключающееся в его превращении в другое слово или в его образовании от другого слова (лат. *proprietas cadendi in aliud vel ab alio*) и происходящее из различных способов рассуждения об одной и той же вещи. И „быть склоняемым или производным“ здесь означает „стать иным словом“. . . Причина отдельных падежей, которые были изобретены, состоит в различных способах рассуждения о вещах. . . Шесть падежей были изобретены, и больше не требовалось». <sup>55</sup> Подобный комментарий о системе падежей был весьма характерным для традиционных средневековых латинских грамматик, основывавшихся на положении Аристотеля о единообразии представления о мире вещей у всех людей независимо от языка, на котором они говорят. В соответствии с латинскими словоизменительными нормами Петр Гелийский утверждал, что имеет шесть и только шесть способов рассуждения «об одной и той же вещи». Латинская система склонения выступает здесь как логико-грамматический эталон для любого языка. Тот факт, что греческий обходится всего пятью падежами (включая вока-

<sup>53</sup> Hunt R. W. I Studies. . . , p. 37 (230).

<sup>54</sup> Hunt R. W. I Studies. . . , p. 30 (223).

<sup>55</sup> Цитируется (в переводе с английского) по: Dineen F. P. An Introduction. . . , p. 130.

тив, что делали не все грамматик), если и был известен исследователям, вряд ли мог поколебать их уверенность в правильности этих заключений.

Обращает на себя внимание своей оригинальностью рассуждение Петра Гелийского о том, что в существительном, которое он называет первой и наиболее благородной частью речи, особое место принадлежит окончанию как последней, «самой благородной части слова», поскольку именно с помощью окончания выявляется значение: «когда мы слышим речь, разум обычно не воспринимает ничего до тех пор, пока мы не дойдем до конца слова. . .»<sup>56</sup> Несомненно, что «значение», о котором говорит Петр Гелийский, в этом контексте следует понимать как формальное, грамматическое значение в противоположность лексическому, которое чаще всего заключается в первой, а не в последней части слова в латинском языке; во всяком случае точка зрения Петра Гелийского существенно отличается от определения существительного у Аристотеля: «Имя есть звук, наделенный значением в соответствии с согласованием. . . никакая отдельная часть которого [звука] не наделена значением» (Об истолковании, I, 5).

Логическая точка зрения наиболее явно проступает и в определении Петром Гелийским частей речи. Средневековье унаследовало два различных способа определения классов слов. Логик приняли определения Аристотеля из *De interpretatione*, в то время как грамматик переняли более поздние определения Присциана.<sup>57</sup> Уже Тьюро отмечал, что Присциан не только не сумел соотносить грамматические определения имени и глагола с определениями логическими, но что он имел неясное представление о функциях этих частей речи в предложении.<sup>58</sup> В более позднее время обе приведенные попытки определения главных частей речи воспринимались как равноправные и сопоставлялись между собой. Уже Боэций пытался осуществить их взаимопримирение, и такие попытки повторялись на протяжении всего средневековья. Грамматик придерживались в основном определений Присциана, но пытались интерпретировать их в соответствии с логическими критериями. Например, Присциан дал формальное определение глагола в терминах времени и наклонения, дополнив его семантическим значением активности или пассивности. Петр Гелийский добавил логическую идею Аристотеля, что глагол всегда является предикатом: «Во всяком законченном предложении говорится что-либо о чем-либо. . . Существительное было избрето с тем, чтобы различать, что некто рассуждает [о чем-либо], а глагол — чтобы различать, что говорится об этом. . . особенно в отношении активности и пассивности».<sup>59</sup> Очевидно, что здесь

<sup>56</sup> Thurot Ch. Notices et extraits de divers manuscrits latins. . . , p. 199.

<sup>57</sup> Pinborg J. Die Entwicklung. . . , S. 46.

<sup>58</sup> Rijck L. M. De Logica modernorum, t. II, ч. 1, с. 98.

<sup>59</sup> Thurot Ch. Notices et extraits de divers manuscrits latins. . . , p. 178.



формально-грамматическое определение глагола, напоминающее присциановское, соединено с определением логико-синтаксическим.

В научной литературе распространено мнение о том, что разграничение имен на существительные и прилагательные, едва ли известное античным грамматикам, было осуществлено Петром Гелийским. Это мнение исходит, по-видимому, от Тьюро: «Начиная с его (Петра Гелийского, — А. Г.) времени разделение имен на существительные и прилагательные стало общепринятым».<sup>60</sup> Древние грамматики имели представление об этом разграничении, но, по-видимому, недостаточно ясное; во всяком случае в области терминологии это разграничение не нашло отражения. Термин *nomen substantiale*, правда, встречается у одного грамматика IX в. В XI в. Ансельм обсуждает вопрос, обозначает ли слово *grammaticus* субстанцию или качество,<sup>61</sup> не употребляя ни разу термин *nomen substantivum* или его эквивалент. Надо признать, что Петр Гелийский испытывал затруднение в разделении имен на существительные и прилагательные.<sup>62</sup> Это свое утверждение Тьюро подкрепляет цитатой из комментария Петра Гелийского, на наш взгляд, противоречивой и не вполне ясной: «Древние по сути дела обычно проводят это разделение, так как всякое имя есть или существительное, или прилагательное, говоря, что то имя является существительным, которое само по себе может находиться в какой-либо части предложения, а прилагательное — то, которое не может. Но это разделение не подкрепляется ничьим авторитетом. Кроме того, явно ложным является мнение, будто прилагательное не может ставиться самостоятельно в той же самой части предложения».<sup>62a</sup> Кто были эти древние<sup>63</sup> грамма-

<sup>60</sup> Ibid., p. 165. — См., например, в «Очерках по истории лингвистики» Т. А. Амировой с соавт. (М., 1975): «В области формального описания языка к этому (т. е. Петра Гелийского, — А. Г.) времени сделано было еще мало, если, правда, не считать выделения в воспринятой от античности нерасчлененной категории имени двух подкатегорий: подкатегории субстанционального свойства (существительное) и подкатегории акцидентального свойства (прилагательное)» (с. 169).

<sup>61</sup> См. статью Е. А. Реферовской в настоящем томе «Спор . . .».

<sup>62</sup> *Th u r o t Ch. Notices et extraits de divers manuscrits latins. . .*, p. 166.

<sup>62a</sup> Ibid., p. 166.

<sup>63</sup> Одной из причин затруднений является многообразие значений термина *antiqui* в средневековой научной литературе, который может означать предшественников вообще, как отдаленных, например римских грамматиков, так и недавних; параллельно этим термином обозначали сторонников старых взглядов в противоположность тем, кто придерживался новых идей (*moderni*). Де Рейк полагает, что в приведенном отрывке под древними (*antiqui*) Петр Гелийский имел в виду Абелияра и его школу (*Logica Modernorum*, v. 1, p. 17, прим. 6). Такое предположение не исключается, поскольку термин *nomen substantivum*, как указывает и Тьюро, часто встречается у Абелияра. Однако Хапт не раскрывает значения *antiqui* в указанном отрывке, относя «различение существительных и прилагательных, которое Петр Гелийский приписывает *antiqui*», к числу многих бесплодных попыток ранних глоссаторов Присциана разграничить логическое и грамматическое употребление терминов «субстанция» и «качество» (*H u n t R. W. I Studies . . .* p. 22 (245), прим. 2).

тики и на каких основаниях они делили имена на существительные и прилагательные, остается неясным. Отсутствие примеров мешает понять и другое утверждение комментатора о том, что прилагательное может занимать те же позиции в предложении, что и существительные. Не в состоянии разрешить эти противоречия, Тюрю заканчивает рассмотрение этого вопроса так: «Достоверно одно: сам Петр Гелийский часто употребляет термин *nomen substantivum*».<sup>64</sup> Возможно, издание трудов средневековых грамматиков и их научное изучение позволит в будущем прояснить решение ими кардинальных грамматических вопросов.

Сопоставляя труд Петра Гелийского с рядом работ более ранних комментаторов и оценивая его собственный вклад в изучение языковых явлений, нельзя не заметить, что проникновение логики в грамматику, принявшее столь необычайные размеры, вызвало ответную реакцию против преобладания диалектики над грамматикой и тот же Петр Гелийский, несомненно под воздействием Уильяма Кончийского, приложил немалые усилия к тому, чтобы разграничить оба эти подхода к явлениям языка. Однако это никоим образом не означает, что Петр Гелийский стремился уничтожить всякое влияние диалектики; его задачей было освободить грамматику от решения вопросов, которые, по всей видимости, были совершенно не связаны с ее собственной целью.

Деятельность Петра Гелийского оказала значительное влияние на последующее развитие грамматических исследований, и его авторитет был очень высок у ученых позднего средневековья. Вот яркая и точная характеристика, данная Ш. Тюрю работе Петра Гелийского свыше ста лет назад: «Петр Гелийский извлекает из Присциана то, что представляет собой определения, правила и рассуждения. Он устраняет почти все примеры. Он берет определения и обобщения, развывая их, и резюмирует остальное. Он часто останавливается, чтобы устранить возражения или обсудить вопросы, возникающие в связи с рассматриваемым текстом. Он несомненно опирается на своих предшественников (*antiqui*). Когда он приводит собственные мысли, он об этом уведомляет, но это уведомление встречается довольно редко. Авторитет его, по-видимому, с XII в. был очень велик; и он не стал меньше в последующие века (его обозначают обычно только инициалами Р. Н. или словом „комментатор“, как это делал Аверроэс). В XIV в. его имя, вероятно, было больше известно, чем его работа, которая больше не соответствовала характеру преподавания в XIII в. Его часто „цитируют“, чтобы сослаться на мнения, которых он не высказывал, и на определения, которых он не давал. Ему приписывали все, что вводилось в грамматическую традицию после него».<sup>65</sup>

Последующий период в развитии грамматических исследований характеризуется усилением внимания к текстам классических

<sup>64</sup> Thurot Ch. Notices et extraits de divers manuscrits latins . . . , p. 166.

<sup>65</sup> Ibid., p. 96—97.

авторов, использованием достижений грамматической теории для толкования памятников римской литературы. Особый интерес проявляется к синтаксической проблематике; именно в этот период появляются специальные трактаты по синтаксису.

Наиболее видной фигурой в области изучения грамматики в этот период был Ральф де Бовэ. Он был англичанином, учеником Абельяра, и преподавал в Бовэ. Единственные работы, которые со всей определенностью могут быть приписаны Ральфу в настоящее время, — *Summa super Donatum* и *Liber Titan*. Последняя работа интересна и необычна по форме. Она содержит пространные грамматические замечания к избранным строкам *Metamorphoses* Овидия и *Pharsalia* Лукана, иллюстрируемые большим числом цитат из классических авторов и Библии. По справедливому наблюдению Ханта,<sup>66</sup> может показаться парадоксальным объявлять введение иллюстративных цитаций вкладом Ральфа и его школы, если принять во внимание обилие цитат у Присциана. Но у ранних глоссаторов и у Петра Гелийского их число незначительно. Именно начиная с Ральфа цитаты свободно используются. Подавляющее их большинство — стихотворные, поскольку они легче задерживались в памяти, в основном из произведений Овидия, Горация, Вергилия, Ювенала и некоторых других классических авторов; используются цитаты и из средневековых поэтов. Цитаты из прозаических авторов, хотя их сравнительно немного, заимствованы из книг, которые изучались в курсе *artes liberales* того времени (некоторые сочинения Цицерона, латинские переводы ряда трудов Аристотеля и Порфирия, многие труды Боэция).

Дополнительным источником цитирования являются библейские тексты. Там, где есть противоречие между библейским и классическим употреблением, выдвигается принцип — священная страница не подвластна правилам грамматики (*Divina pagina non subiacet regulis grammaticae*).<sup>67</sup>

По поводу развития грамматической теории Ральфом и его школой можно отметить лишь некоторые частности. Так, принимая в *Summa* разделение акциденций частей речи на общие свойства и вторичные значения, введенное Петром Гелийским, Ральф в противоположность ему относит лицо глагола к вторичным значениям: «Лицо также свойственно глаголу, как его вторичное значение; ибо, кроме главного значения, глагол сообозначает (*consignificat*) лицо».<sup>68</sup>

Наиболее плодотворно работали грамматики второй половины XII в. в области синтаксиса. Именно здесь их интерес к логическому анализу нашел удачное применение. Первые самостоятельные трактаты о латинском синтаксисе датируются именно начиная с этого времени. Рассмотрение одного лишь *Titan* могло бы пока-

<sup>66</sup> Hunt R. W. *II Studies* . . . , p. 67, (29).

<sup>67</sup> Ralph, *Summa*, Add. 16380 fol. 126<sup>vb</sup> (цитируется по Ханту: Hunt R. W. *II Studies* . . . , с. 70 (32), n. 1).

<sup>68</sup> Add. 16380 fol. 126<sup>vb</sup> (цитируется по Ханту (в переводе): Hunt R. W. *II Studies*, p. 73 (35)).

зять заинтересованность Ральфа в синтаксисе, но и в *Summa super Donatum* он также вводит раздел о конструкции. Хотя этот раздел и краток, о нем следует упомянуть, поскольку здесь дается определение, каким способом одно слово управляет другим, ставшее общепринятым: «И так как мы сказали, что *nonn comparativum* и *superlativum* управляют косвенными падежами, необходимо сказать кое-что об управлении частей речи. Итак, когда говорится: это слово управляет тем словом, это означает, что этому последнему надлежит быть поставленным в таком-то сочетании или падеже».<sup>69</sup>

Большое число синтаксических наблюдений имеется в комментарии *Promisimus*. В качестве примеров Хант дает из него два отрывка об *ablativus absolutus*, одном из терминов, изобретенных, как свидетельствует Гуро,<sup>70</sup> в XII в. Во втором отрывке наблюдаем свободное употребление подлинных примеров, что является характерной приметой школы Ральфа, в то время как в первом отрывке делается эмфаза на логическом анализе и приводятся выдуманные примеры (*Socrate legente pugnat Plato*). Преобладание этого последнего метода делало многие позднейшие грамматические наблюдения столь сухими.

В трудах школы Ральфа можно проследить и то влияние, которое начал оказывать на теорию грамматики интерес к логическому анализу. В глоссе *Promisimus* задача грамматика формулируется так: «Точное предписание правил и тщательное исследование конструкций с точки зрения суждения — вот две вещи, которые создают совершенного грамматика».<sup>71</sup>

Влияние логики можно заметить также в решении конкретных грамматических вопросов. В списках акциденций имени, данных Донатом и Присцианом, имеются определенные различия, в связи с чем возникал вопрос, почему некоторые другие свойства не включались в число акциденций. В *Summa* Ральфа появляется новое доказательство. Обсуждая причину, почему падеж, а не склонение указывается как акциденция имени, он поясняет, что грамматики не все свойства слов называли их акциденциями, а лишь те, которые необходимы для конструкции — и в этом смысле различие падежей является более важным, чем различие склонений. В глоссе *Promisimus* указанный аргумент отчетливо приписывается Ральфу, так что глоссатору приходится отстаивать статус акциденций некоторых грамматических явлений, таких, например, как *species* и *figura*, доказывая, что они принимают участие в различении конструкций: «Но кто-нибудь может сказать: *figura* и *species* не имеют значения для различения конструкций. Напротив, имеют, так как сложное слово управляет каким-либо падежом благодаря значению то одного компонента, то другого: например,

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, fol. 124<sup>rb</sup>; Hunt R. W. II Studies, p. 74 (36).

<sup>70</sup> Thurot Ch. Notices et extraits de divers manuscrits latins... p. 247, 318.

<sup>71</sup> Цитируется по Ханту: Hunt R. W. II Studies... p. 75 (37).

до 'даю' требует дательного, *circum* 'вокруг' — винительного, *circumdat* же, составленное из двух компонентов, требует то винительного — *circumdat illum clamide* 'он окутывает его плащом', то дательного — *circumdat illi clamidem*».<sup>72</sup>

Обобщая сказанное о Ральфе де Бовэ и его школе, следует еще раз отметить, что грамматики этого поколения достигли нового синтеза между грамматикой и изучением классических авторов, особенно в области синтаксиса. Однако в дальнейшем грамматическая теория не пошла в своем развитии по проложенным ими путям. Расширение грамматической работы в сфере синтаксиса привело к еще более тесному взаимопроникновению логики и грамматики, в результате которого сформировалась спекулятивная грамматика модистов. К сожалению, в нашем знании истории развития грамматической мысли от школы Ральфа де Бовэ до модистов (этот период охватывает около 100 лет) имеется пробел; однако нет никакого сомнения, утверждает Бёрсилл-Холл, что это был период консолидации<sup>73</sup> разных направлений лингвистической мысли, завершившийся созданием модистской грамматики, представляющей собой первую на Западе попытку создания разработанной общей теории грамматики. Эта теория явилась кульминацией развития концепции универсальной грамматики. От конкретных звуковых языков интерес перемещается на *sermo ordinatus ad significandum* 'язык, приспособленный для того, чтобы обозначать', общий для всех людей относительно содержания и правил. Грамматика должна иметь дело не с отдельными языками, а с «языком как чем-то отвлеченным [!] от любого языка в соответствии с общими свойствами (*generales virtutes*)».<sup>74</sup> В этом смысле грамматика «одна и та же у всех» и потому является наукой. Здесь, по-видимому, впервые высказана мысль о том, что грамматика имеет дело не с конкретными языками, а с общими правилами строения языков как таковыми. *Grammatica regularis* является универсальной и потому одна только и считается наукой. С позиций средневековой универсальной грамматики общие принципы строения языков соответствуют закономерностям человеческого мышления, отражающим в свою очередь сущностные явления бытия. Отсюда следует, что изучение грамматики может служить одним из путей постижения законов реальной действительности.

В развитой форме теория грамматики как науки, изучающей основы сущего (*principia essentialia*); может быть найдена у Роберта Килвордби и Роджера Бэкона. Килвордби сначала был преподавателем *artes liberales* в Парижском университете, затем, вступив в 1230 г. в орден доминиканцев, был архиепископом в Кентербери в 1272 г. и умер кардиналом в 1279 г. Он был выдающимся ученым, философом, теологом, логиком и грамматиком,

<sup>72</sup> Цитируется по: Hunt R. W. II Studies. . . , p. 76 (38).

<sup>73</sup> Bursill-Hall G. L. The Middle Ages, p. 205.

<sup>74</sup> Barcelona, Arch. general de La Corona de Aragón, cod. Ripoll 109, fr. 137<sup>rb</sup> (цитируется по: Pinborg J. Die Entwicklung. . . , S. 26).

написал многочисленные комментарии к Аристотелю, к *Barbarismus* Доната и пространный комментарий к Присциану.<sup>75</sup> Его комментарий к кн. XVII—XVIII очень часто цитировали грамматики XIV в. Как и Петр Гелийский, он отказался от приведения примеров из классических авторов и занимался лишь грамматическими определениями, правилами и рассуждениями, трактуя их в соответствии с новым методом, принятым в XIII в. Введя в грамматику термин *principia essentialia*, он хотел этим подчеркнуть, что не только принципы структуры (*regule*), но и важнейшие принципы содержания универсальны. Предмет грамматики — «имеющий значение язык» (*sermo significativus*) в его отвлечении от отдельного языка. Этот *sermo* существует *in mente* 'в разуме'; интерес грамматики теперь почти полностью абстрагируется от выражения. Только в этом смысле язык вообще является предметом науки, будь то грамматика или логика. Но эти науки все же различаются, поскольку рассматривают *sermo significativus* с разных точек зрения: объект грамматики — *sermo congruus* подчинен объекту логики — *sermo verus*. Килвордби приравнивал грамматику к геометрии; как геометрия отвлекается от различий в объеме изучаемых ею сфер, так грамматика должна игнорировать поверхностные различия между языками.

Положение о единстве грамматики далее развивалось Роджером Бэконом<sup>76</sup> (≈ 1200—1292), который находился под большим влиянием Роберта Килвордби. Бэкон доказывал, что «грамматика одна и та же во всех языках в своей субстанции и может варьироваться только в акциденциях».<sup>77</sup> Несмотря на свою убежденность в необходимости изучения языков, Бэкон тем не менее утверждал, что в каждом языке есть два рода проблем: одни, которые касаются данного рассматриваемого языка, и другие, которые являются общими для всех языков; первый род проблем не должен быть объектом научного изучения, второй род — должен. Таким образом, грамматика может считаться наукой лишь постольку, поскольку ее объект универсален. Универсальность реальности, воспринятая и понятая универсальным человеческим разумом, могла выражаться в универсальном языке. В реальной исследовательской практике под таким универсальным языком понимался латинский, изучение этого языка объявлялось подлинным объектом грамматической науки.

Обозревая в целом логическое направление в средневековой грамматике, способствовавшее формированию концепции всеобщей, или универсальной, грамматики, можно сказать, что в отношении

<sup>75</sup> См.: P i n g o r g J. et al., Hrgg. The Commentary on Priscianus Maior ascribed to Robert Kilwardby — (Cahiers de l'Institut du Moyen-Âge grec et latin, 15, 1975).

<sup>76</sup> Наиболее новыми изданиями трудов Роджера Бэкона являются: В а с о n R. 1) *Summa grammatica* / Ed. R. Steele. Oxford, 1940; 2) *Grammatica graeca* / Ed. E. Nolan and S. A. Hirsch. Cambridge, 1902.

<sup>77</sup> Цитируется по: R o b i n s R. H. *Ancient and Mediaeval. . . Theory*, p. 77, n. 2.

формального анализа языка, как можно было убедиться, оно дало мало результатов. Однако грамматики этого направления достигли определенных успехов в области изучения семантических аспектов языка. С развитием логических исследований произошло незаметное, но важное изменение в анализе материала: вместо того, чтобы обсуждать, *что* часть речи обозначает,<sup>78</sup> логики стали обсуждать, *как* (каким образом, способом) часть речи что-либо обозначает. Это изменение было следствием, во-первых, развития более утонченной психологической теории и, во-вторых, применения более детализированного метода изучения того, каким образом выражения получают значения, когда они сочетаются с другими выражениями в языке.

Идеи логической семантики нашли свое отражение в трактате *Summulae logicales* («Краткий свод основ логики»)<sup>79</sup> Петра Испанского (1210/20—1277), архиепископа Брагского, ставшего под конец жизни папой Иоанном XXI, известного авторитета своего времени в области логики, философии и медицины. Имя автора этого труда стало весьма популярным в связи с широким распространением названного пособия в школах Западной Европы, занимавшего господствующее положение в учебной литературе по логике вплоть до начала XVI в.

В своем логическом трактате Петр Испанский рассматривает термин «значение» в трех аспектах — как сигнификацию, суппозицию и апелляцию. Основываясь на этих разновидностях обозначения, он обсуждает свойства выражений; данный раздел его трактата вызвал много подражаний и разрабатывался более подробно другими исследователями. Общим термином, которым пользовался Петр Испанский и который приблизительно соответствует понятию «значение», является *significatio*, определяемое как «представление вещи через условный голосовой звук».<sup>80</sup> Конечно, это пересказ аристотелевского определения («имя есть звук, наделенный значением в соответствии с соглашением. . .», Об истолковании, I, 5), но благодаря более разработанным психологическим учениям XIII в. «представление» не было ограничено у Петра Испанского только представлением чувственного образа: представляемые вещи могли быть продуктами разных ступеней познания (чувственного восприятия, памяти или воображения, понимания, суждения, заключения).

Одним из наиболее важных разграничений в толковании значения Петром Испанским является противопоставление сигнификации и суппозиции, объясняемое следующим образом: «Суппозиция есть употребление субстантивного термина вместо некоей вещи. Но суппозиция и сигнификация различны, так как сигнифи-

<sup>78</sup> Ср., например, бесконечные дискуссии о том, что обозначают имена — субстанцию или качество.

<sup>79</sup> Новейшим является издание: Rijk L. M. De. Peter of Spain. *Tractatus*. Assen, 1972.

<sup>80</sup> Цитируется по: Dineen Fr. P. *An Introduction. . .*, p. 136.

кация осуществляется наложением голосового звука с целью обозначить вещь, в то время как суппозиция является употреблением термина, который уже имеет значение, по отношению к некоей определенной вещи; так, мы говорим „человек бежит“, термин „человек“ стоит вместо Сократа, Платона или кого-нибудь другого. Поэтому сигнификация является первичной по отношению к суппозиции, и они не являются одним и тем же, так как сигнификация — это свойство слов, а суппозиция — это свойство термина, состоящего из голосового звука и соотнесенного с частным значением». <sup>81</sup> Иными словами, Петр Испанский, хотя и не вполне последовательно, проводит мысль о том, что сигнификация — это значение слова самого по себе, взятого вне определенного контекста, а суппозиция — это значение слова, в определенном, конкретном контексте.

Петр Испанский различал разные виды суппозиций. Его классификация суппозиций в дальнейшем подвергалась многократной переработке. Отметим, некоторые из ее видов: <sup>82</sup>

Общая суппозиция (*suppositio communis*) состоит в обозначении предмета посредством общего термина. В высказывании «Человек бежит» подлежащее стоит в *suppositio communis*. До Петра Испанского этот вид суппозиции (как, впрочем, и многие другие) исследовал Уильям Шервуд.

Единичная суппозиция (*suppositio discreta*) присуща подлежащему в высказывании «этот человек бежит». Синонимом для *suppositio discreta* является выражение *suppositio singularis*.

Персональная суппозиция (*suppositio personalis*) есть употребление общего термина в отношении всего того, что ему подчинено. Например, в высказывании «Сократ — человек» термин «человек» как сказуемое стоит в *suppositio personalis*.

Материальная суппозиция (*suppositio materialis*). Здесь термин используется для обозначения самого себя. Например, в предложении «„Земля“ состоит из пяти букв» термин «земля» обозначает слово (а не вещь!) и употреблен в *suppositio materialis* как имя, выступающее не вместо лингвистического объекта, а для обозначения самого себя. Таким образом, Петр Испанский принимает здесь положение, исходящее из различения десигната (того, что обозначается) и самого обозначения. В тех случаях, когда имеет место обозначение термином предмета, отличного от самого этого термина, возникает формальная суппозиция (*suppositio formalis*): например, в предложении «Земля круглая» термин «земля» обозначает в действительности существующий объект — земной шар, который надо обозначить.

Историки логики уже обращали внимание на то, что классификация суппозиций у Петра Испанского далека от полной ясности.

---

<sup>81</sup> Цитируется по: R i j k L. M. De. Logica modernorum, v. 2, pt. 1, p. 556, p. 567.

<sup>82</sup> Описание видов суппозиций заимствовано из работы: П о п о в П. С., С т я ж к и н Н. И. Развитие логических идей. . . , p. 187—188.



Так не всегда понятно, о чем собственно идет речь: то ли о синтаксических функциях слов, то ли о семантических. По поводу соображений Петра Испанского относительно различных видов суппозиций И. Бохеньский замечает, что если «поставить вопрос, можно ли средствами современной терминологии передать выражение „суппозиция“, то окажется, что это невозможно. Под суппозицией скрывается такое многообразие семиотических функций слова, которое теперь нет возможности передать одним термином. Очевидно, что некоторые суппозиции входят в область семиотики, таковы материальная и персональная суппозиции. Роль других суппозиций не семантическая, а синтаксическая».<sup>83</sup>

Петр Испанский рассматривал также процедуры «расширения» (*ampliatio*) и «ограничения», или «сужения» (*restrictio*), объемов терминов, т. е. возрастание или сокращение числа вещей, для которых возможна суппозиция. Присоединение к данному термину прилагательного, естественно, суживает объем этого термина. В приведенном Петром Испанским примере *Homo musicus currit* (букв. «Музыкальный человек бежит») слово *homo* из-за своей сочетаемости с *musicus* имеет ограниченные возможности замещения. Напротив, в другом примере — *Homo potest esse Antichristus* «Человек может быть антихристом» слово *homo* может относиться ко всем людям вообще из-за его сочетаемости с модальным глаголом *potest*; это пример амплификации суппозиции.

Петр Испанский рассуждает далее о взаимоограничении слов в конструкциях. В том же примере *Homo musicus currit* слово *homo* никоим образом не является субститутом для «людей немusических», а слово *musicus*, в свою очередь, не может быть истолковано по отношению к чему-либо, кроме людей.

Следует подчеркнуть, что именно суппозиция, а не сигнификация может быть амплифицирована или ограничена. Это является следствием дуалистического объяснения значения Петром Испанским, которое различает понятийное содержание (т. е. сигнификацию) и индивидуальные примеры, с которыми понятие соотносится (т. е. суппозицию). Сигнификация слова состоит из основных необходимых факторов, извлеченных с помощью осмысления из многих индивидуальных примеров. Сигнификация, как он ее объясняет, выражает связь между словом и понятием, и это понятие служит непосредственным значением термина; суппозиция осуществляет связь между словом и конкретными вещами, с которыми понятие может быть соотнесено.

Проведенное Петром Испанским различие между значениями, передаваемыми корнями слов, и значениями, передаваемыми аффиксами, которые могли сочетаться с корнями, отражено в понятиях главной сигнификации и консигнификации, или дополнительной, добавочной сигнификации. Конечно, Петр Испанский не умел еще проводить четкое разграничение между корнями и аффиксами,

<sup>83</sup> Цитата заимствована из книги: П о п о в П. С., С т я ж к и н Н. И. Развитие логических идей. . . , с. 191. Речь идет о работе: В о с ч е ё с к и I. Formale Logik. Freiburg i München, 1956.

как и другие грамматики его времени: он выделяет корень *am-* и аффиксы *-o*, *-ans*, *-ator/-or* и *-abilis* в производных *amo*, *amans*, *amator* и *amabilis*, говоря, что все эти слова имеют главную сигнификацию 'любить' в самом общем значении этого слова, дополненную сигнификацией аффиксов. Так, среди консигнификаций *amo* имеется «1-е лицо», «един. число», «актив», «настоящее время»; отсюда следует, что консигнификациями были те самые грамматические акциденции, которые выделялись традиционным языкознанием предшествующих периодов. Если из пары суппозиция—сигнификация, как мы видели, поддается амплификации или ограничению только первый член противопоставления, то в паре сигнификация—консигнификация только один, последний член противопоставления может быть или амплифицирован, или ограничен. Например, среди консигнификаций слова *amabilis* 'любимый' и ему подобных имеются 'любое лицо', 'един. число' и 'мужской или женский род'. В конструкции типа *Petrus est amabilis* консигнификация *amabilis* ограничивается 'третьим лицом' и 'мужским родом'.

Рассмотрение семантической теории Петра Испанского будет неполным, если не коснуться термина «апелляция» как противопоставленного сигнификации и суппозиции. Апелляция — это отношение слова к реально существующему объекту, и это определение отличает апелляцию от двух других терминов, сигнификации и суппозиции, поскольку они оба использовались в равной мере как в отношении вещей существующих, так и несуществующих. В некоторых случаях сигнификация, суппозиция и апелляция совпадают (например, в названии живого лица), в других случаях — не совпадают (например, когда речь идет об умершем лице или о мифическом персонаже). Но, как правило, эти три термина означают различные вещи, например в высказывании типа *Homo currit*. Сигнификацией *homo* является 'человек вообще', или 'разумное животное'. Так как *homo* сочетается с *currit*, суппозиция *homo*, которая может включать всех людей вообще, поскольку способность к бегу свойственна всем людям, ограничена одним человеком, который действительно бежит в настоящее время. Его апелляцией может быть только этот единственный, действительно существующий бегущий человек.

Поскольку труд Петра Испанского преследовал ограниченную цель, которая касалась формализации латыни для нужд логики и диалектики, автор сосредоточил свое внимание на довольно скудном наборе форм и конструкций латинского языка. Но даже этот незначительный материал привел его к мысли, что изучение частей речи может быть успешным при условии, если они будут рассматриваться не изолированно, а в конструкциях, в которых они действительно встречаются. Он был вынужден признать, что между категорематическими и синкатегорематическими словами <sup>84</sup>

<sup>84</sup> Понимание этих терминов Петром Испанским восходит к стоическому употреблению термина *kategorēma* для определенных форм глагола, рассма-

нет непреходимой грани. Например, слово, подобное латинскому *solus* 'единственный', может быть категорематическим или синкатегорематическим в зависимости от конструкции. В предложении *Petrus est solus* 'Петр один' оно категорематично; в предложении типа *Petrus solus scribit* 'Один Петр пишет' — синкатегорематично.

Интересным представляется различие, проводимое Петром Испанским, между такими синтаксическими понятиями, которым в современном языкознании соответствуют понятия предложения и словосочетания: *Oratio*<sup>85</sup> является «условно значащим выражением, чьи части имеют самостоятельное значение. . . Завершенное *oratio* создает представление о полной (законченной) мысли в уме слушающего, незавершенное — не создает, например «человек бежит», «белый человек»».<sup>86</sup>

Завершенное *oratio*, или предложение, в соответствии с классификацией, принятой Петром Испанским, может быть декларативным, императивным, оптативным (*Utinam bonus clericus essem* 'О, если бы я был хорошим монахом!') и субьюнктивным (*Si veneris ad me, tibi dabo equum* 'Если придешь ко мне, дам тебе коня').<sup>87</sup> Из них только декларативное называется *propositio*, предложение, которое обозначает истинное или ложное суждение, утверждение или отрицание чего-либо относительно некоей другой вещи. Таким образом, и здесь Петр Испанский, по-видимому, хочет обозначить различие между логическим и грамматическим определениями предложения, но делает это скорее им-

---

тривавшихся как типичные предикаты. К категорематическим он относит любое слово, которое может стоять как субъект или предикат; все остальные слова, особенно те, которые не являются существительными и глаголами, обычно относятся к синкатегорематическим. Очевидно, что то же самое различие проводил Аристотель между *опота*, *ghema*, с одной стороны, и *syndesmoi* — с другой, хотя у Петра Испанского оно, возможно, имеет более грамматические основания. Выделение Аристотелем, наряду со «значащими», так же «незначащих» (служебных) слов является само по себе выдающимся достижением в области языковых исследований; но, отказывая служебным словам в каком бы то ни было значении, Аристотель лишал их не только предметного, вещного значения, которое он имел в виду, но также и грамматического значения, представления о котором у Аристотеля еще не было. — См. об этом: П е р е л ь м у т е р И. А. Аристотель. История лингвистических учений. Древний мир. Л., 1980, с. 171.

<sup>85</sup> Это слово чрезвычайно трудно для перевода с терминологической точки зрения. Наиболее подходящим аналогом его в русском лингвистическом словаре является, скорее всего, «высказывание».

<sup>86</sup> Цитируется по: D i e e n Fr. P. An Introduction. . . , p. 135.

<sup>87</sup> Напомним, что Аристотель выделял следующие типы предложений: утверждение и отрицание, повествовательное и побудительное. «Предметом исследования в логическом трактате „Об истолковании“ он делает только такие предложения, в которых заключается истинность или ложность чего-либо, „остальные виды предложений здесь выпущены, ибо исследование их более приличествует риторике или поэтике“ (4, 5). Характерно, что в этом контексте Аристотель даже не упоминает о грамматике» (П е р е л ь м у т е р И. А. Аристотель. — В кн.: История лингвистических учений. Древний мир. Л., 1980, с. 176).

плицитно, чем в строгих формулировках. Вероятно, он сознавал, что грамматическое определение предложения должно охватывать все многообразие различных конкретных типов в противовес определению логическому, под которое подходит лишь ограниченный набор высказываний, но отказаться от привычных канонов он был не в состоянии.

Логическое направление в изучении грамматики, разработавшееся в трудах Петра Гелийского, Петра Испанского и других средневековых мыслителей, тесно связано с основными идеями грамматического учения модистов, деятельность которых представляла собой дальнейшую ступень в развитии логической грамматики.

Период с IX по XIV в. в Западной Европе часто представляют себе как эпоху «темного времени», эпоху полного упадка науки и культуры во всех ее проявлениях. Это представление не совсем правильно. Скорее, это было время создания принципиально новой культуры, новой науки, которая хотя и опиралась на науку античности в той мере, в какой та была доступна ученым западного мира, но и создавала собственные научные направления и собственные концепции. Быть может, философы и писатели Западной Европы этого времени и уступали в мудрости мыслителям античного мира и блеску литературной плеяды Древнего Рима — авторы средневековья далеки от отточенности стихов Горация, Вергилия и Овидия, от блеска речей Цицерона. Но в условиях феодальных государств, в условиях постоянных военных столкновений как с внешними врагами, так и между феодальными властителями внутри страны, в условиях феодальной экономики, периодически приводившей народы к голоду и нищете, в условиях, когда образованность была доступна немногим, все же живая мысль, мысль исследующая и творящая, не погибла и приносила плоды раздумий и трудов многочисленных, правда, но увлеченных наукой мыслителей, творцов научных концепций на доступном им в то далекое время уровне науки.

Наука западного средневековья сосредоточивалась в философских школах, организуемых отдельными учеными в монастырях, аббатствах, в крупных городах. Для занятий в этих школах стекалась молодежь из близких и далеких мест, иногда не только из других городов, но и из других стран. Обучение в школах осуществлялось учеными-философами, чаще всего имевшими духовное звание.

Обучение проходило по двум циклам. Тривиум включал философию (или, как ее называли тогда, логику или диалектику, в которую входили и понятия философии языка), риторику и грамматику. В квадравиум входили арифметика, геометрия, астрономия и музыка.

Примерно к XIII в. центрами образованности стали университеты, которые к этому времени уже были во многих крупных европейских городах — в Париже, Тулузе, Толедо, Саламанке, Неаполе, Оксфорде, Кембридже.

Средневековые науки были пропитаны теологией, ибо на первом месте стояло изучение Св. писания и неукоснительное подчинение научных теорий христианской догматике. Преподавание в философских школах и в университетах находилось под неусыпным наблюдением церковных властей.

Деятельность ученых протекала в условиях соперничества и боязни перед возможностью преступить в своих научных утверждениях каноны религии, что жестоко каралось, вплоть до отлучения от церкви, запрещения преподавать и изгнания из страны.

Центром учености Средних веков в Европе был Париж, в котором жили и работали многие из великих умов своего времени, стекавшихся в этот признанный центр науки из разных мест. Так, знаменитый Ансельм, ставший под старость епископом Кентерберийским, и Фома Аквинский, представитель ортодоксальной схоластики, были итальянцами, Росцеллин и Абельяр родились в Бретани, Эриугена — создатель первой идеалистической философской системы в Европе — был шотландцем (по другой версии — ирландцем; точных сведений о месте его рождения нет), Оккам, последний схоласт, — англичанин.

Устное преподавание чередовалось с написанием трактатов. По форме они, написанные на средневековом латинском языке, представляли собой либо комментарии к работам древнегреческих философов, в основном Платона и Аристотеля, и к работам их комментаторов, например Порфирия и Боэция, либо писались в стандартной форме вопросов и ответов. Эта форма, однообразная и монотонная, создала схоластике плохую репутацию «засушенной» и «бескрылой» науки. Однако часто за этой действительно не слишком привлекательной формой скрывалось глубокое содержание, отражающее живую творческую мысль.

\* \* \*

Правда, вряд ли можно говорить о создании законченной лингвистической теории в Западной Европе позднего средневековья (IX—XIV вв.); отдельные высказывания философов того времени по вопросам языка часто оказываются отрывочными, иногда даже противоречивыми, так что создание общей картины их взглядов на язык затруднительно. Отдельной науки языкознания в Западной Европе не было и еще очень далеко было то время, когда она будет создана. Ученые Средних веков были философами, и их научные интересы, помимо обязательной теологии, разделялись по типу тех двух комплексов наук, которые составляли основу образованности.

Но прежде всего следует иметь в виду, что какие бы научные проблемы ни привлекали ученого, решение их ни в коем случае не должно было противоречить догмам религии.

Недостаточная расчлененность науки приводила к тому, что вопросы, которые сейчас считались бы относящимися к разным наукам, в то время объединялись в пределах одной, представляя лишь разные ее стороны.

Вопросы, касающиеся языка, его отношения к человеческой мысли, его функционирования как средства ее передачи, его связи с миром понятий, его отношения к вещам, т. е. то, что сейчас мы назвали бы «философией языка», в Средние века относили к философии, которую, впрочем, называли логикой или диалектикой. Отношение средневековых схоластов к проблемам языка становится понятным лишь в том случае, если рассматривать его сквозь призму их философских взглядов. Поэтому необходимо прежде всего составить себе некоторое, хотя бы суммарное, представление о том, как ими решались основные вопросы философии. Из философских вопросов языка ученых того времени интересовали главным образом вопрос о природе абстрактных понятий и об их отношении к языку, и вопрос об именовании вещей, причем природа общих понятий (или «универсалий») и их отношение к конкретным вещам и к языку получали различные толкования в трактатах средневековых ученых в зависимости от их принципиально философских позиций.

Можно предположить, что вопрос о происхождении языка, который будет волновать философов эпохи Возрождения и позже, ученых Нового времени, не ставился в схоластической философии по причине подчинения ее теологии. Научные проблемы, обсуждавшиеся учеными Средних веков, не могли выходить за пределы определенных рамок, которые были установлены религиозной догмой, согласно которой все существующее есть творение бога. Им сотворен мир, им сотворен человек, им сотворена способность человека мыслить (в отличие от животных), ибо человек создан «по подобию божию», им же создан и человеческий язык для того, чтобы люди могли общаться, чтобы человек мог формулировать свои мысли и славить бога. Следовательно, происхождение языка — божественно и не подлежит обсуждению. Другое дело — именование вещей, т. е. почему одна вещь носит одно имя и именно оно, а другая — другое, этот вопрос мог служить предметом изучения. Но центральное место отводилось вопросу о природе универсалий, т. е. общих понятий.

\* \* \*

Кардинальной проблемой научного языкознания является, как известно, проблема взаимоотношения языка и мышления. И языкознание здесь не одиноко. В наше время этот вопрос входит в проблематику не только философии и филологии, но и биологии, медицины, в частности психиатрии; делаются попытки с помощью ЭВМ конструировать искусственный интеллект.

Поиски методов и возможностей проникнуть в глубины человеческой мысли, стремление выявить механизмы, управляющие ее движениями и обуславливающие результаты этой деятельности, воплощенные в терминах языка, издавна волновали человечество. Задолго до того, как возникла собственно языковедческая наука, представленная как философия языка, — позднее, как сравни-

тельно-историческое языкознание, — древние и средневековые ученые вплотную подходили к обсуждению основных проблем науки о языке.

Философские взгляды средневековых ученых складывались под влиянием доступных им произведений античных мыслителей в той мере, в какой этому не препятствовала христианская догма, часто в результате полемики с положениями античной философии, которые оказывались неприемлемыми для них как представителей христианской религии. Однако влияние церковной догматики не могло полностью сковать движение научной мысли, и схоласты иногда выходили за пределы, поставленные богословием. Философская мысль средневековья не была вполне самостоятельна, она была связана с философией античности, главным образом с идеями Платона и Аристотеля. Впрочем, произведения античных мыслителей были известны схоластам далеко не все и часто из вторых рук. Они доходили до них из работ неоплатоников, например «Категории» Аристотеля были известны из переводов и Комментариев Порфирия (III в. н. э.), из работ Боэция (480—525 гг.), который наряду с собственными сочинениями комментировал ряд логических трактатов Аристотеля и его комментатора Порфирия.

Особо сильное влияние на взгляды средневековых философов оказывали платоники и неоплатоники. Одним из главных проводников античной мысли оказался неоплатонизм, пропитанный мистическим спиритуализмом и гностическими суевериями. Свободное развитие философской мысли тормозилось авторитетом церкви, не допускавшей отступлений от тезисов христианской догмы, устанавливавшей божественное происхождение мира. Любая философская проблема непосредственно связывалась с богословскими проблемами и должна была решаться в духе последних. «Основой философского мировоззрения были идеалистическая космогония, философия истории, антропология и этика, представлявшие сложный и противоречивый сплав элементов восточных, древнееврейских и греческих религиозно-философских построений».<sup>1</sup>



С позиций марксистско-ленинской философии создание общих понятий в сознании человека рассматривается как результат процесса абстрагирующей работы человеческой мысли: «Мышление, восходя от конкретного к абстрактному, — писал В. И. Ленин, — не отходит, — если оно правильное. . . — от истины, а подходит к ней; абстракция материи, закона природы, абстракция стоимости и т. д., одним словом, все научные. . . абстракции отражают природу глубже, вернее, полнее».<sup>2</sup> С точки зрения онтологии общее (абстрактное) и единичное (конкретное) равноценны. «В разработке понятий единичных предметов роль мышления никак

<sup>1</sup> Александров Г. Ф. История философии, с. 413.

<sup>2</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 152.



не меньше, чем в выработке общих понятий. И те, и другие — результат абстрагирующей деятельности мышления, возникновение в голове человека мощной классификационной системы».<sup>3</sup>

Оперируя абстракциями в практике научных рассуждений, люди издавна задавались вопросом о том, какова природа общих понятий, каково их отношение к конкретным предметам и к человеческой мысли. Во Введении к «Категориям» Аристотеля<sup>3а</sup> его комментатор неоплатоник Порфирий (233—304 гг.) ставил себе вопрос: «Существуют ли они (роды и виды, т. е. общие понятия, — *E. P.*) самостоятельно, или же находятся в одних только мыслях, и если они существуют, то тела ли это, или бестелесные вещи, и обладают ли они отдельным бытием, или же существуют в чувственных предметах и опираясь на них?» (*Mox de generibus et speciebus illud quidem sive subsistant sive in solis nudis intellectibus posita sint, sive subsistentia corporalia sint an incorporalia, et utrum separata a sensibilibus an in sensibilibus posita et circa haec consistentia, dicere recusabo. Altissimum enim negotium est hujusmodi, et majoris egens inquisitionis*) «... я отказываюсь сказать. Ибо это очень трудное дело и требует более глубокого исследования».<sup>4</sup>

Можно сказать, что вся схоластическая философия имела начало именно в этом знаменитом вопросе Порфирия о природе «родов» и «видов», т. е. общих понятий. Именно этот вопрос стоял в центре внимания философских школ Западной Европы вплоть до эпохи Возрождения.

В современной науке поиски механизмов формирования общих понятий, роль их в мыслительном процессе, в познании мира, отношения между ними и единичными вещами приводят к рассмотрению абстракций второй ступени, абстракций, выведенных из других, предваительно созданных обобщений. В наше время «теоретические утверждения делаются, как правило, не относительно доступных чувственному восприятию конкретных вещей, а относительно абстрактных (теоретических) объектов, являющихся логической реконструкцией реальности».<sup>5</sup>

В Средние века вопрос ставился иначе, ограниченнее. Предметом научного поиска и обсуждения являлись абстракции первой ступени, абстракции, выведенные из единичных объектов, доступных чувственному восприятию.

Спор о природе универсалий (общих понятий) между двумя направлениями философии — реализмом и номинализмом — продолжался в течение пяти столетий и волновал умы ученых нескольких поколений. В этом споре определились два основных направления средневековой философии. Главным предметом спора

<sup>3</sup> Ледников в Критический анализ номиналистических и платонических тенденций в современной логике. Киев, 1973, с. 5—6.

<sup>3а</sup> Аристотель. Категории. М., 1939, с. 53.

<sup>4</sup> Cousin V. Ouvrages inédits d'Abélard / Publ. par V. Cousin. Paris, 1835, *Introd.*, p. LXI.

<sup>5</sup> Ледников. Критический анализ... с. 7.

служило определение природы общих понятий («универсалий»). Одни считали, что универсалии представляют собой реально и самостоятельно существующие духовные сущности, независимые от вещей и предшествующие им. Это направление носило название «реализма». Другие же утверждали, что общие понятия — это только слова, «имена», являющиеся порождением человеческого ума и языка, реальное же существование имеют лишь конкретные вещи. Отсюда название этого направления — «номинализм».

Представляя себе общие понятия реально существующими, реалисты относили к ним абстракции всех типов, включая качества, которые тем самым мыслились как самостоятельные субстанции. Так, цвет, мудрость, добродетель, справедливость и т. п. превращаются в отдельные духовные сущности. Отсюда следует, что реализм, который в теории отрицал реальное существование индивидуальных вещей, относя к ним абстракции, увеличивал их число.<sup>6</sup> У истоков спора между реализмом и номинализмом стоят два великих ума древнего мира — Платон и Аристотель. Первый утверждал, что «идеи» не зависят от человеческого ума, но являются самостоятельными реальными и вечными сущностями. Для Аристотеля «роды» и «виды», т. е. общие понятия, зависят от единичных конкретных вещей, в каких они и пребывают.

Причина особой остроты спора между номиналистами и реалистами средневековья заключалась в том, что философия и теология Средних веков были неразделимы и в споре поднимались вопросы, непосредственно касающиеся религиозной догмы и подтачивающие ее непоколебимую в глазах церкви истинность.

Спор протекал в форме устного преподавания в философских школах и письменных трактатов, в огромном числе случаев представлявших собой комментарии к работам предшественников и античных философов. Так, например, отношение Порфирия к обсуждаемым вопросам известно из его комментария к «Категориям» Аристотеля и из комментария к нему Боэция. Взгляды Боэция выясняются из его комментария к Порфирию и из произведений Абеляра, обсуждавшего в своих трактатах эти взгляды.

Нужно заметить, что стройных, последовательных философских систем средневековые философы не создавали, во всяком случае не оставили их нам в написанном виде. Но, разумеется, возможно воссоздание их философских взглядов по тем трактатам и комментариям, которые до нас дошли.

Что касается проблемы соотношения языка и мышления и собственно работ по языку, то ни номиналисты, ни реалисты не создавали последовательных общелингвистических ни даже грамматических теорий в собственном смысле слова. Они обращались к языку в тех случаях, когда это давало возможность создания более обоснованной аргументации в споре с противниками. Они включали в свои рассуждения (иногда писали даже отдельные

---

<sup>6</sup> См.: R o u s s e l o t X. Etudes sur la philosophie dans le Moyen-Âge. Paris, [s. d.], pt. 1, p. 238.

работы) вопрос о языке в первую очередь как о средстве воплощения мыслительных представлений и мыслительного процесса в целом и именованя вещей. Отсюда в круг их интересов попадали вопросы о значении слов, об отношении слов и предложений к обозначению конкретных вещей и общих понятий, об отношении слов к предложению и предложения к мысли; обсуждался вопрос об истинности и ложности предложений, т. е., как правило, авторы редко выходили за рамки проблем философии языка, такой, какой она была в Средние века.

Что до грамматических теорий, то они, как правило, принимались, но и обсуждались так, как они были представлены в трудах поздних римских грамматистов — Присциана (V в.) и Доната (IV в.), которые пользовались огромным авторитетом на протяжении всего средневековья.

Спор между реалистами и номиналистами велся издавна, хотя в первое время не носил характера острой полемики. Так, в IX в. известен реалист Иоанн Скот Эриугена (810—877), сторонник «реализма», создавший первую идеалистическую концепцию своего времени.

В этом же веке ученик Алкуина, архиепископ Майнца, бенедиктинец Рабан Мавр (Rhabanus Maurus) (784—856 гг.), написавший, как и в свое время Боэций в VI в., в числе многих других трактатов комментариев к Порфирию, четко изложил аргументы номиналистического взгляда на природу универсалий: «Род, — писал он,<sup>7</sup> — о котором говорит Порфирий, не может быть родом самим по себе, но является понятием, словом „род“, поскольку им обозначается род. Род — это то, что говорится о чем-либо», а слово «говорится» приложимо к словам, к именам, а не к вещам, так как вещь не может «говориться», т. е. произноситься. Введение Порфирия к «Категориям» Аристотеля, пишет он дальше, должно по духу соответствовать самому этому труду; а в «Категориях» Аристотель говорит не о вещах, а о словах. Это мнение и Боэция, который в своих «Комментариях» называет «категории» «именами». Рабан принимает окончательную позицию Боэция: роды и виды не реальны, отдельные вещи, индивидуумы — реальны; универсалии — это только сходства между вещами, рассматриваемые абстрактно.

Таким образом, мнения Боэция и Рабана совпадают: род есть не что иное, как концепт (*cogitatio*), образованный из сходства многих видов, сравниваемых между собой (*genus est cogitatio collecta ex singularium similitudine specierum*).<sup>8</sup>

В IX и X вв. «Органон» Аристотеля изучался по переводу Боэция. В вопросе о природе родов и видов преобладало решение перипатетиков.

<sup>7</sup> См.: Cousin V. *Ouvrages inédits d'Abélard*. Paris, 1836, *Introd.*, р. LXXVII—LXXXVI. (Рукопись Сен-Жермен-де-Пре, 1310, Лист 86, г<sup>о</sup>, стл. 1).

<sup>8</sup> *Ibid.*

Но пока вопрос не выходил за пределы философских рассуждений. Лишь когда они столкнутся с вопросами религии и политики, они приобретут огромное значение. В IX и X вв. это было еще пока различным толкованием источников.

\* \* \*

Выдающимся произведением средневековой схоластической философии является учение Иоанна Скота Эриугены (810—877),<sup>9</sup> навеянное философскими взглядами Платона.

Учение Эриугены представляет собой законченную идеалистическую систему, в которой переплетены богословские и философские положения. Истинная философия и истинная религия, — утверждал Эриугена, — одно и то же.<sup>10</sup>

Эриугена защищал основные положения «реалистов», заключающиеся в том, что универсалии, т. е. общие понятия («роды» и «виды») не только реальны, но существуют раньше конкретных единичных вещей. Они существуют реально в виде духовных сущностей. Истинно сущий мир образован иерархическим сочетанием общих понятий. Мир единичных конкретных вещей — это мир кажущийся, видимость мира идеального. Универсалии же — это обособленные от человеческой мысли и ото всей природы самостоятельные, реальные и вечные сущности, пребывающие в божественной мысли. Своею мыслью бог творит «вещи».

Основные трактаты Эриугены — «О разделении природы», «О предопределении» и перевод работ Дионисия Ареопагита.

Эриугена во всех своих рассуждениях исходит из первичности духа и разума. «Разум вместе с природой и временем произошел из первоначала вещей».<sup>11</sup> Бог — бытие, мыслимое в его абсолютном единстве. Мир — бытие расчлененное. Творение — это расчленение того, что заключает в себе божественное единство.

Однако трактат «О разделении природы» в 1225 г. был осужден на сожжение как опасное «лжеучение», ибо Эриугена высказывал в нем такие неприемлемые для церкви мысли, как «творец и сотворенное — есть одно и то же» и «бог есть все, и все есть бог». Эти идеи носили явно пантеистический характер.

Эриугена настолько высоко ценил разум, что считал достойным признания лишь такой авторитет, который «происходит из истинного разума. Ибо слаб авторитет, не подкрепленный истинным разумом, который сам не нуждается в подкреплении авторитетом».<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Трахтенберг О. В. Очерки по истории западноевропейской средневековой философии. М., 1957, с. 18—20.

<sup>10</sup> Joanni Scoti Erigenae. «De divisione naturae, libri V», lib. 1; См.: Hauréau. De la Philosophie scolastique. Paris, 1850, t. 1, p. 113; Rousselot X. Etudes de la philosophie dans le Moyen-Âge. Paris, 1846, t. 1, p. 28—62.

<sup>11</sup> Erigenae I. S. «De divisione naturae, libri V», lib. 1, p. 69 (цит. по: Hauréau. De la Philosophie scolastique, t. 1).

<sup>12</sup> Цит. по: Hauréau. De la Philosophie scolastique, t. 1, p. 113.

Однако у Эриугены можно найти высказывания и иного характера, например: «Так же верно сказать, — говорит философ, — что человеческий разум может познать самое себя, как и то, что он не может этого сделать, так как разумом человек понимает, что он не знает, что такое разум» (*Utrumque verum esse ratio perdocet: humana siquidem mens et seipsam novit et seipsam non novit, novit quidem quia est, non autem novit quid est*).<sup>13</sup>

Философия Эриугены близка к пантеизму и мистицизму. «Центральная задача познания состоит в том, писал Эриугена, чтобы природу всех вещей, какие только могут быть постигаемы, разделять, соединять, расчленять, указывать собственное место каждой вещи».<sup>14</sup> Для него — разделение на «роды» и «виды» основано на «природе вещей» и «единстве субстанции». Мир распадается на 4 «природы»: 1) природа несотворенная и творящая — это бог, творец мира; 2) природа сотворенная и творящая — это идеи в уме и слове божьем; 3) природа сотворенная и нетворящая — это чувственный мир вещей; 4) природа несотворенная и нетворящая — это бог как конечная цель мира.

Эриугена считается первым создателем последовательной идеалистической философской системы средневековья. Его влияние на последующие поколения велико, так же как велико было влияние на него философии Платона и отцов церкви.

В вопросе определения природы вещей он стоит у истоков средневекового реализма. Стремясь выяснить «природу вещей», он приходит к убеждению, что первопричина всего — бог, и все живое, им сотворенное, вернется к нему; отсюда и его пантеистическая формула: «бог есть все, и все есть бог».

\* \* \*

В ранней схоластике — в период от IX по XI в. — философы еще не переступали в своих рассуждениях границ, поставленных теологией, а если иногда и делали это, то, как правило, в неявной форме. Впрочем, уже само утверждение Ансельма Кентерберийского, что «бытие бога может быть доказано разумом» предсказывало предстоящий отход от безоговорочного признания непогрешимости религиозных догматов и во всяком случае говорило о признании роли разума в жизни человечества и в познании мира, т. е. свидетельствовало о рационалистической окраске философской мысли, хотя и подчиненной пока еще теологии.

Ансельм, епископ Кентерберийский (1033—1109), принадлежал к «реалистам», считавшим, что общие понятия (универсалии) существуют до вещей и вне их в уме бога.<sup>1</sup> Это — точка зрения «крайних» реалистов, несомненно возникшая из сочетания христианских представлений о боге и философии Платона, полагав-

<sup>13</sup> E. Rigdenae I. S. «De divisione naturae, libri V», lib. 4, Oxford, 1681.

<sup>14</sup> Цит. по: Трахтенберг О. В. Очерки по истории западноевропейской средневековой философии, с. 18—19.

<sup>15</sup> Александров Г. Ф. История философии, с. 424.

шего, что не только всякая «вещь» имеет имя, но и всякому имени непременно должна соответствовать «вещь». Между вещами и словами существует самая тесная связь.<sup>16</sup> Поэтому раз есть слово и понятие «справедливость», существует и вещь, отвечающая этому понятию. Ансельм писал: «Никакое существо не может быть справедливо иначе, как в силу существования справедливости самой по себе . . . самое существо бога составляет то, что другие вещи содержат в себе как качество».<sup>17</sup> Всем словам, обозначающим общие понятия, отвечают реально существующие вещи; так, если есть слово «дерево», то и в реальности должны существовать не только отдельные виды деревьев — сосна, ель, береза, но и «дерево вообще». Согласно этому взгляду, общие понятия (универсалии) оказывались мыслимыми как реальные вещи.

Утверждая существование общих понятий «до конкретных вещей», реалисты помещали их, как идеи, в уме бога, видели в них проявление божественного разума, мировой души. На этих представлениях строились и основные положения теории познания. Поскольку «общее» — есть подлинная реальность, оно должно постигаться не чувственным восприятием, которому доступны лишь конкретные, единичные вещи, а сверхчувственным разумом, деятельность которого в процессе познания необходима.<sup>18</sup>

Реализм XI в. — в лице крупнейшего его представителя Ансельма Кентерберийского повторяет в сущности то, что уже было высказано значительно раньше Эриугеной, который находился под тем же двойным влиянием — идеалистической теории Платона, с одной стороны, и богословскими представлениями о творце мира, боге — с другой. Ансельм — реалист, но он так же, как Эриугена, высоко ставил человеческий разум, считал его средством познания: *ratio quae princeps et iudex omnium debet esse*<sup>19</sup> «разум, который должен быть всеобщим властителем и судьей».

Уверенный в реальности универсалий, Ансельм был прав, утверждая реальность человеческого рода, отличную от реальности отдельных индивидуумов, из которых он складывается. Но он ошибался, считая, что человеческий род реален независимо от слагающих его индивидуумов и «до них».

Рационалистический оттенок учения Ансельма сказывается также в том, что он пытался доказать, что даже бытие бога — этот краеугольный камень теологии — может быть доказано разумом. Однако и в этом утверждении, разумеется, нет и тени сомнения в существовании бога, есть лишь уверенность в силе человеческого разума, который способен доказать это существование.

---

<sup>16</sup> Anselme. *Monologium sive exemplum meditando de ratione fidei* (цит. по: Фуллье. История схоластики. — В кн.: Виндельбанд В. История древней философии. СПб., 1898, с. 365).

<sup>17</sup> И в а н о в с к и й В. Н. Мистика и Схоластика XI—XII вв.: Ансельм Кентерберийский, Абеляр, Бернард Клервосский. М., 1897, с. 11.

<sup>18</sup> А л е к с а н д р о в Г. Ф. История философии, с. 416.

<sup>19</sup> Цит. по: Cousin V. *Ouvrages inédits d'Abélard. Introd.*, p. CII, CVII.

Ансельм писал: <sup>20</sup> «не для того следует понимать, чтобы верить, а следует верить, чтобы понимать» (*neque enim quaero intelligere, ut credam, sed credo, ut intelligam*).

Формула рационализма «реалистов», учитывающая «истинность» религиозной догмы, гласила: «Все, что разумно, должно быть доказуемо. Все недоказуемое не может быть разумным». Таким образом, церковь могла считать утверждения даже философ-реалистов опасными, так как официальная религиозная догма утверждала: «Истины веры не могут быть доказываемы или опровергаемы, ибо они не подлежат по самой своей природе суду разума».

Рационализм Ансельма подчинен богословию, что явствует уже из того, как он доказывал бытие бога: бог есть высшее совершенство. Как совершенство он должен обладать всеми качествами и состояниями, в том числе и состоянием существования. Если бы он не обладал этим состоянием, он не был бы совершенством. Так как он есть совершенство, значит он обладает и состоянием существования. Значит он существует.

Для Ансельма — бог есть высшее абсолютное бытие, благодаря которому существует все сущее. Бог создал мир из ничего. До создания мира вещи предвечно существовали в уме бога. Подобно тому как мысль есть внутренняя речь в человеке, образы вещей есть внутреннее слово бога. И все сотворенные богом вещи суть отображение божьего слова.<sup>21</sup> Отсюда и обожествление самого слова.

Интерес к выяснению отношения между мышлением человека и языком, служащим для формулирования человеческой мысли, неизбежно приводил философов средневековья, как, впрочем, и древности, к попытке объяснения природы языка. Ансельм не представлял собой исключения, и основной темой его трактата «*De Grammatico*»<sup>22</sup> является значение и употребление слов. Философ обсуждает проблему паронимов. В понимании термина «пароним» Ансельм следует Аристотелю: пароним — имя, являющееся производным от другого имени, но отличающееся от него окончанием. Так, слово *grammaticus*, происходя от слова *grammatica*, является его паронимом (Категории, I). Так же как у Присциана, термин «имя» охватывал для Ансельма весьма широкий круг слов, в том числе и паронимы, которые относились им к именам. Ансельма интересует возможность для паронимов обозначать как субстанцию, так и качество.

Трактат построен по обычной для средневековых философских произведений форме диалога между учителем и учеником. Вопрос,

<sup>20</sup> Александров Г. Ф. История философии, с. 427.

<sup>21</sup> См.: там же, с. 415, 428, 429.

<sup>22</sup> См.: Ненгу D. P. 1) Saint Anselm's «*De Grammatico*». — *The Philosophical Quarterly*, vol. 10, N 39, 1960; 2) *The «De Grammatico» of St Anselm*. Notre Dame U. S. A., 1964; латинский текст цитируется по этому изданию.

задаваемый учеником, звучит так: De grammatico peto ut me certum facias utrum sit substantia an qualitas. . . (Прошу тебя объяснить мне, является ли слово grammaticus — 'ученый' обозначением субстанции или качества).

Из диалога выясняется, что Ансельм усматривал разницу между «собственным» значением слов и значением, получаемым ими в речи, в употреблении. Он устанавливал также разницу между именами, непосредственно, прямо, обозначающими определенную субстанцию, и паронимами, которые могут обозначать качество и называть субстанцию. Так, слово homo прямо обозначает человека, тогда как пароним grammaticus обозначает качество — прямо, а человека косвенно (4.230; 4.232; 4.413).

Всякий пароним обозначает субстанцию не прямо (косвенно), но может служить для ее называния. Ансельм считал, что значащему слову (vox significativa) свойственно определенное прямое значение (4.430); но слово может получать в употреблении не прямое (косвенное) значение — в диалоге учитель говорит ученику: «Учти, что из двух значений „значащих слов“ то, которое является „собственным“ (прямым), есть их основное значение; второе же — окказионально» (Considera etiam, quoniam harum duarum significationum illa quae per se est, ipsis vocibus significativis est substantialis, altera vero accidentalis. 4.430; 4.431).

Ансельм писал, что, говоря об именах или глаголах, которые являются значащими словами, мы имеем в виду их прямое значение. Если же говорить о значениях косвенных, появляющихся в речи, то слово hodiernus 'сегодняшний' оказалось бы не именем, а глаголом, так как обозначать время свойственно глаголу (Igitur hodiernum non est nomen sed verbum, quia est vox consignificans tempus. . . 4.2415). Философ заключает диалог утверждением, что тогда как «вещь не может относиться одновременно к нескольким категориям, для слова это возможно в силу того, что оно может иметь разные значения, например albus, обозначающее как качество, так и обладание этим качеством» (Rem quidem unam eandemque non puto sub diversis aptari posse praedicamentis. . . Unam autem vocem plura significant autem non ut unum, non video quid prohibeat pluribus aliquando supponi praedicamentis, ut si «albus» dicitur «qualitas» et «habere». . . 4.710).

Ансельм пишет о том, что в изучаемом слове собственное значение (significatio per se) противопоставляется косвенному значению (significatio per aliud) и тому, что обозначается (id cuius est appellativum). Лишь условно можно считать референт значением слова. Референтное значение относится к объекту речи (res ipsae), к самим вещам и появляется только в речи (usus loquendi). Собственное значение слова есть его «разумное понимание» и оно противопоставляется его окказиональному значению в речи (secundum rerum naturam). Собственное значение слова общеизвестно и если слово неправильно употреблено, даже малообразованный человек может заметить это. Ансельм писал так: «Grammaticus» vero non significat hominem et grammaticam ut unum sed gram-



maticam per se et hominem per aliud significat. Et hoc nomen quamvis sit appellativum hominis, non tamen proprie dicitur eius significativum; et licet sit significativum grammaticae, non tamen est eius appellativum. Appellativum autem nomen cuiuslibet rei nunc dico, quo res ipsa usu loquendi appellatur.<sup>23</sup> (Слово «grammaticus» не обозначает человека и грамматику как единое, но обозначает собственно грамматику и косвенно — человека. И хотя оно служит называнию человека, однако не является его названием в собственном смысле; и хотя оно называет также и грамматику, не является и ее собственным названием. Я говорю, что названием любой вещи является слово, которым это слово называется в речи).

Так Ансельм устанавливает разницу между собственным значением слова и его употреблением в речи. Такая же разница существует и между собственным значением целого предложения и тем, что этим предложением названо и что является «косвенным» его значением.

В трактате «De Veritate» обсуждается вопрос о природе предложения, об определении его «истинности» или «ложности».<sup>24</sup> Согласно Ансельму, предложение правильно или истинно, когда оно в действительности обозначает то, что соответствует закрепленному за ним значению. В силу соглашения, принятого в отдельных языках, и в конечном итоге в силу божьей мысли, которая есть высший образец для человеческих мыслей, соответствующих высказыванию, каждое предложение имеет некое общее значение, которое остается тем же, независимо от различных обстоятельств, в которых оно употребляется. Предложение *Socrates sedet* всегда, в любых условиях, будет значить «Сократ сидит». Сидит ли Сократ в момент произнесения фразы или не сидит — это не изменит постоянного и общего значения этих слов. До тех пор, пока предложение обозначает нечто в соответствии с установленным для него значением, оно является истинным. С другой стороны, предложение получает свое общее, установленное значение для того, чтобы использоваться в условиях, которые отвечают содержанию этого значения. Предложение является правильным и истинным и в том случае, если оно употребляется в ситуации, которая соответствует тому положению вещей, для выражения которого данное предложение предназначено. В то время как правильность и истинность в первом случае принадлежит предложению естественным и неизменным образом, во втором случае оно правильно и истинно только случайно (*accidentaliter*) и соответственно данному употреблению (*secundum usum*). Предложение может быть употреблено неправильно, т. е. употреблено для обозначения

---

<sup>23</sup> Там же, 1, 157.1.6. Цит. по: Ненгу Д. The «De Grammatico» of St Anselm, p. 116.

<sup>24</sup> Nuchelmans G. Late-Scholastic and Humanist Theories of the Proposition. New York, 1980; St Anselm von Canterbury. De Veritate. Ueber die Wahrheit. Lateinischdeutsche Ausgabe von P. F. S. Schmitt. Stuttgart, 1966, S. 38—44.

того, что оно, строго говоря, не обозначает, и все же оно в этом случае не будет «ложным».<sup>25</sup>

Ансельм замечает, что имеются такие предложения, в которых оба типа правильности и истинности неразделимы. Предложения *Homo est animal* и *Homo lapis non est* имеют неизменное существенное значение, поскольку им свойственно установленное общее значение; но они правильны и истинны также и потому, что нет таких условий их употребления, при которых они были бы ложными.

Отсюда следует, что предложение, которое никогда не может совпасть с реальным фактом, надлежит считать ложным.

Из трактатов Ансельма, в которых он касается вопросов языка, трудно извлечь сколько-нибудь полное представление о его лингвистических взглядах, не говоря уж о сколько-нибудь полной лингвистической теории. Но одно ясно: связь мышления с языком для него очевидна так же, как и для других философов средневековья, и решались отдельные вопросы этой связи в соответствии с общефилософской позицией авторов и с опорой на учения античных мыслителей.

\* \* \*

В конце XI в. каноник из Компьеня Росцеллин (1050—1112) высказал уверенность, что общие понятия (универсалии) отнюдь не являются «вещами». Это — просто слова, звуки (*flatus vocis*), имена. Так была сформулирована основная идея номинализма. Никакой отдельно существующей идеи «дерево», «человек» и т. п. нет. Объективно реальны лишь единичные вещи. Только они существуют. Например, существуют отдельные люди, а «человечество» — это только общее «имя», не более как слово. Это даже не умственное понятие, ибо нельзя представить себе «человечество», не думая при этом об отдельном человеке . . . Нет в мире «черного», кроме как только в языке. Как самостоятельная сущность есть только «черная вещь».

К сожалению, до нас не дошли трактаты Росцеллина. Точно неизвестно, были ли они. Его ученье известно из полемики с ним Ансельма Кентерберийского, Иоанна Сольсберийского и отчасти Абеяра. Ансельм упрекал Росцеллина в том, что он «погрузился в чувственность» и «не в состоянии понимать того, что должно постигаться разумом».<sup>26</sup> Росцеллин, несмотря на гонения со стороны философов-реалистов и церкви, твердо держался своего мнения: <sup>27</sup> только чувства дают познание вещей; роды, виды, универсалии суть лишь умственные концепты, представленные словами; вне языка они — ничто. Так как существуют только индивидуаль-

<sup>25</sup> См. Ненгу D. The «De Grammatico» of St Anselm, p. 121.

<sup>26</sup> Трахтенберг О. В. Очерки по истории западноевропейской средневековой философии.

<sup>27</sup> Rousselot X. Etudes sur la philosophie dans le Moyen-Âge, pt. 1, p. 168.

ные вещи, то они и представляют собой субстанцию, познаваемую чувствами, ибо субстанция материальна.

Философская позиция Росцеллина, пожелавшего «объяснить» христианскую религию, быть может неожиданно для него самого привела его к отрицанию основного догмата — догмата божественного триединства. Действительно, если реально существует только единичное, и существуют бог-отец, бог-сын и бог-дух святой, то единого бога нет! Единый бог — это только «слово».<sup>28</sup>

Таковыми рассуждениями Росцеллин поставил себя под удар церкви. Его судили на Соборе в Суассоне в 1092 (или 1093) г. Изгнанный из Франции, он нашел себе временный приют в Англии.

Одной из самых блестящих фигур в схоластической философии был Пьер Абеляр (1079—1142). Помимо вопросов собственно философии, он интересовался и вопросами языка. Талантливый основатель новой философской школы, умевший не только завоевывать внимание слушателей, но и убедить их в справедливости своих слов и утверждений,<sup>29</sup> Абеляр, однако, не создал сколь угодно стройной философской системы взглядов. Иногда он проявлял некоторую непоследовательность в высказываниях. Отсюда различные мнения о нем исследователей. Одни считают его «умеренным» номиналистом, другие причисляют его к «концептуалистам», наконец, третьи склонны считать его «умеренным» реалистом, предшественником великих схоластов XIII в., в том числе Фомы Аквинского.

Сперва Абеляр стоял как будто на позиции своего первого учителя — Росцеллина, мнение которого, однако, позднее он оспаривал. В *Glossae de Milano*<sup>30</sup> он писал: «Спрашивается, какое определение можно дать универсальным вещам?» и далее: «... универсальность мы можем приписывать только словам». Позднее Абеляр выдвинул собственную формулу: *universale est sermo* («универсальное есть слово»), имея в виду не только звучащее слово, как думал Росцеллин, но слово значащее. В своем определении Абеляр опирался на положение Аристотеля о том, что «не вещь высказывается (*dicitur*), а слово».

Абеляр отходил от Росцеллина, утверждая, что «хотя идеи отдельно от вещей и не существуют, однако их нельзя признать и одними только словами. Идеи — концепты ума и выражают существенные свойства мысли. Абеляр, в противоположность

---

<sup>28</sup> Об этом писал Ансельм Кентерберийский в «*Epistolae*», кн. 2, *epist.* 41, с. 357. — См.: *Cousin V. Ouvrages inédits d'Abélard. Introd.*, p. XC.

<sup>29</sup> Среди многочисленных учеников Абеляра — Иоанн Сольсберийский, Ортон Фрейзингский и мн. др.

<sup>30</sup> «*Quaerendum est, qualiter rebus definitio universalis possit? aptari*» . . . «*restat ut hujus modi universalitatem solis vocibus adscribemus*». См.: *Vignaux P. Notes sur le nominalisme d'Abélard.* — In: *Pierre Abélard. Pierre le Vénéral. Les courants philosophiques, littéraires et artistiques en Occident au milieu du XII siècle. Colloques internationaux du Centre national de la recherche scientifique. Abbay de Cluny, 2—9 juillet, 1972. Paris, 1974, p. 524 sq.*

Ансельму, стремился «разумом проверить веру», разумом понять таинства веры для того, чтобы верить.<sup>31</sup> Влияние Абельяра на его современников было настолько велико, радикальность его взглядов настолько очевидна, что вызывала к нему ненависть его принципиальных противников и просто завистников. Главный его враг — Бернард Клервосский писал о нем: «. . . его ядовитые книги не лежат спокойно на полках, нет, их читают на перекрестках. Они снабжены крыльями. . .»<sup>32</sup>

Утверждая, что «только именам свойственна универсальность»,<sup>33</sup> Абельяр пошел дальше своих учителей, ибо имел в виду слово в его значении, установленном человеческим разумом: универсалия — то, что может быть высказано о многом (*praedicari de pluribus*).<sup>34</sup> У Росцеллина *vox* обозначало лишь «произнесенное» слово, звук. Абельяр заменил слово *vox* словом *semita*, а затем *poenem*, создав, таким образом, не только новый термин, но новое понимание универсалий. Слова с общими значениями возможны потому, что они соответствуют общему в вещах, говорит Абельяр. Вещи, различные во многом, в чем-то сходны. Слово и выражает это сходство. Как определить это сходство? Оно не есть *res* (вещь), ибо только индивидуальные вещи реальны. Но это и не ничто (*nihil*). Абельяр находит: *status* (состояние) или качество вещи делает ее сходной или совпадающей с другими.

Однако, считает Абельяр, общие понятия немислимы без чувственных образов. За восприятием чувства следует воображение с его смутными образами. На их основе разум (*ratio*) строит понятия (*intellectus*). Это — отвлечение «формы» (для Абельяра — форма есть индивидуальное) от «материи» (= общее). Здесь усматривают близость взглядов Абельяра к концептуализму.

Для него познание невозможно без чувственных данных, которые перерабатываются разумом в понятия. Впрочем, иногда Абельяр говорил о «вечной данности» общих понятий в божественном разуме. Но, может быть, это были вынужденные высказывания? Нельзя забывать, в каких условиях вражды и преследований со стороны церкви и своих соперников жил и работал Абельяр.

Стремление к гармонизации, примирению веры и знания, разума и авторитета, античности и христианства характерно для его учения.

Существует несомненная связь между умеренностью номинализма Абельяра и критическим характером его теологии. Бернард Клервосский писал: «. . . благочестивый верует и не задается вопросами, но Абельяр в своем сомнении не желает веровать в то, чего он не расколол предварительно рассудком». В своем стремле-

<sup>31</sup> См.: Ивановский В. Н. Мистика и Схоластика XI—XII вв., М., 1897, с. 12—14.

<sup>32</sup> См.: Трахтенберг О. В. Очерки по истории западноевропейской средневековой философии, с. 23.

<sup>33</sup> P. A b e l a r d. *Logica ingredientibus* / Ed. V. Geyer, Münster, 1919, p. 16.

<sup>34</sup> Здесь и дальше см.: Федоров Абельяр. Петроград, 1924, с. 127—136.

нии критически разобраться в религиозных догматах и традициях Абеляр — продолжатель Ансельма Кентерберийского, который провозглашал: *credo, ut intelligam* («верю, чтобы понять»).

Для Абеляра нет противоречия между верой и разумом, разум коренится в боге, но имеет границы и не в состоянии постигнуть всех тайн божественной природы. Есть два источника познания — разум и откровение, но вера должна быть обоснована разумом, который всегда стремится убедиться в том, что вера не содержит в себе ничего неразумного, т. е. противоречащего разуму, хотя и может превышать его.<sup>35</sup>

Двойственность философской позиции Абеляра заслужила ему определение «умеренного номиналиста». Она сказалась в его возражениях против реалистов, но и против некоторых положений Росцеллина и других номиналистов, а именно против утверждения, что «роды» (общие понятия) являются не вещами, но словами, универсальными и единичными, которые служат субъектами и предикатами. Абеляр уточняет, что Аристотель, признавая существование вещей, объяснял их через слова.<sup>36</sup>

Абеляр, изучив мнение Аристотеля, его комментатора Порфирия и Боэция — комментатора Порфирия, выступал против определения номиналистов, согласно которому «слова не являются ни родами, ни видами, они не универсальны и не единичны, не являются ни субъектами, ни предикатами, так как они — ничто», «они не образуют реального целого». Здесь Абеляр прибегал к аргументации реалистов, утверждая, что универсалии не могут быть пустыми словами, которые есть «ничто», так как они есть несомненно «что-то».<sup>37</sup>

Но если универсалии — это не вещи (как это думали реалисты) и не слова (как утверждали номиналисты), то что это такое? Абеляр отвечает — это построения ума и в этом вся их реальность.

Отдельные вещи существуют реально, но сами по себе они не являются ни родами, ни видами. Они обладают сходством, доступным лишь разуму, который, отвлекаясь от частных различий вещей, объединяет их в виды, а виды в роды. Они — результат работы человеческого разума, это не слова, хотя выражаются они словами, и не вещи, а концепты.

Эти определения Абеляра известны из Сен-Жерменской рукописи.<sup>38</sup>

Итак, есть основания усматривать в философии Абеляра отенок концептуализма.<sup>39</sup>

<sup>35</sup> Там же, с. 135—136.

<sup>36</sup> См.: Cousin V. *Ouvrages inédits d'Abélard*, Introd., p. CLI—CLIII.

<sup>37</sup> См.: *ibid.*, p. CLVI—CLVII.

<sup>38</sup> См.: *ibid.*, p. CLVI.

<sup>39</sup> См. также: Фуллье. «История схоластики» в кн.: В и н д е л ь б а н д В. *История древней философии с приложением: Фуллье. «История схоластики»*. СПб., 1898.

Но если общие понятия (роды и виды) выражаются словами, то слова получают особое значение для познания мира, ибо только через слова могут быть познаны как конкретные вещи, так и универсалии. Но Абеляр считает, что для того, чтобы правильно применять слова, необходимо знать свойства обозначаемых ими вещей и понятий. Поэтому диалектика (т. е. философия) должна изучать «слова как способ выражения мысли, и мысли, как понятия, соответствующие вещам». Абеляр утверждал, что слово не присуще называемой им вещи «по природе», но становится ее обозначением лишь в силу человеческого установления.<sup>40</sup>

Номиналисты видели в языке секрет иллюзии «реальных абстракций», а именно: язык обладает способностью превращать в некую реальность концепты ума, придавая им форму, которая как будто бы обладает реальностью. Таким образом, номинализм привлекал внимание к языку, но создавал опасность отождествления любых «словесных» концептов с нематериальными, но реальными сущностями, которые являются концептами в мыслях человека и словами — в языке.<sup>41</sup>

Свое мнение об отношении индивидуальной вещи и общего понятия к слову Абеляр выразил в Комментариях к Боэцию<sup>42</sup> по поводу слов последнего: «тот, кто первым произнес слово „человек“, не имел в мысли человека как совокупность индивидуумов, а только одного индивидуального человека, которому он хотел дать название (имя) „человек“». И заметьте, пишет Абеляр,<sup>43</sup> что субстантивами называют только те слова, которые даются кому-нибудь для того, чтобы обозначить его либо по отношению к его «материи», либо чтобы назвать его особую сущность (*essentia*), как, например, «Сократ», ибо «Сократ обозначает только одного человека, сочетание человека и „сократности“».

Прилагательными же называют слова, которые обозначают «форму», так, слова *rationalis* и *albus* называют вещи, в которых пребывают *rationalitas* и *albedo* (ср. *l. albitudo*). Ибо говорить, как это обычно делают, что прилагательное — это то, что называет акциденцию (*accidentio*, качество), а существительное — то, что обозначает сущность (*essentia*), — смешно или даже лишено смысла. . .»

В этом высказывании Абеляр подчеркивает, что слова могут обозначать как общие понятия, так и индивидуальные вещи, но делает это с позиций реализма.

Значение слова имеет для Абеляра особую важность еще и потому, что одно и то же слово может иметь различные значения. Для него это служит подтверждением того факта, что наименование вещей основывается не на их природе, а на установлении,

<sup>40</sup> Александров Г. Ф. История философии, с. 430 и сл.

<sup>41</sup> Cousin V. *Ouvrages inédits d'Abélard*. *Introd.*, p. CIX.

<sup>42</sup> *Ibid.*, p. CLXII: Boethius in *Praedicamenta*, p. 139.

<sup>43</sup> *Ibid.*

т. е. на вмешательстве разума (*intellectio*).<sup>44</sup> На вопрос «что обозначают слова?» (*quid voces significant?*) Абельяр отвечает: «слова являются не вещами, созданными богом, а носителями смысла по установлению людей».

В Прологе «Да и Нет» (*Sic et Non*)<sup>45</sup> Абельяр писал, что «при столь великом множестве существующих слов нечто, высказанное даже святыми, может казаться не только отличным друг от друга, но даже противоположным друг другу . . .» «Что же удивительного в том, если при отсутствии у нас того самого духа, при посредстве коего все это было записано и высказано, а также внушено писавшим, нам не хватает их понимания, достигнуть которого нам всего более препятствует необычайный способ речения и разнообразное значение одних и тех же слов, поскольку одно и то же слово является высказанным то в одном, то в другом значении. . .» «Если же мы сможем доказать, что одни и те же слова употребляются различными авторами в различных значениях, то мы легко отыщем решение многих противоречий».<sup>46</sup>

По теории Абельяра<sup>47</sup> существует три вида значений: «интеллектуальное», «воображаемое» и «истинное», «реальное».

Первое — результат мыслительной деятельности — построение понятий (*intellectum constituere*). Мыслительный акт создает образ, т. е. за созданием понятия — актом мысли — следует возникновение образа вещи, который появляется в воображении. Но эти образы — это не сами вещи, а некие *figmenta animi* или *imago communis et vaga*, т. е. создание души, общее и смутное изображение. Этот ирреальный характер образа позволяет допустить, что слово, скажем, *homo*, может быть универсалией. Но разум не останавливается на образе, а переходит дальше, к вещи: «мы создает образы, как знаки, обозначающие не просто образы, а через них относящиеся к вещам (*imagines tantum pro signis constituimus non eas quidem significantes, sed in eis res attendentes*). Т. е. образы (*figmenta animi*) рассматриваются как „знаки“».

В Миланских глоссах<sup>48</sup> Абельяр писал о Сократе и Платоне, что они сходятся в том, что оба являются людьми (. . . *in hoc tamen conveniunt quod homines sunt*). «Я не говорю, что они сходятся „в человеке“ (*in homine*), потому что „человек“ — это „отдельный человек“, а они сходятся в том, что они „являются людьми“ (. . . *sed in esse hominem*). Быть же человеком — это некое „состояние“, но не вещь».

Таким образом, Абельяр не считал, что название «сущего» общим понятием обязательно предполагает, что это «сущее» есть

<sup>44</sup> См.: V i g n a u x P. Notes sur le nominalisme d'Abélard, p. 525.

<sup>45</sup> Petri Abaelardi. «Sic et Non». — In: C o u s i n V. Ouvrages inédits d'Abélard, p. 1—169.

<sup>46</sup> Антология философии, т. 2, с. 805—807.

<sup>47</sup> См.: V i g n a u x P. Notes sur le nominalisme d'Abélard, p. 525—526.

<sup>48</sup> См.: *ibid.*, p. 526.

вещь. Он предполагал существование некой реальности, которая является как бы «внешней» по отношению к категории вещей. Он сравнивает утверждение такой реальности с названием какого-либо действия, которое в действительности не имело места, например «Его побили потому, что он не хотел идти на форум».<sup>49</sup>

Таким образом, универсалии предполагают некое «объективное» основание, которое, однако, не является конкретной вещью; но Абеляр не повторяет здесь взглядов реалистов, ибо для него эта «объективность» вытекает из человеческого опыта, который является истинным.

К сожалению, трактат Абеляра, озаглавленный «Grammatica», утерян, и отрывочные сведения о его лингвистических взглядах можно почерпнуть только из его «Глосс» и отчасти из «Диалектики».<sup>50</sup>

Абеляр прежде всего теоретик тривиума. В его произведениях можно найти замечания, касающиеся грамматики и вопросов стиля. Не следует забывать, что Абеляр был не только ученым философом, но писателем, поэтом и музыкантом, что он был одарен недюжинным литературным талантом.

В философии Абеляра универсалии сопоставляются с наименованиями в грамматике, а конструкции (объект грамматики) — с предикацией (объектом логики).

Для Абеляра язык представлял собой некую самостоятельную сущность, далекую от того, чтобы быть простым орудием разума. Он утверждал, что познание вещи есть акт души, которая постигает природу вещи, но делает это через посредство слов, называющих эти вещи.

В Миланских глоссах<sup>51</sup> Абеляр писал: «Имена и глаголы имеют двойственное значение: одно относится к вещи, другое — к познанию. Они обозначают вещи и приводят к познанию их природы и их свойств. Слово воспроизводит представления, находящиеся в уме человека, и рождает аналогичные представления в уме слушателя. Вещи естественным образом предшествуют понятиям; человек прежде чем найти слово для именованья вещи, постигает ее природу. Имя дается вещи для того, чтобы могло возникнуть понятие». Так, для Абеляра язык имеет две грани, одна из которых обращена к вещам, другая — к мысли. Невозможный без знания вещей, язык служит для передачи этого знания.

Абеляр писал о важности переносных значений слов, особенно в поэзии и в риторике. Для него язык не был абстрактной системой, подведомственной логике, а живым организмом, который изучается грамматикой и риторикой.

<sup>49</sup> См.: J o l i v e t J. *Abélard ou la philosophie dans le langage*. Paris, 1969, p. 53, 63.

<sup>50</sup> Здесь и дальше см.: J o l i v e t J. *Comparaison des théories du langage chez Abélard et chez les nominalistes du XIV siècle*. — In: Peter Abelard. *The Hague, 1974*. (= Proceedings of the international Conference, Louvain, 1971), p. 170—178.

<sup>51</sup> См.: J o l i v e t J. *Comparaison...*, p. 172—173.



Интересны его рассуждения по некоторым частным вопросам. Так, например, сопоставляя существительное *cursus* и глагольную форму *currit*, он приходил к выводу, что они равнозначны по содержанию, но отражают различный способ восприятия факта (*diversus modus concipiendi*): *cursus* — как субстанцию в ее отдельном бытии, *currit* — в приложении к какому-либо субъекту и в отношении ко времени (*hic in essentia cursus ostenditur, ibi in adjacentia*).<sup>52</sup>

Заслуживает внимания учение Абельяра о предложении. Он относит предложение с обозначаемым, которое, однако, не является вещью, хотя и касается вещей. В «Диалектике»<sup>53</sup> Абельяр задает вопрос: «является ли вещами то, что говорится в предложении?» (*utrum sunt aliqua res ea quae a propositionibus dicuntur?*) и отвечает на него отрицательно: «то, что говорится в предложении, не есть вещь, хотя и сообщает о поведении вещей по отношению друг к другу (*modus rerum se habendi ad invicem*)».<sup>54</sup>

Рассуждая о языке, Абельяр употребляет слово *res* в двух смыслах: как «вещь» и как «означаемое» (*significatum*). Этим путем осуществляется переход «вещи» из мира физического в язык, а вместе с этим переход от философской позиции Абельяра к его лингвистической позиции.

Пониманию Абельяром природы предложения посвящена специальная работа Л.-М. де Рейка.<sup>55</sup> Автор начинает с того, как понимал Абельяр значение (*significatio*) слова и значение предложения. *Significare* (означать), сказанное о словах (*dictiones*), это значит вызывать в душе слушателя понимание (*intellectio*), представление о вещи (см.: *Logica ingredientibus*, с. 307 и сл.). Но этот же самый глагол может употребляться и в другом смысле, просто для передачи действия названия, и в этом случае он оказывается синонимом глаголов *appellare*, *nominare*, *demonstrare*, *designare*. Когда же глагол *significare*, продолжает Абельяр, употребляется по отношению к целым предложениям (*propositiones*), он вызывает представление, состоящее из связи представлений, вызванных отдельными словами, которые являются его частями.

Автор показывает, как, по Абельяру, слова сначала называют представления о вещах, а затем и самые вещи. Отсюда следует, что вещи представляются в этом случае Абельяру опосредованными объектами слов, ибо слова, рождая в душе слушателя представления, тем самым позволяют через них познать вещи, или, как говорит философ, «слова имитируют вещи» (*voces sunt emulae*

---

<sup>52</sup> Petri Abelardi. Glossae de Milano, p. 308 (цит. по: J o l i v e t J. Comparaison. . . , p. 173).

<sup>53</sup> См.: V i g n a u x P. Notes sur le nominalisme d'Abélard, p. 526.

<sup>54</sup> См. здесь и дальше: J o l i v e t J. Notes. . . , p. 536 sqq.

<sup>55</sup> R i j k L.-M. de. La signification de la proposition (*dictum propositionis*) chez Abélard. — In: Pierre Abélard. Pierre le Vénéral. Paris, 1975, p. 547—555. — Л.-М. де Рейк изучает трактат Абельяра «*Logica ingredientibus*».

gerum, — *Logica ingred.*, p. 537). В этом процессе «имитации» вещей представления служат только промежуточным звеном.

Автор согласен с Ж. Жоливэ,<sup>56</sup> что для средневековых мыслителей, в том числе для Абельяра, язык не столько служит для точной передачи природы вещей, сколько является свидетельством активного мыслительного процесса. И для Абельяра главным в вопросе словообозначения оказывается мыслительная сфера, деятельность ума, рождение «представлений» (*Log. Ingrid.*, p. 308—309), т. е. различные «модусы» мыслительных представлений о вещах, а вещи, обозначаемые словами, — это вещи в мыслях человека, вещи в виде представлений (образов).

О понятиях «содержательных» (*sanus*) и понятиях «пустых» (*cassus*) (*Log. ingred.*, p. 326 и сл.) Абельяр говорит так: в отсутствие человека слово «человек» столь же ничего не значаще, как и слово «химера» или «козлоолень» (*hircocervus*). А следовательно, реальное существование вещи имеет решающее значение для создания представления о ней.

Перенос центра тяжести с реальных вещей на «представление» о вещах, на образы вещей в сознании человека сказывается в теории Абельяра о значении предложения.

Несмотря на то, говорит Абельяр, что предложению свойственно выражать совершенно отчетливое значение, означаемым (*significatum*) предложения не является вещь. Им является квази-вещь. Каков статус (состояние, *status*) этой квази-вещи? Здесь Абельяр прибегает к понятиям «истинности» и «ложности». По его мнению, они приложимы к самим предложениям, к представлениям и к тому, что служит содержанием предложений (*quae dicuntur a propositionibus*). Этот взгляд основан на том, что Абельяр вообще рассматривает предложение 1) как некую речевую данность и 2) как выражение цельного представления, т. е. как средство связывания отдельных представлений, выраженных словами, и, наконец, 3) как квази-вещь, к которой само же предложение относится в качестве речевой данности и в качестве представления (*Log. ingred.*, p. 367).<sup>57</sup>

Чтобы яснее понять мысли Абельяра, Л.-М. де Рейк приводит<sup>58</sup> отрывок из *Logica Ingredientibus* (p. 392 sq) по поводу рассуждения Абельяра о безличных предложениях: «*Il* безличному предложению *taedet me legere*, — говорит Абельяр, — нельзя поставить вопроса *quid taedet me?*, но *quid facere taedet me?*; равным образом нельзя сказать *volo aliquid*, но *volo aliquid facere*, ибо объекты, о которых здесь идет речь, — это не вещь (*aliquid*), а *facere aliquid*»

В другом отрывке (*Log. ingred.*, p. 492 ss.) Абельяр пишет о том, что в модальных выражениях слова *necessarium* и *possibile* («не-

<sup>56</sup> См. мнение последнего в книге: J o l i v e t J. Arts du langage et théologie chez Abélard. Paris; Vrin, 1969, p. 76.

<sup>57</sup> См.: *ibid.*; R i j k L.-M. De. La signification. . . , p. 548—549.

<sup>58</sup> R i j k L.-M. De. La signification. . . , p. 550—552.

«обходимо» и «возможно») имеют некое созначение, а не собственно значение. Они относятся к содержанию (*dictum*) предложения как «способы восприятия» (*modi concipiendi*) и не имеют собственного содержания (*in istis nulla imagine nititur intellectus*).

В конце концов, считает де Рейк, понимание Абеляром природы предложения сводится к тому, что «Предложение обозначает представление о самих вещах и, кроме того, то, что оно говорит о них (*id quid proponit et dicit*), т. е. об их связи между собой (*Log. ingred.*, p. 361).

Это значит, что в предложении следует различать акт мысли, акт речи, но и содержание самого предложения. В *Logica ingredientibus*<sup>59</sup> (с. 275) Абельяр приводит два примера: *Socratem sedere* и *Socratem non sedere*, в которых каждое может быть как объектом мысли, так и речи, хотя содержание их взаимно исключается.

Короче говоря, *dictum* (то, о чем говорится в предложении) для Абеляра не есть некая внешняя вещь (*res*), и не просто мыслительный акт, но объективированное содержание этого акта, которое, не будучи ни вещью, ни самим этим актом, может быть обозначено как квази-вещь (*quasi res*).

Таким образом, *dictum* (содержание предложения) не только не является независимым от мысли, но представляет собой ее собственное содержание, некое «объективированное представление», которое отвечает как реальному, так и возможному или даже невозможному положению вещей. Отсюда то, что устанавливается произнесенным предложением, не есть обязательно реально существующее, а лишь словесно утверждаемое, существующее в мысли. Тем самым *dictum* (содержание предложения) для великого логика XII в. носит прежде всего логический характер.

Итак, для Абеляра язык представляет собой некую особую область, отличную от мира вещей и понятий. Правильно употребляемый, язык может открыть человеку реальные связи вещей, о существовании которых он ранее не подозревал.

Понимание Абеляром природы языка формулировалось им достаточно четко: «*praeter rem et intellectum tertia exiit nominum significatio*»<sup>60</sup> (помимо вещи и понятия о ней существует еще значение имен).

Философская доктрина Абеляра покоилась на решении вопроса о сущности общих понятий и об их отношении к вещи и на отношении универсалий и вещи к языку. К этому, разумеется, присоединялся ряд не менее важных для философа смежных проблем. И прежде всего отношение между знанием, разумом и религиозной догмой. Оттенки концептуализма, высокая оценка человеческого разума ставили Абеляра во многих вопросах в конфликтные отношения с церковью. Иногда это доходило до необходимости для философа открыто отказываться от своих научных убеждений.

<sup>59</sup> См.: *ibid.*, p. 551—554.

<sup>60</sup> Pietro Abelardo *Scritti Filosofici* / Ed. M. Dal Pra. Milano, 1954, p. 296 sq.; см.: J o l i v e t J. Arts du langage. . ., p. 174—175.

Конечно, эти отступления оказывались лишь временными, но они не только затрудняли работу ученого, но и быть может повинны в том, в чем иногда упрекают Абельяра, — в расплывчатости контуров его философских построений, в уступках богословским канонам. Очевидно, эти последние были вынужденными. В результате — нечеткость его общефилософской позиции, его стремление — иногда старание — к примирению разума и религии, античности и христианства. Тем не менее влияние учения Абельяра было очень велико, и именно Абельяр оказался знаменем своего века, вехой в развитии философии, именно его учение представило кульминационный пункт спора номиналистов и реалистов, показав достоинства и недостатки обоих направлений, ибо Абельяр давал свою оценку тому и другому, указал новые направления дальнейшего развития науки философии, подчеркнул значение и роль человеческого разума в познании объективного мира. Следует отметить, что Абельяр более критично относился к реализму, отвергая в номинализме лишь его крайности, но сохраняя его принципиальные позиции, признавая, что существуют реально лишь отдельные вещи, обладающие индивидуальными чертами.<sup>61</sup>

Тем самым учение Абельяра можно рассматривать и как дальнейшее развитие номинализма, номинализма, опирающегося на разум и тем самым менее последовательного, чем номинализм Росцеллина или Гийома из Шампо, считавших универсалии только «словом», «пустым звуком» (*flatus vocis*). Абельяр неизменно видел в слове его значение и всякий раз, подчеркивая это, «превращал» слово в концепт. Для Абельяра, как мы помним, универсалии суть абстракции, обобщения, родившиеся из сравнения вещей. Но всякое обобщение на основе сравнения требует работы памяти, закрепляющей эту работу знаками, словами, обозначающими роды и виды. Очевидно, без языка все это недостижимо, т. е. деятельность разума, мысли, опирается на язык. Непосредственная связь номинализма и концептуализма — очевидны.<sup>62</sup>

Абельяр начал распространять свое учение в момент, когда реализм, после выступления Росцеллина и его сторонников, одержал верх над номинализмом и блестящий философ XII в. возродил последний, но уже на новом, более высоком уровне, который привел его к признанию роли разума и к концептуализму.

Гонения против учения Абельяра объяснялись, несомненно, критическим духом его теологии, который определялся его номиналистической философской позицией и его стремлением непременно сблизить теологию с философией. Трактат «*Sic et Non*» при жизни автора был известен немногим, главным образом его ученикам и последователям. Он пользовался плохой славой у противников Абельяра и поборников религиозной догматики. Так, Бернард Клервосский писал, что произведения Абельяра отвратительны не только по названиям, но и догматизмом, они не только

<sup>61</sup> Cousin V. *Introd.*, p. CLXXIX.

<sup>62</sup> *Ibid.*, p. CLXXXII.

направлены против божества, но полны злостных измышлений: «Sunt autem, ut audio, adhuc alia ejus opuscula, quorum nomina sunt: Sic et Non, Scito te ipsum, et alia quaedam de quibus timeo ne, sicut monstruosi sunt nominis, sic etiam sint monstruosi dogmatis; sed, sicut dicunt, oderunt lucem, nec etiam quaesita inveniuntur» (St. Bernard, tom I, p. 301).<sup>63</sup>

В своем трактате Абельяр сравнивает ответы, изложенные в Св. Писании и в трудах отцов церкви по наиболее важным вопросам религиозной догматики, которые в ряде случаев оказываются противоречащими друг другу. Абельяр не делает никаких выводов из этих противоречий. Очевидно, эта работа должна была служить лишь исходным пунктом для составления теологического трактата, который не был написан и который, по всей вероятности, должен был служить лишь «разумной проверкой» утверждений теологии.<sup>64</sup> Во введении к трактату «Sic et Non» Абельяр излагает цель его написания и дает понять свою принципиальную позицию. Он говорит о трудности интерпретации богословских текстов, обращенных, как правило, не к ученым, а к народу; об испорченности текстов, затрудняющей их расшифровку, которая лежит на совести копиистов; о большом количестве подделок; о том, что в некоторых случаях авторы впоследствии отказывались от утверждений, оставшихся в их рукописях; об ошибках авторов, проистекающих из их недостаточной осведомленности; о различных значениях слов, что может привести к ошибочной интерпретации мысли автора текста. Абельяр говорит о необходимости отличать от других произведений на религиозные темы канонические версии Ветхого и Нового завета, а также послания апостолов, которым и надлежит неуклонно следовать. Говоря о цели трактата, Абельяр объявляет сомнение истинным ключом знания, в чем он опирается, очевидно, на Аристотеля: «Naes quippe prima sapientiae clavis definitur, assidua scilicet seu frequens interrogatio. . . Dubitando enim ad inquisitionem venimus; inquirendo veritatem percipimus» (Petri Abaelardi «Sic et Non», p. 16. — Полный текст трактата в кн.: *S o u s i n V. Ouvrages inédits d'Abélard*).

Не надо принимать этот трактат за доказательство атеизма Абельяра. Он только свидетельство его желания утвердить роль разума в понимании религиозного догмата, который надо принимать не бездумно, а в полном, разумном убеждении в его правоте.

Таков был Пьер Абельяр. Он несомненно являлся самым выдающимся философом своего времени и направления, имея своим основным противником не менее интересную личность — Бернарда Клервосского, убежденного поборника христианской ортодоксии, человека недюжинного, но консервативного ума.

Можно сказать, что Абельяр представлял собой передовое и перспективное течение своего времени, опиравшееся на разум и

<sup>63</sup> Цит. по: *ibid.*, p. CLXXXV.

<sup>64</sup> См.: *ibid.*, p. CLXXXIX—CXCIX.

пользовавшееся большим престижем, и в определенном смысле направившим дальнейшее развитие философии средневековья. Концептуалистическая окраска философии Абельяра отражается во всех столкновениях и в борьбе философских школ Парижа — центра европейской науки XII века.

С Абельяром кончается первая эпоха схоластической философии, основной проблемой которой была природа универсалий — в философии и отношение знания и религии — в теологии.

\* \* \*

Деятельность Фомы Аквинского, после смерти получившего титул «Ангельского доктора», протекала в период, когда особенно остро стоял вопрос об отношении к науке, об отношении науки к религии. Развитие научной мысли приводило ее к конфликту с ортодоксальными религиозными взглядами. Этому способствовало распространение латинских переводов трактатов Аристотеля, которые, будучи переведены на латинский язык, стали доступными не знавшим греческого языка. Следует отметить, что ученые «ранней схоластики» пользовались главным образом работами комментаторов — таких как Порфирий и Боэций — античных философов. Не владея греческим языком, в большинстве случаев они могли знакомиться лишь с весьма малочисленными в то время переводами на латинский язык или трудами более поздних ученых, комментировавших произведения античных авторов. Материалистические основы философии Аристотеля, воспринимаемые средневековыми философами Европы, становились конкретной опасностью для церкви. Рационалистическая струя в схоластической философии подчеркивала иррациональный характер религии и подсаживала необходимость отделения, или точнее, освобождения науки от теологии. Центрами науки, которые оказались и центрами наступательного движения против подчинения науки богословию, служили в это время университеты, которые возникли в ряде крупных городов Италии, Франции, Англии, Испании. Обычно они имели четыре факультета: теологии, права, медицины и искусств, на котором главными изучаемыми предметами были философия и диалектика (или логика). Именно здесь зарождались новые научные концепции, течения за освобождение философской мысли от гнета теологии.

Но дело не только в знакомстве с философией Аристотеля, хотя именно через нее в Западную Европу вносились элементы новых научных направлений. Дело в том, что аристотелизм распространялся в трактовке арабских и восточных ученых, таких как Аверроэс и Авиценна и возникших под их влиянием философских школ, сосредоточивавших свои интересы на практических знаниях в области естественных наук — ботаники, зоологии, астрономии, а также математики и медицины. Идеологические потребности нового и неуклонно растущего социального слоя — буржуазии оказались главным стимулом развития прикладных и естествен-

ных наук. Этому способствовало развитие городов, становившихся центрами интеллектуальной жизни.

Однако повышенный интерес к аристотелевской философии грозил распространением материалистических идей, а они неизбежно входили в конфликт с религиозными догмами.

В философии Аристотеля привлекали внимание, главным образом, ее материалистические элементы — учение о вечности материи, отрицание подчинения мира Провидению, утверждение ценности земного мира, учение о том, что высшим благом является счастье человека на земле.<sup>65</sup> Идеалистические стороны учения великого античного мыслителя оставались в тени. Арабские ученые в своих комментариях усиливали материалистический характер философии Аристотеля, утверждая о вечности процесса порождения материи, исключая необходимость обращения к какой бы то ни было внешней творящей причине, т. е. фактически отрицающей участие бога в создании мира и управлении им. Рушилась и идея о единичности и реальности общих понятий, ибо, например, человеческий разум не может быть единичным, будучи нематериальным, а должен иметь всеобщую форму, и только ему принадлежит бессмертие. Индивидуального же бессмертия души не существует. Такие и подобные утверждения противоречили канонам церкви, созвучным идеалистической философии Платона, на взглядах которого основывалось учение Августина. Божественное откровение переставало играть ведущую роль в жизни людей. На первое место выдвигалось рациональное познание. Зародилась теория «двойственной истины», утверждавшая фактический разрыв между философией и религией.

Все это вызывало смятение в церковных кругах, стремление прекратить развитие материалистических идей или, по меньшей мере, противопоставить философии Аристотеля если не новые учения, то во всяком случае новую трактовку утверждений этой философии.

Церковные власти стали применять запреты распространения опасных для религии философских взглядов. В 1209 г. в Париже — центре интеллектуальной жизни не только Франции, но и всех окружающих ее стран — накладывался запрет на частное и публичное изучение трудов Аристотеля. В 1215 г. запрет распространился на Парижский университет, в стенах которого преподавался аристотелизм.<sup>66</sup>

Однако одних административных мер для подавления научной мысли мало. И римская курия приняла решение прибегнуть к пересмотру аристотелевского учения с целью примирить его с христианской догмой даже ценой извращения его идей. Философское учение Аристотеля должно было быть приспособлено к потребностям церкви, должно было быть согласовано с христианской догмой.

---

<sup>65</sup> Боргош Ю. Фома Аквинский. М., 1975, с. 14.

<sup>66</sup> Там же, с. 18.

XIII век — кульминационный век феодализма, после которого начнется его постепенное падение, и век наивысшего могущества римской церкви. Римский папа объявляет себя заместителем Христа. Усиление церкви вызвало реакцию в виде распространения ересей, проповедывавших учения, несогласные или не во всем согласные с христианскими догмами. В 1210 г. началось подавление альбигойской ереси, распространившейся по всему югу Франции. Для борьбы с ересью организован суд Инквизиции. В поддержку церкви выступили монашеские ордена, в первую очередь орден доминиканцев. Они были движимы идеей создания твердо обоснованной схоластической философской системы, которая исключала бы возможность проникновения в умы людей мыслей, неугодных церкви, подрывающих ее власть, опирающуюся на христианские каноны.

Итак, работа по переосмыслению материалистического элемента аристотелевской философии началась в Ордене доминиканцев. Главной фигурой века оказался Фома Аквинский (1225—1274 гг.), предпринявший теологизацию аристотелизма. Вот как Ю. Боргош характеризует результаты его деятельности: «Принцип вечности материи заменен идеей креационизма, существование единичных вещей детерминируется сопричастностью божественной сущности, земная история понимается как инструмент, как орудие реализации святой истории, высшей целью человека является не преходящее счастье, а достижение вечного спасения».<sup>67</sup>

Наступивший «расцвет» схоластической философии представлял собой попытку закрепления идеологии ортодоксального католицизма.

Предшественниками Фомы Аквинского, признанного главы философии XIII в., были Александр Гэльский, бывший убежденным реалистом и последователем Августина, и его знаменитый ученик — Иоанн Фиданца, францисканский монах по прозвищу Бонавентура (ум. в 1274 г., год рожд. неизвестен). Его почетный титул — «Серафимоподобный доктор». По убеждениям Бонавентуры мир отнюдь не вечен, как учил Аристотель, а сотворен богом из ничего. Основу познания мира Бонавентура видит в «озарении» души, не нуждающемся ни в каких чувственных восприятиях внешнего мира. Высшая цель познания — это познание бога, приобщение к нему. Познается бог созерцанием его творения, т. е. мира, самоуглублением и непосредственным созерцанием бога, осуществляемым в экстатическом состоянии, когда человек сливается с богом. Таково мистическое направление учения Бонавентуры.

Учителем и первым представителем схоластического аристотелизма был доминиканец, немец по происхождению, Альберт фон Больштедт (1207—1280 гг.), по прозвищу Великий, получивший богословское образование в Падуе и Париже, работавший в Па-

<sup>67</sup> Там же, с. 23.



рижском университете и пользовавшийся славой талантливого ученого и лектора.

Основу его философии составляет учение Аристотеля, приспособленное к христианской религии: <sup>68</sup> он защищает бессмертие души и в «перводвигателе» видит бога. Он интересовался натурфилософией, занимался астрономией, алхимией, минералогией, ботаникой, зоологией и другими науками. Он соглашался с мнением о шарообразности земли, написал 26 книг по зоологии и 7 — по ботанике. Наряду с этим он описывал магические действия и слыл магом и волшебником.

Его ученик, Фома Аквинский, лишь в незначительной степени продолжил его занятия естественными науками, всецело сосредоточившись на вопросах аристотелевской философии и ее согласовании с христианскими догматами.

Исследователи подчеркивают некоторую несамостоятельность философских воззрений Фомы Аквинского, который в ряде случаев стоял на позициях своего учителя Альберта Большедета и который основное свое внимание устремлял лишь на «приспособление» аристотелевской философии христианским догмам. Так, например, повторяя мнение своего учителя, он считал логику не частью философии, а лишь «инструментом» для философии и других наук в силу того, что логика изучает лишь формальные принципы и изучает вторичные построения ума: «*Logicus et mathematicus considerant tantum res secundum principia formalia*». De pot. Dei, qu. 6, art. I (vol. VIII) f. 59, v. A; «Следует начинать с логики — не потому, что она проще других наук, она максимально трудна, но так как она ближе всего к мысли и остальные науки от нее зависят; она учит, как следует поступать, занимаясь всеми другими науками» (*Oportet in addiscendo a logica incipere, non quia sit faciliior scientiis ceteris, habet enim maximam difficultatem, cum sit de secundo intellectis, sed quia aliae scientiae ab ipsa dependent, inquantum ipsa docet modum procedendi in omnibus scientiis*. Ad Boeth. de trin., f. 132, v. A).<sup>69</sup>

Фома оказался между схоластикой предшествующего периода, представления которой покоились на идеалистической философии Платона, и современным ему учением аверроистов с их материалистически-атеистическими взглядами.

Фома был сторонником двойственной истины, утверждая, что предметом теологии являются истины «откровения», а предметом философии — истины «разума». Он добавлял, что не все истины откровения доступны разуму, но богословские истины не противоразумны, а сверхразумны, ибо человеческий разум ниже божественной премудрости. Конечной причиной мира является бог, сотворивший мир из ничего. Но существование самого бога может

---

<sup>68</sup> См.: Трахтенберг О. В. Очерки по истории западноевропейской философии, с. 102.

<sup>69</sup> См.: Grantl C. Geschichte der Logik im Abendlande. Lpz. 1867, Bd 3, S. 107—109.

быть доказано только из существования мира, который является его творением. Материя в его понимании есть некая неопределенная и пассивная «потенция», превращаемая богом в действительность, она актуализируется и превращается в основу индивидуации.

В результате такого рассуждения исчезает утверждавшаяся Аристотелем «вечная материя».

В толковании Аристотеля «материя» не может существовать без «формы», которая представляет собой «совокупность общих существенных признаков, присущих вещам определенного вида, и не существовала вне их или до них».<sup>70</sup>

Фома Аквинат повторял это положение, но дополнял его различием трех родов «форм» или универсалий, а именно: 1) универсалия, содержащаяся в вещи в качестве ее сущности (*in re*); 2) абстрагированная от субстанции и реально существующая в уме (*post rem*), наконец, 3) универсалии, не зависящие от вещи и находящиеся в уме бога (*ante rem*). Так, новое направление философии объединяет положения номинализма и реализма, примиряя вместе с тем учение Аристотеля с христианским представлением о боге. Эта точка зрения отражается и в теории познания: общее в вещах представляет собой объект научного познания как результат мыслительного акта, но это общее есть не что иное, как божественная идея, лежащая в основе действительного существования конкретных вещей.

Если единичные вещи могут стать объектами познания только через абстрагирующую и обобщающую работу мысли, то можно, очевидно, в духе Аристотеля, сказать, что чувственное восприятие образует основу и источник познания, а мыслительный акт нуждается в «рефлексии», с помощью которой мысль может познать самое себя и через чувственные вещи вернуться к общему и так, преодолев материальность, прийти к познанию единичного.<sup>71</sup>

Отношение Фомы к сущности и предмету познания не без труда, но все же можно выяснить из его отдельных высказываний. Так, он постоянно говорит о том, что всякое знание происходит от ощущений, что предмет познания это действительность, существующая вне человека и независимо от его воли.<sup>72</sup> Но ум — нематериален и не может непосредственно «чувственно» подвергаться воздействию материальных вещей, говорит Фома, рациональное же познание — познание общее и потому отдельные, единичные вещи не могут быть его объектом: *Intellectus est universalium et non singularium* (*Summa contra gentiles*, Romae, 1918, 15.1, 44).<sup>73</sup> Предметом познания может быть лишь нечто духовное, идеальное; субъект в ходе познания в известном смысле уподобляется, считал Фома, объекту, но не материальной, а духовной его форме, так как познание осуществляется интеллектом, тоже не-

<sup>70</sup> Боргош Ю. Фома Аквинский. М., 1975, с. 59.

<sup>71</sup> См.: Grantl C. Geschichte. . ., Bd 3, S. 110—111.

<sup>72</sup> См.: Боргош Ю. Фома Аквинский, с. 78.

<sup>73</sup> Цит. по Боргошу, с. 81.

материальным. Что представляет собой эта нематериальная действительность, содержащаяся в вещах? Это, отвечает Фома, «следы» бога в естественных вещах, это духовная познавательная их «форма». Таким образом, Фома противостоит учению о «врожденных идеях», но вместо них он подставляет познание в вещах конечной, божественной причины.

Сам процесс познания рисуется Фоме следующим образом. Все начинается с воздействия вещей на внешние чувства (*senses exteriores*), в которых возникают чувственные образы, отпечатки единичных вещей (*species sensibiles*). Они суть «чувственные познавательные формы». Именно на эти «познавательные формы», а не на самые вещи направлено человеческое познание.<sup>74</sup> В ходе чувственного познания происходит два «изменения» — материальное, естественное (*immutatio naturalis*), и нематериальное, духовное (*immutatio spiritualis*). При первом познающий субъект получает от объекта некоторые свойства (ср. палец, опущенный в горячую воду), при втором — эти изменения носят психический характер, человек осознает что-то. *Species sensibiles* (образы), полученные от органов чувств, поступают к «общему чувству» (*sensus communis*), которое, вместе с воображением, памятью и мышлением, относится к «внутренним» чувствам (*senses interiores*). Здесь впечатления, полученные от органов чувств, координируются, классифицируются, упорядочиваются и воспринимаются в таком виде воображением (*imaginatio*) и передаются дальше — памяти (*memoria*) и, наконец, — силе суждения и мышления (*vis aestimativa et cogitativa*) (сила мышления иначе называется *ratio particularis*). На этом этапе осуществляется переход от чувственного познания к интеллектуальному. В этих рассуждениях Фомы сказывается отход от положения Августина об априорном знании, о том, что истина всегда находится во внутреннем мире человека.

Но в определении сущности интеллектуального познания Аквинат обращается к богу, выдвигая принцип «сопричастности» (*participatio*). Это восходит к идеям Платона, согласно которым признавалось существование неких «идеальных» образцов, отражением, тенью которых являются чувственные вещи. Фома говорит о другом. Он говорит о «сопричастности» результатов их причинам. Отсюда все существующее, как результат сопричастия своей причине, т. е. богу; интеллект человека «сопричастен» интеллектам «чистых духов» и самому божественному интеллекту. Объектом интеллектуального познания является дематериализованная сущность. Материя должна быть преодолена, ибо она препятствует нематериальному познанию. Эту функцию выполняет активный интеллект (*intellectus agens*), который превращает чувственные образы (*species sensibiles*) в интеллектуальные познавательные формы (*species intellegibiles*). Активному интеллекту противопоставляется «возможностный» интеллект (*intellectus pos-*

<sup>74</sup> Там же, с. 85.

sibiles), считая, что познание следует понимать как переход возможности в акт.

По мнению Фомы, «интеллект всегда находится в „возможности“ по отношению к вещи, которую он познает. . .»<sup>75</sup> Итак, интеллектуальные познавательные формы (*species intellegibiles*) поступают в распоряжение «возможностного» интеллекта (*intellectus possibilis*), который воспринимает и сохраняет их. «Воспринимаемая познавательные формы, возможностный интеллект как бы отождествляется с вещами, вернее, с их интеллигибельной формой».<sup>76</sup> Здесь интеллектуальные познавательные формы превращаются в «выраженные» формы (*species expressae*) или в (*verba mentis*) мыслительные слова, т. е. понятия.

Так происходит процесс абстрактного познания. В отличие от человека, утверждал Фома, чистые духи не рассуждают, а сразу постигают объект познания. Что до бога, то его познание выше человеческого и ангельского, он видит все посредством своей сущности и не обращается ни к вещам, ни к абстракциям.

Во многих случаях трактаты Фомы Аквинского повторяют положения его предшественников — Августина, Альберта Великого, Ибн-Рушда, Ибн-Сина и др. и не содержат сколько-нибудь оригинальных или интересных мнений. Постоянно приводя мнения Аристотеля, он тем не менее не является ни в какой мере его последователем. Как писал немецкий исследователь середины прошлого века Карл Прантль: «. . . Фома, несмотря на все плагиаты из перипатетиков, значения которых он, естественно, не понимает, меньше всего может считаться последователем Аристотеля».<sup>77</sup>

Да он таковым и не был, и его задачей было не пропагандировать и даже не критиковать учения великого греческого мыслителя, а приспособить его философию к канонам христианской религии, дабы укрепить наукой готовое пошатнуться положение католической церкви Западной Европы.

Высказывания Фомы Аквинского по вопросам языка в большинстве случаев не оригинальны и не самостоятельны. Он часто повторяет своего учителя, не добавляя к его мнениям ничего положительного. Однако все же можно привести некоторые его рассуждения лингвистического порядка. Так, на вопрос о том, как следует рассматривать природу предложения, можно ли считать обозначаемое предложения реально существующей вещью, философ отвечает в трактате *Summa totius logicae*, I g. 13, art. 12. В правильном (истинном) утвердительном предложении слово, обозначающее субъект, и слово, обозначающее предикат, называют разные стороны вещи в том, что касается ее рационального постижения (*secundum rationem*); но они обозначают одно и то же, если рассматривать их с точки зрения вещи, пребывающей в реальном мире (*secundum rem*). Связь субъекта с предикатом, осуществ-

<sup>75</sup> См. Боргош Ю. Фома Аквинский, с. 95.

<sup>76</sup> Там же, с. 97.

<sup>77</sup> Prantl C. Geschichte. . ., Bd 3, S. 112.

ленная связкой (*copula*), отвечает объединению представленных ими значений в одном предмете. Так, в предложении *homo est albus*, *homo* и *albus* — разные концепты, — концепт «бытия» человека и концепт «бытия» белым, — но связка *est* показывает, что они объединены в одном объекте. Их объединение в мысли (*compositio intellectus*) дает нам «мысленное» предложение, которое имеет свой коррелят в объединении вещей внешнего мира (*compositio in re materiali*), что является или единством материи и формы, или единством субстанции и акциденции.<sup>78</sup>

Как и его предшественники, Фома обращается к вопросу о значении и употреблении слов. Он рассуждает так: хотя «бог» и «божественная сущность» обозначают в реальности одно и то же, но, поскольку способ обозначения здесь различен, невозможно считать эти слова синонимами, т. е. употреблять одно слово вместо другого: *dicendum quod licet Deus et divina essentia sint idem secundum rem, tamen ratione alterius modi significandi oportet loqui diversimode de utroque*.<sup>79</sup> Аналогичное рассуждение и дальше: слова «божественная сущность» являются предикатом к словам бог-отец, т. е. мы говорим: бог-отец есть божественная сущность. Но и в этом случае слово «сущность» не может употребляться вместо слов бог-отец, так как их модус обозначения одного и того же различен. И это рассуждение справедливо для всех случаев, когда отдельная вещь определяется предикатом, содержащим общее понятие.

Рассуждая о значении слова «свет», Фома Аквинат пишет: Слово «свет» узуально употребляется для обозначения того, что обеспечивает нам видимость и знание предметов; но, обращаясь к его первичному значению, нужно сказать, что это слово было создано для того, чтобы обозначать то, что дает нам возможность видеть, а когда речь идет о духовных существах, оно употребляется метафорически.

И добавляет, что в слове следует различать: 1) его первичное значение и 2) его обычное употребление. Так, например, глагол «видеть» сперва употреблялся исключительно для обозначения акта видения. Затем он получил более широкое значение и стал употребляться для обозначения восприятия и другими органами чувств. Например, мы говорим: «смотрите, как это вкусно», «как хорошо пахнет», «как тепло». В Евангелии от Матфея (v. 8) этот глагол употребляется даже для обозначения интеллектуального постижения: «Блаженны те, кто чист сердцем, так как они узрят бога».<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> См.: N u c h e l m a n s G. *Late-Scholastic and Humanist Theories of the Proposition*. Amsterdam, 1980, p. 70.

<sup>79</sup> *Divi Thomae Aquinatis Summa Theologica* / Ed. par M. l'abbé Drioux. I—V. Paris, 1853, tome deuxième, p. 120.

<sup>80</sup> *Ibid.*, p. 576.

Обсуждая отношения между существительными и прилагательными, Фома говорит так: разница между существительными и прилагательными состоит в том, что существительные обозначают основные понятия, а прилагательные только приписывают существительному то, что они обозначают. Софисты говорят, продолжает Фома, что прилагательные прибавляют к значению существительного значения качества. Имена собственные могут обозначать «сущность» в силу идентичности их значения и обозначаемого ими. Но из этого не следует, что персональное качество детерминирует определенную сущность. Оно лишь прибавляется к тому, что обозначено именем. Но прилагательные могут прибавляться к слову «сущность» только при условии, если будет вставлено еще другое существительное, обозначающее лицо или вещь. Так, мы не можем сказать «сущность порождающая», но можем сказать, что «сущность есть вещь порождающая» или «бог порождающий», если слова «вещь» и «бог» суппонируют (имеют в виду) лицо, но не сущность. Отсюда не будет противоречия, если мы скажем, что «сущность есть вещь порождающая» или «сущность есть вещь не порождающая», так как в первом случае речь будет идти о лице, а во втором — о сущности (. . . haec est differentia inter nomina substantiva et adjectiva; quod nomina substantiva ferunt suum suppositum, adjectiva vero non, sed rem significatam ponunt circa substantivum. Unde sophistae dicunt quod nomina substantiva supponunt, adjectiva vero non supponunt, sed copulant. Nomina igitur personalia substantiva possunt de essentia praedicari, propter identitatem rei. Neque sequitur quod proprietates personalis distincta determinet essentiam, sed ponitur circa suppositum importatum per nomen substantivum. Sed notionalia et personalia adjectiva non possunt praedicari de essentia, nisi aliquo substantivo adjuncto. Unde non possumus dicere quod essentia est generans; possumus tamen dicere quod essentia est res generans, vel Deus generans, si «res» et «Deus» supponant pro persona; non autem si supponant pro essentia. Unde non est contradictio, si dicatur quod essentia est «res generans» et «res non generans»; quia primo «res» tenetur pro persona, secundo pro essentia).<sup>81</sup>

Очень часто замечания по поводу частных вопросов языка, употребления тех или иных слов или разрядов включаются в рассуждения теологического содержания. Так, например, в рассуждении об отношении вещи к «материи» и «форме» дается определение значений латинских предлогов *ex* и *de*, а именно говорится о том, что они не выражают отношения формальной причины, но отношения причины «действенной» и «материальной». А такого рода причины всегда отличаются от своих следствий (. . . Quae quidem causae in omnibus distinguuntur ab his quorum sunt causae. . . <sup>82</sup>)

<sup>81</sup> Ibid., t. 2, p. 120.

<sup>82</sup> Ibid., p. 108.

XIV век — век, когда началось европейское Возрождение, был свидетелем умирания средневековой схоластики.

Виднейшим философом этого времени был англичанин из Оксфордского университета Вильям Оккам (1290—1349), по прозвищу *Venerabilis Inceptor Academiae Nominalium*. С позиций «крайнего номинализма» Оккам разрушал сложные онтологические построения, проповедовавшиеся как томистами (школой Фомы Аквинского), так и скотистами (последователями Дунса Скота).<sup>83</sup> Оккам отверг учение Фомы Аквинского о различении «существования» (*esse existentiae*) и «сущности» (*esse essentiae*). Понятие сущности и существования заимствованы средневековыми схоластиками у Аристотеля, который считал, что прежде чем анализировать сущность вещи, следует доказать ее существование, чтобы убедиться, что это не иллюзорная идея в духе Платона. Для Аристотеля всякая реальная вещь обладает сущностью и существованием. Фома считает, что то и другое суть реальность, хотя сущность вещи еще не имплицитно ее существования, ибо существование всего в мире зависит не от наличия сущности, а от воли бога. Скотисты, со своей стороны, видели в «сущности» сущность творимую (*esse creabile*), сущность постигаемую (*esse intelligibile*) и сущность познанную (*esse intellectum vel cognitum*). Последователи Дунса видели в них отдельные сущности, наделенные подлинной реальностью, хотя и «уменьшенной». Оккам все это отбросил. Для него, помимо действительного существования, есть только логическая возможность существования. Оккам отвергает также реальное различие между субстанцией и ее акциденциями, между душой и ее способностями, между активным и пассивным разумом и прочими сложными понятиями в учениях Фомы Аквинского и Дунса Скота.

Отвергая «воображаемые» сущности своих предшественников, Оккам видел в их построениях «ненужное размножение сущностей» (*Entia non multiplicanda sunt praeter necessitatem; frustra fit per plura quod fieri potest per pauciora*).<sup>84</sup>

Учение Оккама знаменует отказ от схоластики: философия сближается, если не сводится к логике и к физике, и вместе с тем, отдаляясь от теологии, перестает быть «служанкой богословия». Оккам отдает дань религии признанием двух истин: богословской, которая признается им абсолютной, и рационалистической, которая объявляется относительной. Однако Оккам не считал эти две истины противоречивыми.

Разделяя области веры и знания, Оккам развивает взгляды Дунса Скота.<sup>85</sup> Поскольку вера и знание две различные области,

<sup>83</sup> См.: Rougier L. Histoire d'une faillite philosophique: Scolastique. Paris, 1966.

<sup>84</sup> См.: Фуллье. История схоластики, с. 378.

<sup>85</sup> См.: Трахтенберг О. В. Очерки по истории западноевропейской средневековой философии, с. 199—201.

то религия не должна вмешиваться в вопросы философии. А так как религиозные догмы опираются на «откровение», то нецелесообразно рассматривать или стремиться доказывать их с точки зрения разума. В этих утверждениях Оккама нет принижения религии даже когда он как номиналист отрицает наличие в божественном сознании универсалий как прообразов конкретных вещей. Он просто заявляет, что бог и весь божественный промысел — творение мира и т. д. — остаются за пределами человеческого разума и от обсуждения этих вопросов следует отказаться лишь веря в то, что бог — творец и промыслитель мира.

С позиций номинализма Оккам решал и кардинальный вопрос средневековой философии о природе универсалий: никаких реальных универсалий не существует. Не присутствуют они и в вещах, нет их и до вещей в божественном сознании в качестве прообразов отдельных вещей. Оккам считал, что выражение «говорится о многих» (*dici de pluribus*) лучше всего определяет природу универсалий. И существуют они *после* вещей, так как мыслью выводятся из них. Следовательно, универсалии существуют только в уме человека, но это не противоречит объективности их природы,<sup>86</sup> ибо они представляют собой некие знаки, замещающие сходные между собой реальные вещи. Они — не фикции, как думал Д. Скот, а абстракции, опирающиеся на «подобие» вещей, но не на их сущность. Это важно в учении Оккама, отвергавшего учение Д. Скота о множественных сущностях. По Оккаму, универсалии возникают в сознании человека в результате повторяющегося опыта, наблюдения сходных вещей. Возникающая таким образом «естественная» универсалия облекается в «словесную оболочку», которая служит термином для ее обозначения.

Природа создает лишь единичные вещи. Универсалии создаются в уме, ибо после первого восприятия вещи естественным образом, без намеренного участия интеллекта и воли, возникает второй мыслительный акт, который воспроизводит некую сущность, составляющую «впечатление» от единичной вещи. Этим рассуждением Оккам исключает из процесса познания вещей томистскую рефлексию (*reflexio*), ибо первое восприятие есть восприятие конкретной вещи, а не знака (понятия или слова), ибо вне человеческой души существуют только вещи.

Так как универсалии для логики, говорит далее Оккам, есть не что иное, как «термины» предложения, то для логики все прочие вопросы об их природе безразличны: «Чистому логике безразлично, являються ли универсалии, каковые суть термины предложений, вещами вне человеческой души или в душе, или представляют собой звуки или написание. . .» (*Purus logicus non habet disputare, utrum universalia, quae sunt termini propositionum, sint res extra animam vel tantum in anima vel in voce vel*

---

<sup>86</sup> Трахтенберг О. В. Очерки по истории западноевропейской средневековой философии, с. 204.



in scripto. . .).<sup>87</sup> Но если логик все же захочет определить природу универсалий, он, во избежание ошибок, должен помнить, что все существующее вне человека является единичными вещами и что универсалии никак не могут быть такими «внешними» вещами или хотя бы их частями, а только бестелесными психическими концептами (*institutio* или *intentio* или *conceptus formatus*).

Оккам писал о знании интуитивном — об отдельных вещах — и абстрактном — об общих понятиях.

«Абстрактное знание, относящееся к общим понятиям, является знанием „смутным“. Общее понятие „человек“ есть операция ума, при которой мы не отличаем одного человека от другого потому, что человек не похож больше на одного человека, чем на другого; но это знание позволяет нам отличать „человека“ от „осла“, потому что это знание относится определенным образом к человеку, а не к ослу». Термины, обозначающие общие понятия, суть термины второй интенции. Интуитивное же знание относится к отдельным, реально существующим вещам и дает нам гарантию их распознавания. Термины, которыми мы обозначаем существующие отдельные вещи, такие как «это дерево», «этот камень», «этот человек, который бежит», служат им заместителями и обладают способностью представлять их (*supponere pro re singularis*). Достаточно их произнести, чтобы вызвать образ реально существующей, ими представляемой вещи. Это термины первой интенции.

Наука основывается на терминах первой интенции, ибо интуитивное знание есть исходная точка опытного знания: *illa notitia est intuitiva a quae incipit experimentalis notitia*.<sup>88</sup> Термины второй интенции относятся к логике, это — род, вид, универсалии. Поскольку существуют только индивидуальные вещи, термины, обозначающие общие понятия, должны в конечном счете относиться к тем же вещам, что и термины первой интенции, но обозначают их иначе. Термины первой интенции обозначают вещи ясно и отчетливо, термины второй интенции — смутным и неотчетливым образом. Когда мы утверждаем, что «Сократ есть человек», мы не говорим ничего другого, как только то, что тот же индивидуум есть Сократ, и это воспринимается отчетливо, — и что он есть человек — что воспринимается смутно.<sup>89</sup>

Интуиция включает как «внешний», так и «внутренний» опыт, внутренние переживания.<sup>90</sup> Однако научные знания предполагают знание об общем, основанное на знании индивидуального.

<sup>87</sup> G. de O s c k h a m. *Commentarii* I, Dist. 2, qu. 4AA; цит. по: P r a n t l C. *Geschichte. . .*, Bd 3, p. 344.

<sup>88</sup> Цит. по: R o u g i e r L. *Histoire d'une faillite philosophique*.

<sup>89</sup> Там же.

<sup>90</sup> O s c k h a m W. *Commentarii (sive Questiones) in quattuor Sententiarum libros*. I. Lugduni, 1495, см.: С т я ж к и н Н. И. и С т я ж к и н а Г. П. К оценке философских взглядов Уильяма Оккама. Научные доклады высшей школы. — Философские науки, 1974, № 6, с. 69—80.

Так Оккам отбросил утверждение томистов о том, что в познании материального мира между познающей душой и познаваемыми объектами стоят «образы», «копии» (*species*) этих объектов. Оккам заменил эти идеальные образы «знаками», обозначающими наблюдаемые объекты. Знание состоит из этих знаков, отражая объекты опосредованно в виде языковых единиц. «Так как все наше знание происходит от чувств (. . . *omnis cognitio nostra ortum habet a sensu*. . .), каждая наука также возникает из познания индивидуальных вещей, хотя никакая теория не должна трактовать об индивидуальных вещах. В этом вопросе позиция Оккама близка взглядам философов XVII и XVIII вв., строивших свои научные теории на основе сенсуализма и эмпиризма. Ведь, считал Оккам, нет науки об индивидуальных вещах, а есть наука об общих понятиях, замещающих индивидуальные вещи.<sup>91</sup> Науки Оккам подразделял на реальные и рациональные: в реальных науках термины замещают реальные вещи; в рациональных — термины замещают другие термины. Примером рациональной науки служит логика, которая имеет дело с понятиями понятий, со знаками знаков, с продуктами человеческого разума. В логике знаки из орудия знания превращаются в объект знания. Реальные науки трактуют о вещах, существующих в природе естественным образом, а не в результате мыслительных операций.<sup>92</sup>

Оккам различает разные виды знания.

1. Отчетливое знание — это «уразумение» любого объекта в соответствии с его внутренним устройством.

2. Смутное знание — постижение универсального как чего-то общего, присущего многому.

3. Совершенное знание — знание, не связанное с приписыванием вещи ничего, ей не свойственного.

4. Наглядное знание — живое созерцание (*notitia intuitiva*) — это такое знание вещи, благодаря которому можно выяснить, существует ли вещь или не существует.

«Для наглядного познания необходима сама вещь без какого-либо промежуточного звена (*sine omni medio*) между ней и самим актом рассмотрения или усвоения».<sup>93</sup>

Утверждая, что источником познания и образования общих понятий является чувственное восприятие реально существующих вещей, Оккам, однако, отнюдь не отождествлял познания с чувственным или интуитивным восприятием. Для него познание предполагает чувственное или интуитивное восприятие, но само является постижением истины, заключенной в предложении и

<sup>91</sup> См.: Трахтенберг О. В. Очерки по истории западноевропейской средневековой философии, с. 205 (Ockham, *Expositio aurea super totam artem veterem*). См.: Франкл С. *Geschichte der Logik im Abendlande*, 3, 1927, S. 332—333.

<sup>92</sup> Moody E. *The Logic of William Ockham*. New York, 1935, p. 33.

<sup>93</sup> G. de Ockham. *Commentarii (sive Questiones in quattuor Sententiarum libros I, d. 27, g. 3, j)*, цит. по: Курантов А. П., Стяжкин Н. И. Оккам. М., 1978, с. 100—101.

основанной на понимании и усвоении природы вещей, которые имеются в виду обозначающими их терминами.<sup>94</sup>

Круг научных интересов Оккама необычайно широк. Помимо собственно философии и отошедшей от нее логики, он оставил ряд трактатов по натурфилософии (физике), теологии, по вопросам политики и т. д.

Чрезвычайно интересны его взгляды на язык, изложенные, в частности, в трактате *Summa logicae*.<sup>95</sup>

Прежде всего Оккам отказывается принимать языковую теорию модистов — «*Modi significandi*».

Эпизодически этот термин появлялся уже у Абеляра. Петр Гелий употреблял его систематически. Но полное развитие теория модусов получила во второй половине XIII в., в эпоху «спекулятивной» грамматики. Модистская теория изложена в «*Questiones super Priscianum*» Симона Дакийского (1260—1270 гг.), в *Modi Significandi* Боэция и Мартина Дакийских (1270—1288 гг.) и в *Summa grammaticae* Иоанна Дакийского (1280 г.). Эта теория вошла в русло идей Дунса Скота и была поднята на еще более высокий уровень в *Grammatica Speculativa* Фомы Эрфуртского, которую долгое время приписывали Дунсу Скоту и которая пользовалась огромным авторитетом в XIV веке.

Напомним основные положения теории модистов.<sup>96</sup>

1. Обозначаемое в слове (*significatum*) отличается от способа (*modus*) своего обозначения.

2. Способ обозначения (*modus significandi*) представляет собой принцип конструирования грамматически правильного сочетания слов во фразе.

3. Отношение к семантике и к синтаксису, *modus significandi* (способ обозначения) имеет отношение также к частям речи, которые состоят (по определению Иоанна Дакийского) из «звука, означаемого и способа обозначения» (*Ioannis Daci Opera*, éd. A. Otto, Copenhagen, 1955, 226, 33; 227, 3).

4. Есть соответствие между модусом бытия (*modus essendi*), модусом познания (*modus intelligendi*) и модусом обозначения (*modus significandi*).

5. Поскольку обозначение и его модус параллельны бытию и мысли (и их модусам), то, по мнению Боэция Дакийского, существует общая (универсальная) грамматика. (*Boethii Daci, Modi Significandi, sive Questiones super Priscianum majorem*, éd. J. Pinborg, H. Roos et S. S. Jensen. Copenhagen, 1969, 12, 45—50; 11, 27—28): «... так как природа вещей одинакова для всех, модус бытия и модус познания вещей одинаковы для лю-

<sup>94</sup> M o o d y E. *The Logic of William Ockham*. New York, 1935, p. 311.

<sup>95</sup> Ниже в изложении лингвистических воззрений Оккама мы основываемся на цитированной книге Курантова и Стяжкина и исследовании: J o l i v e t J. *Comparaison des théories du langage chez Abélard et chez les nominalistes du XIV siècle*. — In: Peter Abelard. *Proceedings of the International Conference*. Louvain, May 10—12, 1971. The Hague, 1974.

<sup>96</sup> См.: J o l i v e t J. *Comparaison des théories du langage*. . . p. 164—165.

дей, говорящих на разных языках; следовательно, сходны и способы обозначения вещей, а также способы построения фраз и говорения. Отсюда, грамматика одного языка сходна с грамматикой любого другого языка. Т. е. существует единая грамматика, как существует и единая логика.<sup>97</sup>

Модисты видят язык как некую когерентную систему, управляемую точными законами. Не следует забывать, что здесь речь идет о спекулятивной грамматике, т. е. о размышлениях о структуре языка такой, какой она представлялась грамматикам-теоретикам.

Для модистов язык представляет собой некую автономную величину, обладающую (несмотря на различия между языками) универсальностью, всеобщностью, которая обусловлена его тесной связью с бытием и мышлением.

Номиналистская доктрина Оккама противостоит доктрине модистов. Основное положение Оккама о языке гласит, что «обозначать не есть свойство самого слова, а свойство разума через слово». Оккам различал слово «сказанное», «написанное» или «помышленное» (*terminus prolatus, scriptus et conceptus*). Он уточнял: «Концепт или интенция души обозначает „естественным“ образом то, что обозначает; слово, сказанное или написанное, „обозначает“ лишь в силу добровольного установления людей».<sup>98</sup> Таким образом, обозначение идет от души к разуму и от разума к вещи, и слова являются знаками обозначения, подчиненными концептам или интенциям души.

Языковые знаки, или «термины», Оккам разделяет на термины первичной и вторичной интенций. Вещи обозначаются терминами первичной интенции, общие понятия — вторичной.

Оккам помещает язык в сознание человека, где пребывает «мысленная речь» (*verba mentalia*). Но так как язык — не простое соположение слов, а их сочетание, строящееся по определенным правилам, то грамматика тоже должна пребывать в мысли. Оккам писал: «Одна интенция души воплощается в именах, иные — в глаголах или в других частях речи: местоимениях, наречиях, союзах, предлогах» (*Summa logicae* 12, 8—11): *intentionum animae quaedam sunt nomina, quaedam verba, quaedam aliarum sunt partium, quia quaedam sunt prae nomina, quaedam adverbia, quaedam conjunctiones,*<sup>99</sup> *quaedam prae positiones.*<sup>99</sup>

Оккам говорит о том, что падежи и формы числа нужны именам для составления предложения и являются акциденциями как имен «мысленного» языка, так и имен в речи. С другой стороны, род имен и их написание, не интересующие логику, являются акциденциями имен только в речи и на письме.

<sup>97</sup> *Ibid.*, p. 165.

<sup>98</sup> G. de O c k h a m. *Summa totius logicae* / Ed. Ph. Boehner. New York, 1954, 8. 13—14; 9. 47—49; 9. 25—26; см.: J o l i v e t J. *Comparaison...* с. 165—166.

<sup>99</sup> См.: J o l i v e t J. *Comparaison...*, p. 167.

Оккам устанавливает различие между значением слов «по природе», которое является концептом, и значением слов «по установлению», т. е. между «естественным» их значением и произвольным. Слова могут быть «обозначающими» только в силу обычая и употребления. Речь помещается тем самым в область эмпирики, ее особенности и отклонения связываются с обычаем и условиями употребления.

Большое место в оккамовой теории познания занимает учение о суппозиции. Оккам определяет понятие суппозиции так: «Под суппозицией, т. е. состоянием подразумевания чего-либо, понимается употребление термина в предложении для обозначения чего-либо, включая обозначение термином самого этого термина».<sup>100</sup> Оккам различает три вида суппозиций: 1) персональную (*suppositio personalis*), простую (*suppositio simplex*) и материальную (*suppositio materialis*). Персональная суппозиция означает, что термин относится к любому обозначаемому им объекту, независимо от того, будет ли это вещь, или интенция души, или записанное слово. Так, в примере *Socrates currit* и *Plato est homo* — *Socrates* и *homo* — суть персональная суппозиция, т. е. когда субъект или предикат относятся к определенному объекту, имеет место персональная суппозиция.

Простая суппозиция — это так называемая суппозиция, в которой термин подразумевает интенцию души, а не особую вещь. Например, «Человек» есть вид (*homo est species*), где термин «человек» не обозначает никакого конкретного человека, а лишь интенцию души. Материальная суппозиция состоит в употреблении термина в качестве имени себя самого (в виде слова или знака), например, имя «Человек» состоит из трех «слов» или «Человек» есть имя. Учение о суппозиции имеет отношение прежде всего к науке логике, а тем самым и к языку (материальная суппозиция).<sup>101</sup> Теория «истинного» и «ложного» предложения Оккама основывается на суппозиции: для истинности предложения достаточно, чтобы субъект и предикат суппонировали и обозначали одну и ту же вещь. Предложение занимает значительное место в теории познания Оккама: «Хотя мы говорим о вещи, однако мы говорим о ней через посредство предложений и терминов. Отсюда непосредственным объектом любой науки являются не сами вещи, а предложения о них. В науке термины и предложения обозначают и «суппонируют» вещи».<sup>102</sup>

Оккам относил логику, так же как риторику и грамматику, к практическим наукам, а не к спекулятивным, так как они направляют мыслительные операции в построении силлогизмов, в диспу-

<sup>100</sup> Guilelmus de Ockham. *Summa totius logicae, in tres partes divisa*. Oхoniae, 1675, 1, с. 63; цит. по: Курантов А. П., Стяжкин Н. И. Оккам, р. 128.

<sup>101</sup> Подробнее о теории суппозиции см.: Курантов А. П., Стяжкин Н. И. Оккам, с. 131—135.

<sup>102</sup> G. de Ockham. *Commentarii*. . . Prolog. qu. 4, II, N; цит. по: Курантов А. П., Стяжкин Н. И. Оккам, р. 135.

тах и во всем другом: *Logica, rhetorica et grammatica sunt vere notitiae practicae et non speculativae, quia vere dirigunt intellectum in operationibus suis, quae sunt mediante voluntate in sua potestate, sicut logica dirigit intellectum in syllogizando, discurrendo et sic de aliis.*<sup>103</sup> О том же в *Expositia aurea* Оккам писал: *Logica est dicenda practica, quia, cum scientia logicae tractet de syllogismis, propositionibus et huiusmodi, quae nonnisi a nobis fieri possunt, sequitur, quod est de operibus nostris, non quidem exterioribus, nisi forte secundario, sed de intentionibus, quae vere opera nostra sunt; et per consequens illa scientia practica est, et non speculativa.*

Эти три «речевых» науки, т. е. грамматика, риторика и логика, считал Оккам, определяют направление деятельности интеллекта, показывая, как она должна осуществляться. Логика имеет дело с внутренними движениями души, т. е. с интенциями, заключенными в суждения, — и здесь она оказывается практической наукой; когда же она имеет дело с «понятиями», а не с суждениями, то эта ее часть относится к спекулятивной науке. Считая логику научно определяющей внутренние процессы духа, Оккам противопоставляет ее как «рациональную» науку наукам реальным и подчеркивает ее формальную и теоретическую независимость от последних. По Оккаму, познание идет от «потенциального» к «актуальному», причем человек может постигнуть «общее» только через «интуитивное» постижение «единичного».<sup>104</sup>

Оккам писал: «Эта наука (т. е. логика) называется „рациональной“, а другие — „реальными“, потому что она говорит о том, что не может существовать помимо разума, другие же науки трактуют о вещах, существующих вне человеческой души» (*Ista scientia dicitur rationalis, ceterae autem... reales, quia determinat de his, quae sine ratione esse non possunt, aliae autem scientiae de rebus extra animam existentibus determinant*).<sup>105</sup> Оккам стремится отделить науку логику как от теологии, так и от метафизики, отказываясь включать в логику обсуждение вопросов о природе интенций, терминов, суждений, умозаключений и т. д. Однако в этом он не всегда последователен и эти вопросы часто возникают под его пером.

Согласно убеждению, что одной из существенных задач логики является осуществление речи, Оккам переносит познавательный акт (*actus intelligendi*) в сознание, говоря о «мысленной речи» (*propositio mentalis*). Он считал, что предложению, выраженному словами, предшествует внутреннее предложение, не зависящее от особенностей отдельных языков. Его составные части то называют интенцией или качеством души, то интеллектом или концептом.

<sup>103</sup> G. de O c k h a m. *Commentarii... Prolog. qu. 4, 11, N*; цит. по: P r a n t l C. *Geschichte... Bd III, S. 331, примеч. 741.*

<sup>104</sup> См.: P r a n t l C. *Geschichte... Bd 3, S. 333.*

<sup>105</sup> G. de O c k h a m. *Summa totius logicae, 3, 2, 22, f. 53 r. A*; цит. по: P r a n t l C. *Geschichte... Bd 3, S. 331.*

В этом внутреннем предложении — в отличие от высказанного или написанного — интеллект рассматривает субъект и предикат раздельно, хотя они в речи направлены на одно и то же. И высказанное предложение истинно и правильно, если оно рождает в слушателе правильное «мысленное предложение». Но оно возникает лишь в конце произнесения, а не в начале или середине.<sup>106</sup>

Отношение между словами и понятиями Оккам объясняет так. Сперва понятие (или, что то же — мыслительный акт) «естественным» образом обозначает вещь, и лишь затем это же делает слово в результате «добровольного установления» (*voluntaria institutio*). Отсюда изменение внутреннего, «естественного» обозначения, изменение понятия необходимо влечет за собой изменение словесного обозначения. Но значение слова можно произвольно изменить без того, чтобы это повлекло за собой изменение понятия: «... произнесенное или написанное слово может сколь угодно изменять свое значение, мысленное же слово (концепт) не может изменить своего значения ни по чьему желанию» (*. . . terminus prolatus vel scriptus ad placitum potest mutare suum significatum, terminus autem conceptus non mutat suum significatum ad placitum cuiuscumque*).<sup>107</sup>

В семиотическое учение Оккам включал также теорию синонимии. Синонимами, по Оккаму, являются имена, употребляемые для обозначения одной и той же вещи при условии одинакового способа обозначения (*modus significandi*), так, «Марк» и «Туллий» — синонимы, так как то и другое имя относится к Цицерону.<sup>108</sup> Оккам писал: «Синонимы образовывались не из потребности обозначения, а для украшения речи. То, что обозначается синонимами, отлично могло бы обозначаться одним словом, так как множественности синонимов не отвечает множественность концептов» (*Summa logicae*, I, 3. 12, 16—26).

Оккам, отделяя язык от логики, превращает его в некую автономную величину, существующую отдельно от бытия и мысли, которые остаются универсальными. Собственной областью языка оказывается то, что внешне по отношению к логике, и то, что сосредоточено в произвольном установлении слов. Правда, как логики, так и грамматики занимаются языком, но с разных точек зрения. Логики рассматривают язык как явление универсальное, а грамматики изучают особенности отдельных языков. При таком взгляде универсальная грамматика теряет свою опору, каковой являлась для нее теория модистов.

Семиотическое учение находится в центре философской доктрины Оккама и имеет огромное для него значение. Его теория

---

<sup>106</sup> G. de O c k h a m. *Quodlibeta*, 3, qu. 11; цит. по: P r a n t l C. *Geschichte*. . . , Bd 3, S. 339.

<sup>107</sup> G. de O c k h a m. *Summa tot. log.* 1, 1, f. 2, r. B; цит. по: P r a n t l C. *Geschichte*. . . , Bd 3, S. 340.

<sup>108</sup> G. de O c k h a m. *Quodlibeta septem*. Argentinae, 1491, цит. по: К у р а н т о в А. П., С т я ж к и н Н. И. Оккам, с. 137.

«терминов», его трактаты по логике и натурфилософии представляют собой огромный шаг вперед в развитии философской мысли средневековья. Оккам стоит на пороге Возрождения.

В философии Оккама есть много новых и перспективных положений, свидетельствующих о недюжинном уме и познаниях этого выдающегося ученого своего времени. Так, Оккам был, по-видимому, первым, открыто предположившим материальность мира: «Мне думается, что на небе есть материя того же типа, что и на земле, и не следует вводить без надобности понятия множественности» (*Sic egro videtur mihi quod in coelo sit materia ejusdem rationis cum istis inferioribus et hoc, quia pluritas nunquam est ponenda sine necessitate. . .*).<sup>109</sup> Он говорил о том, что субстанция может быть познана только через ее акциденции: «*Et aliam experimentiam non habemus de substantia nisi per accidentia*».<sup>110</sup> Многие из философских положений, приведенных в многочисленных трактатах Оккама, несомненно способствовали разрушению схоластической науки, развитию естественнонаучных интересов среди его учеников и последователей. Учение Оккама сыграло большую роль в развитии философской мысли XIV в. и послужило основанием для создания новых философских теорий и направлений.

Учение Оккама имело огромное влияние не только на дальнейшее развитие философии и науки, но потрясло основания светской власти церкви своего времени. Схоластическая философия XIV в. в лице Оккама и его последователей положила начало критическому отношению к роли церкви в жизни государства, к порабощению религией человеческой личности, к торможению религиозными догматами свободного развития научной мысли.

\* \* \*

Было бы ошибочным отождествлять схоластические направления философии реализма и номинализма с направлениями идеализма и материализма эпохи Возрождения и Нового времени. Хотя можно сказать, что в крайних своих проявлениях эти два течения приходили в соприкосновение с ними.<sup>111</sup>

Характерной чертой «крайнего реализма» (Эриугена, Ансельм Кентерберийский и др.) является утверждение общих понятий как самостоятельно существующих реальностей, пребывающих в уме бога до вещей, которые творятся богом. Поскольку общее — единственная реальность, оно не может постигаться через чувственные восприятия. Постигание универсалий возможно лишь разумом.

«Умеренный реализм» или «умеренный номинализм» — попытка примирить эти два направления философии. К этому неотчетли-

<sup>109</sup> G. de O c k h a m. *Commentarii (sive Questiones) in quattuor Sententiarum libros*, II g. 22; цит. по: С т я ж к и н Н. И., С т я ж к и н а Г. П. К оценке философских взглядов Уильяма Оккама, с. 75.

<sup>110</sup> Цит. по: G. de Ochkam. *Quodlibeta septem*, 3, qu 8, Parisiis, 1488.

<sup>111</sup> См.: А л е к с а н д р о в Г. Ф. История философии, с. 416—417.



в тому течению относят Абеяра и Фому Аквинского. Впрочем, между их взглядами большая разница. Абеяр иногда допускал высказывания, приближавшие его к реализму, но по существу был гораздо больше номиналистом, признавая реальность единичных вещей и считая разум — источником познания.

Что касается Фомы Аквинского, то основной задачей его учения было приспособление философии Аристотеля к догматам христианской церкви, что и обусловило характер его учения «ортодоксальной схоластики» — проповеди гармонии веры и разума.

Учение Оккама знаменует собой отказ от схоластики, а следовательно, и отнесение его в направление номинализма нового толка, бывшего предвозвестником материализма последующих эпох.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие (А. В. Десницкая) . . . . .	3
Появление письменности в средневековой Европе (Ю. К. Кузьменко)	11
П р и л о ж е н и е. К истории алфавитов в романоязычных странах (А. Б. Черняк) . . . . .	55
Латинская грамматическая традиция в Англии VII—XI вв. (Беда, Алкуин, Эльфрик) (Ю. А. Клейнер) . . . . .	62
Средневековые исландские грамматические трактаты (Ю. К. Кузьменко)	77
Предпосылки развития грамматических учений в Испании (Н. Л. Су- хачев, В. П. Григорьев) . . . . .	98
Языкознание византийцев (А. К. Гаврилов) . . . . .	109
Проблемы языка в памятниках патристики (Ю. М. Эдельштейн) . . .	157
Грамматические учения западноевропейского средневековья (А. В. Гро- шева) . . . . .	208
«Спор» реалистов и номиналистов (Е. А. Реферовская) . . . . .	243

## ИСТОРИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЕВРОПА

Утверждено к печати  
Институтом языкознания АН СССР

Редактор издательства Л. М. Романова  
Технический редактор Н. Ф. Соколова  
Корректоры Э. Г. Рабинович, А. Х. Салманова, Г. В. Семерикова

ИБ № 20845

Сдано в набор 08.08.84. Подписано к печати 17.12.85. М-25445. Формат 60×90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Бумага типографская № 2. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Усл. печ. л. 18.  
Усл. кр.-отт. 18. Уч.-изд. л. 21,36. Тираж 2600. Тип. зак. 1796. Цена 2 р. 60 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука». Ленинградское отделение  
199164, Ленинград, В-164, Менделеевская лин., 1

Ордена Трудового Красного Знамени Первая типография издательства «Наука»  
199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12

